This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

DK
263
.R8
1906

Н. А. РУБАКИНЪ.

ЧИСТАЯ ПУБЛИКА
И
ИНТЕЛЛИГЕНЦІЯ ИЗЪ НАРОДА.

(„ИСКОРКИ“).

ОЧЕРКИ И НАБРОСКИ ПУБЛИЦИСТА.

Изданіе 2-е, значительно дополненное и исправленное.

ЧИСТАЯ ПУБЛИКА: Разъагитированный интеллигентъ. — Воскресеніе мертвыхъ. — Два кринеса (Разсказъ объ одиночномъ заключеніи).—Бомба профессора Штурвевента. — ИНТЕЛЛИГЕНЦІЯ ИЗЪ НАРОДА: Митрошкино жертвоприношеніе. — Взыскующіе града.—Письмо къ внуку.— Искорки. — ПРИЛОЖЕНІЕ: Борьба народа за свое просвѣщеніе. Докладъ, чит. на III-мъ съѣздѣ дѣятелей по технич. и профессіон. образованію 4 января 1904 г.

Цѣна 80 коп.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО „ПАЛЛАДА“.
1906.

1960

80к
9(с)17
Рубакин, Н.А.
Р-82 Проверено

Н. А. РУБАКИНЪ.

ЧИСТАЯ ПУБЛИКА
И
ИНТЕЛЛИГЕНЦІЯ ИЗЪ НАРОДА.

(„ИСКОРКИ").

ОЧЕРКИ И НАБРОСКИ ПУБЛИЦИСТА.

ИЗДАНІЕ 2-Е, ЗНАЧИТЕЛЬНО ДОПОЛНЕННОЕ И ИСПРАВЛЕННОЕ.

ЧИСТАЯ ПУБЛИКА: Размагниченный интеллигентъ. — Воскресеніе мертвыхъ. — Два колеса. (Разсказъ объ одиночномъ заключеніи).—Бомба профессора Штурмвельта. — ИНТЕЛЛИГЕНЦІЯ ИЗЪ НАРОДА: Митрошкино жертвоприношеніе.—Взыскующіе града.—Лицомъ къ лицу.—Искорки. — ПРИЛОЖЕНІЕ: Борьба народа за свое просвѣщеніе. Докладъ, чит. на III-мъ съѣздѣ дѣятелей по техническ. и профессіон. образованію 4 января 1904 г.

106541
Библиотека

С.-ПЕТЕРБУРГЪ
КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО „ПАЛЛАДА".
1906.

Тип. Спб акц. общ. „Слово". Ул. Жуковскаго, 21

Вмѣсто предисловія ко второму изданію.

Что такое «чистая публика?» Это та самая публика, о которой Мымрецовы говорятъ: «пущать ее разрѣшается», въ отличіе отъ «простого, чернаго народа», котораго «пущать не велѣно». Это особая разновидность россійскихъ обывателей, и прежде всего—разновидность к о с т ю м н а я, къ которой принадлежатъ всѣ тѣ, кто «одѣвается чисто», «щеголяетъ въ нѣмецкомъ платьѣ». Это терминъ, пользующійся самымъ полнымъ правомъ гражданства въ широкихъ народныхъ кругахъ, вполнѣ имъ понятный и имѣющій тамъ весьма опредѣленный смыслъ.

Но терминъ «чистая публика» имѣетъ не только костюмное значеніе. Подъ нимъ подразумѣвается нѣчто болѣе глубокое. Къ «чистой-ли публикѣ» или къ «простому народу» принадлежитъ данный обыватель,—это не только вопросъ костюма. Вѣдь и самый костюмъ—это вопросъ бюджета, то есть нѣкотораго минимума затратъ, которыя имѣетъ возможность производить на собственное содержаніе такой-то человѣкъ; а такъ какъ бюджетъ опредѣляется не только размѣрами, но и источникомъ дохода, на который живетъ человѣкъ, то и принадлежность къ «чистой публикѣ» или къ «простому народу» подразумѣваетъ нѣкоторую классификацію людей по источникамъ и по размѣрамъ ихъ доходовъ, то есть опредѣленный соціальный строй и опредѣленную политическую и юридическую обстановку. Поэтому терминъ «чистая публика» нерѣдко употребляется въ болѣе узкомъ, но зато и въ болѣе опредѣленномъ смыслѣ. Это такая публика, для которой современный строй болѣе или менѣе выгоденъ, и которая такъ или иначе къ нему приспособилась и извлекаетъ изъ него доходъ въ видѣ замаскированной или даже незамаскированной «добавочной стоимости». Въ этомъ смыслѣ народъ обыкновенно и понимаетъ данное выраженіе. «Чистая публика»—это значитъ «господа въ шляпахъ», «барыни въ шляпкахъ», во всякомъ случаѣ г о с п о д а, живущіе съ какихъ-нибудь «господскихъ» доходовъ, стекающихся въ ихъ карманы безъ особаго

труда съ ихъ стороны, сравнительно съ трудомъ крестьянина-землепашца или фабрично-заводскаго рабочаго. Поэтому въ этихъ двухъ словахъ—«чистая публика» звучитъ нѣчто еще большее,—именно глубокій внутренній классовой антагонизмъ, существующій при современномъ соціальномъ строѣ, съ одной стороны—между людьми, живущими трудами рукъ своихъ, а съ другой — людьми, живущими, напримѣръ, на счетъ доходовъ съ «священной собственности», или на счетъ казеннаго сундука, или «на купоны», и т. п., словомъ сказать, на неоплаченный чужой трудъ.

Еще очень немного лѣтъ тому назадъ въ народномъ сознаніи терминъ «чистая публика» имѣлъ очень широкое значеніе. Этимъ самымъ названіемъ народъ характеризовалъ не только чистую публику собственно, но и интеллигенцію (если понимать это послѣднее слово въ лучшемъ и самомъ высокомъ смыслѣ). Интеллигенція, борцы за истину и справедливость, за духовное, политическое и соціальное освобожденіе,—для народной массы еще такъ недавно были такіе же самые «господа въ шляпахъ», и съ интересами болѣе или менѣе противоположными интересамъ трудящагося народа, — пролетаріата и трудового крестьянства. «Деревенскіе интеллигенты» — это была въ ея глазахъ та же «чистая публика». Батюшка въ рясѣ, урядница въ ротондѣ, кабатчикъ въ длиннополомъ сюртукѣ, становой въ мундирѣ, земскій начальникъ въ форменной фуражкѣ съ кокардой, съ одной стороны, а съ другой—земскій врачъ, фельдшерица, учитель или учительница, земскій статистикъ и земскій агрономъ—все это смѣшивалось въ одно; въ народномъ сознаніи два въ сущности несоединимыхъ понятія интеллигенціи и «чистой публики» тогда еще не дифференцировались одно отъ другого, да и не могли дифференцироваться, такъ какъ еще недостаточно обозначился классовой и политическій антагонизмъ разныхъ общественныхъ группъ. Если же такое смѣшеніе понятій существовало на счетъ интеллигенціи сельской, стоящей, можно сказать, лицомъ къ лицу съ народомъ, то тѣмъ большая путаница наблюдалась по отношенію къ интеллигенціи столичной и городской. Все это была «чистая публика», все это были «господа», съ которыми хоть иной разъ и можно «водить компанію», но все-таки «съ опаской», потому что «какъ-ни-какъ, а все же это вѣдь господа», имѣющіе свои собственные интересы и свои собственные источники дохода, въ сущности противоположные интересамъ трудящагося народа.

Такъ было еще очень недавно. Но за послѣднія десять или даже пять лѣтъ въ народномъ сознаніи произошла глубокая и многознаменательная перемѣна. Понятіе «интеллигенціи», такъ сказать, отпочковалось, дифференцировалось отъ понятія «чистой публики». Дифференцировалось рѣзко, опредѣленно и—внуши-

тельно. Сначала такая перемѣна произошла въ сознаніи фабрично-заводскихъ рабочихъ, затѣмъ и крестьянъ, начиная съ наиболѣе просвѣщенныхъ и сознательныхъ круговъ ихъ. Правда, старый терминъ «чистая публика» и понынѣ сохранилъ свое прежнее содержаніе, но народное понятіе объ интеллигенціи замѣтно измѣнилось. Прежде всего она стала народу понятной, затѣмъ стала чѣмъ-то близкимъ, а въ настоящее время мы имѣемъ уже цѣлый рядъ фактовъ, съ очевидностью доказывающихъ, что она становится не только чѣмъ-то близкимъ народному сознанію, но и дорогимъ. Припомнимъ, напримѣръ, отношеніе тамбовскихъ крестьянъ къ М. А. Спиридоновой, къ цѣлому ряду странствующихъ ораторовъ, къ цѣлому ряду русскихъ писателей и публицистовъ, къ студентамъ и т. д. Многіе мильоны трудящагося народа несомнѣнно выяснили, уразумѣли, даже если не умомъ, то чутьемъ, что интеллигенція въ сущности есть врагъ чистой публикѣ, а эта послѣдняя, въ свою очередь, врагъ и ей. Какъ всегда и вездѣ, сознаніе прояснилось не сразу и даже очень постепенно, въ полной связи съ ходомъ событій и въ зависимости отъ нихъ. Сначала успѣхи народнаго сознанія народъ формулировалъ такъ: «у господъ-то тоже промежъ себя не ладно». Затѣмъ выяснилось, что «иные-то господа на словахъ за нашего брата стоятъ, а вотъ другимъ это и не того». Событія вскорѣ показали, что у этихъ самыхъ интеллигентовъ иной разъ эти самыя „слова“ до такой степени тѣсно связаны со всѣмъ складомъ души, со всею личностью ихъ, что даже и страданія ничѣмъ и нисколько и никогда не въ силахъ заставить этихъ людей молчать и отступиться отъ своего. Стало очевидно, что есть «среди господъ» и такіе люди, которые поступаются своими выгодами, своими интересами, и поступаются не только на словахъ. Широкимъ слоямъ народа это, разумѣется, не могло не казаться долгое время и удивительнымъ, и непонятнымъ, и во всякомъ случаѣ чуднымъ. Но вѣдь фактъ все-таки былъ на лицо, и жестокая дѣйствительность властною рукой втолковывала истину о настоящей интеллигенціи мильонамъ и десяткамъ мильоновъ народа и заставляла отличать интеллигента отъ «чистой публики». Походъ русскаго правительства противъ интеллигенціи во всякомъ случаѣ сдѣлалъ дѣло, несомнѣнно прямо противоположное интересамъ и цѣлямъ самого правительства. Правда, никто не сосчиталъ, да и не можетъ сосчитать тѣхъ страданій, которыя выпали на долю интеллигенціи по винѣ правительства; не приведено въ извѣстность и то, сколько чистой и святой крови имъ пролито. Но такъ или иначе, въ народѣ уже пошелъ новый разговоръ: «у насъ среди господъ есть и свои люди». Эти «свои» окончательно дифференцировались отъ «чистой публики». «Чистая публика»

рѣшительно осталась за предѣлами этого «своего», — понятіе же интеллигенціи окончательно сливается съ понятіемъ именно с в о е г о, неотдѣлимаго отъ трудового народа, отъ его общественныхъ и духовныхъ интересовъ, отъ его стремленія къ освобожденію, словомъ, отъ чего-то чрезвычайно важнаго, нужнаго и безконечно-необходимаго. Въ отличіе отъ «чистой публики», которая — «воплощенный подвохъ», интеллигентъ сталъ разсматриваться какъ «правильный, понимающій, свѣдущій человѣкъ, безъ подвоховъ», на котораго можно положиться, «*хотя* онъ и изъ господъ». Отличительнымъ признакомъ собственно интеллигенціи явилось такимъ образомъ въ народномъ сознаніи ея отношеніе къ трудящемуся народу, именно къ нему, его нуждамъ, интересамъ, потребностямъ и цѣлямъ. Въ народномъ сознаніи сталъ слагаться и, такъ сказать, входить въ общій обиходъ и опредѣленный критерій для отличія интеллигента отъ «чистаго господина». Пропасть между интеллигенціей и народомъ стала исчезать. Процессъ ея сглаживанія особенно усиленнымъ темпомъ пошелъ въ послѣдніе годы, какъ это и слѣдовало ожидать. Жертвы, принесенныя интеллигенціей во имя свѣтлаго будущаго трудящагося народа, наконецъ, наполнили собою эту пропасть. Русская интеллигенція купила свое общеніе и единеніе съ народомъ цѣною, неслыханной въ исторіи какой-либо другой страны...

Одновременно съ тѣмъ, какъ подвигалось впередъ все болѣе и болѣе тѣсное сближеніе трудящагося народа съ интеллигенціей, шелъ и другой, не менѣе интенсивный и еще болѣе важный и знаменательный процессъ. Въ глубинахъ народной массы зарождалась с в о я с о б с т в е н н а я интеллигенція, такъ же сознательно относящаяся къ общественной, какъ политической, такъ и соціальной жизни, такая же вдумчивая, такъ же неутомимо мыслящая, такая же боевая и столь же готовая жертвовать собой для того же обще-русскаго и обще-рабочаго дѣла.

Особенно быстрымъ темпомъ пошло наростаніе такой народной интеллигенціи за послѣднія десять лѣтъ. На фабрикахъ, на заводахъ, на желѣзныхъ дорогахъ, въ рудникахъ, даже въ солдатскихъ казармахъ быстро наросла новая сила,—сила мыслящихъ разрушителей и мыслящихъ и сознательныхъ созидателей,—разрушителей стараго, одряхлѣвшаго режима, безусловно гибельнаго для всего трудящагося народа, созидателей новаго, болѣе свѣтлаго будущаго. А. М. Скабичевскій, въ одной изъ своихъ статей, напечатанной въ № 5 «Рус. Мысли» за 1901 г., совершенно справедливо подчеркнулъ все значеніе этой интеллигентной арміи созидателей, выступающей изъ глубины народныхъ массъ. И правда, интеллигенція изъ народа принесла съ собой на историческую сцену не одно только разрушеніе. Она не только жаж-

детъ перемѣнъ,—перемѣнъ во что бы то ни стало, тѣхъ невыносимыхъ и гнусно-несправедливыхъ условій, въ которыхъ приходится теперь существовать народу,—она знаетъ вмѣстѣ съ тѣмъ, какія именно перемѣны ему нужны и какими способами можно и должно бороться за эти перемѣны. Десятки тысячъ крестьянскихъ резолюцій послѣдняго времени, въ составленіи которыхъ несомнѣнно принимала главное участіе именно интеллигенція изъ народа, лучше всего показываютъ, до какой степени напряженно шла и идетъ въ народной глубинѣ именно эта созидательная работа. Даже при тѣхъ непомѣрно тяжелыхъ и безсмысленно жестокихъ полицейскихъ условіяхъ, въ какихъ приходится жить и работать интеллигентамъ изъ крестьянъ и фабрично-заводскихъ рабочихъ, тѣмъ не менѣе, за самое короткое время ими было сдѣлано много такого, чего нельзя было и ожидать даже два-три года тому назадъ. Быть можетъ, это и есть самый знаменательный и внушительный фактъ во всемъ освободительномъ движеніи, — это массовое и быстрое наростаніе созидательной работы народной интеллигенціи. Но не только это. Даже слѣпой не можетъ не видѣть того соотвѣтствія идеаловъ, стремленій, цѣлей и даже методовъ борьбы, какое наблюдается въ настоящее время у интеллигенціи какъ изъ командующихъ классовъ, такъ и изъ народа. Это не двѣ особыхъ интеллигенціи, — это одна, единая, такъ сказать, общая интеллигенція трудящейся массы, ея истинная представительница и сознательная выразительница народныхъ нуждъ и защитница дѣйствительно народныхъ интересовъ. Всѣхъ интеллигентовъ, къ какой бы средѣ они ни принадлежали, объединило одинаковое отношеніе къ нуждамъ трудящагося народа, къ его борьбѣ за лучшее будущее, а значитъ и къ основнымъ задачамъ времени. На какія бы партіи и теченія ни распадалась интеллигенція, единство ея все же—несомнѣнный фактъ, поскольку ее объединяетъ борьба съ общимъ врагомъ и боевое участіе въ разрѣшеніи основныхъ задачъ даннаго времени. А въ этомъ-то и заключается главное и самое существенное отличіе интеллигенціи отъ «чистой публики». Послѣдняя — защищаетъ свою насиженную позицію, первая—нападаетъ на нее.

Есть еще одинъ вопросъ, на которомъ слѣдуетъ нѣсколько остановиться. Не всякій мыслящій, даже глубоко-образованный человѣкъ, искренно преданный своему, даже общественно-необходимому дѣлу, имѣетъ нравственное право считаться интеллигентомъ. Прежде чѣмъ называть себя этимъ священнымъ именемъ, необходимо рѣшить цѣлый рядъ вопросовъ. Что собственно представляетъ изъ себя это самое твое образованіе? Какому именно дѣлу ты преданъ хотя бы всей душой? Въ чемъ именно заключается его общественный характеръ? Въ какомъ отношеніи

находится и ученость, и это дѣло къ основнымъ задачамъ времени? А такъ какъ во всѣ времена и у всѣхъ народовъ, въ основѣ всей ихъ жизни, какъ умственной, такъ и матеріальной, всегда лежалъ и будетъ лежать прежде всего народный трудъ, народная масса, трудящійся народъ, то главныя, насущныя и основныя задачи времени есть вмѣстѣ съ тѣмъ и основныя нужды трудящагося народа. Это азбучная истина, которую, тѣмъ не менѣе, не мѣшаетъ повторять и повторять, особенно при оцѣнкѣ людей ученыхъ и образованныхъ, среди которыхъ, какъ выразился одинъ мой знакомый пролетарій (Г. З. Зыбинъ), такъ много «ученыхъ и образованныхъ для себя и про себя» и для все еще существующаго, ненавистнаго соціальнаго строя, который имъ выгоденъ. Критерій для оцѣнки всякой учености, всякой общественной дѣятельности—ихъ отношеніе къ интересамъ трудящагося народа.

Есть еще одинъ признакъ, отличающій истиннаго интеллигента отъ чистой публики. Интеллигентъ—прежде всего и всегда—борецъ, и это независимо отъ того, въ какой бы формѣ и въ какой бы средѣ и при помощи какихъ бы орудій ни проявлялась его борьба,—въ области ли идей, въ мірѣ ли наукъ, искусства, на аренѣ ли общественной жизни, въ парламентѣ, на митингѣ, на баррикадѣ съ оружіемъ въ рукахъ. Интеллигентъ, не принимающій участія въ борьбѣ,—борьбѣ за осуществленіе основныхъ задачъ своего времени, въ сущности, вовсе не интеллигентъ, такъ какъ въ немъ отсутствуетъ основной признакъ интеллигента,—его способность къ борьбѣ. Не проявлять—это то же, что не имѣть того, что слѣдуетъ, и что необходимо проявлять. Всякій истинный интеллигентъ обязанъ сознательно, планомѣрно, настойчиво и повсюду проявлять свое основное свойство, свое отличіе отъ чистой публики. Но вѣдь при нынѣ существующихъ условіяхъ, его проявлять—это и значитъ идти на борьбу и въ борьбу. Не бороться—это значитъ отступать безъ боя. Не отступать—это значитъ бороться. Кто какъ можетъ и гдѣ какъ можетъ, тотъ такъ и борись,—таковъ долженъ быть девизъ всякаго настоящаго интеллигента. Интересы трудящагося народа охватываютъ и не могутъ не охватывать всѣ безъ исключенія области духовной, матеріальной и общественной жизни, и даже только для защиты этихъ интересовъ отъ чистой публики въ каждой области необходима борьба, борьба и еще борьба.

Исходя изъ вышеизложенныхъ соображеній, нельзя не придти къ слѣдующему выводу: размагниченный интеллигентъ, въ сущности, даже вовсе не интеллигентъ, подобно тому, какъ бывшій офицеръ не есть уже офицеръ, а бывшій адвокатъ—уже не адвокатъ. То же самое вовсе не-интеллигентъ и человѣкъ, приспособившійся къ казенному пирогу, хотя и хранящій гдѣ-то въ

«уголкѣ своей души» кой-какія интеллигентскія свойства и полуразвалившіеся и полувыдохшіеся, когда-то интеллигентскіе идеалы. Точно также не интеллигентъ тотъ, кто отдаетъ свой умъ, талантъ, знаніе, силы, энергію и хотя бы даже самую выдающуюся ученость существующему государственному строю и работающій для его поддержанія, улучшенія и приспособленія къ нуждамъ тѣхъ общественныхъ классовъ, которые живутъ на неоплаченный чужой трудъ, на «добавочную стоимость». Такихъ людей обыкновенно называютъ интеллигентами э т о г о с а м а г о строя, интеллигентами даннаго общественнаго класса, на томъ основаніи, что у «каждаго общественнаго класса есть своя особая интеллигенція». Но вѣдь и эта послѣдняя нуждается въ опредѣленной о ц ѣ н к ѣ съ точки зрѣнія интересовъ трудящагося народа, и поскольку идеалъ этого послѣдняго заключается въ томъ, чтобы у всѣхъ людей былъ одинъ источникъ дохода—трудъ, постольку и интеллигенція, выражающая и защищающая интересы трудящагося класса и есть единственная истинная интеллигенція, въ отличіе отъ ученой чистой публики. Припомнимъ прекрасныя слова Каутскаго: «Кто обладаетъ сильнымъ соціальнымъ чувствомъ, у кого при этомъ боевая натура, кто не довольствуется простой благотворительностью, но хочетъ принять участіе въ борьбѣ противъ самыхъ источниковъ нужды, нищеты, униженія и оскорбленія своихъ ближнихъ, тому нѣтъ мѣста въ рядахъ партіи эксплоататоровъ».

Очерки, вошедшіе въ эту книжку, посвящены характеристикѣ чистой публики съ одной стороны и интеллигенціи изъ народа—съ другой. Вторая часть этой книги представляетъ собой единое цѣлое съ другой книжкой того же автора («Среди борцовъ»), посвященной тому же вопросу. Уже много лѣтъ авторъ этой книги собираетъ рукописные и иные матеріалы для характеристики интеллигенціи изъ народа, изъ крестьянъ и фабрично-заводскихъ, и другихъ рабочихъ, ея наростанія, ея отчасти разрушительной, но въ особенности же созидательной работы. Герои-созидатели больше всего интересовали автора. И обстоятельства личной жизни, и личныя и заочныя знакомства съ интеллигентами изъ народной среды позволили собрать довольно обширный и поучительный матеріалъ для характеристики этихъ героевъ. Автору этой книги оставалось лишь регистрировать нѣкоторые факты жизни и лишь записывать то, что ему пришлось увидать своими глазами въ странствованіяхъ по заводамъ, фабрикамъ и деревнямъ, и, по возможности, воспользоваться тѣмъ, что дала довольно обширная переписка съ провинціей.

Жизнь говоритъ сама за себя, ея свидѣтельство—на глазахъ у всѣхъ. На борьбу съ чистой публикой выступаетъ интелли-

генція, а значитъ, и интеллигенція изъ народа. Во многихъ случаяхъ эта послѣдняя идетъ не только рука объ руку съ интеллигенціей изъ другихъ общественныхъ классовъ, но и впереди нея. И она знаетъ, куда и зачѣмъ идетъ, и знаетъ, чего и для кого требуетъ. Десять лѣтъ тому назадъ еще могло казаться, что эти требованія робки и неувѣренны. Теперь они звучатъ и бодро, и смѣло, и увѣренно.

Первое изданіе этой книги появилось въ 1900 году, подъ названіемъ «Искорки». Во второмъ изданіи всѣ очерки, вошедшіе въ нее, являются въ значительно дополненномъ видѣ. Не только возстановлены всѣ цензурные пропуски и урѣзки, но, въ особенности же во второй части, текстъ нѣкоторыхъ очерковъ дополненъ и переработанъ по новымъ матеріаламъ, которые автору удалось собрать за послѣднія 5—10 лѣтъ. Кромѣ того, книга дополнена новымъ очеркомъ («Размагниченный интеллигентъ»), первоначально напечатаннымъ въ литературномъ сборникѣ «На славномъ посту» (въ честь 35-лѣтія литературной дѣятельности Н. К. Михайловскаго). Въ приложеніи помѣщенъ докладъ, читанный авторомъ 4 января 1904 г. на III съѣздѣ дѣятелей по профессіональному и техническому образованію и посвященный тому же знаменательному процессу наростанія боевой народной интеллигенціи, процессу, котораго ужъ, разумѣется, не остановятъ никакіе господа Плеве, Витте, Дурново, Столыпины и К°, даже самые искренніе изъ этихъ представителей чистой публики (буде есть среди такихъ господъ люди искреннѣе), въ лучшемъ случаѣ напонимающіе успѣшностью своей дѣятельности вертящагося въ своемъ колесѣ Жака Маландри («Два колеса»), сколько бы они ни разгоняли съѣздовъ и сколько бы участниковъ ихъ ни отправляли въ ссылку или въ изгнаніе... Въ виду такихъ дополненій пришлось замѣнить прежнее названіе книги другимъ, полнѣе выражающимъ ея основную идею.

Выборгъ, 1906 г. *Н. Р.*

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

ЧИСТАЯ ПУБЛИКА.

I.

Размагниченный интеллигентъ.

(Изъ частной переписки половины 90-хъ годовъ).

О моемъ пріятелѣ Иванѣ Егоровичѣ,—назову его хоть Корюхинымъ, потому что nomina sunt odiosa,—я не получалъ извѣстій лѣтъ пять. Корюхинъ былъ моимъ однокурсникомъ по университету. Мы вмѣстѣ работали въ лабораторіяхъ и кабинетахъ, вмѣстѣ участвовали на сходкахъ, вмѣстѣ плясали на студенческихъ вечеринкахъ и вели нескончаемые споры по поводу вѣковѣчныхъ „проклятыхъ вопросовъ" и самыхъ жгучихъ „злобъ дня". Образъ Ивана Егоровича сидѣлъ въ моей душѣ крѣпко, и я никакъ не могъ,—да и не хотѣлъ,—выдѣлять его изъ той обстановки, въ которой мы пробыли вмѣстѣ цѣлыхъ четыре года. Вспомнишь Ивана Егоровича,—вспомнишь и ту обстановку, и тѣ прежнія надежды, и стремленія, и даже отъ однихъ воспоминаній о нихъ становится какъ будто легче на душѣ... Смѣлая поступь, пронзительный, полунасмѣшливый взглядъ, рѣзкая, отчетливая рѣчь, молодость, сила, красота,—какъ со всѣмъ этимъ гармонировали въ былыя студенческія времена и русская вышитая рубашка, и высокіе, довольно неуклюжіе сапоги!.. По окончаніи курса Иванъ Егоровичъ уѣхалъ куда-то въ провинцію служить химикомъ на большой фабрикѣ, гдѣ, послѣ какихъ-то фабричныхъ „недоразумѣній", серьезно пострадалъ, и затѣмъ на долго исчезъ съ горизонта.

И вотъ отъ этого самаго Ивана Егоровича, котораго я цѣлыхъ десять лѣтъ воображалъ все тѣмъ же стройнымъ и цвѣтущимъ юношей съ блестящими глазами и энергичными жестами, въ одинъ прекрасный день я получаю по почтѣ цѣлый пакетъ. Въ пакетѣ—длинное посланіе на 8 страницахъ и фотографическая карточка,

на которой изображенъ какой-то субъектъ въ акцизномъ мундирѣ министерства финансовъ, съ одутловатымъ, довольно таки обрюзгшимъ лицомъ, съ полу-облысѣвшей головой и тусклыми, какъ будто сонными глазами, смотрящими возмутительно уныло. Субъектъ этотъ изображенъ сидящимъ на стулѣ; онъ не то съежился, не то распустился; онъ, очевидно, не сумѣлъ придать своей особѣ бодраго вида даже на тотъ минимальный промежутокъ времени, какой требуется для моментальной фотографіи. Въ глазахъ какъ будто и сквозитъ умъ, но онъ сильно подернутъ траурнымъ настроеніемъ. Это настроеніе до такой степени не вязалось въ моемъ умѣ съ прежнимъ настроеніемъ, да и съ самымъ образомъ Ивана Егоровича, что я рѣшительно воспротивился признавать въ этомъ раскисшемъ и успѣвшемъ замѣтно потолстѣть субъектѣ моего прежняго Ивана Егоровича.

Длинное посланіе, которое сопровождало карточку, какъ водится, оказалось исповѣдью. Русскіе люди очень любятъ исповѣдываться, особенно когда они ужъ очень раскисли и подняться не могутъ. Въ исповѣдяхъ своихъ они очень любятъ бичевать самихъ себя, отлично зная, что отъ этого бичеванія они лучшими не сдѣлаются. За то душу свою выматывать они въ такіе исповѣдальные моменты умѣютъ превосходно. Но въ этомъ есть, пожалуй, и хорошая сторона—такимъ способомъ создаются чрезвычайно цѣнные „человѣческіе документы", разработка которыхъ съ психологической и соціальной точекъ зрѣнія, несомнѣнно, могла бы дать не мало интереснѣйшихъ выводовъ для характеристики даннаго историческаго момента, если-бы кто-нибудь за это принялся какъ слѣдуетъ. Переписка съ частными лицами—это особый видъ текущей литературы. Никакой другой видъ ея не даетъ столько матеріала, какъ частныя письма, для сужденія объ общественномъ настроеніи той или иной общественной группы. Правда, бываютъ и такіе моменты, когда даже эта литература писемъ принуждена бываетъ съеживаться, и душа, закупоренная въ конвертъ, не чувствуетъ себя даже тамъ спокойно. Но, какъ ни какъ, а высказаться душѣ нужно, и это исканіе способовъ, чтобы высказаться,—своего рода явленіе замѣчательное, и исторія его должна бы составить особую страницу въ исторіи общественнаго мнѣнія. Есть такія души, которыя въ данный общественный моментъ никакъ не помѣщаются на печатныхъ страницахъ газеты или журнала. Другимъ душамъ и лѣзть туда нечего, такъ какъ, отдѣльно взятая, не всякая душа, даже раскрытая до самаго своего дна, интересна. Но эти неинтересныя въ отдѣльности души становятся чрезвычайно интересными, если принять во вниманіе, что такихъ — масса, и допустить нѣкоторый, такъ сказать, психологическій подсчетъ; индивидуальный фактъ разростается, такимъ образомъ, въ обширное общественное явленіе, съ которымъ

нужно считаться, а то и бороться. Письма Ивана Егоровича, послѣдовавшія за его первымъ посланіемъ и предоставленныя имъ, кстати сказать, въ мое полное распоряженіе, даютъ нѣкоторую возможность нарисовать по нимъ состояніе многихъ интеллигентныхъ душъ и выяснить главныя фазы того процесса, который самъ Иванъ Егоровичъ довольно мѣтко окрестилъ названіемъ размагничиванія. Какъ извѣстно, процессъ размагничиванія особенно рѣзко наблюдается на мягкомъ желѣзѣ, которое обладаетъ способностью быстро пріобрѣтать магнитныя свойства и такъ же быстро терять ихъ. Закаленная сталь размагничивается не такъ скоро, долго сохраняетъ магнитизмъ, и сама дѣлается тогда способной возбуждать магнитныя явленія вокругъ себя. Впрочемъ, и мягкое желѣзо можетъ сохранять магнитныя свойства неопредѣленно долгое время, если его окружаетъ со всѣхъ сторонъ проводникъ электрической энергіи—проволока, по которой идетъ токъ. Если есть вокругъ живые токи, то и мягкое желѣзо не размагнитится, а будетъ представлять изъ себя отличный электромагнитъ, который не хуже (а то, можетъ быть, и сильнѣе) постояннаго, и который дѣлаетъ всѣ дѣла, какія надлежитъ дѣлать магниту. Иванъ Егоровичъ въ своихъ письмахъ приравниваетъ и самого себя къ такому же куску мягкаго желѣза. „Другъ мой! Я это самое мягкое желѣзо и есть!..—восклицаетъ онъ.—Но развѣ я не способенъ и теперь стать снова магнитомъ? Ей Богу, способенъ! Пропусти только живые токи вокругъ меня,—и сила во мнѣ тотчасъ проявится. Вотъ когда я былъ студентомъ, этихъ токовъ вокругъ было сколько угодно! Ты думаешь, что теперь, десять лѣтъ спустя послѣ университета, я считаю тѣ токи худыми, не выдержавшими критики? Да ничуть! Я вѣрю въ ихъ благотворность и силу по прежнему. Ни въ одномъ пунктѣ своихъ убѣжденій я не раскаялся и не измѣнилъ имъ. Я только размагнитился,—иначе сказать, настроеніе потерялъ. Пониманіе осталось старое, а, можетъ быть, даже стало рѣзче и опредѣленнѣе; знаній даже прибавилось, потому что всѣ эти десять лѣтъ я читательствую усердно, упорно, вдумчиво. А настроеніе ушло. Дайте мнѣ людей, обладающихъ этими токами,—и я оживу, намагничусь... И еще какъ! Настоящимъ революціонеромъ, надо полагать, сдѣлаюсь. При случаѣ даже, быть можетъ, на баррикады пойду, коли и у насъ появятся таковыя... Но такихъ оживляющихъ токовъ что-то маловато стало по нынѣшнимъ временамъ“...

Очень характерны эти „надо полагать“, „при случаѣ“ и „быть можетъ“.. Характернѣе даже самихъ баррикадъ столь условная вѣра въ нихъ, да и въ самого себя, въ свое собственное „надо полагать“ вѣроятное „намагничиваніе“. Но не менѣе характерно и то, что Иванъ Егоровичъ долгое время искусственно поддерживалъ, по крайней мѣрѣ, старался поддержать въ себѣ якобы

революціонное настроеніе. Въ своихъ письмахъ онъ то и дѣло пускается въ длиннѣйшія и скучнѣйшія разсужденія объ общественныхъ дѣлахъ, то есть о тѣхъ подцензурныхъ обрывкахъ ихъ, которые кое какъ доходили до Ивана Егоровича изъ какихъ-нибудь высшихъ или низшихъ „сферъ". Иванъ Егоровичъ возмущается, волнуется, топорщится, подбираетъ „выраженія съ настроеніемъ", восклицаетъ даже, что „дальше такъ жить нельзя", что „наше русское интеллигентное общество возмутительно инертно", а затѣмъ вдругъ словно срывается съ высоты горы и летитъ куда-то въ пропасть,—„въ бездны своего собственнаго, подъ-душевнаго настроенія", какъ выражается онъ. И этими словами все сказано.

Въ другомъ письмѣ Иванъ Егоровичъ пишетъ: „Скажите мнѣ, пожалуйста, что это за штука—настроеніе? Подъ этимъ словомъ я понимаю не настроеніе минуты, не порывъ или подъемъ духа по случайнымъ причинамъ. Нѣтъ, настроеніе—это основной тонъ личности, уровень эмоцій, среднее напряженіе всѣхъ сторонъ ея психики, равнодѣйствующая ихъ. Такъ вотъ я и спрашиваю, что это за штука настроеніе, которое, въ сущности, и есть то, что мы называемъ личностью? Личность—это настроеніе личности. Безличность—это отсутствіе или низкій уровень настроенія. Я помню, какъ во времена студенчества я чувствовалъ пульсацію всѣхъ сосудовъ во времена нашихъ сходокъ: стою, дрожу отъ волненія и злости и чувствую, какъ кровь течетъ по жиламъ. Пробѣгаю мысленно по своимъ рукамъ и ногамъ—и ощущаю это теченіе своей крови. Вотъ это было настроеніе! Ужъ не отъ физическихъ ли причинъ оно зависитъ, то есть отъ энергіи сердечной дѣятельности? Крѣпко и здорово сердце—и есть у человѣка бодрое настроеніе; слабо сердце—и нѣтъ его? Нѣтъ, это не такъ. И больные сердцемъ люди имѣютъ иной разъ охъ какое крѣпкое и бодрое настроеніе, да и я теперь на сердце не жалуюсь, а вотъ какую пѣсенку сочинилъ. Не угодно ли ее послушать".

Въ этомъ мѣстѣ письма Ивана Егоровича вставлено слѣдующее стихотвореніе, которое хотя и не обладаетъ поэтическими достоинствами, но настолько характерно, что позволю себѣ выписать его безъ всякихъ передѣлокъ и сокращеній:

Пѣсенка размагниченнаго интеллигента

Я каждый день обѣдаю,
Какой въ томъ смыслъ—не вѣдаю!
Я каждый день читаю,
Кчему—не понимаю!
Я также не могу понять,
Зачѣмъ хочу я ночью спать.

11220

Я каждый день хожу, сижу.
И—цѣли въ томъ не нахожу.
Мнѣ ничего не надо,—
Ни рая и ни ада,
Противны мнѣ до смерти
И ангелы, и черти.
Искусство и наука—
Одна сплошная мука.
Гоню я прочь въ три шеи
И чувства, и идеи.
Мнѣ смерти-бъ не хотѣлось,
Но жизнь весьма пріѣлась.
Я, право, самъ не знаю,
Живу иль умираю.

Пѣсня эта, мнѣ кажется, такъ характерна, что господа „размагниченные интеллигенты", которыхъ и въ столицахъ, и въ провинціи не мало, должны бы были переложить ее на музыку и распѣвать хоромъ въ клубахъ, за картами и даже на службѣ. Пѣсенка эта въ краткихъ словахъ отчетливо резюмируетъ душевное состояніе человѣка, потерявшаго настроеніе. Самъ Иванъ Егоровичъ пишетъ о ней: „Когда я сочинялъ эту пѣсенку, то самъ не зналъ, смѣяться мнѣ надъ нею, или плакать. Подумалъ, подумалъ,—подошелъ къ буфету и выпилъ двѣ рюмки водки, потомъ пошелъ къ N. N., прочиталъ ему. Онъ засмѣялся и сказалъ: „это хорошо сказано,—бываютъ такіе"!— А мы съ тобой не такіе? спросилъ я.—„Ты холостякъ, ты, быть можетъ, и такой, а я женатъ, и у меня дѣти",—отвѣчалъ онъ. Я плюнулъ и ушелъ. И это говоритъ „пострадавшій за правду!" Вотъ фальсификаторъ: вмѣсто словъ „вселенная", „счастье человѣчества", „царство Божіе на землѣ", этотъ господинъ подставилъ въ свой катехизисъ слова: „жена, дѣти". Изъ-за нихъ вселенной и не стало видно... Ну развѣ это не то же размагничиваніе, да еще съ обманомъ? И развѣ онъ не ту же лямку тянетъ, какъ и я, и не такъ же, какъ я? Тошнехонько"!

„Самое главное,—пишетъ въ другомъ мѣстѣ Иванъ Егоровичъ,—это то, что меня теперь никуда не тянетъ. Я знаю, что есть такіе пункты въ окружающей жизни, гдѣ и мои силы очень бы пригодились. Знаю я, гдѣ слабыя стороны того, что я считаю враждебнымъ съ той теоретической точки зрѣнія, на которой я и теперь стою. Все знаю, а руки висятъ, какъ плети. Не могу начинать. Ничто не задѣваетъ за живое. Что-то во мнѣ притупилось. Трудно собраться начать. Чортъ знаетъ, что это такое—абулія, что ли. Помню, какъ любилъ я на студенческой скамьѣ вмѣшиваться въ практическое разрѣшеніе именно тѣхъ вопросовъ, которые мнѣ подвѣдомственны не были. Это мнѣ удовольствіе доставляло—лѣзть туда, куда не спрашиваютъ. Сожмешь этакъ кулаки, размахнешь руками,—хорошо! Настроеніе борьбы чув-

Дворец культуры С.М. Кирова
библиотека

ствовалось. И теорія, и исторія говорятъ, что всѣ перемѣны къ лучшему происходили и происходятъ въ исторіи именно потому, что нѣкоторые люди вмѣшивались и вмѣшиваются въ то, куда и когда ихъ не спрашиваютъ. Теперь я—правомочный обыватель, но этого зуда вмѣшательства—нѣтъ. Помнишь наши студенческіе споры о точкѣ? Я и теперь вѣрю, что если человѣкъ захочетъ, то можетъ найти такую точку, помѣстившись на которую, при всѣхъ своихъ ничтожнѣйшихъ силахъ, онъ, дѣйствительно, станетъ сворачивать шаръ земной, фактически сворачивать. Правда, если масса этого шара безконечно велика, то скорость сворачиванія будетъ безконечно мала, но отъ этого самый фактъ сворачиванія отнюдь не уничтожается,—онъ не фикція, не миѳъ. А если на такихъ же точкахъ стоятъ и дѣйствуютъ въ томъ же направленіи другіе (а развѣ они не стоятъ и не дѣйствуютъ?), то тѣмъ болѣе есть основанія чувствовать себя бодро. И вѣдь, ей Богу же, я знаю, гдѣ моя точка! И значеніе ея для меня понятно до тонкости. И она не за горами, а тутъ же, около меня. Почему же я не становлюсь на нее и не дѣйствую? Да просто потому, что собраться не могу. Настроенія нѣтъ. Время идетъ, я вижу, что ничего не дѣлаю, и отъ этого становится во мнѣ настроенія еще меньше. Такъ я самъ себя и размагничиваю."

Эта тирада очень поучительна. Она показываетъ, что когда люди размагничиваются, то дѣло не въ пониманіи или сознаніи, а въ настроеніи, и упадокъ настроенія совершается, между прочимъ, отъ причинъ внутреннихъ, отъ своего рода самовнушенія, идущаго въ разные историческіе моменты по разнымъ направленіямъ, смотря по умѣнію видѣть и понимать окружающее. Письма Ивана Егоровича позволяютъ прослѣдить этотъ процессъ самовнушенія, ведущій человѣка интеллигентнаго и сознательно-дѣйствующаго, сверху внизъ, отъ дѣланія къ недѣланію. Вся біографія Ивана Егоровича представляетъ изъ себя именно это похоронное шествіе. Нигдѣ въ своихъ письмахъ Иванъ Егоровичъ особенно не напираетъ на внѣшнія обстоятельства. Центромъ тяжести является въ его письмахъ именно процессъ самовнушенія, а внѣшняя обстановка, среда, фигурируетъ у него лишь въ качествѣ нѣкотораго поставщика матеріаловъ этому самовнушенію. Самовнушеніе упраздняетъ и дѣятеля, и дѣло, и въ этомъ упраздненіи одну изъ главныхъ ролей играетъ подмѣнъ. Біографія Ивана Егоровича, какъ многихъ другихъ, подобныхъ ему, отчетливо повторяетъ собою извѣстную сказку о мужикѣ, который, имѣя кусокъ золота съ лошадиную голову, промѣнялъ его на лошадь, а лошадь на корову, а ту на овцу, и т. д., до копѣечной иголки включительно, да и ту потерялъ, оставшись, въ концѣ концовъ, ни съ чѣмъ. Такого сорта мѣна—великолѣпный образъ постепеннаго паденія

настроеній въ переходѣ отъ одного дѣланія къ другому. Переходя отъ дѣланія къ дѣланію (при чемъ каждое новое дѣланіе, замѣнившее старое, по его мнѣнію, вело все къ той же цѣли—созиданію лучшаго будущаго), Иванъ Егоровичъ въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ видѣлъ хорошія стороны каждаго новаго дѣла, плохо сравнивая его въ количественномъ (да и качественномъ) отношеніи съ тѣмъ, что осталось позади. И вотъ, очнувшись отъ этой непрерывной мѣны, въ одинъ прекрасный день Иванъ Егоровичъ пришелъ въ ужасъ: вмѣсто куска золота съ лошадиную голову, у него въ рукахъ не оказалось ничего, все свелось на нѣтъ, и свелось незамѣтно, тайкомъ. Внѣшнія обстоятельства, объ улучшеніи которыхъ онъ такъ мечталъ, будучи студентомъ, вѣдь и теперь были такія же, какъ и прежде; внутреннія силы, которыя онъ могъ бы пустить въ дѣло, теперь, въ сущности, стали даже больше, чѣмъ тогда, а настроеніе пропало Какъ оно ушло и куда ушло — для него неизвѣстно. „Читалъ я „Новый Фаустъ“ Ленау,—пишетъ Иванъ Егоровичъ.—Великолѣпное произведеніе! Читая его, я такъ вотъ и чувствую внутри себя этого „Новаго Фауста“. Тамъ Фаустъ передъ смертью говоритъ: „Увы! Тоски мнѣ не снести! Пустое, сумрачное Я... мнѣ тѣсно... Рвется грудь моя“. Почему пропало у меня настроеніе? Потому что оно было и въ тѣ времена не мое, не во мнѣ, а около меня. Одно дѣло—ты въ сѣнѣ, а другое дѣло—сѣно въ тебѣ. Прости за вульгарное сравненіе. Я всегда жилъ такъ, что какъ будто смотрѣлъ на себя откуда-то со стороны: вотъ, молъ, дѣло, вотъ, молъ, моя личность, мое тѣло, а вотъ, молъ, и я самъ, и этотъ „я самъ“, какъ нѣкая третья величина, смотритъ на мое дѣло и тѣло. И этотъ „я самъ“—ни въ дѣлѣ, ни въ тѣлѣ. Дѣло нужно, какъ аксессуаръ, хотя и очень необходимый, какъ дополненіе къ личности, соотвѣтствующее ея интеллигентности, такимъ-то требованіямъ, предъявляемымъ къ личности. Я всегда чувствовалъ и видѣлъ, какъ бы со стороны, то, что я дѣлаю, но никогда, понимаете ли, никогда не было такого момента, когда я сливался съ дѣломъ, т. е. когда оно входило въ меня такъ, что насъ нельзя было раздѣлить. Это всегда можно было сдѣлать, потому-то я и намѣнялъ на своемъ вѣку двадцать дѣлъ одно на другое (хотя и при общей одной спеціальности). Я уже потому не могъ слиться съ моимъ дѣломъ и тѣломъ, что моя собственная личность, выработанная мною не безъ труда, доставляла мнѣ самому не мало удовольствія. Я ее носилъ по свѣту вродѣ какъ икону во время крестнаго хода. Дѣлаю что-нибудь даже хорошее, и въ это время думаю—это вѣдь я, я, а ни кто другой, дѣлаю это хорошее! Что это за ощущеніе, я плохо могу опредѣлить,—это своего рода себялюбіе, внутренній эгоизмъ,—возвышать себя чрезъ дѣло, но не сливаться съ

нимъ. Впрочемъ, не о сентиментальности самозабвенія я говорю, а о растроеніи. Такое растроеніе очень помогло моему размагничиванію. Изъ рукъ вырывать легче, чѣмъ изъ нутра вытаскивать. Значитъ, расхваливать свою молодость нечего: я и тогда былъ такимъ же мягкимъ желѣзомъ, какъ теперь, и носилъ въ себѣ всѣ задатки размагнититься". Иванъ Егоровичъ особенно напираетъ въ своихъ письмахъ на эту сторону дѣла, и врядъ ли можно отрицать, что, въ данномъ случаѣ, его чутье опытнаго самоѣда не ошибается. Мѣна чего-то лучшаго на что-то худшее возможна только потому, что это лучшее кажется чѣмъ-то внѣшнимъ, и вырѣзывать его почти изнутри не приходится. Впрочемъ, слово „себялюбіе", которымъ пользуется Иванъ Егоровичъ въ данномъ случаѣ, въ сущности, не умѣстно. Люди, которые не сливаются съ дѣломъ, могутъ себя и не любить, и дѣло можетъ имъ искренно нравиться, а все же „дѣло, тѣло и я" могутъ составить не нѣчто единое, а обособленную троицу.

Да обвинять молодежь въ неискренности даже и смѣшно: въ ней больше искренности, чѣмъ гдѣ-либо. Что касается до самопожертвованія, то и оно можетъ идти рядомъ съ растроеніемъ и не мѣшать ему, потому что и на свою жертву человѣкъ можетъ смотрѣть словно со стороны и восхищаться ею. Не размагничивается лишь тотъ, кто не знаетъ этого растроенія, кто чувствуетъ себя частью или орудіемъ дѣла, а не обратно, т. е. кто не смотритъ на дѣло, какъ на орудіе своего Я...

„Знаешь, надъ чѣмъ я долго работалъ?—пишетъ Иванъ Егоровичъ. Работалъ я надъ тѣмъ, чтобы сдѣлать амальгаму изъ дѣла и изъ своего Я. И, представь себѣ, ничего не вышло! Мое Я не смѣшивается съ дѣломъ, словно масло съ водой. На моментъ какъ будто и смѣшается, а тамъ опять быстро отстоялось,—и вода выходитъ маслянистая, и масло водянистое". „*Я* занимаюсь низведеніемъ своего *я* къ нулю, но ничего не выходитъ. Стараюсь думать о томъ, что не нужно думать о *я*. Выходитъ извѣстная сказка о бѣлыхъ медвѣдяхъ. Не перепрыгнешь черезъ свою голову! Весь складъ ума такой. Я не то что люблю самого себя,—я просто тычу его вездѣ и всюду.

О, бѣсъ, меня, какъ въ тьмѣ могилъ,
Ты въ себялюбьи схоронилъ,
И вотъ подъ крышкой гробовой
Проснулся я, еще живой,
Безсильно мучась и скорбя,
И грызть тутъ началъ самъ себя... (Ленау. Нов. Фаустъ).

Получается такая картина: человѣкъ старается забыть свое Я, слить его съ дѣломъ, но, стараясь сдѣлать это, грызетъ самого себя, а, грызя самого себя, этимъ только выдѣляетъ себя еще

больше и дѣлаетъ слитіе еще болѣе невозможнымъ.—Дѣйствительно, есть отъ чего взвыть...

Просматривая цѣлый рядъ писемъ такихъ же людей, какъ Иванъ Егоровичъ, изъ той же породы размагниченныхъ интеллигентовъ, нельзя не видѣть одной всѣмъ имъ общей черты: съ теченіемъ времени ихъ Я обостряется или, иначе говоря, дифференцируется все больше и больше. Какое бы дѣло они ни двигали, они не въ дѣлѣ и не дѣломъ живутъ, а живутъ своимъ Я, и смотрятъ на дѣло и на свое тѣло со стороны. Самозабвенія у нихъ не встрѣчается, да, надо полагать, его и быть не можетъ. Не мудрено, что при такихъ психическихъ условіяхъ дѣятельности, даже очень хорошія дѣла, даже независимо отъ глубины пониманія ихъ, будутъ въ рукахъ такихъ людей не то игрушкою, забавою, не то своего рода подъемной машиной, которая необходима, чтобы втащить человѣка на нѣкоторый фундаментъ.

Очень поучительно отношеніе такихъ людей къ т. наз. культурной работѣ. Работа эта, дѣйствительно, необходимая и глубоковажная по своему значенію, работа, которая должна бы укрѣплять и закалять такихъ людей, какъ Иванъ Егоровичъ, какъ это ни странно, въ настоящее время для многихъ выдающихся людей, казавшихся въ молодости настоящими героями, стала однимъ изъ первыхъ этаповъ на пути мѣны, о которой шла выше рѣчь. Культурная работа, непосредственное участіе интеллигенціи въ разнаго рода культурныхъ учрежденіяхъ, ставящихъ своею цѣлью подъемъ экономическій, образовательный, умственный и пр. трудящихся массъ,—разумѣется, сила огромная, лишь поджидающая такихъ людей, которые вдунутъ въ нее душу живу и освятятъ ея смыслъ, но она была бы силой неизмѣримо большей, если бы въ числѣ культурныхъ работниковъ было побольше такихъ людей, которые не растрояются, какъ Иванъ Егоровичъ, а живутъ въ дѣлѣ и для дѣла. Если бы работники въ этой области относились къ ней именно такъ и поменьше бы смотрѣли на самихъ себя со стороны, извнѣ, они не превращали бы эту свою работу въ какія-то бирюльки, когда одну бирюльку играющій вытаскиваетъ, не шевеля другихъ. При такой работѣ, т. е. не сопровождаемой растроеніемъ, при наличности умственнаго развитія и образованія, культурныя начинанія необходимо раскрывали бы передъ работниками самую суть дѣла, потому что, когда видишь передъ собой прежде всего дѣло и когда дорожишь его развитіемъ, когда любишь его и дѣйствительно жаждешь, чтобы дѣло это достигало своей цѣли, то, рано ли, поздно ли (и обыкновенно очень даже скоро) наткнешься именно на тѣ основныя противорѣчія жизни, которыя болѣе всего въ данное время и въ данномъ мѣстѣ стоятъ на пути улучшенія коренныхъ условій жизни. Не столкнуться съ

этими условіями—нельзя, а столкнувшись съ ними, человѣкъ, любящій дѣло, не броситъ его, а пойдетъ по пути его улучшенія отъ частнаго къ общему. Вѣдь понятіе объ этихъ коренныхъ условіяхъ пріобрѣтается обыкновенно еще на студенческой скамьѣ, но растроеніе личности ведетъ неизбѣжно къ тому, что личность не чувствуетъ и не сознаетъ себя страдающей тамъ и тогда, гдѣ и когда страдаетъ дѣло, потому что это послѣднее не внутри, а снаружи личности. „Не научились мы любить и не умѣемъ ненавидѣть". Получается своего рода декорація: умный, развитой человѣкъ не можетъ не сознавать, что, отстранивъ отъ себя стремленія измѣнить къ лучшему основныя условія, онъ все дѣло низводитъ болѣе или менѣе къ игрѣ и декораціи; если бы этотъ самый человѣкъ въ числѣ своихъ отличительныхъ чертъ имѣлъ и цѣльность натуры, то онъ бросилъ бы такую-то форму дѣятельности, перешелъ бы на другую, болѣе цѣлесообразную дорогу для достиженія основной цѣли, онъ не то что не захотѣлъ бы, а просто-на-просто не смогъ-бы сидѣть, упершись лбомъ въ стѣну. Совсѣмъ не то при существованіи растроенія: такимъ способомъ можно и около стѣны сидѣть, и даже уставиться въ нее лбомъ. „Я, батенька, отлично чувствую, что сижу, упершись лбомъ въ стѣну,—пишетъ Иванъ Егоровичъ.—И стѣна эта для меня такая прозрачная, словно стеклянная... Еще въ университетѣ я обученъ, какъ сквозь нее видѣть. Я и вижу. Но я вижу, что и по сю сторону стѣны я дѣло дѣлаю". Другими словами, Иванъ Егоровичъ смотритъ больше по сю, чѣмъ по ту сторону стѣны. Его утѣшаетъ мысль, что онъ все же дѣло дѣлаетъ. Иначе сказать, мѣна совершена, и хоть хороша штука кусокъ золота съ лошадиную голову, но и у лошадки есть свои достоинства. Объ этомъ что и говорить.

Въ эту фазу своей дѣятельности, когда Иванъ Егоровичъ, очутившись въ провинціи, принялся за всякія культурныя начинанія, онъ смотрѣлъ на эти послѣднія сверху внизъ, потомъ мало по малу сталъ смотрѣть на нихъ снизу вверхъ. Приступая къ этого сорта работѣ, Иванъ Егоровичъ, какъ видно изъ его писемъ, относился къ ней совершенно правильно и отнюдь не называлъ ее тою точкой, съ которой, по его мнѣнію, можно сдвигать шаръ земной. Принимая участіе въ разнаго рода „маленькихъ дѣлахъ", онъ понималъ, что эти послѣднія только тогда и цѣнны, когда осмыслены опредѣленнымъ отношеніемъ къ кореннымъ задачамъ времени. Онъ шелъ въ эти дѣла, чтобы ихъ возвышать до служенія этимъ задачамъ и привлекать и оживлять съ ихъ помощью („намагничивать", по его выраженію) тѣ силы, которымъ еще нигдѣ и не отъ кого было намагнититься. Для тѣхъ силъ эта работа была дѣйствительно крупнымъ шагомъ впередъ. Для Ивана же Егоровича она оказалась, въ концѣ концовъ, крупнымъ шагомъ назадъ, такъ какъ изъ средства сдѣлалась въ его глазахъ цѣлью.

„Знаешь, что такое культурная работа? Это – настоящая работа и есть! Это—умѣніе сражаться съ врагомъ въ рукопашную. Помнишь разсказъ какого-то французскаго писателя: „Какъ Плункетъ не видалъ сраженія". Этотъ самый Плункетъ все стрѣлялъ по врагу изъ пушки, которая хватала безъ малаго на десять верстъ. Это что за сраженіе! Всѣ тамъ теоретическіе споры—пустяки, сравнительно съ состязаніями съ врагами просвѣщенія изъ за какихъ-нибудь библіотечныхъ правилъ вотъ тутъ, въ одной съ ними комнатѣ. Враги тутъ не за десять верстъ, а лицомъ къ лицу! Эге, что это за птицы! Просто прелесть! Олицетвори-ка теорію кн. Мещерскаго въ лицѣ такого-этакого пузатаго господина, да и посражайся съ ней. Настоящая борьба и есть такая рукопашная. Наступаешь шагъ за шагомъ. Отступаешь—шагъ за шагомъ. Иной разъ жарко приходится, но эти-то мелочи и осмысливаютъ цѣль. Безъ этого она была бы абстракціей". „Мы устроили кустарный музей, пишетъ немного спустя Иванъ Егоровичъ, завели читальню, ремесленную школу. Я засѣдаю въ попечительствѣ. Работа кипитъ". Понемногу и незамѣтно для себя Иванъ Егоровичъ уже радуется не тому, что выходитъ изъ его работы, а тому, что онъ работаетъ, и такъ хорошо работаетъ. Ему нравится и самая суета, толчея, споры, интриги, состязанія, среди которыхъ идея, основное стремленіе отходитъ на задній планъ, хотя могло бы и должно бы не отходить. Происходитъ раздѣленіе того, что должно бы быть соединено, что осмысливаетъ одно другое. „У насъ вышелъ скандалъ: отобрали каталогъ нашей читальни и обрѣзали его, а книжный складъ попечительства подчинили министерскому каталогу. Беззаконно! Я хотѣлъ было протестовать, но это было бы непрактично. Рѣшилъ подождать и вести свою линію инымъ способомъ". Но эта „своя линія", безъ вѣдома Ивана Егоровича, мало по-малу, уже превращалась въ другую, не прежнюю линію. Вообще, мѣсто, которое Иванъ Егоровичъ занималъ чуть-ли не во всѣхъ культурныхъ учрежденіяхъ своего города, возвышало его въ его собственныхъ глазахъ. Онъ гордился тѣмъ, что за жалованьемъ и наживой онъ не гонится, въ карты не играетъ, къ начальству не подлаживается; онъ чувствовалъ себя и борцомъ, и нужнымъ человѣкомъ, а главное, практикомъ, умѣющимъ дѣлать полезныя „принципіальныя" дѣла, вводить новый принципъ въ жизнь, но вводить тихо, тайкомъ, незамѣтно для другихъ. „Что я сталъ бы дѣлать безъ такой работы?—пишетъ онъ въ одномъ своемъ письмѣ, относящемся къ этому времени его жизни.—У меня силушка по жилушкамъ живчикомъ переливается. Грузно отъ силушки, какъ отъ тяжкаго бремени! Клапанъ нужно, чтобы предохранить мнѣ душу отъ взрыва. Вотъ клапанъ у меня и есть на лицо—эта работа! Развѣ мои читальни, музеи, школы, попечительства, чай-

ныя—не тѣ же клапаны? Самые настоящіе! Предохранительные! Ты, можетъ быть, назовешь ихъ пустяками, а по мнѣ не такъ,— они мнѣ жить даютъ. Я жизнь чувствую, благодаря имъ".— Иванъ Егоровичъ ужъ не задается вопросомъ, чувствуетъ ли и жизнь ихъ, она-то чувствуетъ ли, что есть на свѣтѣ эти учрежденія? И много ли чувствуетъ? Для него на первомъ планѣ то, что онъ ихъ чувствуетъ. Для него всѣ они—своего рода гашишъ и призраки, имъ навѣянные,—они дѣлаютъ совсѣмъ ненужными, лишними *тѣ* идеи, прежнія, старыя. Вѣдь и въ новой формѣ, по мнѣнію Ивана Егоровича, осуществляется то, старое стремленіе". Мѣна даже выгодна: фикція промѣнивается на фактъ, журавль—на синицу. Но такъ какъ прежній червякъ еще не совсѣмъ умеръ въ Иванѣ Егоровичѣ, то минуты сознанія все же наступаютъ и для него. „Эхъ, не то! Иногда я чувствую, что все это не то,—пишетъ онъ, и затѣмъ прибавляетъ, что „все же нѣчто лучше, чѣмъ ничто".

Но самоуспокоеніе еще непродолжительно: „недоразумѣнія" и „непріятности" совершаются чуть не каждый день, и увлекаютъ мысль за предѣлы декораціи, настроеніе портится, недовольство грызетъ, сознаніе не даетъ покоя, факты жизни не радуютъ: темные—у всѣхъ на глазахъ, свѣтлые—за утратой связи съ прежними товарищами, перестали быть видны и слышны въ своей массѣ или, по крайней мѣрѣ, самые главные; а чтобы улавливать, чувствовать ихъ по намекамъ жизни, не хватаетъ воспріимчивости и отзывчивости. Гашишъ становится все болѣе и болѣе необходимъ. Къ гашишу культурному присоединяется, благодаря „неизбѣжной и необходимой компаніи", и гашишъ физическій,— вино. Оно нужно „для подъема духа", который безъ искусственныхъ средствъ самъ собой ужъ не появляется, за отсутствіемъ индукціи извнѣ („нѣтъ людей", „неизвѣстны факты"). Самовнушеніе начинаетъ дѣйствовать сильнѣе и иначе, чѣмъ прежде: человѣкъ воображаетъ себя не тѣмъ, что онъ есть, а тѣмъ, чѣмъ онъ долженъ бы быть, по его мнѣнію.

Является потребность себя возвышать.

Человѣкъ *старается* воображать себя героемъ и бойцомъ; онъ преувеличиваетъ значеніе мелочей, съ которыми сражается, или которыя такъ или иначе доставляютъ ему непріятности, но безъ которыхъ ему было бы такъ скучно и нечего было бы дѣлать. Онъ старается убѣдить и себя, и другихъ, что эти мелочи, въ сущности, вовсе не мелочи, что въ каждой изъ нихъ скрывается *принципъ*. И правда,—и въ мелочахъ сквозятъ принципы, но барахтанье въ однѣхъ мелочахъ дѣлаетъ то, что принципы искажаются и забываются, а вмѣсто нихъ являются суррогаты... Идейность, святой огонекъ, освѣщавшій дорогу нѣсколько лѣтъ тому назадъ, меркнетъ, потому что сложность жизни становится

виднѣе, а привычка разбираться въ этой сложности не развивается. Даже сознаніе является на этой фазѣ орудіемъ утѣшенія, а не побужденіемъ измѣниться къ лучшему, вернуться къ старому. „Право, я иногда чувствую,—пишетъ Иванъ Егоровичъ,—что я ѣду въ моей дѣятельности какъ будто по другому адресу. Но я самъ не знаю, обманываюсь я или нѣтъ, единица сравненія пропала, мѣрки не стало,—не знаю, съ чѣмъ подходить... Впрочемъ, я думаю, это нервы,—излишняя щепетильность. Истинная мѣрка—совѣсть". Но эта „истинная мѣрка", къ сожалѣнію, не есть величина постоянная, и Иванъ Егоровичъ, уцѣпившись за нее, какъ утопающій за соломенку, совершенно не желаетъ знать, что совѣсть человѣческая тоже подвержена той или иной эволюціи всю жизнь и сама нуждается въ опредѣленной, сознательной провѣркѣ, подобно тому, какъ и лучшіе барометры, хронометры, градусники тоже не мѣшаетъ и даже необходимо отъ времени до времени провѣрять. Совѣсть—своего рода отзывчивость, чувствительность, впечатлительнось, а эти послѣднія, какъ извѣстно, способны и притупляться. Законъ Фехнера приложимъ и въ данномъ случаѣ. Если какое-либо явленіе, напр., новое настроеніе, не имѣющее ничего общаго съ прежнимъ, студенческимъ, повторяется, и къ тому же не одинъ, а нѣсколько разъ, то психика привыкаетъ къ нему, и человѣкъ не замѣчаетъ и самъ, что это новое было ему когда-то чуждо, что оно „не то, совсѣмъ не то". Что же именно „то" и что именно „не то",—и это понимать—легко разучиться. Да и самая жизнь сильно-таки помогаетъ уменьшенію чувствительности и отзывчивости. Ужъ чего трудно, напр., привыкнуть къ тому, что гдѣ-нибудь каждый годъ голодовка? Первыя извѣстія объ этомъ въ 1891—92 г. были встрѣчены чуть не съ ужасомъ, а потомъ, понемногу и потихоньку, и голодовки перестали пугать, потому что къ извѣстіямъ о нихъ привыкли. Въ послѣдующіе годы то же самое случилось съ привычкой къ другимъ, еще болѣе страшнымъ ужасамъ и еще болѣе неслыханнымъ, возмутительнымъ безобразіямъ. Это постепенное привыканіе души человѣческой къ тому самому, что она еще вчера считала „не тѣмъ", еще яснѣе сказывается въ мелочахъ. Это привыканіе заполоняетъ душу и измѣняетъ ее въ конецъ. Волна эмоцій при этомъ можетъ и не понизиться, но она и въ дѣйствительности такъ сказать, устремится по другому адресу. Прежнимъ эмоціямъ не достанетъ уже мѣста въ душѣ. „Душа полна, — пишетъ Иванъ Егоровичъ, — а чувствуешь пустоту. Обыкновенно мнѣ кажется, что я прежній, а на самомъ дѣлѣ — иногда нѣтъ-нѣтъ, да и мелькнетъ сознаніе, что я не прежній, а кто-то другой". Въ одномъ письмѣ Ивана Егоровича, написанномъ года за четыре до его смерти, сквозитъ замѣчательная нотка. Онъ пишетъ: „Когда-то я

предполагалъ врѣзаться въ жизнь и дѣйствовать по отношенію къ ней наступательно. Ну, врѣзался, ну, сражался, ну, и теперь не покладаю рукъ. Перспективы были видны, зналъ, куда шелъ. Искалъ выхода—нашелъ выходъ. Работы навалилъ на себя, чуть не задохся. Нашелъ въ ней все же удовлетвореніе. Примирила она меня съ жизнью... Да вѣдь это-то и скверно, что примирила! Примиряться-то я вѣдь и не хотѣлъ, и не хочу. Не нужно мнѣ этого примиренія. Послѣ этакого-то разбѣга да такой скачокъ! Чортъ знаетъ, что такое. Не человѣкъ, а ракета: поднялся, разсыпался на мелкія искорки—и исчезъ. Ни свѣтло, ни жарко".

Но эти минутки сознанія въ письмахъ Ивана Егоровича становятся рѣже и рѣже. Вмѣстѣ съ тѣмъ учащаются восклицанія: „Боже мой, какая въ народѣ тьма! Боже мой, какая среди него бѣдность! Дикари, которыхъ, впрочемъ, нельзя не любить"... Иванъ Егоровичъ неизбѣжно и логично, въ концѣ концовъ, дошелъ до того, что сталъ считать культурную работу единственно необходимой, единственно не-преждевременной, независимо отъ осмысливанія ея высшими идеалами и задачами. Онъ дѣйствительно примирился и успокоился,—на этотъ разъ навсегда. Для притупленія чувствительности и отзывчивости не стало больше препятствій внутреннихъ. За то жизнь усерднѣе и усерднѣе содѣйствовала ея притупленію извнѣ.

И вотъ, когда, по какой-то причинѣ чисто случайнаго свойства, сильно проснулось въ Иванѣ Егоровичѣ на одно мгновеніе прежнее, давно исчезнувшее настроеніе, когда сознаніе вдругъ прояснилось снова,—этого проясненія лишь хватило на то, чтобы заглушить и всѣ прочія иллюзіи, позднѣе пришедшія, но свившія просторное гнѣздо въ его душѣ. Пробужденія сознанія хватило лишь на то, чтобы отмахнуться,—отмахнуться и отъ культурной работы, и отъ всякой другой, кромѣ той, которая кормитъ, и, махнувъ рукой, сказать ей: „вся эта культурщина—чепуха! Все это такая канитель, что, ей Богу, отъ нея никому ни тепло, ни холодно!" Энергія, какая осталась (а осталось ея все же, повидимому, не мало), если не исчезла, то могла бы потечь по какому угодно руслу... „Дѣло" ужъ не было окружено ореоломъ; *Я*—ужъ размагнитилось.

Иванъ Егоровичъ, дѣйствительно, размагнитился и запѣлъ отъ всего своего нутра сочиненную имъ въ минуту сознанія горько-веселую пѣсенку размагниченнаго интеллигента.

Разочарованіе въ т а к о й культурной работѣ, въ какую увѣровалъ Иванъ Егоровичъ въ концѣ концовъ, явилось неизбѣжнымъ выводомъ и изъ его *Я*, да и изъ окружающей жизни.

Что же его размагнитило? Во всякомъ случаѣ, не одни обстоятельства внѣшнія, потому что и въ культурной своей дѣятельности

онъ считался съ ними и боролся въ рукопашную. Онъ до послѣдняго момента сохранилъ способность борьбы. Онъ перемѣнялъ, и къ тому же незамѣтно для себя, лишь объекты борьбы, замѣняя важные неважными и далекіе—близкими, т. е. крупные мелкими. Настроеніе не исчезло, а перемѣнило видъ, сосредоточилось не на кускѣ золота съ лошадиную голову, а на отысканіи иголки, упавшей въ сорную траву. Такого рода занятіе не могло не надоѣсть, въ концѣ концовъ, умному и образованному человѣку. А когда и оно надоѣло, то не стало охоты и жить, и ходить, и читать: „Есть примѣнимыя идеи въ книгахъ,—пишетъ Иванъ Егоровичъ въ своемъ послѣднемъ письмѣ,—но я-то вѣдь никогда ихъ не примѣню. Есть осуществимыя мечтанія, но я-то вѣдь ихъ никакъ не осуществлю! Я—нѣчто постороннее всему этому. Я—созерцатель, я—мыслящая, анализирующая единица. Мыслю—значитъ еще существую. Но я не могу не смотрѣть и на все окружающее, и на самого себя откуда-то со стороны, а смотря со стороны, я чувствую, что окружающее не очень то теперь меня волнуетъ. Всему есть свои причины. Да и границы .. Ха, ха, именно границы. Нельзя же закрывать глаза на то, что онѣ дѣйствительно не мифъ... За всѣмъ тѣмъ,—всякому овощу свое время. А я то, я,—какая же именно я овощь? И какому же именно времени свойственны такія овощи, какъ я? И вотъ я грызу себя немилосердно. Чувствующая, нервная поверхность моего *Я* вывернулась на изнанку,—то, что было снаружи, очутилось внутри. Я очень рѣзко и больно ощущаю самого себя, живу въ себѣ и собой. А отъ окружающаго меня отдѣляетъ и моя собственная кожа въ достаточной степени! За то какъ больно я себя чувствую!... Эта боль рѣшительно мѣшаетъ мнѣ оглядываться по сторонамъ, и я гоню въ три шеи и чувства, и идеи. Дайте же мнѣ пожить, чортъ возьми, и личною жизнью“.

Эти слова „личная жизнь“ очень характерны въ устахъ Ивана Егоровича: онъ и самъ не замѣчаетъ, что вся его жизнь именно и состояла, если строго разобрать, въ самоуслажденіи, а ужъ никакъ не въ самопожертвованіи...

Будь въ душѣ Ивана Егоровича хоть немножко этого чувства самопожертвованія,—быть можетъ, онъ бы и не размагнитился-бы...

II.

Воскресеніе мертвыхъ.

„Ей Богу, господа, въ забвеніи есть очень много... пріятнаго"!..

(Изъ подслушанныхъ разговоровъ).

Однажды въ газетѣ „Искатель слѣдовъ" появилась слѣдующая замѣтка:

„Изъ достовѣрныхъ источниковъ мы слышали, что въ самомъ непродолжительномъ времени рѣшено произвести провѣрочныя испытанія всѣмъ лицамъ, окончившимъ курсъ высшихъ учебныхъ заведеній въ теченіе послѣднихъ десяти лѣтъ.

„Какъ извѣстно, провѣрочныя или повторительныя испытанія въ Россіи—не новость. Въ 1881 году, для опредѣленія рецидивизма безграмотности въ крестьянскомъ населеніи, извѣстный дѣятель по народному образованію, баронъ Н. А. Корфъ, производилъ экзамены крестьянъ, давно окончившихъ курсъ начальной школы, а въ 1888 году такіе же экзамены дѣлали инспектора начальныхъ училищъ Симбирскаго и Шадринскаго уѣздовъ. Въ девяностыхъ же годахъ провѣрочныя испытанія для крестьянъ стали явленіемъ обычнымъ. Къ сожалѣнію, до сего времени не производилось такихъ испытаній для лицъ изъ культурныхъ слоевъ общества. Нынѣ въ подлежащихъ сферахъ рѣшено заполнить такой пробѣлъ и произвести однородныя испытанія и для окончившихъ курсъ въ какомъ либо высшемъ учебномъ заведеніи. Явиться на экзаменъ обязательно для всѣхъ лицъ, имѣющихъ дипломы объ окончаніи тамъ курса. Комиссія для выработки правилъ провѣрочныхъ испытаній уже назначена".

Прочитавъ эту замѣтку, Павелъ Ивановичъ Васютинъ прежде

всего улыбнулся. Сообщеніе „Искателя слѣдовъ“ показалось ему курьезной уткой.

— Недурно придумано! подумалъ онъ. — Будь это правда, — такія провѣрочныя испытанія пролили бы очень яркій свѣтъ на нашу чистую публику и освѣтили бы тьму, а чистая публика стала бы еще чище!...

Эта фраза показалась Павлу Ивановичу остротой, и онъ улыбнулся снова, затѣмъ опять взялъ газету, и торопясь дочитать ее передъ уходомъ на службу, снова забѣгалъ подслѣповатыми глазами по строчкамъ, столбцамъ и страницамъ. Отыскивая что-нибудь „интересненькое“ на трехъ квадратныхъ аршинахъ печатной бумаги, Павелъ Ивановичъ походилъ на рыболова, который ищетъ рыбку въ обширномъ бассейнѣ мутной воды.

— Вышевскій получилъ опять повышеніе! Ахъ, чортъ его подери! Кто бы подумалъ, что въ этомъ молодцѣ такая прыть!

Это извѣстіе показалось Павлу Ивановичу интереснымъ, но почему-то не изъ пріятныхъ. Другихъ новостей, для него интересныхъ, въ газетѣ не нашлось. Правда, тамъ что-то говорилось о земствѣ, о земскихъ начальникахъ, о реформѣ городского управленія, о предѣльности земскаго обложенія, о пріостановкѣ двухъ провинціальныхъ газетъ, о съѣздѣ миссіонеровъ,—все это Павелъ Ивановичъ пропускалъ мимо.

Во-первыхъ, „эти писанія—литература, разсужденія, а не дѣйствительность“, во-вторыхъ... уже одиннадцать часовъ. Нужно спѣшить на службу, въ канцелярію.

Въ тотъ самый моментъ, какъ Павелъ Ивановичъ облачался въ вицъ мундиръ, на которомъ крестикъ блестѣлъ не меньше, чѣмъ пуговицы, въ столовую вошла его жена Марья Сергѣевна. На ней былъ надѣтъ бѣлый прозрачный пеньюаръ, устроенный такъ, чтобы воздѣйствовать одновременно и на глазъ, и на воображеніе. Павлу Ивановичу жена показалась черезчуръ пухлой.

— И зачѣмъ она треплетъ волосы надъ лбомъ? Это нисколько не придаетъ красоты, а только старитъ.

Впрочемъ, свои мысли Павелъ Ивановичъ не рѣшился произнести вслухъ.

— Душечка! заговорила томнымъ голосомъ Марья Сергѣевна. („Ну вотъ, опять! Что за слово „душечка“). Ты сегодня будешь обѣдать одинъ. Я должна отдать визитъ Брычевымъ.

— Ну что-жъ! Съ Богомъ!

— Я пріѣду часовъ въ десять.

— Ахъ, мой другъ! Я тебя не задерживаю. Я приглашенъ сегодня на винтъ къ Тузикову.

Павелъ Ивановичъ поправилъ галстухъ, взглянулъ на свою фигуру въ зеркало, погладилъ жидкую бородку съ тѣмъ же желто-

сѣрымъ отливомъ, какъ и кожа его лица, провелъ рукою по рѣденькимъ волосамъ, старательно зачесаннымъ назадъ, чтобы прикрыть прогрессирующую раньше времени плѣшь. Фигура выглядѣла вообще изрядно выцвѣтшей и высохшей, но, сравнительно съ обыкновеннымъ своимъ видомъ, Павелъ Ивановичъ нашелъ ее „ничего себѣ“. Онъ любилъ смотрѣть на себя въ зеркало, потому что такъ онъ могъ видѣть въ одно время и свою фигуру, и свою обстановку, на созданіе которой онъ положилъ столько трудовъ... Занавѣсы, картины (олеографіи въ дорогихъ золотыхъ рамахъ), массивный буфетъ, приличная сервировка, уютный колоритъ, недурненькая и еще молодая жена съ черными глазами („жаль только, что толстѣть начала“...) — въ такой обстановкѣ Павелъ Ивановичъ казался самъ себѣ привлекательнѣе.

— А дѣти? спросилъ онъ.

— Съ ними побудетъ сегодня Ольга Ивановна.

— А!

Павелъ Ивановичъ поцѣловалъ жену и отправился въ департаментъ.

Только что онъ снялъ тамъ пальто и хотѣлъ направиться къ своему „столу“, къ нему подбѣжалъ его сослуживецъ и пріятель и постоянный партнеръ въ винтъ, Сергѣй Петровичъ Лохматовъ.

— Вы слышали?

— Что такое?

— А экзамены?!

— Чепуха! Неужели вы вѣрите этой уткѣ?

— Утка?! Хорошо, если бы такъ! Но это не утка, милостивѣйшій мой государь. Профессоръ Лишній приглашенъ въ комиссію; предсѣдатель ея самъ Иринархъ Иринарховичъ Мракобѣсовъ...

— Полноте, что вы!

— А вотъ увидите! Всѣхъ насъ призовутъ экзаменоваться! Въ одной нашей канцеляріи изъ сотни служащихъ—цѣлыхъ пять человѣкъ съ дипломами! Этакая уйма! Всѣ тамъ будутъ! Нѣтъ-съ, испытанія не утка и не шутка.

Лохматовъ горячился, приподнимался на цыпочки, шевелилъ яйцевиднымъ брюшкомъ и дѣлалъ на своихъ короткихъ ножкахъ, какъ на продольной оси, обороты въ девяносто градусовъ.

Тонъ Лохматова, столь рѣшительный и убѣжденный, произвелъ на Павла Ивановича нѣкоторое впечатлѣніе. „А ну какъ правда? Чего нынче не бываетъ“?

— Вотъ увидите! Вы думаете, что только мы всякія мѣры измышляемъ? Нѣтъ-съ, и насъ зацѣпили. Вотъ подождите, какъ

станетъ васъ Менделѣевъ по химіи разспрашивать, или Совѣтовъ по агрономіи,—много вы отвѣтите! Ну-ка, скажите формулу три-фенилъ-метанъ-карбоновой кислоты.

Непріятное чувство въ Павлѣ Ивановичѣ усилилось. Газетная утка свила въ его мозгу прочное гнѣздо и скорѣе походила не на утку, а на коршуна, который водворился нежданный-непрошенный. Павелъ Ивановичъ вдругъ почувствовалъ, что внутри его, гдѣ-то недалеко отъ „ложечки", во всякомъ случаѣ между головой и брюшкомъ, что-то стало свербить и свербить. Ахъ, чортъ возьми! А если и правда? Усѣвшись за свои бумаги, Павелъ Ивановичъ никакъ не могъ отвязаться отъ докучной мысли. Чтобы провѣрить самого себя, онъ попробовалъ было начертать на бумагѣ формулу три-фенилъ-метанъ-карбоновой кислоты. О ней онъ отвѣчалъ когда-то на экзаменѣ въ Петровско-Разумовской академіи и получилъ пять балловъ. Не все же онъ забылъ: вотъ немножко подумаетъ—и напишетъ. Но какъ Павелъ Ивановичъ ни бился,—формула не давалась. Смущеніе его еще болѣе усилилось. Правда, на бумагѣ появились какіе-то химическіе знаки, но выражали ли они то, что требовалось, Павелъ Ивановичъ никакъ не могъ рѣшить.

Знаки эти увидѣлъ Лохматовъ, который съ портфелемъ въ рукахъ пролеталъ мимо стола Васютина. Онъ энергично ткнулъ пальцемъ сначала въ знаки, потомъ въ Павла Ивановича, загототалъ и воскликнулъ:

— Вотъ видите! Испарилось! То да не то!

Затѣмъ, какъ бы въ утѣшеніе, онъ прибавилъ:

— Но не печальтесь! И намъ что-то внушали въ нашемъ университетѣ о три фенилъ-метанъ-карбоновой кислотѣ. Цѣлый день, батенька, я только то и дѣлаю, что пишу формулу этой проклятой кислоты. Десть казенной бумаги испортилъ. Хорошо хоть, что трудиться пришлось не даромъ: жалованье и за сегодняшній день получу... А формулу все-таки не написалъ. Бѣгу... Начальство зоветъ.

— Чтобъ всѣмъ имъ пусто было! подумалъ опять Павелъ Ивановичъ, и не только не утѣшился, но пришелъ въ окончательное смущеніе. Держать экзаменъ послѣ того, какъ ты его уже когда-то выдержалъ! Гдѣ же тутъ справедливость? И къ чему эта провѣрка? Кого удивить или поразить хотятъ? Чортъ знаетъ, что такое!

Послѣ долгихъ лѣтъ, проведенныхъ, можно сказать, безъ ропота, вдругъ Павелъ Ивановичъ возроптalъ.

Въ тотъ же день вечеромъ у Тузиковыхъ собралось „интеллигентное общество". Это была „интеллигенція" чиновная, канцелярская, столичная. Хозяинъ—кандидатъ правъ и вмѣстѣ съ тѣмъ помощникъ правителя какой-то канцеляріи, весьма гор-

дился своими „задушевными soirées“ и „интеллигенціей“, представители которой на нихъ бываютъ. Это все, во-первыхъ, люди „съ высшимъ образованіемъ“, во-вторыхъ, „съ положеніемъ“, всѣ на почтенныхъ „мѣстахъ“, казенныхъ и частныхъ, всѣ они, какъ говорилъ Тузиковъ, „ну ей-Богу лучшіе люди нашихъ департаментовъ,—живые, мыслящіе люди“. На этихъ soirées прежде всего и больше всего играли въ винтъ, затѣмъ закусывали, пили чай, а во время чая и закуски сообщали другъ другу слухи и новости, которымъ придавали больше цѣны и интересовались болѣе, чѣмъ газетными сообщеніями. Слухи и новости всегда имѣлись въ большомъ запасѣ; кромѣ же разговоровъ о нихъ и по поводу ихъ, присутствующіе бесѣдовали о новинкахъ литературы, о какой-нибудь „задирательной статьѣ“, „хлесткомъ фельетонѣ“, о какомъ-нибудь литературномъ или общественномъ скандалѣ и слушали пѣніе и музыку двухъ консерваторокъ,—сестеръ Тузикова... Когда Павелъ Ивановичъ пришелъ на тузиковскій soirées, всѣ уже были въ сборѣ. Самъ Тузиковъ,—очень изящный господинъ лѣтъ тридцати двухъ, въ сѣрыхъ брюкахъ и сѣромъ открытомъ пиджакѣ, позволявшемъ видѣть цѣпочку съ золотымъ университетскимъ жетономъ, встрѣтилъ Павла Ивановича тѣмъ же вопросомъ.

— Вы слышали? — Намъ всѣмъ предстоитъ экзаменоваться!

Приэтомъ онъ очень мило откинулъ прядь черныхъ волосъ, изящно спускавшихся на его интеллигентное, выразительное лицо.

Объ экзаменахъ всѣ уже слышали и всѣ говорили. Лохматовъ откуда-то уже узналъ, что экзамены будутъ имѣть для экзаменующихся теоретическій, а не практическій интересъ, то есть, пояснялъ онъ, „если мы съ вами сдадимъ экзаменъ прескверно, и весьма наглядно покажемъ, что мы не помнимъ не только три-фенилъ-метанъ-карбоновой кислоты, но и ничего не помнимъ, то все-таки дипломовъ нашихъ отъ насъ не отберутъ, и со службы не погонятъ“.

— Кто это вамъ говорилъ?

— Одинъ изъ членовъ комиссіи—профессоръ Лишній. Я занимался у него когда-то въ лабораторіи и считался хорошимъ химикомъ. По старой дружбѣ онъ мнѣ и разсказалъ.

— Какой же смыслъ имѣютъ тогда экзамены?

— Огромный! Изученіе интеллигенціи опытнымъ путемъ. Если мы отъэкзаменуемся плохо, скажутъ: вотъ она, интеллигенція,—ничего она не потеряетъ, если отъ нея университеты отобрать. А если мы отъэкзаменуемся хорошо, то скажутъ: запасъ знаній въ интеллигенціи гораздо больше, чѣмъ ихъ примѣненіе,—нужно

пожалѣть интеллигенцію и оградить ее отъ лишней траты силъ.

Отъ этихъ словъ Лохматова, непріятное чувство шевельнулось не только въ душѣ Павла Ивановича, но и многихъ другихъ. Особенно непріятно было Тузикову.

— Вотъ оно что! Насъ по экспериментальному методу развѣнчивать думаютъ!

Всѣмъ повторительные экзамены казались страшны. Кто-то замѣтилъ, что онъ хотя и кончилъ когда-то курсъ университета и имѣетъ ученую степень губернскаго секретаря, то бишь дѣйствительнаго студента, но, прослуживъ восемь лѣтъ въ департаментѣ, по части юридическихъ вопросовъ такъ плохъ сталъ, что теорію Беккаріа легко можетъ перемѣшать съ практикой Сансона. Другой признался, что пересталъ понимать, нарушается ли принципъ выборнаго начала, если выбирать не снизу, а сверху. На это Тузиковъ возразилъ, что „намъ, юристамъ, повторительные экзамены не такъ страшны. О существованіи нѣкоторыхъ теорій насъ навѣрно никто не спроситъ, а въ остальномъ нужно твердо помнить лишь два-три правила и умѣть на эти темы разсуждать“.

— А ну какъ спросятъ, нарочно спросятъ? замѣтилъ кто-то. Вѣдь интересно, ей-Богу, узнать кому слѣдуетъ, что у насъ въ головахъ...

— Э, батенька, если экзамены устраиваются съ этой цѣлью и на нихъ будутъ задавать намъ вопросы по разнымъ „измамъ“, такъ съ пол-горя долой: на всѣ вопросы можно отвѣчать однимъ словомъ: „не знаю“ или „не понимаю“. Только такимъ способомъ и выдержишь экзаменъ. А скажешь: „знаю“ — и провалился.

Всѣ засмѣялись и вдругъ почувствовали, на какой высотѣ гражданской доблести они стоятъ; всѣ были очень довольны своимъ либерализмомъ, тѣмъ болѣе, что двери на лѣстницу были заперты. Нѣкоторые осмѣлились даже ругаться и будировали не на шутку.—„Чортъ знаетъ, что такое! Мы не мальчишки, чтобы держать экзамены! Мы не позволимъ себя третировать à la garçon!“ Маховъ, товарищъ Тузикова, мрачный дѣтина изъ коллежскихъ секретарей, рѣшилъ, что провались онъ на этомъ мѣстѣ, если только пойдетъ на экзаменъ.—Лучше мѣсто потеряю. Мнѣ будетъ худо, а канцеляріи еще хуже!

— А повторять придется многое!

— Лучше повторить, чѣмъ подать поводъ къ гнуснымъ инсинуаціямъ!

У всѣхъ настроеніе было прескверное, кромѣ Лохматова. Послѣдній радовался, потому что сдѣлалъ Павлу Ивановичу большой шлемъ. Кто-то остался „безъ одной“, еще кто-то „безъ

двухъ“ или „безъ трехъ“, всѣ выпили, закусили, а главное, пріятно пораздражили свои нервы картежными спорами, а мозги поупражняли картежными выкладками. Нѣтъ ни малѣйшаго сомнѣнія, это благотворно повліяло на настроеніе. Затѣмъ всѣ разошлись, словно отбывъ какую-то неизбѣжную общественную повинность.

Всю ночь Павелъ Ивановичъ проворочался съ боку на-бокъ. Ему мѣшала спать трехполѣнная формула три-фенилъ-метанъ-карбоновой кислоты, которую онъ все пробовалъ поймать за одинъ изъ атомовъ углерода,—и не могъ.

Нѣсколько дней спустя, повторительныя испытанія для лицъ, окончившихъ курсъ въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, стали несомнѣннымъ фактомъ.

Десять газетъ и двадцать журналовъ обсуждали ихъ съ тридцати различныхъ точекъ зрѣнія и опредѣляли ихъ цвѣтъ и запахъ; кромѣ того девяносто шесть другихъ точекъ зрѣнія въ печать не попали и служили темою для разговоровъ въ обществѣ, чему многіе были очень рады, такъ какъ нашлась новая пикантная тема для разговоровъ. Многіе содрогались и трепетали, иные дѣлали видъ, что очень недовольны экзаменами, а втихомолку даже кое-что подзубривали и повторяли. Иные нелицемѣрно радовались, что Господь Богъ сподобилъ ихъ остаться безъ высшаго образованія.

Когда „Правила испытаній“ были опубликованы, они произвели фуроръ и терроръ. Въ ихъ программу входилъ не только курсъ высшихъ учебныхъ заведеній, но и нѣкоторые предметы среднихъ, въ томъ числѣ греческій и латинскій языки. Правда, въ „Разъясненіи къ правиламъ“ говорилось, что экзамены имѣютъ чисто теоретическій интересъ, и для провалившихся никакихъ дурныхъ послѣдствій отъ провала не будетъ; но при этомъ прибавлялось, что лица, сохранившія въ головѣ должный запасъ знаній, будутъ своевременно отмѣчены и почтены подлежащимъ начальствомъ... Отъ экзаменовъ освобождались лишь учителя и профессора-спеціалисты.

„Искатель слѣдовъ“ остался этимъ недоволенъ.

— „Отчего не сдѣлали льготъ и для чиновнаго сословія? писала газета.—Пускай существуютъ повторительные экзамены для разночинцевъ, но для чиновниковъ они положительно оскорбительны. Они могутъ подорвать довѣріе къ тѣмъ, кто облеченъ высшимъ довѣріемъ“, и т. д. въ этомъ родѣ.

Такъ какъ „Правила“ были на лицо, то въ нихъ сомнѣвались только тѣ, кого не убѣждаютъ и опубликованныя постановленія. Павелъ Ивановичъ находился въ большомъ унынiи, но съ самымъ фактомъ экзаменовъ онъ примирился. Онъ привыкъ уважать фактъ, какого бы качества этотъ послѣдній ни былъ. Съ одной

стороны онъ обучился такому уваженію въ канцеляріи, съ другой—онъ придавалъ фактамъ первенствующее значеніе, какъ агрономъ, т. е. нѣкоторымъ образомъ тоже натуръ-философъ.

Павелъ Ивановичъ ни минуты не сомнѣвался, что подновить знанія необходимо. Онъ на такомъ хорошемъ счету у своего начальства, о немъ всѣ говорятъ, что онъ образованный человѣкъ, и такъ далѣе,—можетъ ли онъ не засѣсть за повтореніе? Своему самолюбію и честолюбію Павелъ Ивановичъ многимъ былъ обязанъ въ своихъ успѣхахъ на службѣ... Испытанія начнутся черезъ мѣсяцъ, много черезъ полтора, — кое-что еще можно сдѣлать.

Въ одинъ прекрасный день, придя домой со службы, Павелъ Ивановичъ рѣшилъ засѣсть за занятія. Онъ пообѣдалъ на-скоро, но шутить съ женою послѣ обѣда и играть съ дѣтьми, какъ онъ это дѣлалъ обыкновенно,—не сталъ, переодѣлся и съ нижней полки большого дубоваго книжнаго шкафа (на верхнихъ полкахъ стояла цѣлая баттарея массивныхъ иллюстрированныхъ изданій и классиковъ въ дорогихъ переплетахъ) досталъ почтенныхъ размѣровъ связку литографированной бумаги. Эта бумага была ветхая, пожелтѣвшая и загрязненная пылью; пыль такъ и взвилась вихремъ отъ удара волосатой руки Павла Ивановича. Связка была развязана, лекціи разсортированы. Кое-какихъ листовъ и нашлось, иныя страницы были изодраны. Впрочемъ, Павелъ Ивановичъ отложилъ записки по нѣкоторымъ предметамъ, убралъ остальныя и, усѣвшись въ мягкое, развалистое кресло, приступилъ къ чтенію.

Литографированныя записки, которыя онъ читалъ, были по неорганической химіи. Вникая въ ихъ смыслъ, Павелъ Ивановичъ долженъ былъ дѣлать надъ собою нѣкоторое усиліе, чтобы фиксировать вниманіе на этихъ писанныхъ строкахъ. Совершенно то же онъ испытывалъ, прочитывая въ департаментѣ какіе-нибудь „проекты“ или „доклады“ изъ „не-особенно интересныхъ“. Впрочемъ, горизонты, которые развертывалъ во вступленіи къ лекціямъ ученый профессоръ, были очень широкіе и захватывающіе. Если бы мысль читателя во время чтенія не занимали постороннія вещи, не имѣющія съ химіей ничего общаго, — разумѣется, широкіе горизонты тоже прельстили бы и увлекли Павла Ивановича.

Но Павелъ Ивановичъ думалъ о другомъ. Ему представлялась изящная фигура Тузикова, коротышка Лохматовъ, вспоминалось неудобное выраженіе, употребленное имъ въ оффиціальной бумагѣ, растрепанный вихоръ жены, еще что-то изъ домашней жизни. Словомъ, неподходящіе образы собрались цѣлою гурьбою и залѣпили окно, изъ котораго Павелъ Ивановичъ лишь съ великимъ трудомъ смотрѣлъ на широкій горизонтъ.

Когда же всякіе обширные горизонты, т. е. введеніе въ курсъ лекцій, были кое-какъ прочтены и пошли факты и формулы, тогда вниманіе Павла Ивановича еще упорнѣе отказалось повиноваться. Онъ долженъ былъ сознаться передъ самимъ собой, что ей-Богу химія—наука не особенно интересная, и въ ея мелочи входить нѣтъ основанія. Изъ способовъ добыванія водорода вполнѣ достаточно запомнить одинъ вмѣсто пяти или шести. Ну, къ чему это? Къ чему то? Очень многое въ прочитываемыхъ запискахъ Павлу Ивановичу казалось излишнимъ, и, перепрыгивая черезъ строчки и даже страницы, онъ стрѣлою летѣлъ черезъ обширную область химіи.

— Ей-Богу, я позабылъ гораздо меньше, чѣмъ думалъ...

Не грѣхъ было бы позабыть и побольше...

Быстрое путешествіе всегда утомительно и располагаетъ обыкновенно ко сну. Павелъ Ивановичъ сталъ зѣвать, а затѣмъ и дремать, и, сложивъ, наконецъ, „работу", рѣшилъ, что на сей разъ сдѣлалъ достаточно. Столько же онъ сдѣлалъ и на другой день, хотя просидѣлъ за лекціями дольше, чѣмъ въ первый разъ.

Произошло это потому, что если и не въ лекціяхъ, то на лекціяхъ Павелъ Ивановичъ нашелъ для себя нѣчто дѣйствительно интересное. Его заинтересовали помѣтки и примѣчанія, сдѣланныя на поляхъ записокъ краснымъ, синимъ и чернымъ карандашами. Помѣтки эти были самаго разнообразнаго содержанія, однѣ дополняли лекціи, другія разъясняли ихъ, третьи, наконецъ (и такихъ было большинство), затрогивали совершенно посторонніе вопросы, большею частью философскіе, общественные и нравственные. Очевидно, эти замѣтки были записаны потому, что мысли, въ нихъ содержащіяся, приходили на умъ автора ихъ во время чтенія этихъ самыхъ лекцій. Павлу Ивановичу было очень интересно перечитывать то, что написано имъ самимъ во времена студенчества, тринадцать лѣтъ тому назадъ, и что успѣло наполовину стереться съ бумаги и совершенно стерлось изъ памяти. Онъ подолгу просиживалъ, вникая въ замѣтки и уподобляясь египтологу, разбирающему іероглифы на папирусѣ. Это занимало его гораздо больше, чѣмъ вниканіе въ смыслъ формулъ...

Дѣло было ясно. По этимъ іероглифамъ Павелъ Ивановичъ разбиралъ самого себя, т. е. такого „себя", какимъ онъ былъ тринадцать лѣтъ тому назадъ. Замѣтки на поляхъ лекцій писаны его рукой. Читая тогдашнія свои „мысли и мнѣнія", Павелъ Ивановичъ добродушно-снисходительно улыбался. „Ничего себѣ,— высоко сказано, шутилъ онъ,—мысли тому возрасту вполнѣ соотвѣтствуютъ. Боже мой, какой я былъ тогда зеленый и не свѣдущій въ жизни!"

Мысли ему „нравились“, но онъ съ ними „не соглашался“. Впрочемъ, нѣкоторые афоризмы производили впечатлѣніе и противъ воли удерживались въ памяти.

Повтореніе химіи подвинулось въ этотъ день весьма мало, но голова Павла Ивановича уже успѣла устать. Онъ сложилъ лекціи и, чтобы оживиться, отправился къ Тузиковымъ—винтить.

У Тузиковыхъ, паче чаянія, не винтили,—хозяинъ дома былъ занятъ повтореніемъ энциклопедіи права и, вмѣсто приглашенія винтить, встрѣтилъ Павла Ивановича очень возвышеннымъ парадоксомъ о сущности нравственнаго идеала и объ отношеніи идеала личнаго къ общественному. Тузиковъ, видимо, былъ расположенъ поспорить о „высокихъ матеріяхъ“. Павелъ Ивановичъ испугался. Высокія матеріи Тузикова имѣли несомнѣнное сродство съ темами его собственныхъ замѣчаній на поляхъ лекцій. И это почему-то устрашило Павла Ивановича, хотя онъ самъ не вполнѣ ясно понималъ, почему. Тѣмъ не менѣе пришлось съ Тузиковымъ распрощаться и отправиться къ Мохову, гдѣ и провинтить вплоть до оживленія чувствъ. Такъ потянулся день за днемъ. Павелъ Ивановичъ, весьма акуратный во всѣхъ дѣлахъ, которыя дѣлать нужно, не имѣлъ даже и намѣренія забросить лекціи; напротивъ, онъ мало-по-малу втягивался въ занятія, отъ которыхъ въ продолженіе девяти лѣтъ было достаточно времени и отвыкнуть. Эти двадцать два предмета, которые предстоитъ повторить, переставали страшить его. Павелъ Ивановичъ почувствовалъ, что махина лекцій постепенно втягиваетъ его. Онъ словно входилъ во вкусъ. Ему начинало казаться, что работа стала идти скорѣе. Факты казались интереснѣе, выводы науки убѣдительно точными; формулы, законы и всякія другія отвлеченности чинно размѣстились по явленіямъ природы и придали имъ особый, „ученый“ обликъ. Все это пришлось по душѣ Павлу Ивановичу. Онъ какъ будто бы даже расцвѣлъ, словно жезлъ Аарона, почувствовавъ себя „ученымъ“. Мало-по-малу, по мѣрѣ повторенія наукъ, освѣщавшихъ одну за другой различныя области жизни вселенной, онъ проникался настроеніемъ древняго брамина, который видитъ „рѣку жизни, текущую чрезъ всѣ существа“. Это было старо, но Павла Ивановича заинтересовало, какъ новинка, словно этихъ лекцій онъ никогда и не читалъ.

— Душечка, выпей стаканъ кофейку, говорила Марья Сергѣевна утомленному необычнымъ трудомъ Павлу Ивановичу.— Право, ты напрасно стараешься. Вѣдь все равно отъ провала ничего не будетъ. Ты такъ усталъ, пожелтѣлъ. Вотъ Сергѣй Петровичъ не такъ, какъ ты.

Дѣйствительно, въ то время, какъ Павелъ Ивановичъ и Тузиковъ почитывали, Лохматовъ не бралъ въ руки ни одной книги

и всѣхъ и каждаго убѣждалъ, что „экзамены имѣютъ теоретическій, а не практическій интересъ, и, явившись на экзаменъ безъ повтореній и даже безъ всякихъ знаній, онъ только констатируетъ передъ ученой комиссіей непреложный фактъ. А это вѣдь только и нужно. Ей-Богу нѣтъ основаній мучить себя вторично".

Павла Ивановича, дѣйствительно, что-то начинало мучить. Съ нѣкотораго времени въ настроеніи его стала замѣтна перемѣна, какъ будто бы онъ былъ недоволенъ самимъ собой. Почему это могло быть?

Павелъ Ивановичъ не отдавалъ себѣ отчета. Непріятно, мучительно, тяжелс—и все это „безъ объясненія причинъ".

Прошло полторы недѣли. Всѣ эти дни и мысль, и воображеніе работали съ возрастающимъ напряженіемъ. Замѣтки, написанныя въ изобиліи на поляхъ лекцій, оказывали на Павла Ивановича замѣчательное дѣйствіе. Онѣ, казалось, переносили его въ другой міръ: встрѣтитъ замѣтку, начнетъ читать—и вдругъ вспомнитъ, при какихъ обстоятельствахъ она написана, вспомнитъ во всѣхъ подробностяхъ, и въ какой каморкѣ въ то время жилъ, и какіе товарищи окружали, какія бури и грозы приходилось въ тѣ времена терпѣть. Вспоминалась даже его коричневая блуза, съ ярко-желтыми пятнами отъ сѣрной кислоты. Эта работа воспоминанія положительно стала подавлять съ нѣкотораго времени Павла Ивановича. Какой-нибудь ничтожный, едва замѣтный вопросительный знакъ на поляхъ—и въ воображеніи уже раскинулась картина далекаго прошлаго. Товарищи, профессора, обстановка въ мельчайшихъ деталяхъ, мысли и стремленія тѣхъ временъ ожили и заполнили душу. Перечирканныя страницы лекцій, казалось, теперь самому Павлу Ивановичу, дѣйствительно были покрыты таинственными іероглифами, которыми на нихъ была записана вся прежняя жизнь, но которые могъ читать и понимать только одинъ Павелъ Ивановичъ.

По мѣрѣ того, какъ онъ перелистывалъ страницу за страницей, вновь явившіеся образы, потревоженныя тѣни оживали, выдѣлялись отчетливѣе.

Въ концѣ концовъ Павелъ Ивановичъ сталъ испытывать ощущеніе, какъ будто передъ нимъ растворили окно, и онъ заглянулъ въ ту самую залу, биткомъ наполненную хорошо знакомыми людьми, но изъ которой онъ, Павелъ Ивановичъ, давнымъ давно ушелъ. Заглянулъ—и увидѣлъ многое,—не только знакомыхъ и друзей, но и самого себя,—прежняго самого себя. Это царство тѣней его испугало. Павлу Ивановичу не оставалось ни малѣйшаго сомнѣнія, что юный, подвижной студентъ, „подающій надежды", который всталъ передъ нимъ, какъ живой, блузникъ, пылкій мечтатель и философъ, любимецъ товарищей, отмѣченный вниманіемъ

профессоровъ, хотя и носитъ имя Павла Ивановича Васютина, но это совсѣмъ не то, что теперешній онъ.

Это различіе, которое первоначально показалось Павлу Ивановичу естественнымъ и необходимымъ фактомъ, вдругъ начало его смущать. Въ началѣ его работы, ей мѣшали образы настоящаго. Теперь на него безчисленнымъ роемъ налетѣли образы минувшаго и тоже заволокли научныя формулы, затемнили факты. Павлу Ивановичу стало жутко, но воскресшія тѣни противъ воли влекли его къ себѣ, и онъ не могъ имъ противиться,—съ ними было связано нѣчто глубоко привлекательное. Останавливаться на нихъ, созерцать ихъ доставляло Павлу Ивановичу наслажденіе. Но, странное дѣло, въ этомъ наслажденіи было столько мучительнаго.

Съ каждымъ днемъ настроеніе Павла Ивановича становилось напряженнѣе.

— Чортъ знаетъ, что такое! восклицалъ онъ, нервно пощипывая свою рыженькую бородку и тщетно стараясь побѣдить самого себя.

Павелъ Ивановичъ, какъ говорится на петербургскомъ языкѣ, разнервничался. Однажды онъ увидѣлъ на поляхъ едва замѣтный крестикъ, сдѣланный тонко очиненнымъ карандашемъ. Увидѣвъ крестикъ, онъ даже вздрогнулъ,

— Что это? И онъ сохранился!...

Павелъ Ивановичъ впился глазами въ этотъ крестикъ и замеръ, въ одно мгновеніе нырнувъ въ море воспоминаній. Желтое лицо съ опустившимися щеками вытянулось, склонилось на руки, глаза безсмысленно смотрѣли въ безконечность, а вмѣсто безконечности встрѣчали въ зеркалѣ, висѣвшемъ передъ письменнымъ столомъ, отраженіе той-же изможденной, выцвѣтшей, выдохшейся фигуры.

Павелъ Ивановичъ просидѣлъ такимъ образомъ долго. Не соображая, не анализируя, онъ просто созерцалъ, и картина, развертывавшаяся передъ его глазами въ тѣ минуты, вдругъ наполнила его вылощенную душу отблескомъ былого трепета. Надъ этой самой страницей, двѣнадцать лѣтъ тому назадъ, онъ объяснялъ эти самые іероглифы высшей математики „ей“! Былая „она“! Сцена объясненія безъ словъ надъ формулой тангенса-буссоли нѣсколько недѣль тому назадъ вызвала бы въ Павлѣ Ивановичѣ одну снисходительную улыбку, какъ мелкій лоскутокъ разорваннаго патетическаго письма. Теперь же ему казалось, что отъ этихъ страницъ еще вѣетъ „ея“ жаркимъ дыханіемъ, еще отражается взглядъ ея ясныхъ и глубокихъ, „искреннихъ“ (какъ онъ тогда говорилъ) глазъ, еще чувствуется его собственное тогдашнее, жгучее, боевое настроеніе.

Павелъ Ивановичъ переживалъ старое и потому не смѣ-

ялся. Смѣются надъ тѣмъ, что далеко, а не надъ тѣмъ, что свято.

Его собственная фигура въ зеркалѣ, и его взглядъ, и выраженіе его лица, и все, что съ этой фигурой связано, вдругъ показалось Павлу Ивановичу противнымъ...

— Что съ тобою? — удивилась Марья Сергѣевна, пришедшая звать мужа къ вечернему чаю. Брось ты, пожалуйста, свои противныя лекціи. Смотри, что онѣ съ тобою дѣлаютъ...

Она кокетливо изогнулась и при этомъ пахнула на него ароматомъ élang-élang'a. И оборотъ ея пухлаго тѣла, и этотъ запахъ, и ея выцвѣтающее лицо, съ торчащими на весь горизонтъ глазами и кисло-опущенными углами рта—все это показалось Павлу Ивановичу такимъ безобразнымъ, фальшивымъ, отвратительнымъ, что онъ едва сдержалъ себя и произнесъ одну фразу:

— Ахъ, оставьте меня, пожалуйста!

На другой день въ департаментѣ всѣ сослуживцы, начальство и подчиненные, съ удивленіемъ увидѣли, что вѣчно спокойный и ровный Павелъ Ивановичъ измѣнился. Выраженіе лица было желчное, взглядъ разсѣянный. Такъ небрежно относиться къ своей службѣ, какъ въ этотъ день, Павелъ Ивановичъ никогда себѣ не позволялъ. Лохматовъ, со своей обычной развязностью, подскочилъ было къ нему съ вопросомъ:

— Ну что нашъ учено-канцелярскій агрономъ?

На это обращеніе Павелъ Ивановичъ отвѣтилъ дерзостью. Лохматовъ изобразилъ изъ своей закругленной и коротенькой фигурки вопросительно-восклицательный знакъ—и стушевался.

Онъ не понялъ, что все сіе значитъ. А это значило только то, что департаментъ, эти зелено-сѣрыя стѣны, наводящіе тоску черные и зеленые столы и конторки, дѣловито-архивныя физіономіи, разношерстныя фигуры, тѣмъ не менѣе гипнотизирующія своимъ однообразіемъ, сюртуки, пиджаки, жакеты и фраки со свѣтлыми пуговицами,—все это вдругъ сдѣлалось Павлу Ивановичу противнымъ до отвращенія. На другой день это чувство еще болѣе возросло, на третій тоже. Павелъ Ивановичъ какъ-то внезапно выбился изъ колеи, и бремя, казавшееся ему такъ недавно столь легкимъ, теперь стало давить съ каждымъ днемъ больше. Особенныя муки причиняло ему сидѣнье за департаментскимъ столомъ въ ожиданіи „дѣла“.

— И что я тутъ торчу! Вѣдь это безсмысленно, дико!

Онъ внутренно ругалъ и себя, и другихъ, и если дѣйствительно отсиживалъ положенное время, то лишь дѣлая значительныя усилія надъ собой. Дурное состояніе духа еще болѣе сгустило желтую краску на его лицѣ.

Наконецъ, въ одинъ прекрасный день Павелъ Ивановичъ сѣлъ къ своему письменному столу и написалъ соотвѣтству-

ющую бумагу по начальству, что „по причинѣ болѣзни, въ продолженіе нѣсколькихъ дней онъ на службу являться не можетъ".

Когда бумага была отправлена по назначенію, у Павла Ивановича словно гора свалилась съ плечъ. Онъ теперь могъ безпрепятственно углубиться въ свои лекціи и книги, воспроизводя по нимъ мельчайшія подробности прошлаго, былыя настроенія, интересы, стремленія, надежды и мечты.

Это воспроизведеніе, это копанье внутри самого себя или, какъ выражался Пироговъ, это самоѣдство доставляло Павлу Ивановичу не только мученіе, но и наслажденіе — наслажденіе инквизитора, пыткой открывающаго истину. Но этого мало. Самокопаніе ставило Павла Ивановича въ собственныхъ глазахъ на довольно почтенную высоту. Онъ мучился—и гордился тѣмъ, что мучается...

Припомнились „забытыя слова", заблистали, освѣтили душу своимъ блескомъ, и въ душѣ зажгли „стыдъ", жгучій стыдъ за свои грѣхи, вольные и невольные. Этотъ стыдъ тоже показался Павлу Ивановичу несомнѣннымъ признакомъ внутренняго благородства его души.

— Я прошлаго не забылъ. Я отъ него не открещиваюсь. Чорту душу я не продалъ, огонь живой сохранилъ. Если бы продалъ душу, то ничего бы теперь не чувствовалъ, и ушелъ бы себѣ въ келью подъ елью, да и жилъ бы тамъ. Въ жизни есть болѣе высокія радости и наслажденія, чѣмъ винтъ, выпивка и тузиковскій кружокъ.

Бывали моменты, когда Павлу Ивановичу казалось, что въ немъ запасъ нравственной силы весьма великъ: онъ все броситъ, — и департаментъ, и столицу, и своихъ сытно живущихъ и безгрѣшно разсуждающихъ друзей,—и уѣдетъ куда-нибудь въ глушь, поступитъ въ агрономическіе смотрителя, на службу земству, будетъ устраивать опытныя поля, вводить особыя системы земледѣлія и лѣсоводства, пропагандировать фосфориты и усовершенствованныя молотилки и вѣялки, будетъ распространять просвѣщеніе, знанія, пониманіе, будетъ служить свѣтлому и живому общественному настроенію, бороться за право и законность... Отчего онъ этого раньше не дѣлалъ? Чѣмъ прельстила его столица? Чѣмъ подкупилъ департаментъ?

Павелъ Ивановичъ отлично помнилъ, какъ онъ боялся ѣхать въ провинцію, въ глушь. „Тамъ тина, тамъ не живутъ, а спятъ, тамъ нѣтъ живыхъ людей". Вотъ ради живыхъ людей онъ и остался въ столицѣ. „Вѣдь здѣсь ихъ такъ много..." Провинція засосетъ,—думалось ему тогда,—столица не дастъ утерять „духа жива"...

Благодаря такому разсужденію, онъ даже свою спеціальность

отложилъ въ сторону. „На время“, думалъ онъ. А вышло, что на довольно-таки продолжительное время...

И что всего хуже, такъ это то, что и въ столицѣ живыхъ людей оказалось не очень много.

Послѣ такого признанія Павелъ Ивановичъ пересталъ искать случая повинтить.

День экзаменовъ близился. Тузиковъ неоднократно заявлялъ, что всѣ его науки живо повыползли изъ архивовъ, лишь только онъ перелисталъ лекціи. Это было не совсѣмъ справедливо, но очень шло къ его изящной фигурѣ. Впрочемъ, мертвыя тѣни, вызванныя литографированными записками, словно волшебной книгой, нарушили и его покой. Но Тузиковъ имъ не поддался. Какъ таинственный ѣздокъ въ извѣстной балладѣ Зейдлица, онъ собрался съ силами, и билъ и гналъ эти тѣни сарказмомъ, смѣхомъ, снисходительнымъ презрѣніемъ, глумленіемъ и, случалось, проклятіемъ... Но къ экзамену онъ былъ готовъ. Его начальникъ отдѣленія слѣдовалъ примѣру Лохматова и говорилъ, что не боится никакихъ профессоровъ: имъ ли его учить? Онъ еще ихъ поучитъ. Бывшій естественникъ, нынѣ столоначальникъ, какъ-то острилъ на вечерѣ у Тузиковыхъ, что передъ всякимъ экзаменомъ онъ чувствуетъ себя заряженной лейденской банкой, которая моментально разрядится тутъ же, на экзаменѣ, отъ прикосновенія профессора: „разрядился моментально—и опять такъ легко-легко, потому что сразу всѣ знанія ушли,—все позабылось въ одну минуту“. Павелъ Ивановичъ слушалъ все это и едва сдерживалъ въ себѣ порывы злости и, какъ казалось ему, даже ненависти къ этимъ людямъ.

— Ин-тел-лигенція! И это интеллигенція?! И они еще смѣютъ такъ себя величать! Хамы! Холуи! Чистая публика, только и всего! Ни одинъ мужикъ не отважится похвастать и поострить надъ тѣмъ, что онъ разучился читать и писать. А эти? О, это дѣйствительно лейденскія банки! А тоже иной разъ о конституціи разсуждаютъ, даже революціонеровъ съ опаской и шепоткомъ похваливаютъ, даже апплодируютъ имъ при закрытыхъ дверяхъ, какъ бы кто не услышалъ. А чѣмъ отличаются эти ихъ рукоплесканія отъ тѣхъ, которыми они награждаютъ какого-нибудь Фигнера, или другую крикливую россійскую муху-поденку?—Да они этого и сами не знаютъ и не понимаютъ. Ничѣмъ не отличаются...

Павелъ Ивановичъ чувствовалъ величайшее облегченіе души и неизъяснимое наслажденіе въ тѣ минуты, когда онъ на всѣ лады стругивалъ россійскую „полу-почтенную полу-интеллигенцію“. Въ концѣ концовъ онъ пересталъ ходить къ Тузикову.

„Мы съ нимъ разошлись, говорилъ онъ самъ себѣ. Что въ насъ теперь общаго?“ Онъ дифференцировалъ, интегрировалъ,

возился съ нѣмецкими фоліантами, каждый въ тысячу страницъ, по той или иной спеціальности. Онъ даже и обстановочку свою передѣлалъ по новому. Въ его кабинетѣ появился новый книжный шкафъ, а въ шкафу—новые „прогрессивные“ газеты и журналы. Книги и журналы были подобраны особымъ способомъ, по особому ученому плану. На письменномъ столѣ Павла Ивановича появились цѣлые вороха бумагъ не-канцелярскаго происхожденія, придавшія всему кабинету, по мнѣнію Павла Ивановича, удивительно ученый видъ и художественно-уютный безпорядокъ. Въ довершеніе всего, завелось въ квартирѣ и „кое-что болѣе существенное“, а именно—два или три запрещенныя стихотворенія извѣстнаго сановнаго остряка—и три гектографированныхъ студенческихъ прокламаціи. Павелъ Ивановичъ всѣмъ нутромъ чувствовалъ, какъ пріятно трепещутъ его интеллигентскіе нервы отъ одного сознанія, что въ это самое уютное гнѣздышко вдругъ „можетъ вторгнуться“ черноморская полицейская эскадра и побѣдоносно отыскать здѣсь революцію. Въ этой политической дрожи было такъ много пикантнаго... Одно было плохо,—прежнихъ товарищей, тѣхъ самыхъ, съ которыми онъ насчетъ разныхъ „измовъ“ споры когда-то велъ,—тутъ же подъ бокомъ не было. Многіе изъ нихъ были далеко-далеко, а на тѣхъ, которые тутъ же остались, — и смотрѣть какъ-то противно стало... Когда Павелъ Ивановичъ уходилъ въ свой кабинетъ и тамъ затворялся, ему казалось, что вотъ онъ отрѣшился отъ всего петербургскаго и живетъ тою, прежнею жизнью; онъ не столоначальникъ такого-то департамента,—онъ студентъ Петровско-Разумовской академіи, готовящійся къ экзамену. Павелъ Ивановичъ переживалъ даже экзаменаціонный трепетъ былыхъ временъ. Онъ воображалъ себѣ того или иного профессора, припоминалъ о немъ разсказы товарищей, какіе вопросы этотъ профессоръ „любитъ“, на что преимущественно обращаетъ вниманіе...

Въ первые дни работы Павлу Ивановичу казалось, что изъза этихъ лекцій на него смотритъ нѣкто, — молодой, свѣжій, полный вѣры въ себя и людей, проникнутый высокими стремленіями и мечтами приносить пользу людямъ. Теперь Павлу Ивановичу казалось внѣ всякихъ сомнѣній, что прежній онъ и нынѣшній онъ—тождественны; если что ихъ обоихъ и различаетъ, такъ это родъ занятій и связанная съ нимъ разница въ доходахъ, да въ объемахъ живота .. И только...

Но стоитъ захотѣть, — и это различіе рушится. А Павелъ Ивановичъ уже захотѣлъ. Ожили прежнія знанія, воскресли былыя тѣни, воскресъ и онъ самъ.

— Брошу все! Уѣду! Возьмусь за живое и полезное дѣло! Такъ жить не могу и не хочу!..

Онъ явился въ университетъ на экзаменъ, что называется,

во всеоружіи. Въ обширномъ корридорѣ, уставленномъ шкафами и витринами, его встрѣтилъ Лохматовъ. Онъ почему-то сіялъ. Онъ встрѣтилъ Павла Ивановича какъ ни въ чемъ не бывало и съ жаромъ трясъ его руку.

— Батенька! Взгляните на этотъ корридоръ! Не таковъ какъ въ вашей бывшей академіи! Перспектива-то какая! Чудо! Всѣ линіи сходятся на горизонтѣ къ одной точкѣ... А знаете, кто тамъ стоитъ? Инспекторъ! Бѣгу здороваться.

— Это прообразъ всей русской дѣйствительности!—улыбаясь воскликнулъ ему вслѣдъ Павелъ Ивановичъ. Онъ былъ очень доволенъ своей „политической“ остротою. Отъ нея пахнуло на него, какъ ему тогда казалось, чѣмъ-то свѣжимъ и молодымъ.

Къ Павлу Ивановичу подошелъ Тузиковъ. Онъ былъ величавъ и изященъ. Университетскій жетонъ висѣлъ въ петличкѣ сюртука, который, какъ лайковый чехолъ, обхватывалъ закругленное брюшко.

— Не вѣетъ ли на васъ отъ этого корридора чѣмъ-то особеннымъ? сентиментально заговорилъ Тузиковъ. Не оживаютъ ли старыя тѣни? Да, батенька, теперь мы не тѣ, какими бѣгали здѣсь десять лѣтъ тому назадъ, по этому корридору!..

Павла Ивановича отъ этихъ словъ покоробило.

— Отчего же не тѣ? холодно спросилъ онъ.

— А оттого, продолжалъ Тузиковъ, что сущность той, прежней жизни заключалась въ „иллюзіяхъ“, ни въ чемъ другомъ. А всѣ иллюзіи вредны. Жизнь и выбила ихъ разъ навсегда, и что было, то не ворочается вновь... Да, пожалуй, и славу Богу!.. Молодость одну жалко...

И онъ провелъ изящною рукою съ длинными пальцами по своему брюшку.

— Отчего же не ворочается? продолжалъ настаивать Павелъ Ивановичъ. Ему почему-то казалось, что не Тузиковъ говорилъ эти слова самоутѣшенія, а... онъ самъ.

— Батень-ка-а-а! наставительно сказалъ Тузиковъ. Нужно дѣло, а не иллюзіи. Кто понимаетъ и любитъ дѣло, тотъ не станетъ надѣяться на низы. Тотъ будетъ вверхъ смотрѣть,— потому что, какъ ни какъ, а у насъ въ Россіи, — именно верхъ и есть настоящій источникъ всякой жизни. Мы люди положительные, и каждый при дѣлѣ. Неужели васъ могутъ прельстить блажь, настроенія и заблужденія молодости? Помните, какъ во времена нашей молодости мы все орали на разные голоса: „народъ“ „народъ“! Экій конфузъ! Я кляну ихъ, эти зеленыя заблужденія!..

Эти слова Тузикова произвели на Павла Ивановича самое удручающее впечатлѣніе.

— Чортъ знаетъ, что такое! воскликнулъ онъ про себя. Бур-

жуй! Департаментскій буржуй! Казенный либералъ! Слушать противно! Не могу, не могу больше...

Павелъ Ивановичъ рѣзко повернулся спиной къ Тузикову и зашагалъ по корридору.

Прямо на него угрюмо надвигался Маховъ. Мрачный дѣтина былъ мрачнѣе обыкновеннаго и смотрѣлъ изъ-подлобья, словно затравленный звѣрь.

— Вы зачѣмъ здѣсь?! удивился Тузиковъ. Смотрите, по вашему обѣщанію, провалитесь сквозь землю!

Маховъ засмѣялся и изобразилъ на лицѣ: „Мало ли что говорится въ товарищеской компаніи".

Маховъ пришелъ на экзаменъ одинъ изъ первыхъ.

Мимо нихъ, по корридору шли, направляясь по разнымъ аудиторіямъ, толпы экзаменующихся. Это былъ народъ крайне разнопёрстный. Были тутъ молодые, желтые, озлобленные субъекты, на лицахъ у которыхъ написано: „чортъ бы васъ всѣхъ побралъ"; попадались и очень почтенные, солидно-благообразные господа, иные даже внушительно величавые. Бывшіе правовѣды и лицеисты поражали своею изысканностью и способностью постигать государственныя нужды съ самаго момента своего рожденія, безъ всякаго труда со своей стороны, что было написано у многихъ на лицѣ. У иныхъ были и ордена. Старые товарищи встрѣчались, восклицали, радовались и осматривали другъ друга, вопрошая глазами: „ты изъ какихъ нынѣ будешь"?

— Постарѣли, Иванъ Ивановичъ!

— Что-жъ подѣлаешь! Дѣла много!

— А вамъ далеко до директора?

— А вотъ подождите!

— Что вы такой блѣдный сегодня? Неужели подготовлялись къ экзамену?

— Ахъ, батенька, не говорите! Вчера въ четыре часа утра изъ Благородки пришелъ!..

Другіе удивлялись:

— Вы!... Красный! Въ вицъ-мундирѣ!... Голубчикъ, вотъ не ожидалъ!

— Что подѣлаешь! конфузился и отшучивался „голубчикъ". Жена, дѣти, дрова, свѣчи, семеро котятъ и всѣ ѣсть хотятъ...

Павелъ Ивановичъ даже сплюнулъ, услышавъ это вульгарное изреченіе. Глаза его напряженно искали старыхъ товарищей. Живутъ ли въ нихъ прежнія иллюзіи? Павелъ Ивановичъ страстно желалъ увидѣть хоть одного такого человѣка и сказать ему, что въ немъ-то, Павлѣ Ивановичѣ, эти иллюзіи ей богу-же живутъ. И даже живехоньки. И даже всю душу измучали... И не со вчерашняго дня живутъ, а ужъ съ недѣлю. Въ толпѣ улыбающихся самодовольныхъ и самонадѣянныхъ лицъ, на которыхъ отража-

лось одно безпокойство—„какъ бы ихъ безграничное невѣжество не унизило ихъ безграничнаго самомнѣнія“, — въ толпѣ такихъ лицъ, правда, иногда мелькали и иныя физіономіи, смотрѣвшія „буками“, чуждыя всему окружающему. Кто эти? И какія иллюзіи въ нихъ живутъ?..

Но и среди этихъ „букъ“ прежніе друзья—красные что-то не встрѣчались. Очевидно, они просто на просто на провѣрочныя испытанія вовсе не пришли. А какъ бы съ ними пріятно было встрѣтиться!

— Брошу службу! Уѣду! Вѣдь есть еще во мнѣ огонекъ! говорилъ самъ себѣ Павелъ Ивановичъ. Но въ душѣ происходило нѣчто странное. Онъ какъ будто не вѣрилъ самому себѣ. Что это за „вѣдь“? Откуда въ немъ это сомнѣніе? Индуцировано этою толпою? Рефлексъ подражанія? Или ужъ онъ дѣйствительно ослабъ?

— Здравствуйте, Васютинъ! Какимъ вы нынче франтомъ стали! раздался около него иронической голосъ.

— Бѣлявскій! Ты ли это?!—Павелъ Ивановичъ былъ въ восторгѣ, что встрѣтилъ своего бывшаго однокурсника и даже сожителя, когда-то столь родного „по духу“... Они заговорили и разговорились. Павла Ивановича словно прорвало. Онъ сталъ разсказывать о себѣ, о своемъ житьѣ, о своей службѣ, которую онъ намѣренъ бросить, о своихъ дѣтяхъ, еще о чемъ-то, тоже своемъ. Въ концѣ онъ спросилъ у Бѣлявскаго, что тотъ подѣлываетъ. Бѣлявскій сказалъ о своихъ работахъ, о непріятностяхъ, которыя онъ испыталъ, о путешествіяхъ, имъ совершенныхъ на казенный счетъ, о работахъ оконченныхъ и неоконченныхъ...

Павелъ Ивановичъ старался слушать прежняго друга очень внимательно. Но это почему-то не выходило. Какъ-то странно звучали въ ушахъ Павла Ивановича слова Бѣлявскаго. „Злобы-то, злобы въ немъ сколько!“ думалъ онъ. Пылаетъ человѣкъ, негодуетъ. Борецъ, ей богу борецъ!“ И въ то же мгновеніе въ головѣ Павла Ивановича мелькала мысль: „какъ хорошо, что меня-то, меня жизнь такъ не озлобила. Вѣдь сколько бы страданій изъ-за этого мнѣ пришлось перенести!“ Въ концѣ концовъ слушать длинный разсказъ Бѣлявскаго о его мытарствахъ стало невыразимо скучно. Павлу Ивановичу больше хотѣлось разсказывать о себѣ, о своемъ нынѣшнемъ настроеніи. Ему очень хотѣлось, чтобы Бѣлявскій узналъ это новое его настроеніе, этотъ рецидивъ юности и тѣхъ, прежнихъ, настроеній и идей—узналъ и оцѣнилъ... Но разговоръ какъ-то не клеился... Оба собесѣдника чувствовали, что больше какъ будто имъ и говорить не о чемъ. У Павла Ивановича не вязались слова. Бѣлявскій молчалъ. Прежніе друзья и товарищи посмотрѣли другъ на друга и—пошли въ разныя стороны, по разнымъ аудиторіямъ.

Павелъ Ивановичъ почувствовалъ, что внутри него что-то дрогнуло и оборвалось... „Этотъ господинъ до сихъ поръ, кажется, ничего знать не хочетъ, кромѣ своихъ иллюзій,—у него идеи, идеи, а на отдѣльнаго человѣка, будь то хоть товарищъ старый, и смотрѣть молъ нечего!“ промелькнуло въ головѣ Павла Ивановича, и расположеніе къ Бѣлявскому вдругъ растаяло...

Экзаменъ уже начался. Экзаменовали обстоятельно, но не по долгу: требовалось знать самое существенное. Знанія и незнанія проявлялись съ блескомъ. Для всѣхъ было очевидно, что у экзаменующихся больше благообразія, чѣмъ знаній. Впрочемъ, нерѣдко не было ни того, ни другого. Экзаменующіеся отвѣчали увѣренно и съ сознаніемъ собственнаго достоинства, и даже ерунду говорили съ полнымъ убѣжденіемъ и авторитетно. При этомъ ссылались на личный опытъ, до котораго наука, разумѣется, не дошла и дойдетъ не скоро. Одинъ господинъ, отвѣчая по дендрологіи, не столько говорилъ о ростѣ деревьевъ, сколько о сугубой полезности для Россіи дремучаго лѣса, который не мѣшаетъ насаждать и насаждать повсюду. Были и такіе, что опредѣляли разновидности березы (Betula alba) не по системѣ Декандоля, а по „Положенію о земскихъ начальникахъ“. Многіе смѣшивали сѣмя и плодъ... Кто-то даже разсердился, стараясь авторитетно увѣрить господина профессора, что для правильнаго дѣйствія желудка не только развитіе мозга, но и самое существованіе его—необязательно. Старые профессора, почтенные, украшенные сѣдинами люди, хмурились и сокрушенно покачивали головами, изъ всѣхъ силъ стараясь быть вѣжливыми.

Но и покачиваніе головой многимъ казалось обидой.

Павелъ Ивановичъ былъ одинъ изъ немногочисленныхъ представителей канцелярской интеллигенціи, которые удивили міръ богатымъ запасомъ знаній, ни разу ими не примѣненныхъ. И было чему удивляться: хранить большой запасъ, никогда не примѣняя, быть можетъ, даже труднѣе, чѣмъ эти знанія примѣнять.

Павелъ Ивановичъ остался очень доволенъ разультатами своего экзамена. Онъ не ударилъ лицомъ въ грязь, и сознаніе этого заглушило многія непріятныя чувства, безпокоившія его нутро.

Онъ пришелъ домой рано, облачился въ шелковый халатъ и, развалившись на мягкой кушеткѣ, ждалъ, когда жена принесетъ ему кофе и завтракъ.

Павелъ Ивановичъ чувствовалъ въ себѣ прежде всего сладостное утомленіе, какъ бы нѣжную истому, и вмѣстѣ съ тѣмъ какое-то елейное благодушіе, какое испытываетъ человѣкъ, совершивъ подвигъ.

Сознаніе совершеннаго подвига поглотило всѣ другія чувства.

И правда, развѣ онъ не подвигъ совершилъ? Онъ самъ себѣ удивляется, къ какому подъему духа онъ способенъ. Почувствовать въ себѣ такой приливъ жизни, одолѣть такую махину лекцій,—это не шутка!

— Нѣтъ! Я не утерялъ огонька! Я чувствую, какъ я молодѣю! Завтра же бросаю эту проклятую канцелярію. Завтра подаю прошеніе объ отставкѣ! Не умру же я съ голоду, чортъ возьми! Проживу кое-какъ... и дѣтей воспитаю...

Онъ протянулъ ноги поудобнѣе, запахнулъ халатъ, откинулъ голову. Глаза заволокло туманомъ. Въ этомъ туманѣ проплыла передъ нимъ, описавъ параболу, стройная формула три-фенилъ-метанъ-карбоновой кислоты, за нею биномъ Ньютона, за этимъ еще что-то. Тамъ выступилъ профессоръ съ мѣлкомъ въ рукѣ, директоръ Академіи, товарищи, Бѣлявскій, головка дѣвушки, склонившейся надъ объясненіемъ тангенса-буссоли; наконецъ Павелъ Ивановичъ увидѣлъ и самого себя въ коричневой блузѣ съ пятнами отъ сѣрной кислоты; онъ, Бѣлявскій и дѣвушка какъ-то очутились на Воробьевыхъ горахъ; сидя на травѣ, они пьютъ дешевое красное вино за окончаніе курса и желаютъ другъ другу „широкой плодотворной дѣятельности“. Хорошо чувствуетъ себя Павелъ Ивановичъ! Онъ летитъ куда-то вверхъ, выше, выше, еще выше. Дѣвушка кладетъ ему на плечо руку. Настроеніе такое бодрое, молодое, воинственное! Дышится хорошо, перспективы будущаго ясны и опредѣленны! Жажда дѣятельности и борьбы положительно распираетъ грудь... Ахъ, какъ хорошо жить! Скорѣе, скорѣе за работу! Никакія препятствія не страшны... Хотя бы пришлось биться лбомъ о стѣну!. А Воробьевы горы такъ и блестятъ на солнцѣ. Зелень, цвѣты, птицы, и рядомъ—*она*, такая веселая, жизнерадостная, и съ такимъ же бодрымъ, боевымъ настроеніемъ.. Жить! жить! жить!..

— Ну что тамъ еще? Что такое?

Павелъ Ивановичъ чувствуетъ, что его кто-то толкаетъ.

Онъ нехотя и съ большимъ трудомъ открываетъ глаза.

Изъ тумана, надъ нимъ склонилась голова жены со встрепаннымъ вихромъ.

— Душечка! Поль! Душечка!

Павелъ Ивановичъ приподнялся.

— Душечка! Ты забылъ, которое сегодня число.

— Оставьте меня въ покоѣ! огрызнулся онъ женѣ.

Павелъ Ивановичъ снова хотѣлъ было погрузиться въ море тумана и побыть въ этомъ туманѣ хотя часокъ, хоть минутку, хоть одно мгновеніе...

— Душечка! Тебя хочетъ видѣть старшій дворникъ. Онъ ожи-

даетъ за квартиру. Сходи, мой другъ, на службу... Душечка, ты забылъ, которое сегодня число.

Марья Сергѣевна осторожно толкала мужа въ плечо и при этомъ для большей граціозности сильно раскачивалась своимъ округленнымъ станомъ. Павелъ Ивановичъ опять раскрылъ глаза и сталъ ими искать календаря. Взглянувъ на календарь, онъ приподнялся, спустилъ ноги, сладко потянулся и, махнувъ руками такимъ образомъ, какъ будто желая отогнать какую-то докучную муху, сбросилъ халатъ и сталъ одѣвать сюртукъ. Одѣваясь, онъ зѣвнулъ еще разъ, широко и смачно.

Календарь показывалъ двадцатое число.

Павелъ Ивановичъ посмотрѣлъ на календарь, какъ будто бы о чемъ-то на мгновеніе задумался, затѣмъ надѣлъ шляпу и отправился по назначенію.

* * *

Черезъ два мѣсяца, въ той же самой комнатѣ, на томъ же самомъ диванѣ, передъ отправленіемъ на службу, сидѣлъ Павелъ Ивановичъ и читалъ послѣдній нумеръ ежедневной газеты „Регламентированный обыватель“. Передовица почтенной газеты гласила:

„Повторительныя испытанія для лицъ, окончившихъ курсъ въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, только-что окончены. Подвергалось испытанію по предметамъ этихъ заведеній 449 человѣкъ, получили удовлетворительные отзывы 140 и, кромѣ того, 26 отвѣчали болѣе чѣмъ удовлетворительно. (Слѣдуетъ подробная статистика). Изъ этого видно, что результаты экзаменовъ блестящіе; цифры, выше приведенныя, показываютъ, что наше высшее образованіе совсѣмъ ужъ не такъ вліяетъ на столичную и чиновную интеллигенцію, какъ это говорятъ господа либералы. Это фактъ отрадный. Прежде мы имѣли случай неоднократно доказывать на страницахъ нашей газеты вредоносность для Россіи высшаго образованія, безъ котораго лично мы обходимся превосходно и служимъ истинѣ какъ слѣдуетъ по чину, хотя и не такъ горячо, какъ господа либералы, а особенно же радикалы. По нашему глубокому убѣжденію, увлекать за собою молодежь, — это значитъ совершать непростительное, неслыханное преступленіе передъ народомъ, передъ отечествомъ, передъ престоломъ, передъ Всевышнимъ. Теперь мы измѣняемъ наше мнѣніе о вредѣ высшаго образованія и громко подаемъ нашъ трезвый голосъ за основаніе университета на Новой Землѣ. Итакъ, да здравствуетъ высшее образованіе! Къ сожалѣнію, не совсѣмъ удовлетворительные результаты дали испытанія по греческому и латинскому языку. Изъ всѣхъ экзаменовавшихся умѣли бѣгло читать вслухъ по-гречески 51, удовлетворительно перево-

дили съ греческаго и латинскаго—10, недурно писали экстемпоріалiа—2. Изъ этого слѣдуетъ, что преподаваніе этихъ языковъ поставлено въ нашихъ гимназіяхъ въ высшей степени неудовлетворительно. На это необходимо обратить самое серьезное вниманіе. Во всякомъ случаѣ, мы подаемъ нашъ голосъ за усиленіе преподаванія этихъ языковъ въ среднеучебныхъ заведеніяхъ".

Павелъ Ивановичъ прочелъ эту замѣтку и остался очень доволенъ. Первая мысль, которая промелькнула въ его головѣ, была:

— Я—одинъ изъ этихъ двадцати шести!...

Онъ поднялся съ кушетки и вдругъ... увидѣлъ на стулѣ, у письменнаго стола, груду литографированныхъ лекцій.

Онъ любовно взглянулъ на нихъ, положилъ ихъ на столъ, перевязалъ веревочкой и, вмѣстѣ съ воспоминаніями, которыя были распластаны на этихъ пожелтѣвшихъ страницахъ, бережно и любовно водворилъ на нижнюю полку массивнаго книжнаго шкафа.

III

Два колеса.

Разсказъ объ одиночномъ заключеніи.

Статистика есть наука о соціальныхъ фактахъ, выраженныхъ цифрами.

(Изъ стараго учебника).

I.

Образцовая одиночная тюрьма Пре-о-Бонеръ (Pré-aux-Bonheurs) расположена въ живописной и плодородной долинѣ Арденнъ. Разсматриваемая сверху, съ высоты окрестныхъ горъ, ея кирпичная громада представляетъ массивный крестъ, лежащій на землѣ. Четыре корпуса съ сотнями оконъ сходятся къ одному центру и своими стѣнами окружаютъ квадратный тюремный дворъ. Фасадъ тюрьмы, съ зубчатыми башнями, готическими сводами, желѣзными рѣшетками и дверями, оживляетъ въ воспоминаніи средніе вѣка. Но средневѣковая внѣшность дерзко обманываетъ: зритель, который только что вступитъ за тюремный порогъ, тотчасъ же открываетъ обманъ. Входъ въ тюрьму, корридоры и казематы освѣщаются электрическими лампочками Эдисона. По стѣнамъ извиваются и бѣгутъ проволоки телефоновъ, телеграфовъ и электрическихъ звонковъ. Здѣсь и тамъ пышутъ жаромъ трубы парового отопленія, а вентиляторы-монстры вертятся, журча и звеня. Издали этотъ шумъ напоминаетъ журчаніе ручейка. Никакіе другіе звуки не нарушаютъ тишины обширнаго корридора, который, какъ разсѣлина скалы, какъ пропасть, разсѣкаетъ вдоль каждый корпусъ зданія, отъ пятаго, верхняго этажа до послѣдняго, нижняго, отдѣляя правую стѣну отъ лѣвой.

отложилъ въ сторону. „На время“, думалъ онъ. А вышло, что на довольно-таки продолжительное время...

И что всего хуже, такъ это то, что и въ столицѣ живыхъ людей оказалось не очень много.

Послѣ такого признанія Павелъ Ивановичъ пересталъ искать случая повинтить.

День экзаменовъ близился. Тузиковъ неоднократно заявлялъ, что всѣ его науки живо повыползли изъ архивовъ, лишь только онъ перелисталъ лекціи. Это было не совсѣмъ справедливо, но очень шло къ его изящной фигурѣ. Впрочемъ, мертвыя тѣни, вызванныя литографированными записками, словно волшебной книгой, нарушили и его покой. Но Тузиковъ имъ не поддался. Какъ таинственный ѣздокъ въ извѣстной балладѣ Зейдлица, онъ собрался съ силами, и билъ и гналъ эти тѣни сарказмомъ, смѣхомъ, снисходительнымъ презрѣніемъ, глумленіемъ и, случалось, проклятіемъ... Но къ экзамену онъ былъ готовъ. Его начальникъ отдѣленія слѣдовалъ примѣру Лохматова и говорилъ, что не боится никакихъ профессоровъ: имъ ли его учить? Онъ еще ихъ поучитъ. Бывшій естественникъ, нынѣ столоначальникъ, какъ-то острилъ на вечерѣ у Тузиковыхъ, что передъ всякимъ экзаменомъ онъ чувствуетъ себя заряженной лейденской банкой, которая моментально разрядится тутъ же, на экзаменѣ, отъ прикосновенія профессора: „разрядился моментально—и опять такъ легко-легко, потому что сразу всѣ знанія ушли,—все позабылось въ одну минуту“. Павелъ Ивановичъ слушалъ все это и едва сдерживалъ въ себѣ порывы злости и, какъ казалось ему, даже ненависти къ этимъ людямъ.

— Ин-тел-лигенція! И это интеллигенція?! И они еще смѣютъ такъ себя величать! Хамы! Холуи! Чистая публика, только и всего! Ни одинъ мужикъ не отважится похвастать и поострить надъ тѣмъ, что онъ разучился читать и писать. А эти? О, это дѣйствительно лейденскія банки! А тоже иной разъ о конституціи разсуждаютъ, даже революціонеровъ съ опаской и шепоткомъ похваливаютъ, даже апплодируютъ имъ при закрытыхъ дверяхъ, какъ бы кто не услышалъ. А чѣмъ отличаются эти ихъ рукоплесканія отъ тѣхъ, которыми они награждаютъ какого-нибудь Фигнера, или другую крикливую россійскую муху-поденку?—Да они этого и сами не знаютъ и не понимаютъ. Ничѣмъ не отличаются...

Павелъ Ивановичъ чувствовалъ величайшее облегченіе души и неизъяснимое наслажденіе въ тѣ минуты, когда онъ на всѣ лады стругивалъ россійскую „полу-почтенную полу-интеллигенцію“. Въ концѣ концовъ онъ пересталъ ходить къ Тузикову.

„Мы съ нимъ разошлись, говорилъ онъ самъ себѣ. Что въ насъ теперь общаго?“ Онъ дифференцировалъ, интегрировалъ,

возился съ нѣмецкими фоліантами, каждый въ тысячу страницъ, по той или иной спеціальности. Онъ даже и обстановочку свою передѣлалъ по новому. Въ его кабинетѣ появился новый книжный шкафъ, а въ шкафу—новые „прогрессивные“ газеты и журналы. Книги и журналы были подобраны особымъ способомъ, по особому ученому плану. На письменномъ столѣ Павла Ивановича появились цѣлые вороха бумагъ не-канцелярскаго происхожденія, придавшія всему кабинету, по мнѣнію Павла Ивановича, удивительно ученый видъ и художественно-уютный безпорядокъ. Въ довершеніе всего, завелось въ квартирѣ и „кое-что болѣе существенное“, а именно—два или три запрещенныя стихотворенія извѣстнаго сановнаго остряка—и три гектографированныхъ студенческихъ прокламаціи. Павелъ Ивановичъ всѣмъ нутромъ чувствовалъ, какъ пріятно трепещутъ его интеллигентскіе нервы отъ одного сознанія, что въ это самое уютное гнѣздышко вдругъ „можетъ вторгнуться“ черноморская полицейская эскадра и побѣдоносно отыскать здѣсь революцію. Въ этой политической дрожи было такъ много пикантнаго... Одно было плохо,—прежнихъ товарищей, тѣхъ самыхъ, съ которыми онъ насчетъ разныхъ „измовъ“ споры когда-то велъ,—тутъ же подъ бокомъ не было. Многіе изъ нихъ были далеко-далеко, а на тѣхъ, которые тутъ-же остались, — и смотрѣть какъ-то противно стало... Когда Павелъ Ивановичъ уходилъ въ свой кабинетъ и тамъ затворялся, ему казалось, что вотъ онъ отрѣшился отъ всего петербургскаго и живетъ тою, прежнею жизнью; онъ не столоначальникъ такого-то департамента,—онъ студентъ Петровско-Разумовской академіи, готовящійся къ экзамену. Павелъ Ивановичъ переживалъ даже экзаменаціонный трепетъ былыхъ временъ. Онъ воображалъ себѣ того или иного профессора, припоминалъ о немъ разсказы товарищей, какіе вопросы этотъ профессоръ „любитъ“, на что преимущественно обращаетъ вниманіе...

Въ первые дни работы Павлу Ивановичу казалось, что изъза этихъ лекцій на него смотритъ нѣкто, — молодой, свѣжій, полный вѣры въ себя и людей, проникнутый высокими стремленіями и мечтами приносить пользу людямъ. Теперь Павлу Ивановичу казалось внѣ всякихъ сомнѣній, что прежній онъ и нынѣшній онъ—тождественны; если что ихъ обоихъ и различаетъ, такъ это родъ занятій и связанная съ нимъ разница въ доходахъ, да въ объемахъ живота .. И только...

Но стоитъ захотѣть, — и это различіе рушится. А Павелъ Ивановичъ уже захотѣлъ. Ожили прежнія знанія, воскресли былыя тѣни, воскресъ и онъ самъ.

— Брошу все! Уѣду! Возьмусь за живое и полезное дѣло! Такъ жить не могу и не хочу!..

Онъ явился въ университетъ на экзаменъ, что называется,

во всеоружіи. Въ обширномъ корридорѣ, уставленномъ шкафами и витринами, его встрѣтилъ Лохматовъ. Онъ почему-то сіялъ. Онъ встрѣтилъ Павла Ивановича какъ ни въ чемъ не бывало и съ жаромъ трясъ его руку.

— Батенька! Взгляните на этотъ корридоръ! Не таковъ какъ въ вашей бывшей академіи! Перспектива-то какая! Чудо! Всѣ линіи сходятся на горизонтѣ къ одной точкѣ... А знаете, кто тамъ стоитъ? Инспекторъ! Бѣгу здороваться.

— Это прообразъ всей русской дѣйствительности!—улыбаясь воскликнулъ ему вслѣдъ Павелъ Ивановичъ. Онъ былъ очень доволенъ своей „политической“ остротою. Отъ нея пахнуло на него, какъ ему тогда казалось, чѣмъ-то свѣжимъ и молодымъ.

Къ Павлу Ивановичу подошелъ Тузиковъ. Онъ былъ величавъ и изященъ. Университетскій жетонъ висѣлъ въ петличкѣ сюртука, который, какъ лайковый чехолъ, обхватывалъ закругленное брюшко.

— Не вѣетъ ли на васъ отъ этого корридора чѣмъ-то особеннымъ? сентиментально заговорилъ Тузиковъ. Не оживаютъ ли старыя тѣни? Да, батенька, теперь мы не тѣ, какими бѣгали здѣсь десять лѣтъ тому назадъ, по этому корридору!..

Павла Ивановича отъ этихъ словъ покоробило.

— Отчего же не тѣ? холодно спросилъ онъ.

— А оттого, продолжалъ Тузиковъ, что сущность той, прежней жизни заключалась въ „иллюзіяхъ“, ни въ чемъ другомъ. А всѣ иллюзіи вредны. Жизнь и выбила ихъ разъ навсегда, и что было, то не ворочается вновь... Да, пожалуй, и славу Богу!.. Молодость одну жалко...

И онъ провелъ изящною рукою съ длинными пальцами по своему брюшку.

— Отчего же не ворочается? продолжалъ настаивать Павелъ Ивановичъ. Ему почему-то казалось, что не Тузиковъ говорилъ эти слова самоутѣшенія, а... онъ самъ.

— Батень-ка-а-а! наставительно сказалъ Тузиковъ. Нужно дѣло, а не иллюзіи. Кто понимаетъ и любитъ дѣло, тотъ не станетъ надѣяться на низы. Тотъ будетъ вверхъ смотрѣть,— потому что, какъ ни какъ, а у насъ въ Россіи, — именно верхъ и есть настоящій источникъ всякой жизни. Мы люди положительные, и каждый при дѣлѣ. Неужели васъ могутъ прельстить блажь, настроенія и заблужденія молодости? Помните, какъ во времена нашей молодости мы все орали на разные голоса: „народъ“ „народъ“! Экій конфузъ! Я кляну ихъ, эти зеленыя заблужденія!..

Эти слова Тузикова произвели на Павла Ивановича самое удручающее впечатлѣніе.

— Чортъ знаетъ, что такое! воскликнулъ онъ про себя. Бур-

даетъ за квартиру. Сходи, мой другъ, на службу... Душечка, ты забылъ, которое сегодня число.

Марья Сергѣевна осторожно толкала мужа въ плечо и при этомъ для большей граціозности сильно раскачивалась своимъ округленнымъ станомъ. Павелъ Ивановичъ опять раскрылъ глаза и сталъ ими искать календаря. Взглянувъ на календарь, онъ приподнялся, спустилъ ноги, сладко потянулся и, махнувъ руками такимъ образомъ, какъ будто желая отогнать какую-то докучную муху, сбросилъ халатъ и сталъ одѣвать сюртукъ. Одѣваясь, онъ зѣвнулъ еще разъ, широко и смачно.

Календарь показывалъ двадцатое число.

Павелъ Ивановичъ посмотрѣлъ на календарь, какъ будто бы о чемъ-то на мгновеніе задумался, затѣмъ надѣлъ шляпу и отправился по назначенію.

* *
*

Черезъ два мѣсяца, въ той же самой комнатѣ, на томъ же самомъ диванѣ, передъ отправленіемъ на службу, сидѣлъ Павелъ Ивановичъ и читалъ послѣдній нумеръ ежедневной газеты „Регламентированный обыватель“. Передовица почтенной газеты гласила:

„Повторительныя испытанія для лицъ, окончившихъ курсъ въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, только-что окончены. Подвергалось испытанію по предметамъ этихъ заведеній 449 человѣкъ, получили удовлетворительные отзывы 140 и, кромѣ того, 26 отвѣчали болѣе чѣмъ удовлетворительно. (Слѣдуетъ подробная статистика). Изъ этого видно, что результаты экзаменовъ блестящіе; цифры, выше приведенныя, показываютъ, что наше высшее образованіе совсѣмъ ужъ не такъ вліяетъ на столичную и чиновную интеллигенцію, какъ это говорятъ господа либералы. Это фактъ отрадный. Прежде мы имѣли случай неоднократно доказывать на страницахъ нашей газеты вредоносность для Россіи высшаго образованія, безъ котораго лично мы обходимся превосходно и служимъ истинѣ какъ слѣдуетъ по чину, хотя и не такъ горячо, какъ господа либералы, а особенно же радикалы. По нашему глубокому убѣжденію, увлекать за собою молодежь, — это значитъ совершать непростительное, неслыханное преступленіе передъ народомъ, передъ отечествомъ, передъ престоломъ, передъ Всевышнимъ. Теперь мы измѣняемъ наше мнѣніе о вредѣ высшаго образованія и громко подаемъ нашъ трезвый голосъ за основаніе университета на Новой Землѣ. Итакъ, да здравствуетъ высшее образованіе! Къ сожалѣнію, не совсѣмъ удовлетворительные результаты дали испытанія по греческому и латинскому языку. Изъ всѣхъ экзаменовавшихся умѣли бѣгло читать вслухъ по-гречески 51, удовлетворительно перево-

лось одно безпокойство—„какъ бы ихъ безграничное невѣжество не унизило ихъ безграничнаго самомнѣнія“, — въ толпѣ такихъ лицъ, правда, иногда мелькали и иныя физіономіи, смотрѣвшія „буками“, чуждыя всему окружающему. Кто эти? И какія иллюзіи въ нихъ живутъ?..

Но и среди этихъ „букъ“ прежніе друзья—красные что-то не встрѣчались. Очевидно, они просто на просто на провѣрочныя испытанія вовсе не пришли. А какъ бы съ ними пріятно было встрѣтиться!

— Брошу службу! Уѣду! Вѣдь есть еще во мнѣ огонекъ! говорилъ самъ себѣ Павелъ Ивановичъ. Но въ душѣ происходило нѣчто странное. Онъ какъ будто не вѣрилъ самому себѣ. Что это за „вѣдь“? Откуда въ немъ это сомнѣніе? Индуцировано этою толпою? Рефлексъ подражанія? Или ужъ онъ дѣйствительно ослабъ?

— Здравствуйте, Васютинъ! Какимъ вы нынче франтомъ стали! раздался около него ироническій голосъ.

— Бѣлявскій! Ты ли это?!—Павелъ Ивановичъ былъ въ восторгѣ, что встрѣтилъ своего бывшаго однокурсника и даже сожителя, когда-то столь родного „по духу“... Они заговорили и разговорились. Павла Ивановича словно прорвало. Онъ сталъ разсказывать о себѣ, о своемъ житьѣ, о своей службѣ, которую онъ намѣренъ бросить, о своихъ дѣтяхъ, еще о чемъ-то, тоже своемъ. Въ концѣ онъ спросилъ у Бѣлявскаго, что тотъ подѣлываетъ. Бѣлявскій сказалъ о своихъ работахъ, о непріятностяхъ, которыя онъ испыталъ, о путешествіяхъ, имъ совершенныхъ на казенный счетъ, о работахъ оконченныхъ и неоконченныхъ...

Павелъ Ивановичъ старался слушать прежняго друга очень внимательно. Но это почему-то не выходило. Какъ-то странно звучали въ ушахъ Павла Ивановича слова Бѣлявскаго. „Злобы-то, злобы въ немъ сколько!“ думалъ онъ. Пылаетъ человѣкъ, негодуетъ. Борецъ, ей богу борецъ!“ И въ то же мгновеніе въ головѣ Павла Ивановича мелькала мысль: „какъ хорошо, что меня-то, меня жизнь такъ не озлобила. Вѣдь сколько бы страданій изъ-за этого мнѣ пришлось перенести!“ Въ концѣ концовъ слушать длинный разсказъ Бѣлявскаго о его мытарствахъ стало невыразимо скучно. Павлу Ивановичу больше хотѣлось разсказывать о себѣ, о своемъ нынѣшнемъ настроеніи. Ему очень хотѣлось, чтобы Бѣлявскій узналъ это новое его настроеніе, этотъ рецидивъ юности и тѣхъ, прежнихъ, настроеній и идей—узналъ и оцѣнилъ... Но разговоръ какъ-то не клеился... Оба собесѣдника чувствовали, что больше какъ будто имъ и говорить не о чемъ. У Павла Ивановича не вязались слова. Бѣлявскій молчалъ. Прежніе друзья и товарищи посмотрѣли другъ на друга и—пошли въ разныя стороны, по разнымъ аудиторіямъ.

Павелъ Ивановичъ почувствовалъ, что внутри него что-то дрогнуло и оборвалось... „Этотъ господинъ до сихъ поръ, кажется, ничего знать не хочетъ, кромѣ своихъ иллюзій,—у него идеи, идеи, а на отдѣльнаго человѣка, будь то хоть товарищъ старый, и смотрѣть молъ нечего!“ промелькнуло въ головѣ Павла Ивановича, и расположеніе къ Бѣлявскому вдругъ растаяло...

Экзаменъ уже начался. Экзаменовали обстоятельно, но не по долгу: требовалось знать самое существенное. Знанія и незнанія проявлялись съ блескомъ. Для всѣхъ было очевидно, что у экзаменующихся больше благообразія, чѣмъ знаній. Впрочемъ, нерѣдко не было ни того, ни другого. Экзаменующіеся отвѣчали увѣренно и съ сознаніемъ собственнаго достоинства, и даже ерунду говорили съ полнымъ убѣжденіемъ и авторитетно. При этомъ ссылались на личный опытъ, до котораго наука, разумѣется, не дошла и дойдетъ не скоро. Одинъ господинъ, отвѣчая по дендрологіи, не столько говорилъ о ростѣ деревьевъ, сколько о сугубой полезности для Россіи дремучаго лѣса, который не мѣшаетъ насаждать и насаждать повсюду. Были и такіе, что опредѣляли разновидности березы (Betula alba) не по системѣ Декандоля, а по „Положенію о земскихъ начальникахъ“. Многіе смѣшивали сѣмя и плодъ... Кто-то даже разсердился, стараясь авторитетно увѣрить господина профессора, что для правильнаго дѣйствія желудка не только развитіе мозга, но и самое существованіе его—необязательно. Старые профессора, почтенные, украшенные сѣдинами люди, хмурились и сокрушенно покачивали головами, изъ всѣхъ силъ стараясь быть вѣжливыми.

Но и покачиваніе головой многимъ казалось обидой.

Павелъ Ивановичъ былъ одинъ изъ немногочисленныхъ представителей канцелярской интеллигенціи, которые удивили міръ богатымъ запасомъ знаній, ни разу ими не примѣненныхъ. И было чему удивляться: хранить большой запасъ, никогда не примѣняя, быть можетъ, даже труднѣе, чѣмъ эти знанія примѣнять.

Павелъ Ивановичъ остался очень доволенъ разультатами своего экзамена. Онъ не ударилъ лицомъ въ грязь, и сознаніе этого заглушило многія непріятныя чувства, безпокоившія его нутро.

Онъ пришелъ домой рано, облачился въ шелковый халатъ и, развалившись на мягкой кушеткѣ, ждалъ, когда жена принесетъ ему кофе и завтракъ.

Павелъ Ивановичъ чувствовалъ въ себѣ прежде всего сладостное утомленіе, какъ бы нѣжную истому, и вмѣстѣ съ тѣмъ какое-то елейное благодушіе, какое испытываетъ человѣкъ, совершивъ подвигъ.

Сознаніе совершеннаго подвига поглотило всѣ другія чувства.

И правда, развѣ онъ не подвигъ совершилъ? Онъ самъ себѣ удивляется, къ какому подъему духа онъ способенъ. Почувствовать въ себѣ такой приливъ жизни, одолѣть такую махину лекцій,—это не шутка!

— Нѣтъ! Я не утерялъ огонька! Я чувствую, какъ я молодѣю! Завтра же бросаю эту проклятую канцелярію. Завтра подаю прошеніе объ отставкѣ! Не умру же я съ голоду, чортъ возьми! Проживу кое-какъ... и дѣтей воспитаю...

Онъ протянулъ ноги поудобнѣе, запахнулъ халатъ, откинулъ голову. Глаза заволокло туманомъ. Въ этомъ туманѣ проплыла передъ нимъ, описавъ параболу, стройная формула три-фенилъ-метанъ-карбоновой кислоты, за нею биномъ Ньютона, за этимъ еще что-то. Тамъ выступилъ профессоръ съ мѣлкомъ въ рукѣ, директоръ Академіи, товарищи, Бѣлявскій, головка дѣвушки, склонившейся надъ объясненіемъ тангенса-буссоли; наконецъ Павелъ Ивановичъ увидѣлъ и самого себя въ коричневой блузѣ съ пятнами отъ сѣрной кислоты; онъ, Бѣлявскій и дѣвушка какъ-то очутились на Воробьевыхъ горахъ; сидя на травѣ, они пьютъ дешевое красное вино за окончаніе курса и желаютъ другъ другу „широкой плодотворной дѣятельности“. Хорошо чувствуетъ себя Павелъ Ивановичъ! Онъ летитъ куда-то вверхъ, выше, выше, еще выше. Дѣвушка кладетъ ему на плечо руку. Настроеніе такое бодрое, молодое, воинственное! Дышится хорошо, перспективы будущаго ясны и опредѣленны! Жажда дѣятельности и борьбы положительно распираетъ грудь... Ахъ, какъ хорошо жить! Скорѣе, скорѣе за работу! Никакія препятствія не страшны... Хотя бы пришлось биться лбомъ о стѣну!. А Воробьевы горы такъ и блестятъ на солнцѣ. Зелень, цвѣты, птицы, и рядомъ—*она*, такая веселая, жизнерадостная, и съ такимъ же бодрымъ, боевымъ настроеніемъ.. Жить! жить! жить!..

— Ну что тамъ еще? Что такое?

Павелъ Ивановичъ чувствуетъ. что его кто-то толкаетъ.

Онъ нехотя и съ большимъ трудомъ открываетъ глаза.

Изъ тумана, надъ нимъ склонилась голова жены со встрепаннымъ вихромъ.

— Душечка! Поль! Душечка!

Павелъ Ивановичъ приподнялся.

— Душечка! Ты забылъ, которое сегодня число.

— Оставьте меня въ покоѣ! огрызнулся онъ женѣ.

Павелъ Ивановичъ снова хотѣлъ было погрузиться въ море тумана и побыть въ этомъ туманѣ хотя часокъ, хоть минутку, хоть одно мгновеніе...

— Душечка! Тебя хочетъ видѣть старшій дворникъ. Онъ ожи-

даетъ за квартиру. Сходи, мой другъ, на службу... Душечка, ты забылъ, которое сегодня число.

Марья Сергѣевна осторожно толкала мужа въ плечо и при этомъ для большей граціозности сильно раскачивалась своимъ округленнымъ станомъ. Павелъ Ивановичъ опять раскрылъ глаза и сталъ ими искать календаря. Взглянувъ на календарь, онъ приподнялся, спустилъ ноги, сладко потянулся и, махнувъ руками такимъ образомъ, какъ будто желая отогнать какую-то докучную муху, сбросилъ халатъ и сталъ одѣвать сюртукъ. Одѣваясь, онъ зѣвнулъ еще разъ, широко и смачно.

Календарь показывалъ двадцатое число.

Павелъ Ивановичъ посмотрѣлъ на календарь, какъ будто бы о чемъ-то на мгновеніе задумался, затѣмъ надѣлъ шляпу и отправился по назначенію.

* * *

Черезъ два мѣсяца, въ той же самой комнатѣ, на томъ же самомъ диванѣ, передъ отправленіемъ на службу, сидѣлъ Павелъ Ивановичъ и читалъ послѣдній нумеръ ежедневной газеты „Регламентированный обыватель“. Передовица почтенной газеты гласила:

„Повторительныя испытанія для лицъ, окончившихъ курсъ въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, только-что окончены. Подвергалось испытанію по предметамъ этихъ заведеній 449 человѣкъ, получили удовлетворительные отзывы 140 и, кромѣ того, 26 отвѣчали болѣе чѣмъ удовлетворительно. (Слѣдуетъ подробная статистика). Изъ этого видно, что результаты экзаменовъ блестящіе; цифры, выше приведенныя, показываютъ, что наше высшее образованіе совсѣмъ ужъ не такъ вліяетъ на столичную и чиновную интеллигенцію, какъ это говорятъ господа либералы. Это фактъ отрадный. Прежде мы имѣли случай неоднократно доказывать на страницахъ нашей газеты вредоносность для Россіи высшаго образованія, безъ котораго лично мы обходимся превосходно и служимъ истинѣ какъ слѣдуетъ по чину, хотя и не такъ горячо, какъ господа либералы, а особенно же радикалы. По нашему глубокому убѣжденію, увлекать за собою молодежь, — это значитъ совершать непростительное, неслыханное преступленіе передъ народомъ, передъ отечествомъ, передъ престоломъ, передъ Всевышнимъ. Теперь мы измѣняемъ наше мнѣніе о вредѣ высшаго образованія и громко подаемъ нашъ трезвый голосъ за основаніе университета на Новой Землѣ. Итакъ, да здравствуетъ высшее образованіе! Къ сожалѣнію, не совсѣмъ удовлетворительные результаты дали испытанія по греческому и латинскому языку. Изъ всѣхъ экзаменовавшихся умѣли бѣгло читать вслухъ по-гречески 51, удовлетворительно перево-

дили съ греческаго и латинскаго—10, недурно писали экстемпоріалія—2. Изъ этого слѣдуетъ, что преподаваніе этихъ языковъ поставлено въ нашихъ гимназіяхъ въ высшей степени неудовлетворительно. На это необходимо обратить самое серьезное вниманіе. Во всякомъ случаѣ, мы подаемъ нашъ голосъ за усиленіе преподаванія этихъ языковъ въ среднеучебныхъ заведеніяхъ".

Павелъ Ивановичъ прочелъ эту замѣтку и остался очень доволенъ. Первая мысль, которая промелькнула въ его головѣ, была:

— Я—одинъ изъ этихъ двадцати шести!...

Онъ поднялся съ кушетки и вдругъ... увидѣлъ на стулѣ, у письменнаго стола, груду литографированныхъ лекцій.

Онъ любовно взглянулъ на нихъ, положилъ ихъ на столъ, перевязалъ веревочкой и, вмѣстѣ съ воспоминаніями, которыя были распластаны на этихъ пожелтѣвшихъ страницахъ, бережно и любовно водворилъ на нижнюю полку массивнаго книжнаго шкафа.

III

Два колеса.

Разсказъ объ одиночномъ заключеніи.

Статистика есть наука о соціальныхъ фактахъ, выраженныхъ цифрами.

(Изъ стараго учебника).

I.

Образцовая одиночная тюрьма Пре-о-Бонеръ (Pré-aux-Bonheurs) расположена въ живописной и плодородной долинѣ Арденнъ. Разсматриваемая сверху, съ высоты окрестныхъ горъ, ея кирпичная громада представляетъ массивный крестъ, лежащій на землѣ. Четыре корпуса съ сотнями оконъ сходятся къ одному центру и своими стѣнами окружаютъ квадратный тюремный дворъ. Фасадъ тюрьмы, съ зубчатыми башнями, готическими сводами, желѣзными рѣшетками и дверями, оживляетъ въ воспоминаніи средніе вѣка. Но средневѣковая внѣшность дерзко обманываетъ: зритель, который только что вступитъ за тюремный порогъ, тотчасъ же открываетъ обманъ. Входъ въ тюрьму, корридоры и казематы освѣщаются электрическими лампочками Эдисона. По стѣнамъ извиваются и бѣгутъ проволоки телефоновъ, телеграфовъ и электрическихъ звонковъ. Здѣсь и тамъ пышутъ жаромъ трубы парового отопленія, а вентиляторы-монстры вертятся, журча и звеня. Издали этотъ шумъ напоминаетъ журчаніе ручейка. Никакіе другіе звуки не нарушаютъ тишины обширнаго корридора, который, какъ разсѣлина скалы, какъ пропасть, разсѣкаетъ вдоль каждый корпусъ зданія, отъ пятаго, верхняго этажа до послѣдняго, нижняго, отдѣляя правую стѣну отъ лѣвой.

Въ этихъ стѣнахъ находятся одиночныя камеры-ячейки для заключенныхъ, каждая въ четыре съ половиною метра длины и въ три метра ширины. Онѣ расположены пятью длинными рядами одна надъ другой. Легкіе изящные помосты изъ чугуна тянутся вдоль каждаго этажа дверей, а красивыя лѣстницы поддерживаютъ сообщеніе между этажами.

Тюрьма, вмѣщающая въ себѣ три тысячи заключенныхъ, кажется безлюдной. Только по утрамъ въ корридорахъ скользятъ неслышными шагами двѣ угрюмыя фигуры — одна, одѣтая въ сѣрую куртку, сѣрые панталоны, сѣрую шапку, другая—вся въ черномъ. Лишь только проходитъ одна пара, является другая, затѣмъ третья, четвертая, и такъ далѣе. Это надзиратели ведутъ заключенныхъ на прогулку, въ особые павильоны-клѣтки на дворѣ.

И надзиратель, и заключенный неслышно исчезаютъ изъ корридора. Шаги замираютъ на гуттаперчевыхъ коврахъ. Все молчитъ, какъ бы притаивъ дыханіе. Надзиратели разговариваютъ между собою шепотомъ; заключенные обязаны молчать. Безмолвныя фигуры поглощаются окружающимъ безлюдьемъ, которое онѣ неспособны оживить. Герметическія двери камеръ непроходимы для звуковъ. Шепотъ надзирателей, передающихъ одинъ другому приказанія тюремнаго начальства, даже не достигаетъ до свода и, расплываясь, замираетъ въ воздухѣ,—прекрасномъ, вѣчно свѣжемъ, нормально-влажномъ воздухѣ, который свободно циркулируетъ по корридору. Термометры и психрометры съ неумолимой строгостью каждое мгновеніе готовы отмѣчать всѣ уклоненія въ ту или другую сторону отъ нормальныхъ условій, указанныхъ гигіеной.

Весь подвальный этажъ одного изъ корпусовъ тюрьмы занимаетъ обширная кухня. Но это кухня не обыкновенная — она скорѣе походитъ на лабораторію, съ ея перегонными кубами, фильтрами, вѣсами и т. д. При кухнѣ—кабинетъ врача, гдѣ изслѣдуются химически и подъ микроскопомъ пищевые продукты, назначаемые въ пищу заключеннымъ. Здѣсь можно найти всѣ необходимыя приспособленія для качественнаго и количественнаго анализа, который производится ежедневно: по строгому предписанію директора, въ пищѣ арестантовъ должно заключаться не меньше такого-то количества бѣлковъ, жировъ и углеводовъ, точно установленнаго наукой. Повара въ бѣлыхъ одеждахъ безукоризненно чисты. Посуда на полкахъ тоже поражаетъ чистотой, а въ воздухѣ постоянно разлитъ тонкій ароматъ жаренаго мяса и суповъ. Правда, одинъ и тотъ же запахъ наполняетъ кухню изо дня въ день, но такъ что же? Директоръ тюрьмы, Жакъ Маландри, говоритъ: „питательность, питательность прежде всего“!

Въ двухстахъ тоазахъ отъ сѣвернаго корпуса протекаетъ быстрая и многоводная рѣчка Нашеза. Три огромныя турбины установлены по ея теченію. Онѣ вертятъ гигантскія динамомашины. Мощный токъ живой силы, уловляемый изъ рѣки и преобразуемый въ электричество, течетъ по проволокамъ въ тюрьму, проникаетъ сквозь ея красныя стѣны и, безконечно дробясь и вѣтвясь, разливается по камерамъ. Онъ накаливаетъ лампочки Эдисона и, что самое главное, вертитъ всевозможные станки и снаряды, разставленные по камерамъ.

Во всей Бельгіи (а быть можетъ, и во всей Европѣ) нѣтъ другой одиночной тюрьмы, гдѣ ремесленный трудъ былъ бы поставленъ такъ широко и научно, какъ въ тюрьмѣ Пре-о-Бонёръ. Издѣлія „пожизненныхъ“ ткачей, „долго срочныхъ“ портныхъ, сапожниковъ, токарей, „краткосрочныхъ“ столяровъ и слесарей славятся своимъ изяществомъ и дешевизной. Ежегодно одиночныя мастерскія образцовой тюрьмы принимаютъ и исполняютъ большіе заказы главнаго интендантства.

Словомъ сказать, тюрьма Прѐ-о-Бонёръ извѣстна всему міру, какъ образцовое заведеніе подобнаго рода. Наука и искусство XIX столѣтія и внушительное величіе средневѣковья искусно сплелись и расположились въ этой привѣтливой долинѣ Арденнъ въ видѣ креста,—эмблемы любви, страданія и искупленія.

Въ пятидесяти метрахъ отъ главныхъ корпусовъ находится флигель, гдѣ живутъ служащіе. За флигелемъ раскинулась небольшая, но густая роща. Массивные дубы и буки мощно переплелись своими вѣтвями и образовали густой зеленый сводъ. Здѣсь, подъ сводомъ зеленой темницы, въ полутьмѣ можно видѣть каменныя плиты, а надъ ними—желѣзные кресты, всѣ похожіе одинъ на другой. На каждомъ крестѣ краткая надпись: она говоритъ объ имени погребеннаго, но молчитъ о его фамиліи. Между крестами и могилами царитъ такое же безмолвіе и безлюдье, какъ въ тюрьмѣ. Правда, по распоряженію директора, входъ на кладбище свободенъ для посѣтителей, но тихія могилы рѣдко кѣмъ посѣщаются. Многія уже забыты. Безжизненные символы безслѣдно минувшихъ страданій — кресты молчаливо и безстрастно поднимаются изъ зелени.

Иногда, впрочемъ, рощу оглашаютъ удары заступа. Эти удары означаютъ, что населеніе кладбища должно увеличиться. Немного спустя изъ тюремной часовни показывается скромная процессія: четыре сторожа несутъ черный гробъ, а старичекъ-священникъ его напутствуетъ. Процессія направляется къ кладбищу и какъ будто спѣшитъ окончить свое дѣло и поскорѣе возстановить нарушенное безмолвіе рощи. Затѣмъ все снова смолкаетъ.

Изъ квартиры директора виденъ сѣверный корпусъ тюрьмы. Онъ закрываетъ половину горизонта. Вокругъ тюрьмы, по край-

ней мѣрѣ на протяженіи одного или двухъ лье, нѣтъ человѣческаго жилья,—ни селеній, ни фермъ, ни замковъ. Только вдали, между холмами, видна длинная перспектива телеграфныхъ столбовъ и изгибы желѣзной дороги. По ней бѣшено мчатся, дымя и свистя, взадъ и впередъ, длинные поѣзда съ сотнями и тысячами людей. По проволокамъ напряженно летятъ извѣстія съ разныхъ концовъ міра. Но вся эта жизнь бѣжитъ, спѣшитъ, несется, мелькаетъ мимо тюрьмы, оставляя за собой единственный слѣдъ — сѣрыя облачка дыма и пара, тающія въ воздухѣ...

Жакъ Маландри, директоръ образцовой тюрьмы, сидя за роскошнымъ письменнымъ столомъ въ своемъ кабинетѣ, каждый день видитъ эту летящую мимо него жизнь. Но его мысли заняты другимъ. Его мозгъ работаетъ, нервы его напряжены, чтобы ввести въ должныя рамки и затѣмъ сдѣлать нормальной ту жизнь, которая теплится въ этихъ стѣнахъ, похожихъ на средневѣковой замокъ. Постороннему трудно понять, какія усилія нужны, чтобы обставить нормальными условіями эту жизнь. Жакъ Маландри—душа этого каменнаго механизма: въ его маленькой, остроконечной головѣ, едва покрытой короткими вялыми волосами и начинающей сѣдѣть и лысѣть, въ этой головѣ, за этимъ бугристымъ лбомъ, позади этихъ ввалившихся, поблекшихъ, но безстрастныхъ глазъ, сосредоточены всѣ двигательныя силы, дающія жизнь образцовой тюрьмѣ. Достаточно директору хоть на мгновеніе ослабить зоркій глазъ,— и правильный ходъ тюремнаго механизма нарушается. Жакъ Маландри такъ же слился съ образцовой тюрьмой, со с в о е ю тюрьмой, говоритъ онъ, какъ Квазимодо слился съ соборомъ Парижской Богоматери. Совершенство и благосостояніе образцовой тюрьмы были ему дороги: они вѣдь измѣрялись годами его собственной жизни, десятью годами жизни Жака Маландри; они были его дѣломъ.

Каждое утро, въ роскошный кабинетъ директора являются съ докладомъ два его помощника и врачи. Жакъ Маландри подробно знакомится отъ нихъ съ состояніемъ тюрьмы. Онъ все желаетъ знать; ему все интересно и все имѣетъ значеніе для него. Его волнуютъ мелочи. Послѣ доклада онъ наскоро выпиваетъ чашку кофе, а затѣмъ уже нужно спѣшить въ тотъ или другой корпусъ тюрьмы: директоръ больше всего вѣритъ своимъ глазамъ, а не докладамъ подчиненныхъ.

Изо дня въ день, изъ мѣсяца въ мѣсяцъ, уже много лѣтъ передъ глазами Жака Маландри проходятъ толпы тѣхъ, кого называютъ „неуравновѣшенными“ людьми, декадентами, дегрaдентами и тому подобными именами. Тяжелыя тюремныя ворота ежедневно отворяются, чтобы пропустить неуклюжую колымагу-фургонъ, съ рѣшетками на окнахъ, съ конной стражей по сторонамъ. Изъ фургона выходятъ одинъ за другимъ люди въ

сѣрыхъ одеждахъ. Тюремные солдаты ведутъ ихъ въ канцелярію и въ антропометрическое или измѣрительное бюро. Въ этомъ бюро ими овладѣваютъ на время врачи и ихъ помощники и изслѣдуютъ ихъ по всѣмъ правиламъ, выработаннымъ наукой. Измѣряется личной уголъ, объемъ черепа, вмѣстимость грудной клѣтки, ступня и кисть, уши и зубы. Докторъ подробно разспрашиваетъ вновь прибывшихъ о ихъ родителяхъ, о дѣдахъ и прадѣдахъ, о братьяхъ и сестрахъ и т. д., и т. д. И всѣ эти данныя тотчасъ же записываются въ огромную черную книгу, гдѣ для каждаго заключеннаго отведена отдѣльная страница. На этой страницѣ каждый заключенный выраженъ цифрами, съ точностью до одной сотой миллиметра; человѣкъ превращенъ въ ряды цифръ, замѣненъ формулой. Но какой точной, какой научной формулой! Здѣсь же наклеены двѣ фотографическія корточки заключеннаго — въ профиль и en face.

Жакъ Маландри гордится своимъ измѣрительнымъ бюро, которое онъ зоветъ, въ минуты душевнаго спокойствія, „зарею будущей антропологіи“. Въ этомъ бюро наука царитъ безгранично; воздухъ непрерывно потрясается научными терминами, которые толпамъ воровъ, грабителей и убійцъ кажутся таинственнымъ жаргономъ честныхъ людей.

Переступивъ за порогъ канцеляріи и измѣрительнаго бюро, вновь прибывшій какъ бы теряетъ свою индивидуальность. Его грѣхъ словно забывается, равно какъ и его имя, а онъ самъ превращается въ номеръ. Съ этого момента его номеръ дѣлается его характеристикой: онъ отличаетъ его отъ другихъ такихъ же номеровъ — временныхъ или вѣчныхъ обитателей тюрьмы Prè-aux-Bonheurs. Оставивъ по себѣ на страницахъ черной книги научный слѣдъ — нѣсколько десятковъ цифръ, заключенные размѣщаются по отдѣльнымъ камерамъ.

Грѣхи ихъ остаются позади, а впереди ожидаетъ ихъ—жизнь, но жизнь внѣ общества.

Эти люди согрѣшили противъ общества — они не должны оставаться въ немъ: одни съ самими собою, пусть они проводятъ жизнь въ этихъ одиночныхъ камерахъ, куда ихъ ведутъ прямо изъ измѣрительнаго бюро.

Удаленіе изъ общества совершается внезапно. Человѣкъ сразу погружается въ уединеніе, въ молчаніе, въ тишину. Наплывъ внѣшнихъ впечатлѣній прекращается. Впрочемъ, въ предѣлахъ четырехъ желтыхъ стѣнъ, мысль заключенныхъ пользуется свободой. Да и тюремная библіотека, состоящая изъ „особо одобренныхъ“ книгъ,—къ ихъ услугамъ.

Жакъ Маландри очень любилъ присутствовать въ измѣрительномъ бюро. Здѣсь онъ знакомился со своими вновь прибывающими „паціентами“. Въ то время, какъ врачи измѣряли ихъ черепа и

ноги, онъ всматривался въ ихъ лица, какъ бы стараясь проникнуть въ душу. Однажды — это было какъ разъ наканунѣ Рождества—сторожа и солдаты ввели въ измѣрительное бюро новаго паціента. Вновь прибывшій вошелъ и сталъ неподвижно, опустивъ голову. Директоръ взглянулъ на бумагу, которую подалъ ему конвойный офицеръ. Тамъ были написаны нѣкоторыя слова, объяснявшія Жаку Маландри всю суть дѣла. „Преднамѣренное убійство жены и ребенка"... „Безсрочный"... Директоръ взглянулъ на убійцу. Тотъ стоялъ, опустивъ голову, но мускулы его лица дрожали, а щеки то блѣднѣли, то покрывались румянцемъ. Этотъ человѣкъ былъ красивъ даже въ безобразной сѣрой куртк'ѣ и сѣрыхъ широкихъ штанахъ. Директоръ такъ и уставился на его высокую, широкоплечую фигуру, съ мускулами атлета и головой Аполлона. Нѣжная кожа, едва пробивающіеся усики, румянецъ на щекахъ и глаза—глубокіе, черные глаза, опушенные длинными черными рѣсницами,—директоръ просто заглядѣлся на это лицо. Онъ, какъ многіе болѣзненные, тщедушные люди, чувствовалъ какое-то непонятное наслажденіе, когда видѣлъ въ другихъ и жизнь, и силу, и здоровье. А въ этомъ высокомъ и красивомъ человѣкѣ была и жизнь, и сила, и здоровье. Такъ протянуть руку можетъ только сильный человѣкъ; въ самой силѣ есть уже извѣстная частица граціи. Когда онъ порывистымъ движеніемъ руки откинулъ черные курчавые волосы, упавшіе на лобъ, та же сила, грація и красота выказались еще рельефнѣе; за этимъ порывистымъ движеніемъ еще скрывалось тѣсно съ нимъ связанное чувство. А вѣдь чувство-то и есть жизнь. Вотъ если бы всѣ заключенные были такъ же сильны и здоровы! Жакъ Маландри продолжалъ разсматривать этого человѣка, вокругъ котораго возились доктора и ихъ помощники. Директоръ молчалъ, а человѣкъ въ сѣромъ какъ-то инстинктивно избѣгалъ встрѣтиться своими блестящими глазами съ безстрастнымъ и тусклымъ директорскимъ взглядомъ... Почему этотъ взглядъ внушалъ ему ужасъ? Почему открывалъ онъ въ этомъ взглядѣ какое-то сродство съ молчаливымъ безмолвіемъ каменной громады, которая о многомъ знаетъ и обо всемъ молчитъ?

— Больше ничего! сказалъ докторъ, занося на страницу черной книги послѣднюю цифру. Можете идти. Для васъ— № 1042.

Больше ничего! Какъ же это? Человѣкъ въ сѣромъ испуганно умоляющимъ взглядомъ окинулъ окружающихъ, стоявшихъ на вытяжкѣ солдатъ, угрюмыхъ служителей, доктора, который еще что-то писалъ, сѣрыя стѣны, краніометры, динамометры, вѣсы... А Жакъ Маландри все молчалъ и смотрѣлъ на него. Онъ поймалъ взглядъ человѣка въ сѣромъ.

— Больше ничего. Можете отвести!.. повторилъ и онъ.

Въ это время уже другіе вновь прибывшіе входили чрезъ наружныя двери.

Послѣ этого впечатлѣніе отъ уловленнаго взгляда еще долго держалось въ мозгу Жака Маландри. Оно возбуждало въ немъ сложное чувство. Преобладало сознаніе совершенства своего учрежденія, которое не загубитъ силы и здоровья этого красавца-преступника. Но непонятное волненіе не улеглось въ его душѣ. Впечатлѣніе было сильно: тѣ слои общества, изъ представителей которыхъ составлялось населеніе образцовой тюрьмы, рѣдко выдвигали такихъ красивыхъ и здоровыхъ богатырей.

— А красивъ! Дѣйствительно красивъ! повторялъ Жакъ Маландри. Онъ въ большомъ волненіи ушелъ къ себѣ на квартиру. Онъ дрожалъ. Это была странная дрожь, какая-то внутренняя, тяжело мучительная. Директоръ нерѣдко испытывалъ ее; она иногда была настолько напряженна, что скрывать ее отъ другихъ онъ не могъ. Благодаря этой дрожи, директоръ считался „припадочнымъ“. Постоянно угрюмый и холодный, въ моментъ припадка онъ преображался. Онъ начиналъ волноваться и безпокоиться, не всегда давая себѣ отчетъ, зачѣмъ и почему; волненіе, усиливаясь, постепенно переходило въ дрожь. Эта дрожь походила на ту, которую человѣкъ испытываетъ, чувствуя приближеніе чего-то ужаснаго: сердце трепещетъ, судорожно ударяется въ стѣнки грудной клѣтки, лицо холодѣетъ, а все существо сжимается и чего-то напряженно ждетъ.

Потребность кипучей дѣятельности являлась сама собой, и въ эти минуты Жакъ Маландри былъ готовъ на все. Да, директоръ образцовой тюрьмы сильно порасшаталъ свои нервы, работая надъ усовершенствованіемъ и счастіемъ ея.

Кто знаетъ, сколькихъ трудовъ, какой настойчивости стоило Жаку Маландри совершенствованіе образцовой тюрьмы? Чего онъ добивался, вводя „одиночный“ ручной трудъ, устраивая вентиляцію, заботясь о кухнѣ? Жакъ Маландри — не карьеристъ. Онъ любитъ свое дѣло, онъ вѣритъ въ него. Три тысячи его паціентовъ не пользовались и внѣ стѣнъ образцовой тюрьмы такими нормальными условіями жизни, какія вотъ онъ, Жакъ Маландри, создалъ въ тюрьмѣ.

Жакъ Маландри напряженно ждетъ, когда же всѣ его, „паціенты“ сдѣлаются такими румяными, сильными, здоровыми, какъ этотъ № 1042. А это будетъ, будетъ! Вотъ уже полгода, какъ каждую недѣлю тюремные врачи обходятъ камеры съ динамометромъ и особымъ снарядомъ для взвѣшиванія заключенныхъ. Вѣдь сила и вѣсъ — прекрасные показатели того, какъ отражаются на заключенныхъ заботы о нихъ Жака Маландри. Для того-то онъ и ввелъ эти взвѣшиванія и измѣренія силы, чтобы провѣрять самого себя. Директоръ съ нетерпѣніемъ ждетъ доклада

главнаго тюремнаго врача, Пьера Ламени. Пьеръ Ламени, низкорослый, пухленькій человѣкъ въ золотыхъ очкахъ, съ круглымъ брюшкомъ и добродушно ученымъ видомъ, однажды утромъ вошелъ въ кабинетъ директора съ очень разстроеннымъ лицомъ. Неспокойное состояніе духа проявлялось у него безконечнымъ числомъ едва замѣтныхъ тѣлодвиженій, благодаря которымъ фигура доктора, казалось, извивается по всѣмъ направленіямъ.

Докторъ положилъ передъ директоромъ объемистый письменный докладъ, испещренный длинными рядами цифръ. Это было новое сопоставленіе статистическихъ данныхъ, извлеченныхъ изъ показаній динамометровъ и вѣсовъ, — обстоятельное сравненіе цифръ, выражавшихъ силу и вѣсъ арестантовъ.

Цифры были написаны ровно и четко и смотрѣли безстрастно и сухо. Но, бросивъ на нихъ бѣглый взглядъ, директоръ вдругъ заволновался. Что это значитъ? Вѣроятно ли это? Нѣтъ ли какой ошибки?—Цифры показывали, что средняя величина вѣса заключенныхъ и ихъ силы за послѣдніе полгода у м е н ь ш и л и с ь. Да, уменьшились!

Это уменьшеніе было выражено докторомъ Ламени въ видѣ кривой линіи. Линія, изгибаясь, шла къ низу—она падала каждый мѣсяцъ, каждую недѣлю, каждый день и, разумѣется, каждый часъ.

Жакъ Маландри вскочилъ съ кресла и, вытянушись во всю длину своей костлявой и сухой фигуры, зашагалъ по кабинету... Вотъ результатъ трудовъ! Быть можетъ, это ошибка? Нѣтъ, докторъ Ламени — аккуратнѣйшій человѣкъ въ тюрьмѣ. Чортъ возьми! Чего же еще надо этимъ заключеннымъ? Пища у нихъ прекрасная, воздухъ тоже, они не сидятъ безъ дѣла, а работаютъ: наконецъ, они имѣютъ возможность читать. Все, все у нихъ есть. Они только удалены изъ общества Но вѣдь и внѣ общества они пользуются такими прекрасными условіями жизни, какихъ не имѣли никогда. И вдругъ—всѣ многолѣтнія усилія директора оказываются напрасными! Цѣлыхъ полгода Жакъ Маландри только и жилъ тою мыслью, что кривая вѣса и силы безостановочно пойдетъ на повышеніе, до тѣхъ поръ пока не достигнетъ нормальнаго уровня... И вдругъ...

— Значитъ, господинъ докторъ, воскликнулъ Жакъ Маландри, мы съ вами не достигли ничего!

— Ничего? счелъ нужнымъ возразить докторъ, вскидывая глаза изъ-за золотыхъ очковъ.—Ну, нѣтъ, господинъ директоръ. Уровень силы и вѣса въ нашей тюрьмѣ очень высокъ. Сравните съ другими тюрьмами, и вы увидите, что мы кое-чего достигли. А, впрочемъ, очень печально, очень печально!..

— Н-ничего! Я говорю ничего!—волновался директоръ. Нашъ

уровень понижается. Пройдетъ годъ, и онъ будетъ такой же низкій, какъ вездѣ. Гдѣ же наши труды?

Онъ дѣлалъ огромные шаги своими костлявыми ногами, а жестами дополнялъ ужасную картину, которую рисовало его воображеніе. Докторъ, глубокомысленно нахмуривъ щетинистыя брови, казалось, видѣлъ изъ подъ своихъ очковъ всѣ формулы и предписанія гигіены.

— Наши труды, продолжалъ директоръ, очевидно, не пришли къ концу. Правда, меня утѣшаетъ мысль, что слишкомъ высокія задачи сразу не достигаются. Но позвольте васъ спросить: неужели же наука не поможетъ намъ сдѣлать вполнѣ, вполнѣ нормальной жизнь въ тюрьмѣ? Наука—я въ этомъ глубоко убѣжденъ—всесильна, а въ нашихъ рукахъ она—слуга гуманности. Кому же ей и служить, какъ не намъ?

Эти слова были сказаны такъ авторитетно, что всякое возраженіе на нихъ заранѣе казалось глупымъ. Докторъ усиленно мигалъ своими заплывшими глазками и пухлою рукой энергично теръ бритый подбородокъ.

— Можно думать, можно думать! наконецъ пробормоталъ онъ. А, впрочемъ, недостатокъ движенія, одиночество, сидячая жизнь...

Директоръ не далъ ему говорить. Неподходящія истины надоѣдаютъ, и слушать ихъ очень скучно, когда рѣчь идетъ совсѣмъ не о томъ.

— Ахъ, господинъ докторъ, докончилъ онъ свою тираду. Вы—неисправимый идеалистъ. Вы мнѣ скажите, что можемъ сдѣлать мы, когда передъ нами лежатъ такія, а не другія постановленія суда? Вы, кажется, совсѣмъ забыли о ихъ существованіи?

Увы! Констатировавъ печальное явленіе съ тою точностью, какая и подобаетъ ученому, докторъ Ламени не могъ указать, въ какихъ еще усовершенствованіяхъ нуждается тюрьма Pré-aux-Bonheurs. Жакъ Маландри чувствовалъ себя какъ бы стоящимъ передъ непроходимой стѣной. За нею-то и скрыто счастье несчастныхъ. Но гдѣ же проходъ чрезъ эту стѣну?

Гдѣ же проходъ?

Этотъ вопросъ жегъ и ломалъ душу Жака Маландри и день, и другой, и третій. Кривыя линіи, начерченныя докторомъ Ламени, перемѣнили все настроеніе директора. Онъ сдѣлался еще угрюмѣе. Онъ весь ушелъ въ самого себя и ходилъ разстроенный, хмурый. Онъ ко всѣмъ придирался, и въ каждомъ, даже самомъ малѣйшемъ уклоненіи отъ его распоряженій уже видѣлъ причины „паденія кривой“.

Еще бы! Директоръ чувствовалъ осуществленіе великой задачи

столь близкимъ, и вдругъ цифры, безстрастныя и безжалостныя цифры, разстроили все его настроеніе.

Недѣля шла за недѣлей. Каждый вторникъ главный тюремный врачъ являлся къ директору съ докладомъ, и каждый разъ Жакъ Маландри съ невыразимо тяжелымъ чувствомъ, похожимъ на ужасъ, слушалъ Пьера Ламени и смотрѣлъ на длинные ряды цифръ. Эти цифры казались ему какими-то живыми существами, но существами, неспособными разсуждать, умѣющими только спорить, кричать, доказывать все одно и то же, существами безжалостными, холодными, жестокими... Цифры показывали, что вѣсъ и сила заключенныхъ падаютъ. Правда, это паденіе выражалось сотыми, тысячными долями, но оно шло впередъ съ какою-то роковою непрерывностью и у „краткосрочныхъ". Къ этому чувству присоединялось еще другое. Въ какомъ же видѣ оставятъ эти „краткосрочные" его образцовую тюрьму? Что скажутъ, при видѣ ихъ, объ этой тюрьмѣ ученые тюрьмовѣды, общество, пресса?

Замѣшательство директора образцовой тюрьмы по одному случаю еще болѣе увеличилось. Однажды, проходя по тюремному корридору, онъ увидѣлъ надъ одной изъ одиночныхъ камеръ № 1042. Этотъ номеръ что-то ему напомнилъ. Онъ подошелъ къ двери и чрезъ едва замѣтную форточку заглянулъ внутрь. Тамъ, по небольшой четырехъ-угольной каморкѣ шагалъ какой-то человѣкъ. Онъ дѣлалъ пять шаговъ впередъ, поворачивался и шелъ назадъ,— большаго простора не было. Директоръ видѣлъ лицо этого человѣка только тогда, когда онъ отодвигался къ противопожной стѣнѣ. Жакъ Маландри такъ и впился глазами въ этого человѣка. Это былъ тотъ самый красавецъ-убійца, который девять мѣсяцевъ тому назадъ поразилъ его, больного, тщедушнаго Жака Маландри, своею красотой, силой, здоровьемъ. О, онъ и теперь красивъ! Широкія плечи, гибкій станъ, курчавые волосы, черные глубокіе глаза, нѣжное лицо... Нѣтъ, лицо и глаза не совсѣмъ тѣ. Чѣмъ больше Жакъ Маландри всматривался въ нихъ изъ своего невидимаго окошечка, тѣмъ болѣе видѣлъ, что лицо и глаза не тѣ. Лицо осунулось. Лицо пожелтѣло. Косые лучи солнца, падающіе черезъ окошко подъ потолкомъ, придаютъ ему зеленый оттѣнокъ. Но главное — отчего оно такъ опухло и на немъ ничего, ничего не написано? Нѣтъ, это невѣрно, — что-то написано и на немъ, но только это не та бьющаяся, пульсирующая жизнь, какую онъ, директоръ, наблюдалъ на этомъ лицѣ около года тому назадъ. Жакъ Маландри все смотрѣлъ на этого человѣка, все смотрѣлъ, а тотъ по прежнему, не переставая, шагалъ по камерѣ взадъ и впередъ.

Директоръ какъ будто ждалъ, когда же этотъ человѣкъ перестанетъ шагать.

Но тотъ все шагалъ, все шагалъ.

Всѣ мускулы, всѣ жилки этого лица уже успѣлъ разсмотрѣть и изучить Жакъ Маландри: разница между тѣмъ, живымъ, и этимъ осунувшимся лицомъ казалась ему съ каждой минутой болѣе и болѣе громадной. Разница эта какъ будто превратилась въ неизмѣримую тяжесть, легла на душу директора и вдругъ придавила ее.

Жаку Маландри стало трудно дышать.

А человѣкъ все шагалъ, все шагалъ...

Жакъ Маландри съ трудомъ оторвался отъ своего окошечка. Громадный корпусъ тюрьмы, который онъ долженъ былъ осмотрѣть, казался ему какъ бы окруженнымъ туманомъ. Директоръ прошелъ вдоль этажа въ одну сторону, повернулся, пошелъ въ другую. Онъ ходилъ полтора часа. Дойдя до выходныхъ дверей, онъ вдругъ повернулся и снова поднялся къ камерѣ № 1042.

Тамъ человѣкъ въ сѣромъ все шагалъ, все ходилъ взадъ и впередъ. Лицо сохраняло то же выраженіе, какъ полтора часа назадъ. Ни одинъ мускулъ лица не измѣнилъ своего напряженія...

Директоръ закрылъ форточку и поспѣшно ушелъ въ свою квартиру.

Онъ не могъ еще дать себѣ отчета въ собственныхъ ощущеніяхъ. Ему ясно было одно: что приговоры судовъ во всякомъ случаѣ должны быть исполнены.

Съ каждой недѣлей неумолимыя цифры возбуждали въ директорѣ все болѣе и болѣе напряженное чувство—чувство з л о б ы. Порою, ему были даже ненавистны эти люди, одѣтые въ сѣрое платье, люди, о которыхъ онъ такъ заботится и которые такъ обманываютъ его ожиданія.

И больше всѣхъ былъ ненавистенъ № 1042.

Всѣ эти люди какъ будто и знать не хотятъ о его безпокойствѣ и трудахъ, о всѣхъ непріятностяхъ и волненіяхъ, которыя онъ терпитъ ради нихъ. Вмѣсто того, чтобы быть первыми помощниками въ его стремленіяхъ — всѣ они составили, словно сговорясь, молчаливую и единодушную оппозицію ему.

Отъ усиленной мозговой работы, отъ постояннаго напряженія нервовъ Жакъ Маландри еще болѣе похудѣлъ и ослабъ. Но онъ не покладалъ оружія. Онъ чего-то искалъ.

Однажды ему въ голову пришла мысль. Эта мысль была молніей изъ тучи, солнечнымъ лучомъ, пронизавшимъ мракъ. Ему показалось, что именно эту самую мысль онъ и ожидаетъ давнымъ давно, именно ее,—такъ она проста, естественна и примѣнима. Вѣдь она-то и разрѣшаетъ наболѣвшій мучительный вопросъ...

Передъ умственными очами директора образцовой тюрьмы

Pré-aux-Bonheurs, откуда-то изъ мрака, изъ небытія вдругъ обрисовался какой-то смутный контуръ. Какая-то фигура тонула еще передъ нимъ во мракѣ, какъ въ лондонскихъ туманахъ тонутъ контуры соборовъ, домовъ, экипажей. Но вы приближаетесь къ нимъ—и контуры становятся отчетливѣй. Такъ передъ Жакомъ Маландри выступила изъ тумана фигура к о л е с а. Но это было не средневѣковое колесо, внушающее ужасъ и отвращеніе, не то орудіе пытки и казни, на которомъ гибли въ страшныхъ мученіяхъ жертвы порока и преступленія и жертвы насилія и несправедливости. Нѣтъ, въ туманѣ, который, колыхаясь, носился передъ Жакомъ Маландри, виднѣлось, выступало орудіе гуманности, человѣколюбія .. Идея была смутна, образъ неотчетливъ, но основныя черты, съ каждымъ усиліемъ мысли, дѣлались яснѣе, отчетливѣе. Да, это колесо, орудіе физической, мускульной работы, средство усилить кровообращеніе, заставить быстрѣе биться сердце, напряженнѣе работать мозгъ, усиленнѣе сгорать и, значитъ, питаться—тѣло. Этого-то и недостаетъ заключеннымъ! Какъ онъ, Жакъ Маландри, опытный тюрьмовѣдъ-практикъ, могъ упустить изъ вида, что работа у станковъ слишкомъ недостаточна, чтобы оживить заключенныхъ? Имъ нужны мускульныя упражненія,—усиленныя мускульныя упражненія, которыя человѣку такъ же необходимы, какъ свѣтъ и воздухъ.

Колесо несомнѣнно спасетъ здоровье заключенныхъ. Вотъ оно—Жакъ Маландри отлично его видитъ. Оно сидитъ на валу, на который заматывается веревка, несущая гирю. Діаметръ колеса, тяжесть гири строго вычислены. Ворочая колесо на полный оборотъ, человѣкъ заставляетъ гирю въ десять килограммовъ подниматься на высоту одного метра. Каждый оборотъ — это десять килограммо-метровъ работы. Поднятая гиря тотчасъ падаетъ; новый оборотъ поднимаетъ ее снова, и т. д. Вотъ оно, орудіе спасенія заключенныхъ, средство усилить ихъ кровеобращеніе, увеличить аппетитъ, уничтожить ихъ худобу и землистый цвѣтъ лица!

Въ эту минуту Жакъ Маландри почувствовалъ, что дыханіе его стало стѣсняться больше и больше, лицо похолодѣло, и вдругъ сердце запрыгало и съ силою стало ударять о грудную клѣтку. Душу охватило мучительное ожиданіе чего-то неизвѣстнаго. Все существо его задрожало; казалось, дрожали глубочайшія фибры его тѣла. Жажда кипучей дѣятельности пробѣжала страстной волною по нервамъ Жака Маландри. Онъ инстинктивно сталъ искать какой-нибудь объектъ, на которомъ могла бы сосредоточиться эта дѣятельность. И, дрожащій, взволнованный, блѣдный, въ эту минуту онъ опять увидѣлъ въ облакахъ дымчатаго, непрозрачнаго тумана образъ колеса.

Образъ прояснялся. Идея, постепенно облекаясь аттрибутами,

такъ сказать, воплощалась. Дрожащею рукою Жакъ Маландри набросалъ на бѣломъ листѣ бумаги неуклюжій рисунокъ. Карандашъ лихорадочно скользилъ по бумагѣ. Затѣмъ, не поднимаясь изъ-за стола, директоръ началъ вычислять всѣ детали колеса. По его желтому и сухому лицу медленно скользили капли пота. Онъ отбросилъ карандашъ и немного пришелъ въ себя. Чортъ возьми! Чего это онъ такъ задрожалъ, какъ будто передъ припадкомъ эпилепсіи? Опять эта дрожь, которая преслѣдуетъ его съ дѣтства!

Жакъ Маландри машинально сосредоточилъ на ней свое вниманіе... Онъ вспомнилъ слова какой-то книги: „такъ дрожатъ преступники, готовясь совершать преступленія“... Кто это сказалъ? Чьи это слова? Можно ли отнести эти слова къ нему, именно къ нему? Какъ ни старался вспомнить Жакъ Маландри автора книги, но не могъ... Впрочемъ, къ чему вспоминать? Не все ли равно ему, директору образцовой тюрьмы, какъ имя автора этой глупости? Пусть бы тотъ, кто сказалъ эти слова, увидѣлъ его, Жака Маландри, въ эту минуту. Нѣтъ ничего общаго между нимъ, Жакомъ Маландри, и преступленіемъ. У него просто неврастенія отъ непосильныхъ трудовъ и испытаній.

И директоръ засмѣялся глухимъ, беззвучнымъ смѣхомъ. Онъ былъ крайне доволенъ самимъ собой и своею идеей.

Когда онъ познакомилъ съ нею своихъ помощниковъ и доктора Ламени, тѣ нашли ее весьма практичной и несомнѣнно научной и справедливой. Нужно ее осуществить и испытать, то есть рѣшить о томъ, пригодна она или нѣтъ, опытнымъ путемъ. Это самый вѣрный путь во всѣхъ наукахъ, въ томъ числѣ и въ тюрьмовѣдѣніи. Бэконъ еще сказалъ: „опытъ есть источникъ всякаго знанія“.

Этотъ опытъ рѣшили произвести надъ нѣсколькими заключенными,—какъ „пожизненными“, такъ и „долгосрочными“.

По чертежамъ директора, колесо было заказано на ближайшемъ механическомъ заводѣ Вотье, Шнипъ и Комп. Черновая смѣта на колесо показала стоимость каждаго прибора въ сто тридцать франковъ. Только въ сто тридцать! Если же заказать заводу три тысячи колесъ, то каждое должно обойтись не дороже, чѣмъ въ сто двадцать франковъ.

Въ одинъ прекрасный день, къ квартирѣ директора подкатила фабричная повозка, и два блузника внесли въ комнату давно ожидаемое колесо.

Оно было миніатюрно и изящно. Смотря по надобности, его можно было вращать руками и ногами. Особый мѣтчикъ обозначалъ число килограммо-метровъ совершенной работы. Возможность всякаго плутовства со стороны арестантовъ была тщательно устранена. Гиря ходила легко и свободно, а поломки были немыслимы.

Директоръ торжествовалъ. Онъ неоднократно испытывалъ свое

колесо на самомъ себѣ. Онъ укрѣпилъ его у себя въ кабинетѣ, и каждый день, послѣ усиленнаго мозгового труда, подходилъ къ нему, брался за ручку и вертѣлъ,—вертѣлъ до заранѣе опредѣленной нормы. Члены его пріятно напрягались, по тѣлу разливалась теплота, полная нѣги и истомы, сердце билось быстрѣе. Послѣ верченія колеса, какъ онъ замѣтилъ, и обѣдалъ онъ съ большимъ аппетитомъ.

Жакъ Маландри чувствовалъ, какъ его дѣтище вливаетъ въ него жизнь. Несомнѣнно, оно будетъ вливать ее и въ арестантовъ. Вѣдь и они—такіе же организмы, какъ и онъ. Можно ли въ этомъ сомнѣваться?

Изъ числа „пожизненныхъ“ и „долгосрочныхъ“ были выбраны нѣсколько человѣкъ, и въ ихъ камерахъ установлено по колесу. Доктора объяснили заключеннымъ, что собственно отъ нихъ требуется. Была опредѣлена по всѣмъ правиламъ науки норма работы съ колесомъ для рукъ и для ногъ. Въ концѣ концовъ, заключеннымъ указали тотъ параграфъ тюремныхъ правилъ, въ которомъ говорилось о неисполненіи приказаній тюремнаго начальства.

Колесо не вызвало никакого протеста со стороны заключенныхъ.

II.

Это была страшно мучительная недѣля для Жака Маландри. Онъ не могъ совладать съ собою. Цѣлые дни онъ ходилъ какъ въ лихорадкѣ. На его лицѣ появились какія то нервныя подергиванія. Сердце его тоскливо ныло, а внутреннее безотчетное безпокойство преслѣдовало и днемъ и ночью. Онъ съ нетерпѣніемъ ждалъ конца обычнаго утренняго пріема и затѣмъ шелъ въ тотъ корпусъ тюрьмы, гдѣ производился опытъ. Неслышными шагами онъ поднимался къ намѣченной камерѣ и чрезъ незамѣтное окошечко въ ея двери наблюдалъ, что дѣлается внутри. Онъ видѣлъ человѣка въ сѣрой одеждѣ, усиленно вертящаго колесо. Жаку Маландри доставляло страстное наслажденіе смотрѣть на этого худого, пожелтѣвшаго человѣка, похожаго на мумію. Онъ внутренно негодовалъ, онъ порывался закричать, когда человѣкъ въ сѣромъ выпускалъ ручку колеса, чтобы осушить капли пота, скользящія по его лицу. А когда заключенный бросалъ колесо и принимался за книгу или за станокъ, Жакъ Маландри готовъ былъ ворваться въ камеру, схватить этого человѣка за костлявыя плечи и заставить, силой заставить его снова вертѣть и вертѣть колесо.

Въ эти минуты волны судорожной дрожи пробѣгали по его тѣлу, а сердце сжималось все тоскливѣе и тоскливѣе, въ томительномъ ожиданіи тѣхъ событій, къ которымъ Жака Маландри такъ влекло. Онъ спѣшилъ поскорѣе уйти въ свою квартиру.

Къ концу недѣли напряженное состояніе директора достигло своей высшей точки. Повысятся или понизятся эти проклятыя кривыя?

— И такъ, мосье Ламени? воскликнулъ онъ, когда, наконецъ, вошелъ въ его кабинетъ съ докладомъ главный тюремный врачъ.

Докторъ сіялъ. Его кругленькіе глазки такъ и выпрыгивали изъ подъ очковъ.

— Повышеніе! Повышеніе въ вѣсѣ! воскликнулъ докторъ. Въ этотъ моментъ его пухлая, круглая фигурка, казалось, бросила въ пространство цѣлый снопъ радужныхъ лучей. Повышеніе, мосье Маландри! Взгляните: пять, семь, три, девять десятыхъ грамма прибыли въ вѣсѣ.

— А! только и могъ проговорить директоръ тюрьмы. Необузданный восторгъ охватилъ Жака Маландри. Онъ готовъ былъ отдаться этому чувству, закрывъ глаза. Онъ съ трудомъ поборолъ самого себя, и, зашагавъ въ волненіи по ковру кабинета, потиралъ длинные костлявые пальцы и говорилъ:

— Прекрасно! Превосходно! Такъ и слѣдовало ожидать! Причина паденія кривой найдена! Это нашъ успѣхъ, господинъ Ламени. Это большой успѣхъ! Мы сдѣлали новый шагъ по дорогѣ совершенствованія нашего учрежденія. Можно поздравить насъ съ успѣхомъ. Вы увидите, мое колесо создастъ въ этихъ стѣнахъ совершенно нормальныя условія жизни. Иначе я—не Жакъ Маландри!..

Директоръ уже имѣлъ въ рукахъ данныя, чтобы написать докладъ въ центральное тюремное управленіе въ Брюссель. Онъ написалъ этотъ докладъ въ тотъ же день, написалъ подробно и обстоятельно. Двадцать цифръ въ разныхъ сочетаніяхъ по три, по четыре, по пяти точно и наглядно доказывали болѣе двухъ десятковъ несомнѣнныхъ истинъ, несомнѣнныхъ не меньше тѣхъ цифръ, на основаніи которыхъ онѣ были выведены. Жакъ Маландри описалъ свое изобрѣтеніе приложилъ къ описанію его чертежъ; онъ сравнивалъ это изобрѣтеніе съ ремесленнымъ тюремнымъ трудомъ. Этотъ трудъ онъ ставилъ ни во что сравнительно съ своимъ колесомъ. Онъ даже предлагалъ замѣнить первый вторымъ. Ручной трудъ въ одиночной тюрьмѣ требуетъ огромныхъ затратъ на его введеніе; появленіе арестантскихъ работъ на рынкѣ крайне вредно отражается на уровнѣ цѣнъ, и такимъ образомъ „вредитъ благосостоянію свободныхъ ремесленниковъ“. Между тѣмъ, затраты на колесо, можно сказать, ни-

чтожны, оно никому не повредитъ на рынкѣ, но будетъ полезно тысячамъ и десяткамъ тысячъ заключенныхъ, потому что его не трудно ввести во всѣхъ тюрьмахъ королевства. Не нужно тратить время на выучку, чтобы пользоваться колесомъ. Количество обязательной мускульной работы безъ малѣйшаго труда возможно на этомъ снарядѣ увеличивать и уменьшать, сообразно требованіямъ гигіены. Работая съ колесомъ, человѣкъ постепенно пріучается къ большей и большей мускульной работѣ; работу эту можно регулировать, соображаясь съ индивидуальностью заключеннаго, избѣгая „капризовъ воли упрямыхъ людей", которые находили и находятъ возможность, во вредъ своему здоровью, уклоняться отъ ручного труда. Кромѣ всего этого, важное преимущество колеса заключается еще въ томъ, что при немъ не возможны тѣ злоупотребленія острыми орудіями ручного труда, съ помощью которыхъ заключенные, какъ извѣстно, нерѣдко лишаютъ себя жизни и тѣмъ самымъ уклоняются отъ исполненія надъ ними приговоровъ королевскаго суда. Словомъ, Жакъ Маландри нашелъ и выяснилъ очень много несомнѣнныхъ преимуществъ своего изобрѣтенія, и съ цифрами въ рукахъ, убѣдительными, какъ аксіомы, показалъ необходимость колеса для всѣхъ тюремъ. Вездѣ онъ ссылался на только что произведенный опытъ съ колесомъ. „Нашъ опытъ, такъ заключалъ онъ свой докладъ, съ несомнѣнной очевидностью показалъ двѣ вещи: во-первыхъ, исхуданіе и дряблость арестантовъ обусловлены недостаткомъ физическихъ упражненій; во вторыхъ, есть возможность спасти этихъ несчастныхъ съ помощью колеса". Въ концѣ-концовъ, Жакъ Маландри ходатайствовалъ объ отпускѣ трехсотъ шестидесяти тысячъ франковъ на покупку трехъ тысячъ колесъ и на ихъ установку во всѣхъ камерахъ образцовой тюрьмы Прѐ-о-Бонеръ.

Докладъ былъ отосланъ немедленно.

Слѣдующая недѣля опять показала небольшое увеличеніе въ вѣсѣ и наростаніе силы у арестантовъ, работающихъ съ колесомъ.

Когда изъ центральнаго управленія было получено разрѣшеніе установить колесо, въ видѣ опыта, въ пятидесяти камерахъ пожизненныхъ заключенныхъ, Жакъ Маландри пришелъ въ бѣшенство. Какихъ еще доказательствъ нужно управленію? Цифры сами за себя говорятъ! Кто можетъ не слышать ихъ рѣчей? Кто не внемлетъ ихъ доказательствамъ? Только формальное отношеніе къ дѣлу заставляетъ сомнѣваться въ полезности изобрѣтенія Маландри? Впрочемъ, предписанія главнаго управленія были святы для директора образцовой тюрьмы.

— Новое испытаніе, говорилъ онъ,—только отсрочитъ моментъ, Но испытанія не страшны для моего колеса.

— Повышеніе! Повышеніе кривыхъ! воскликнулъ докторъ Ламени и тогда, когда явился въ кабинетъ директора съ цифрами, собранными въ пятидесяти одиночныхъ камерахъ. Докторъ вокругъ себя, казалось, разливалъ сіяніе.

— А! Вотъ видите! Такъ и должно быть! спокойно сказалъ Маландри.

Теперь онъ уже не удивился: онъ былъ увѣренъ въ успѣхѣ, который былъ выше сомнѣній.

И дѣйствительно, каждая недѣля приносила новыя цифры. Каждая новая цифра была новымъ фактомъ, который свидѣтельствовалъ о пользѣ колеса. Цифры, собранныя въ разныхъ камерахъ, каждый вторникъ сходились на письменномъ столѣ директора.

Тамъ Маландри располагалъ ихъ въ грани и гранки; онъ складывалъ ихъ и дѣлилъ, вычислялъ среднія ариѳметическія и, изображая добытыя данныя въ видѣ кривыхъ линій, находилъ эмпирическіе законы вліянія физическихъ упражненій на заключенныхъ разныхъ возрастовъ, разныхъ половъ, сословій, національностей, вѣроисповѣданій. Жакъ Маландри изъ недѣли въ недѣлю ждалъ новыхъ цифръ, какъ небеснаго дара. Онъ только-что получилъ приглашеніе на конгрессъ криминалистовъ, который долженъ былъ собраться черезъ полтора мѣсяца въ Бернѣ. Колесо вполнѣ достойно того, чтобы познакомить съ нимъ международный конгресъ и, для блага человѣчества, сдѣлать его извѣстнымъ міру.

А кривыя между тѣмъ повышались и повышались. Трудно дать понятіе о томъ состояніи духа, въ какомъ находился Жакъ Маландри. Это была радость, проникающая нервы, мышцы и кости: это былъ восторгъ... Нѣтъ, не столько радость и восторгъ сколько упоеніе. Директоръ образцовой тюрьмы уже теперь захлебывался въ волнахъ будущей славы своего колеса. Все свободное отъ занятій время онъ сидѣлъ у себя на квартирѣ и работалъ надъ рефератомъ. Онъ писалъ словно въ чаду. Воображеніе рисовало ему картины счастья несчастныхъ, и это счастье, и эти „несчастные“ были выражены до мельчайшихъ-мельчайшихъ подробностей—цифрами

Нужно было торопиться. Время конгреса приближалось.

Пятьдесятъ „номеровъ съ колесами“ всецѣло были предоставлены попеченіямъ доктора Ламени. Все, что не касалось цифръ, уже не интересовало директора: онъ передалъ на время завѣдываніе тюрьмой своимъ помощникамъ и спѣшилъ окончить рефератъ. Онъ невнимательно слушалъ разсказы и донесенія доктора Ламени. Какъ-то докторъ сообщилъ ему, что нѣкоторые заключенные стали отказываться вертѣть колесо. Директоръ хладнокровно замѣтилъ на это, что нужно заключеннымъ показать значеніе ко-

леса, объяснить имъ всю пользу колеса для ихъ здоровья. Доктору Ламени въ это время казалось, что директоръ какъ будто думаетъ совсѣмъ о другомъ, что мысли его далеко Онъ поправилъ свои очки, потеръ подбородокъ и вдругъ заявилъ, что № 1042 рѣшительно отказался вертѣть колесо.

— Почему? отрывочнымъ и холоднымъ тономъ спросилъ директоръ. Докторъ пришелъ въ замѣшательство. Жакъ Маландри продолжалъ:—Это тупоуміе и упрямство. Развѣ колесо существуетъ для насъ съ вами, а не для него?

Докторъ ушелъ. Но сколько онъ ни убѣждалъ арестанта вертѣть колесо, тотъ стоялъ на своемъ. Докторъ былъ въ крайнемъ затрудненіи. Каждый день, не одинъ, такъ другой „номеръ“ отказывались вертѣть колесо. Рѣчи доктора не всѣхъ убѣждали, или убѣждали не надолго. Верченіе называли „дикимъ“, „безсмысленнымъ“ дѣломъ, котораго „не вынесутъ даже звѣри, не только что люди“. Цѣлую недѣлю докторъ крѣпился, но такъ какъ замѣшательство его все возрастало, то въ концѣ концовъ онъ рѣшился,— взялъ портфель и отправился доложить обо всемъ Жаку Маландри.

На этотъ разъ директоръ вспылилъ. Доктору даже показалось, что вотъ-вотъ съ нимъ сдѣлается „припадокъ“.

— Отказъ! воскликнулъ Жакъ Маландри. — Я не принимаю этого отказа...

— Но... хотѣлъ было заговорить Ламени.

— Никакихъ „но“, милостивый государь. Эти „но“ ничего не стоятъ. Вамъ и мнѣ пора отучиться рѣшать такіе важные вопросы по капризамъ того или другого „номера“! Для насъ важно вотъ что!..

И директоръ рѣзкимъ жестомъ поднесъ чуть не къ самому носу Пьера Ламени разграфленный листъ, на которомъ красными чернилами была начерчена кривая вѣса и силы. Эта кривая загибалась вверхъ.

— О чемъ говорятъ цифры послѣдней недѣли? рѣзко спросилъ директоръ.

— О повышеніи кривыхъ.

— Вотъ видите!

— Но у другихъ кривая на одной высотѣ... Повышеніе остановилось.

— Остановка не есть пониженіе.

Докторъ съежился и затоптался на мѣстѣ, подъ вліяніемъ тусклаго взгляда директорскихъ глазъ.

— Что дѣлать, если лекарство не изъ пріятныхъ? Но вы, господинъ докторъ, прописывая лекарства, развѣ соображаетесь со вкусомъ паціента? Лекарство—не развлеченье. Я держусь того же убѣжденія. А должно быть принято лекарство или нѣтъ—это вопросъ дисциплины, милостивый государь. Въ такомъ случаѣ

обратитесь за помощью къ моему помощнику, господину Фуко. До свиданія.

Докторъ поспѣшилъ удалиться, и тутъ же, за дверями, отъ всего своего жирнаго сердца ругнулъ и директора, и его дисциплину. „Чортъ бы его побралъ за такое рѣшеніе вопроса!“

Впрочемъ, о нарушеніи дисциплины заключенными онъ все-таки заявилъ господину Фуко. Тотъ немедленно принялъ должныя мѣры.

Нѣсколько дней спустя, всѣ заключенные уже вертѣли свои колеса... Тюремная дисциплина заглушила ропотъ.

Правда, одно обстоятельство могло бы смутить Жака Маландри, если бы онъ обратилъ на него вниманіе: втрое возросло число дисциплинарныхъ взысканій среди тѣхъ пятидесяти „номеровъ“, которые были избраны вертѣть колеса. Но, поглощенный своею работой надъ рефератомъ, подавленный внутреннимъ волненіемъ, Жакъ Маландри ничего не замѣчалъ. И что означали эти дисциплинарныя взысканія? Только то, что испорченная природа какого-нибудь дегенерата упрямо держится за свои прежніе грѣхи. Но вѣдь съ нею-то и необходимо бороться. Эту самую задачу и ставитъ государственная власть. И, чтобы ее разрѣшить, она-то и представляетъ для этого всѣ средства; наконецъ, государство даетъ и права и власть человѣку надъ человѣкомъ, право изолировать и исправлять, право ломать всѣ дурныя наклонности и привычки, право ограждать общество отъ неисправимыхъ и порочныхъ его членовъ. Какая-то сила несла Жака Маландри все впередъ и впередъ. Его мысль работала и логично, и научно, и стройно, и многое изъ того, что онъ видѣлъ, казалось, не достигало его сознанія... Когда господинъ Фуко предложилъ усилить строгость взысканій среди „номеровъ съ колесомъ“, директоръ согласился безпрекословно. „Чтобы пріучить къ колесу, нужно время. Нововведенія никогда не принимаются охотно среди этихъ людей“.

Между тѣмъ кривыя вѣса и силы вдругъ перестали подниматься. Въ одиночныхъ „камерахъ съ колесомъ“ шла глухая и упорная борьба. Боролись „злая воля“ заключенныхъ и тюремная дисциплина. Первая походила на гибкую змѣю, извивающуюся въ желѣзныхъ лапахъ второй. Упорство сторонъ возрастало crescendo, не нарушая, впрочемъ, ничѣмъ молчанія тюремнаго корридора.

Ни одного отзвука этой борьбы не долетало до директорскаго уха. Поспѣшно кончая свой рефератъ, Маландри ничего не видѣлъ и не слышалъ. Громадное зданіе Prè-aux-Bonheurs казалось ему гигантскимъ механизмомъ, который онъ своею костлявою, но сильною рукой поставилъ на тѣ самые рельсы, на какіе надо; механизму остается только катиться и катиться впередъ. И пусть

катится! Нѣтъ ни смысла, ни причинъ что-либо въ немъ измѣнять! Всѣ винтики и колеса такъ прилажены, что волей-неволей дѣлаютъ свое особое дѣло. Не нужно только никакихъ уклоненій. Нужна твердость и умѣнье регулировать свое чувство. Правда, иногда обязанность директора образцовой тюрьмы куда какъ тяжела. Что же дѣлать! Не нужно только терять вѣры въ свое дѣло. Милосердіе къ отдѣльному человѣку пусть не мѣшаетъ дѣятельности, благотворной для массы людей. „Если одному номеру непріятно мое колесо—все-таки оно даетъ жизнь массѣ людей. Эти люди уже разучились понимать свою пользу. Эту святую обязанность понимать ихъ пользу взялъ на себя — я!..“

Жакъ Маландри не имѣлъ особеннаго интереса прислушиваться къ глухой борьбѣ. Но одинъ отзвукъ ея все-таки долетѣлъ до него.

Это было за четыре дня до его отъѣзда. Онъ дѣлалъ послѣдній обходъ тюрьмы. Въ корридорѣ подошелъ къ нему докторъ Ламени. Докторъ имѣлъ разстроенный видъ. Жакъ Маландри, напротивъ, улыбался; онъ только что окончилъ рефератъ. Докторъ что-то хотѣлъ сказать, но не находилъ словъ.

— Что съ вами, дорогой Ламени? Вы какъ будто не въ духѣ?

— Вы угадали. Я недоволенъ своими паціентами, и прежде всего № 1042.

— Какъ? встрепенулся директоръ. Вы имѣете сообщить мнѣ непріятныя цифры? Вѣсъ и сила пошли на убыль?

— О, нѣтъ, цифры стоятъ на томъ же уровнѣ. Но... но... Да не угодно ли взглянуть?

Докторъ коротенькими шажками сталъ подниматься по чугунной лѣстницѣ. Выраженіе лица его было столь многозначительно, что директоръ, не говоря ни слова, послѣдовалъ за нимъ. У камеры № 1042 Ламени остановился, открылъ форточку въ двери и сказалъ шепотомъ:

— Вотъ! Посмотрите...

Директоръ заглянулъ внутрь. За три шага передъ собою онъ увидѣлъ лицо. Это было то самое лицо, которое два года тому назадъ поразило его силой и здоровьемъ, и красотой. Кожа сморщилась, щеки отвисли, поблѣднѣли. Красоты этого лица директоръ не замѣтилъ. Онъ замѣтилъ нѣчто другое, что заставило его задрожать и отшатнуться. Это нѣчто было въ глазахъ. Глаза были широко раскрыты, но никуда не смотрѣли, или, вѣрнѣе, они были направлены не на дверь, не на директора, который, согнувшись, прильнулъ къ форточкѣ; они были направлены дальше него, дальше противоположной стѣны корридора, дальше стѣнъ тюрьмы. И — они что-то видѣли. Взглядъ этихъ черныхъ, широкихъ глазъ прошелъ *чрезъ* директора: онъ-то его и испугалъ. Если въ немъ выражалось психическое состояніе

этого „номера", то какъ его опредѣлить? На красивый лобъ свѣсилась прядь черныхъ вьющихся волосъ. Жакъ Маландри почему-то обратилъ на нее особое вниманіе. Лобъ былъ влажный отъ пота. По щекѣ текла слеза. Она блестѣла такъ, что директоръ ее увидѣлъ и—остановилъ на ней взглядъ. Онъ видѣлъ, какъ слеза течетъ медленно-медленно. Его поразили еще очертанія рта, именно углы рта, которые дрожали. Директоръ видѣлъ эту дрожь. И въ груди директора тоже что-то дрожало. Лицо, на которое онъ смотрѣлъ, казалось ему огромнымъ, какъ будто оно наполняло камеру. На самомъ дѣлѣ, чрезъ форточку былъ виденъ весь человѣкъ, весь „номеръ 1042". Онъ обѣими руками держалъ за ручку колеса и вертѣлъ его могучимм, но судорожными движеніями.

— Видите?? шепнулъ докторъ.—Это вторыя сутки!

Директоръ продолжалъ неподвижно смотрѣть и какъ бы замеръ. Докторъ говорилъ:

— Не можемъ оторвать... Нужно употребить силу, какъ ни прискорбно...

Директоръ попрежнему былъ неподвиженъ.

— Это случилось вчера, послѣ карцера... Вертитъ безъ устали... Патологическое явленіе...

Директоръ смотрѣлъ и молчалъ. Онъ видѣлъ передъ собой два лица,—это и другое, которое еще такъ недавно поразило его силой, здоровьемъ, красотой, жизнью... Шепотъ доктора продолжался;

— Бѣдняга воображаетъ, что вертитъ земной шаръ... Вчера онъ мнѣ говорилъ, что земной шаръ остановился и время уничтожилось. Онъ говорилъ: надо сдѣлать время. И сталъ вертѣть колесо, и говорилъ: это земной шаръ...

Директоръ пожиралъ глазами лицо сумасшедшаго; приступъ внутренней дрожи подымался въ его груди широкой волной. Колѣна начали трястись. А докторъ все шепталъ: „Осмыслилъ работу, когда сошелъ съума... Впрочемъ, онъ жаловался давно... Онъ говорилъ"...

Но директоръ уже ничего не слышалъ. Онъ плохо сознавалъ, что съ нимъ происходило. Все покрылось туманомъ; изъ тумана выступало лишь одно лицо. Лицо разрослось до гигантскихъ размѣровъ. Жакъ Маландри видѣлъ всѣ-всѣ судорожныя подергиванія, которыя пробѣгали по лицу здѣсь и тамъ. Медленное паденіе блестящихъ капель пота и слезъ казалось такимъ мучительнымъ, такъ томило... Чрезъ герметическую дверь камеры долетали какіе-то звуки.

Прошло четверть часа. Ламени рѣшился дотронуться до плеча Жака Маландри. Тотъ вздрогнулъ и поднялъ голову. Доктору показалось, что тусклые глаза директора стали походить на глаза

того человѣка, кто стоялъ за этою дверью, въ четырехъ шагахъ отъ нихъ. Губы директора посинѣли. Онъ нѣсколько мгновеній неподвижно смотрѣлъ на Ламени, какъ бы собираясь съ мыслями.

— Его надо въ лазаретъ.

Докторъ раскрылъ ротъ, желая что-то сказать. Директоръ его остановилъ, и вдругъ изъ его устъ вылетѣлъ такой вопросъ:

— И сколько у васъ такихъ?

Сказавъ эти слова, Жакъ Маландри, казалось, немного пришелъ въ себя. Ему было странно услышать свои собственныя слова! Какъ будто они были сказаны кѣмъ-то другимъ. Докторъ отвѣчалъ:

— Трое.

— А! Всѣхъ ихъ надо въ лазаретъ.

Директоръ закрылъ форточку, повернулся и пошелъ кончать свой осмотръ, оставивъ доктора въ недоумѣніи. Если бы кто-либо въ это время посмотрѣлъ на лицо Жака Маландри, то увидѣлъ бы, что онъ весь поглощенъ какою-то думой. Придя въ свою квартиру, онъ подошелъ къ письменному столу, выдвинулъ ящикъ, вынулъ изъ него большую синюю шнуровую книгу и что-то началъ усиленно искать. Онъ искалъ и соображалъ, перелистывая страницу за страницей. Онъ дѣлалъ это поспѣшно, а между тѣмъ не замѣчалъ, какъ летитъ время. На бѣломъ листѣ бумаги появились какія-то цифры.

— Шесть процентовъ!... А развѣ безъ него меньше?

Но цифры, кажется, не давали опредѣленнаго отвѣта на этотъ туманный вопросъ. Сомнѣнія Жака Маландри не разрѣшились. Онъ узналъ только то, что изъ арестантовъ, просидѣвшихъ въ филадельфійской одиночной тюрьмѣ одинъ годъ, сходитъ съума 4%; просидѣвшихъ 3 года — 14%, а просидѣвшихъ 3½ гола 18%. Нечего и говорить, цифры эти страшны. Но кого въ нихъ винить? Образцовую ли тюрьму или „нашъ нервный вѣкъ?“ Жакъ Маландри былъ глубоко убѣжденъ, что нужно винить именно нервный вѣкъ. Американская жизнь напряженнѣе бельгійской, и процентъ сумасшедшихъ въ филадельфійской тюрьмѣ больше. О, этотъ процентъ въ его тюрьмѣ гораздо меньше — на полтора процента меньше! А все-таки вопросъ „сколько безъ него?“ остался открытымъ.

Жакъ Маландри легъ спать, не заглушивъ своего сомнѣнія, не подавивъ внутренней дрожи, не погасивъ невыразимо мучительнаго чувства, раздиравшаго грудь. И что всего хуже — онъ пересталъ понимать самого себя.—Какъ у него могъ вырваться такой вопросъ: „и много ли у васъ такихъ?“ Да развѣ онъ самъ, онъ, директоръ образцовой тюрьмы, ожидалъ ихъ много? И это среди тѣхъ „номеровъ“, которые вертѣли его колесо?! Что за

нелѣпость! Жакъ Маландри вспоминалъ всѣ детали видѣнной тяжелой сцены. Хотя не въ первый разъ онъ видѣлъ сумасшедшихъ арестантовъ, но этотъ № 1042 особенно поразилъ его. А почему?

Сколько ни думалъ Жакъ Маландри, но отвѣтить себѣ не могъ.

День прошелъ. И другой день прошелъ. Состояніе духа директора если и измѣнилось, то къ худшему. Тюремные служащіе шепотомъ передавали другъ другу, что съ директоромъ — „припадокъ“. Онъ безвыходно сидѣлъ въ кабинетѣ за письменнымъ столомъ. Онъ казался окаменѣвшимъ. Тусклые глаза смотрѣли неподвижно на бѣлый листъ бумаги съ какими-то цифрами. Если бы кто вглядѣлся въ его лицо, то замѣтилъ бы, что директоръ не только не спокоенъ,— онъ мучается. Иногда онъ нервно приподнимался съ кресла и принимался ходить по кабинету. Его все раздражало.

На другой день въ кабинетъ вошелъ докторъ Ламени и доложилъ, что № 1042 переведенъ въ лазаретъ, и тамъ съ нимъ очень много хлопотъ и затрудненій, у него буйное помѣшательство. Повидимому, „въ будущемъ отъ него нечего ожидать“... Директоръ, казалось, этого извѣстія даже и не услышалъ. Онъ машинально поздоровался съ докторомъ и машинально раскланялся съ нимъ.

Впрочемъ, извѣстіе не прошло безслѣдно черезъ мозгъ Жака Маландри. Оно ему что-то разъяснило. Ему стало понятно то, чего онъ до сихъ поръ не могъ понять,—ужаса сцены, видѣнной въ камерѣ тысяча сорокъ второй. Жакъ Маландри вдругъ почувствовалъ, именно почувствовалъ, что къ этому ужасу онъ причастенъ. Вотъ почему эта сцена и показалась ему страшнѣе другихъ такихъ же сценъ. Тамъ онъ чувствовалъ себя зрителемъ, наблюдателемъ, даже врачемъ. Здѣсь же онъ былъ участникъ.

Сознаніе его вдругъ сдѣлалось яснымъ, такимъ яснымъ, какъ никогда. И новая мысль пролетѣла стрѣлою въ этомъ прояснившемся сознаніи—такъ въ прозрачной глубинѣ ночного неба несется падающая звѣзда, оставляя позади себя жгучій, огненный слѣдъ.

— Я—преступникъ!

Мысль эта обожгла, оглушила Жака Маландри. Онъ вскочилъ со стула, подошелъ къ окну и горячимъ лбомъ прикоснулся къ потному стеклу. Лазурь неба, залитая зимними солнечными лучами, блестѣла. Красные зубцы сѣвернаго корпуса тюрьмы рѣзко выдѣлялись на синевѣ. Надъ ними, изъ-за нихъ выступали бѣлые, синіе, фіолетовые контуры облаковъ. Облака эти казались тоже средневѣковымъ замкомъ, выстроеннымъ тамъ, на небѣ. Тонкая пелена снѣга, покрывавшая всю долину, убѣгала

въ даль. Снѣжинки кое-гдѣ горѣли, какъ искорки, вспыхивали и потухали. Только деревья безъ листьевъ смотрѣли какъ будто обиженныя. Былъ день крещенія. Почти двѣ тысячи лѣтъ тому назадъ въ этотъ день крестился Искупитель грѣховъ всего человѣчества.

— Преступникъ! Я — преступникъ? Что за нелѣпая мысль! Жакъ Маландри дѣлалъ всѣ усилія, чтобы ее прогнать, но мысль вертѣлась безотвязно. И вдругъ воспоминанія длиннымъ хороводомъ поднялись изъ глубины сознанія Жака Маландри, поднялись, понеслись, завертѣлись. Яркость и напряженіе образовъ возростали. Одна картина вставала за другою. Передъ Жакомъ Маландри длинною цѣпью вытянулись, словно фронтъ полковъ, всѣ десять лѣтъ его тюремной жизни и одинъ за другимъ убѣгали въ перспективу.

Воспоминанія похожи на небесный сводъ, покрытый туманными облаками, чрезъ которыя кое-гдѣ въ просвѣтахъ сквозитъ яркими пятнами блестящая лазурь неба. Но Жаку Маландри не сквозило въ просвѣтахъ лазуревое небо, а была видна длинная перспектива сѣрыхъ облаковъ, слой надъ слоемъ, все гуще и все темнѣе. Въ этой убѣгающей перспективѣ Жакъ Маландри видѣлъ всѣ свои успѣхи, всѣ дѣла, выраженныя цифрами. Онъ видѣлъ сотни и тысячи номеровъ, прошедшихъ чрезъ его руки. Каждый „номеръ“ была одна изъ цифръ этой серіи. И вдругъ, подъ вліяніемъ всего ужаса сознанія, директоръ образцовой тюрьмы увидѣлъ, что всѣ эти цифры, эти номера стали на его глазахъ облекаться въ плоть и кровь. И всѣ они походили на этотъ неотвязный № 1042. Это была галлюцинація, кошмаръ, изображающій воскресеніе мертвыхъ. Жакъ Маландри чувствовалъ, какъ по его лицу съ тою же томящей медленностью вдругъ заскользила капля холоднаго пота.

„Преступникъ! шепталъ чей-то голосъ.—Преступникъ“...

Волна внутренней дрожи поднялась и покатилась, ударилась, разсыпалась,—дала дорогу новой волнѣ. Жакъ Маландри желалъ бы заглушить мучительное сознаніе. Онъ закрылъ глаза и машинально сосредоточилъ вниманіе на потрясавшей его внутренней дрожи. И вдругъ эта самая дрожь испугала его. Въ ней столько было жестокости, органической, вложенной въ тѣло и кости и нервы жестокости. Откуда она? Передана ли по наслѣдству отъ дальнихъ и дикихъ предковъ? Или все тотъ же „нашъ нервный вѣкъ“ расшаталъ, искалѣчилъ, изломалъ и душу, и тѣло человѣка? Жакъ Маландри не отвѣчалъ на эти вопросы. Онъ былъ поглощенъ ощущеніемъ собственной органической жестокости. Его труды, его дѣятельность, его сочиненія вдругъ раскрылись передъ нимъ съ этой новой точки зрѣнія...

На одно мгновеніе вся его жизнь и жизнь всего человѣчества

вдругъ показалась ему чудовищнымъ колесомъ безъ входа и безъ выхода.

Онъ схватился костлявыми руками за голову и, что было силъ, сжалъ ее, какъ бы пытаясь выдавить изъ нея тяжелыя мысли. Онъ зашагалъ по кабинету и, машинально подойдя къ огромному шкафу чернаго дерева, машинально раскрылъ стеклянную дверцу и досталъ большую книгу въ черномъ шагреневомъ переплетѣ. Онъ раскрылъ книгу. Въ ней были все цифры и цифры. Эти цифры кое-гдѣ, для наглядности, были представлены кривыми линіями. Эти кривыя линіи одна за другой тянулись черезъ всѣ десять лѣтъ дѣятельности Жака Маландри въ тюрьмѣ Пре о-Бонеръ. Вотъ красная кривая — долговѣчности заключенныхъ: какъ она стояла низко, а съ ходомъ времени, усиліями его, Жака Маландри, медленно изогнулась и пошла вверхъ: директоръ образцовой тюрьмы прибавилъ жизни своимъ пацієнтамъ... Вотъ кривыя работы,—онѣ тоже идутъ вверхъ,—производительность тюремнаго труда возросла; вотъ кривыя питательности пищи, кривыя силы, вѣса и много другихъ,—всѣ онѣ идутъ вверхъ. А вотъ кривыя болѣзней, изображенныя синей краской. Вотъ кривыя дизентеріи и цынги—онѣ изогнулись, пошли къ низу и пять лѣтъ тому назадъ исчезли. Вотъ кривыя другихъ болѣзней — онѣ тоже понизились. Только кривая психическихъ заболѣваній — mania, melancholia и имъ подобныхъ—не слѣдовала общему примѣру. Она дѣлала причудливые изгибы—то поднималась, то понижалась, то стояла на одной высотѣ, словно прыгала или дрожала, описывая зубцы пилы. Она не повиновалась никакому закону, стояла внѣ его, какъ будто не желая идти въ слѣдъ за усовершенствованіями образцовой тюрьмы. Чѣмъ это объяснить? Не тѣмъ ли нервнымъ вѣкомъ, который вталкиваетъ въ стѣны тюрьмы то такихъ, то иныхъ несчастныхъ? Очевидно, регуляторъ хода этой кривой—внѣ стѣнъ ея,—тамъ, гдѣ кончается власть Жака Маландри.

Чѣмъ дольше смотрѣлъ на эти красныя и синія кривыя Жакъ Маландри, тѣмъ сильнѣе и сильнѣе поглощали онѣ его вниманіе. Кривыя добра шли вверхъ, кривыя зла—внизъ; за этими кривыми стояли безконечные ряды цифръ, собранныхъ строго научнымъ путемъ; эти цифры были непоколебимымъ базисомъ, и на этомъ базисѣ Жакъ Маландри вдругъ увидѣлъ... самого себя. Это поднятіе вверхъ было его дѣломъ...

Развѣ постепенный ходъ улучшеній, введенныхъ имъ въ тюрьмѣ, можетъ подвергаться сомнѣніямъ? Нѣтъ! Развѣ онъ, Жакъ Маландри, сдѣлалъ на своемъ вѣку для тюрьмы мало? Нѣтъ! Цифры на лицо.

Онъ посмотрѣлъ на эти цифры. Это были красиво выписан-

ные крючки и завитушки, нули, единицы, двойки, тройки и такъ дальше, черные, изящные, краснорѣчивые.

Правда, они не говорили о нервахъ, о психикѣ, зато въ немногихъ знакахъ они выражали цѣлое учрежденіе и его жизнь за цѣлый десятокъ лѣтъ. Образы, только что могучіе и яркіе, все больше и больше тускнѣли въ душѣ Жака Маландри. Онъ любовно и сосредоточенно смотрѣлъ на цифры и, казалось, пожиралъ ихъ глазами.

Эти цифры выражали съ точностію до десятитысячной сдѣланное имъ добро, онѣ всѣмъ и каждому показывали, что онъ, Жакъ Маландри,—человѣкъ добра.

Кто же сказалъ, что онъ преступникъ? Это вопль разстроенныхъ нервовъ, бредъ больного воображенія, самообманъ поглощеннаго своей идеей человѣка, его мучительство надъ самимъ собой.

Безспорно, обязанность директора образцовой тюрьмы трудна и отвѣтственна, и, неся ее, нельзя обойтись безъ непріятностей. Но можетъ ли отъ этого разрушиться вся громада и сила и значеніе этихъ изящныхъ кривыхъ?

Нервы Жака Маландри успокаивались. Волненіе утихало. Ему казалось, что онъ пробуждался отъ тяжелаго и мучительнаго сна. Онъ закрылъ книгу и подошелъ къ окну. Тотъ же ландшафтъ показался ему въ эту минуту веселымъ и привлекательнымъ. Онъ обратилъ вниманіе, какъ подъ радужными лучами заходящаго солнца красиво алѣютъ снѣжныя вершины окрестныхъ холмовъ; какъ изящны переливы оранжеваго и фіолетово-голубого цвѣта! Жакъ Маландри взглянулъ на каменный корпусъ тюрьмы. Подвальный этажъ, гдѣ помѣщалась кухня, былъ залитъ огнями. Тамъ, за этими окнами, Жакъ Маландри видѣлъ уже кривую питательности, поднимающуюся вверхъ. Черезъ минуту разомъ вспыхнули электрическія лампочки въ одиночныхъ камерахъ, гдѣ поднимались вверхъ другія кривыя—роста, силы... И это благодаря изобрѣтенному имъ колесу! На этихъ поднимающихся къ небу кривыхъ, казалось, поднимался туда же и самъ Жакъ Маландри. Да, люди, неблагодарные люди, мало знаютъ, сколько трудовъ и непріятностей долженъ перенести и испытать на себѣ директоръ образцовой тюрьмы, чтобы сдѣлать вполнѣ нормальной жизнь въ этихъ стѣнахъ.

Теперь это достигнуто. Цифры такъ прочно подтвердили пользу колеса, что одна или двѣ непріятности, разумѣется, не уменьшатъ его достоинства. Къ тому же, какъ знать,—что этому виною,—колесо или нервный вѣкъ? У директора пока нѣтъ цифровыхъ данныхъ сравнить оба эти вліянія. Но онъ постарается добыть и ихъ. Онъ сдѣлаетъ и такое сравненіе

Новая волна чувства пронеслась по душѣ Жака Маландри.

Пронеслась .и улеглась. Только онъ, Жакъ Маландри, знаетъ, какое возвышенное и глубокое утѣшеніе даютъ человѣку цифры. Онѣ убѣдительны, научны и въ корень разрушаютъ разные фантомы, создаваемые болѣзненнымъ чувствомъ, разстроеннымъ воображеніемъ, или какой иной, не совсѣмъ ординарной причиной.

Жакъ Маландри почувствовалъ, что отъ сердца его окончательно отлегло. Нужно окончить поскорѣе сборы. Завтра день отъѣзда на конгрессъ. Директоръ еще разъ окинулъ взоромъ картину, растилающуюся передъ окномъ. Вдали, между холмами промчался въ клубахъ дыма и пара брюссельскій поѣздъ. Черезъ мгновеніе промчался и надымилъ еще парижскій экспрессъ. Директоръ ихъ не замѣтилъ. Изъ тюремнаго лазарета вышла процессія. Впереди шелъ старичекъ священникъ въ облаченіи, за нимъ четыре служителя несли черный простой гробъ. Директоръ и его тоже не замѣтилъ...

Въ этомъ гробу лежалъ „номеръ“,—именно номеръ тысяча сорокъ второй, камеру котораго въ этотъ же день занялъ кто-то другой, сдѣлавшійся этимъ же самымъ номеромъ.

Директоръ поспѣшно пошелъ дѣлать послѣднія распоряженія предъ отъѣздомъ на конгрессъ.

* * *

Это былъ одинъ изъ счастливѣйшихъ дней жизни Жака Маландри. Онъ только что окончилъ чтеніе своего реферата и демонстрировалъ изобрѣтенное имъ колесо. Оно заслужило шумные апплодисменты всего ученаго собранія. Извѣстнѣйшіе тюрьмовѣды, антропологи и криминалисты горячо пожимали руку Жаку Маландри. Всѣ удивлялись правильному поднятію кривыхъ вѣса и силы заключенныхъ. Онѣ такъ красиво стремились къ небу! Изобрѣтеніе вполнѣ заслуживаетъ вниманія всего міра. Правда, въ немъ указали кое-какія несовершенства: во-первыхъ, самое существенное, нужно веревку замѣнить проволокой, а, во-вторыхъ. гирю слѣдуетъ помѣстить въ ящикъ. Жакъ Маландри съ изысканной вѣжливостью благодарилъ за замѣчанія. Онъ принялъ дѣятельное участіе въ трудахъ конгресса. Его голосъ имѣлъ на собраніяхъ очень большое значеніе, какъ голосъ человѣка, на дѣлѣ показавшаго, что и въ тюрьмѣ возможна вполнѣ нормальная жизнь, чуждая средневѣковаго варварства: нужно только, чтобы тюрьмовѣды не забывали словъ Спасителя: „возлюби ближняго“. Въ концѣ концовъ, колесо удостоилось высшей награды — большой золотой медали въ память Цезаря Беккаріа.

Директоръ получилъ эту медаль при торжественномъ закрытіи конгресса. Онъ ликовалъ. Теперь въ его душѣ бились одна о другую волны радостнаго чувства. Онъ былъ поглощенъ своею славой и въ упоеніи купался въ ея лучахъ.

Только передъ самымъ отъѣздомъ изъ Берна онъ получилъ телеграмму изъ Prè-aux-Bonheurs. Онъ, не распечатывая, положилъ ее въ карманъ. И умно сдѣлалъ.

Телеграмма содержала всего лишь нѣсколько словъ:

„Кривыя вѣса и силы упорно понижаются".

Ламени

IV.

Бомба профессора Штурмвельта.

Забываютъ человѣка..
Л. Толстой.

Министръ сидѣлъ въ своемъ кабинетѣ передъ широкимъ письменнымъ столомъ, заваленнымъ бумагами, курилъ сигару и пилъ утренній кофе. Онъ усиленно втягивалъ въ себя дымъ и затѣмъ медленно выпускалъ его. Его маленькая пухлая фигурка съ отвисшимъ брюшкомъ глубоко ушла въ мягкое бархатное кресло, и на этомъ бархатномъ фонѣ вырисовывалась большая, на половину лысая голова. Лицомъ министръ походилъ на того стараго кота, который, прищуривъ глаза, намѣревается цапнуть докучнаго ребенка.

Министру было не по себѣ. Наклонивъ свою лысую голову на бокъ, положивъ руки на ручки кресла, онъ угрюмо смотрѣлъ по сторонамъ, испуская облака ароматнаго дыма, а въ промежутки между затяжками нервно грызъ двумя единственными зубами кончики жесткихъ, щетинистыхъ усовъ.

Въ отворенное, полузавѣшенное тяжелыми гардинами окно, вмѣстѣ со свѣжимъ утреннимъ воздухомъ врывались волны звуковъ, наполняли комнату сверху до низа и глохли въ книжныхъ шкафахъ, этажеркахъ, бюро, статуяхъ, картинахъ и разнообразной и пестрой блестящей, дорогой дребедени, которою былъ заставленъ кабинетъ министра. Мощнымъ акордомъ жизни гудѣлъ лѣсъ; не переставая, словно моля и взывая, трещалъ соловей. На подоконникъ окна усѣлся храбрый воробушекъ, разъ-два молодцовато вертнулъ своей головкой, заглянулъ въ кабинетъ и, не найдя тамъ ничего привлекательнаго, спорхнулъ въ ближайшую зеленую рощу.

Но министръ не слышалъ этихъ звуковъ. Его уши были, такъ сказать, заткнуты его мыслями. Онъ смотрѣлъ на бумаги,

которыя лежали передъ нимъ на столѣ, и, перебѣгая взглядомъ съ одной на другую, что-то усиленно соображалъ и что-то недоступное простымъ смертнымъ видѣлъ. Передъ его умственными очами гдѣ-то, не то далеко, не то близко, какъ будто вверху, а то и внизу, широкой панорамой разстилалась Европа, окруженная убѣгающей въ даль перспективой колоній. Но это была не Европа-материкъ, съ ея горами и морями, и съ мыслящими и чувствующими людьми, а какой-то туманный, безжизненный символъ, гигантская карта, распланированная, разгороженная, подѣленная на части и частички и сплошь покрытая, какъ сшитое изъ лоскутовъ одѣяло, трактатами, договорами, донесеніями пословъ, консуловъ и агентовъ, видимыхъ и невидимыхъ; и съ каждой частичкой въ умѣ министра связывалось извѣстное, очень опредѣленное представленіе цвѣта, запаха, вкуса, симпатіи и антипатіи. Одно донесеніе гласитъ: „Спѣшу васъ увѣдомить, что мною получены самыя вѣрныя свѣдѣнія о сосредоточеніи двухъ корпусовъ на нашей границѣ“. Другое: „Вносится законопроектъ объ увеличеніи на восемнадцать тысячъ мирнаго состава арміи“... Третье: „Въ крѣпость Пьерфортъ доставлены новой системы орудія, діаметръ два фута, дальнобойность восемнадцать километровъ“... „Профессоръ Дьелафе изобрѣлъ и представилъ на испытаніе разрывной составъ необыкновенной силы „horrorit“. Достать его рецептъ пока невозможно“.

Перебирая аккуратно сложенныя бумаги, министръ мелькомъ уловлялъ однозначущія, утомительно однообразныя слова: „вооруженіе“, „добавочный кредитъ“, „палеинъ Ланфре“, „взрывчатая смола Нобеля“, „зеленый порохъ“, „беллитъ Лама“, „панкластитъ Тюрпена“, „литокластитъ Рока“, „мелинитъ“, „робуритъ“, „громобой“, „бездымный порохъ“, „торпеды“, „ружья системы Кабэ, Пате, Шпитцфусъ“... Затѣмъ соображенія военнаго министра о постройкѣ новыхъ стратегическихъ дорогъ, объ укрѣпленіи крѣпостей, расширеніи казармъ, о преміяхъ унтеръ-офицерамъ; записки министра финансовъ о новыхъ налогахъ для покрытія „чрезвычайныхъ“ расходовъ и о ростѣ государственнаго долга... Затѣмъ толки газетъ „о непонятной уступчивости рейхстага, вслѣдствіе которой отъ народа потребуютъ все то, что у него можно будетъ взять“, и „объ угрожающемъ господствѣ солдатскаго духа“, и т. д., и т. д. Длинный рядъ странныхъ и страшныхъ словъ несся въ головѣ министра, словно змѣйка, которая ползетъ уже давно-давно, а хвоста которой еще не видно. Всѣ донесенія, всѣ извѣстія и телеграммы настроены на одинъ тонъ и говорятъ объ одномъ и томъ же: сосѣди не дремлютъ, ихъ сила ростетъ.

Министръ дѣлаетъ нетерпѣливый жестъ рукою и отбрасываетъ донесенія и газеты въ сторону. По его желтымъ, отвис-

шимъ щекамъ пробѣгаетъ, какъ волненіе по заплывшему зеленью пруду, не то улыбка, не то гримаса, и быстро исчезаетъ подъ тиной. А въ умѣ возстаетъ въ высшей степени непріятное ощущеніе, какое люди не рѣдко испытываютъ во снѣ: нужно бѣжать, вотъ-вотъ настигаютъ, нужно защищаться, вотъ-вотъ нападаютъ, а ни бѣжать, ни защищаться не можешь... Тутъ ужъ не до разсужденія: „на кой чортъ все это совершается?" Министръ мотнулъ головой, словно желая согнать навязчивую муху.

Изъ сосѣдней комнаты доносятся звуки рояля, которые брызжутъ изъ подъ опущенныхъ портьеръ, льются и очаровываютъ. „И зачѣмъ этотъ глупый мальчишка Гейнрихъ вчера опять ѣздилъ въ Кугельруэ?" вдругъ встаетъ въ умѣ министра совершенно посторонній вопросъ. „Она не пара ему. Вздоръ, глупости! Мой сынъ!.. О, чортъ возьми!.."

Положительно въ этотъ день логическое мышленіе не дается министру. Снова нетерпѣливый жестъ. Снова какое-то неопредѣленное движеніе по лицу. И опять новое непріятное воспоминаніе.

— Онъ сказалъ: „ваши планы будутъ разрушены полнымъ финансовымъ разореніемъ государства. У насъ больше нѣтъ силъ!" Онъ это сказалъ, и оппозиція ему апплодировала. О, эти господа апплодируютъ всѣмъ, кто дѣлаетъ мнѣ возраженія. Глупости, глупости! Остановиться нельзя. Въ нашей странѣ, наконецъ, больше силъ, чѣмъ думаютъ эти господа! Или мой законопроектъ будетъ принятъ, или я выйду въ отставку. „Для царства мира нужны штыки".

— „Чикъ-чирикъ, чикъ чирикъ", неугомонно, гдѣ-то вблизи щебечетъ воробей, словно желая показать всему міру, какъ ему легко и беззаботно живется. Министръ тяжело поднимается съ кресла и, переваливаясь съ боку на бокъ, подходитъ къ окну. У воротъ замка стоитъ солдатъ, который, увидѣвъ въ окнѣ министра, поспѣшно вытягивается.

Къ подъѣзду замка, украшенному гранитными каріатидами, подъѣхала изящная коляска на резиновыхъ шинахъ, а изъ нея выпрыгнулъ съ легкостью резиноваго мячика пухленькій господинъ въ цилиндрѣ, съ портфелемъ, и легкой скачущей походкой исчезъ въ дверяхъ дворца.

Министръ поморщился. Онъ не любилъ лишнихъ посѣтителей и, ковыляя, снова подошелъ къ столу и грузно опустился въ кресло.

Черезъ нѣсколько минутъ лакей доложилъ о пріѣздѣ „господина предсѣдателя медицинскаго совѣта и постоянной санитарной комиссіи" профессора Штурмвельта, желающаго говорить по неотложному дѣлу.

Министръ еще поморщился, но велѣлъ принять. Въ комнату

вошелъ тою-же скачущею походкой, но почтительно согнувшись, пожилой, хотя и юркій господинъ во фракѣ со свѣтлыми пуговицами, украшенномъ орденами, съ портфелемъ въ рукахъ, надушенный, изящный, съ аккуратно расчесанными à l'anglaise рыжими баками, изъ подъ которыхъ выставлялись красныя лоснящіяся щеки. На широкомъ носу плотно сидѣли золотые, массивные очки, и эти очки, вмѣстѣ съ пухлыми, красными губами широкаго рта и носомъ съ горбинкой придавали господину профессору видъ ученаго достоинства, величавой любезности и гордаго самосознанія. Вся наружность профессора давала понять что онъ понимаетъ, съ кѣмъ говоритъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ, что онъ знаетъ цѣну и себѣ.

Послѣдовалъ обмѣнъ привѣтствій, и затѣмъ профессоръ началъ говорить пріятнымъ теноркомъ, отчеканивая слова и сопровождая свою рѣчь изящными жестами.

— Ваше высокопревосходительство, я къ вамъ пріѣхалъ по одному важному, можно сказать, государственному дѣлу. Мы, люди науки, считаемъ своимъ нравственнымъ долгомъ служить государству...

Министръ кивнулъ головой, не измѣняя выраженія лица.

— Я собственно имѣю честь сдѣлать докладъ о моей поѣздкѣ въ зараженныя мѣстности Испаніи и заявить о нѣкоторыхъ результатахъ моихъ работъ, которыя, смѣю надѣяться, ваше высокопревосходительство почтите своимъ сочувствіемъ.

Профессоръ остановился и сдѣлалъ изящный поклонъ, согнувъ свой станъ въ сторону, и при этомъ съ любезнымъ видомъ оскалилъ длинные бѣлые зубы.

— Вотъ, ваше высокопревосходительство, продолжалъ профессоръ, подавая министру объемистую тетрадь, — докладъ о моихъ работахъ. Въ виду того, что это дѣло государственной важности, я рѣшился обратиться съ нимъ прямо къ вамъ. Вы мнѣ позволите теперь вкратцѣ изложить передъ вами сущность дѣла?

Министръ наклонилъ въ знакъ согласія голову, но при этомъ посмотрѣлъ на часы.

— Во-первыхъ, началъ профессоръ, способъ предохранительной прививки холерныхъ бациллъ — найденъ. Точная постановка опытовъ, нѣкоторыя усовершенствованія въ методѣ культуръ, сдѣланныя мною, позволяютъ мнѣ утверждать, что я въ данномъ отношеніи не ошибаюсь. Мои предшественники въ своихъ работахъ шли по ложной дорогѣ. Они культивировали запятыя доктора Коха, и въ этихъ культурахъ искали антагониста болѣзни. Это совершенно неправильный путь. Основываясь на опытахъ Фелейзена, который вылечилъ lupus *), вводя въ кровь бактерію рожи,

*) Разъѣдающій лишай—волчанка.

и на опытахъ Эммериха, доказавшаго, что бактеріи рожи предохраняютъ отъ многихъ заболѣваній, я нашелъ вполнѣ правильный путь борьбы съ холерой. Онъ состоитъ въ культурѣ одной изъ найденныхъ мною бактерій, которую я назвалъ, съ согласія моихъ испанскихъ коллегъ, моимъ собственнымъ именемъ,—Microspirula Sturmweltii. Это— маленькая спиральная бактерія, три микромилиметра длины, одинъ ширины, обыкновенно безвредная. Но, путемъ длиннаго ряда культуръ въ крови извѣстныхъ видовъ животныхъ, можно усилить ея дѣятельность до желательной для насъ нормы. Тѣ субъекты, въ которые она попадаетъ, тогда подвергаются, смотря по ея силѣ, разнымъ пораженіямъ, — этимъ она напоминаетъ пнеймококкусъ Френкеля, которая производитъ плевритъ, бронхитъ, отитъ, эндокардитъ, перикар...

Министръ сдѣлалъ нетерпѣливый знакъ рукою.

— О, я не буду утомлять вашего вниманія патологическими признаками! Но осмѣливаюсь заявить, что такая усиленная Microspirula Sturmweltii, привитая въ кровь человѣка, предохраняетъ его отъ зараженія холерой. Вотъ мое открытіе въ чемъ состоитъ. Счастливый результатъ, добытый мною, уже провѣренъ на опытахъ въ институтѣ Пастера. Вашему высокопревосходительству, разумѣется, не безъизвѣстно, что мнѣ назначена французскимъ правительствомъ премія, которой, быть можетъ, и не заслуживаютъ мои скромные труды...

Профессоръ опять изящно перегнулъ станъ и выразилъ на своемъ лицѣ все необходимое для того, чтобы и слѣпые поняли, какую цѣну онъ придаетъ этимъ „скромнымъ трудамъ".

Министръ, процѣдивъ сквозь зубы какую-то любезность, по прежнему сидѣлъ неподвижно и лишь правою рукою мѣрно отбивалъ тактъ по ручкѣ кресла.

— Но это, ваше высокопревосходительство, одна сторона дѣла, продолжалъ профессоръ.—Безспорно, человѣчество внесетъ меня въ списокъ маленькихъ, маленькихъ тружениковъ на великомъ поприщѣ науки. Можно теперь сказать, холера—не страшна. Зараженные ею умирать уже не будутъ,—я имъ этого не дамъ! Мы работаемъ на благо человѣчества, какъ умѣемъ. (Профессоръ слащаво улыбнулся и побѣдоносно посмотрѣлъ изъ подъ своихъ очковъ на министра). Но я пошелъ дальше, ваше высокопревосходительство. Microspirula Sturmweltii—въ этомъ ея достоинство—чрезвычайно поддается культурѣ. Способность ея усиливаться въ своихъ дѣйствіяхъ на животный организмъ, повидимому, безгранична. Она мѣняется въ видѣ, въ цвѣтѣ, въ величинѣ. Если вы возьмете III окуляръ Зейберта, девятую систему иммерзіонъ, и окрасите при этомъ Microspirula Sturmerweltii везувиномъ или эозиномъ...

— Гм! кашлянулъ министръ.—Что вы говорите?

Профессоръ опять сдѣлалъ любезную гримасу и продолжалъ:

— О, я не буду утруждать ваше высокопревосходительство технической стороной вопроса. Мы, люди науки, слишкомъ преданы своему дѣлу, чтобы подчасъ не увлечься. Такъ вотъ, за извѣстной границей культуръ, Microspirula Sturmweltii дѣлается смертоносной. Животное, которому привита въ кровь Microspirula Sturmweltii (профессоръ особенно выразительно произносилъ эти слова), теряетъ сознаніе, падаетъ въ судорогахъ, у него происходитъ параличъ мышцъ лица, языка, глотки, неба, глаза выступаютъ изъ орбитъ, легкія расширяются, животное дышетъ съ трудомъ и такъ и остается съ расширенными легкими. Затѣмъ—поліурія, мелитурія, и черезъ двадцать минутъ смерть. Очевидно, въ данномъ случаѣ, дѣло не обходится безъ пораженія мозга.

— Какія мученія! замѣтилъ министръ, закуривая сигару.

— Такъ, сказалъ профессоръ такимъ тономъ, которымъ отвѣчаютъ на вопросы, не идущіе къ дѣлу, и, не останавливаясь на этой сторонѣ вопроса, пошелъ дальше. Я не могу еще объяснить себѣ, чѣмъ обусловливается болѣзнетворное дѣйствіе Microspirula Sturmweltii на организмъ: вѣроятно, она выдѣляетъ какой-либо птомаинъ, какъ доказалъ докторъ Ру для дифтерита. Но это все равно. Изслѣдованіе Microspirula Sturmweltii показало, что это за сильное орудіе. Такъ, мой служитель едва не поплатился при этомъ своей жизнью. Случайно онъ царапнулъ моимъ ланцетомъ свою руку. И у него проявились всѣ признаки отравы; онъ упалъ безъ чувствъ и въ судорогахъ—это разъ; у него сталъ наблюдаться параличъ мышцъ, языка, лица, глотки,—это два; глаза выступили изъ орбитъ—три; наконецъ, легкія расширились, и онъ сталъ задыхаться—четыре. Очевидно, дѣйствіе усиленной Microspirula Sturmweltii одинаково (если только не сильнѣе) и на человѣкѣ. Мой слуга несомнѣнно умеръ бы, если бы мнѣ не пришла въ то мгновеніе счастливая мысль впрыснуть ему подъ кожу значительную дозу холерной культуры. И дѣйствительно, припадки стали ослабѣвать, и черезъ мѣсяцъ онъ былъ почти здоровъ,—остались только одни слѣды паралича.

Министру уже начинало казаться, что господинъ предсѣдатель медицинскаго совѣта и постоянной комиссіи слишкомъ многорѣчивъ. Зачѣмъ такъ долго останавливатьсн на такихъ непріятныхъ подробностяхъ, какъ человѣкъ съ расширенными легкими и выкатившимися глазами?

— И такъ, сказалъ онъ и быстрѣе забилъ тактъ по ручкѣ кресла.

— И такъ..., продолжалъ профессоръ, я открылъ рядъ чрезвычайно интересныхъ фактовъ, богатыхъ выводами. И что всего удивительнѣй,—ни запятыя доктора Коха, ни Microspirula Sturmweltii уже не дѣйствуютъ на такихъ людей, которымъ впрыснута подъ

кожу смѣсь ихъ, хотя она сама по себѣ безвредна. Это разъ. Затѣмъ Microspirula Sturmweltii на извѣстной степени культуры способна заражать человѣка не только при впрыскиваніи ея подъ кожу, но и попадая въ легкія, въ пищевой каналъ, и т. д., и т. д. Я опредѣлилъ эту степень культуры. У меня есть нѣкоторый запасъ этой удивительной бактеріи. И извольте видѣть, ваше высокопревосходительство,— она дѣйствуетъ не больше, какъ черезъ часъ послѣ прививки, а черезъ полтора часа человѣкъ уже не можетъ ни ходить, ни стоять...

Министръ опять усилилъ тактъ, а по его лицу пробѣжала какая-то тѣнь и исчезла за занавѣской, какъ мышь, выскочившая изъ норы и юркнувшая подъ диванъ. Министръ уже не понималъ, къ чему ведетъ рѣчь ученый профессоръ. Въ его душѣ поднималось непріятное чувство.

— И такъ, сказалъ онъ, похлопывая по креслу и показывая два желтыхъ зуба,—вы обогатили міръ новою болѣзнью?

Профессоръ широко улыбнулся, блеснувъ зубами и глазами, и, осклабившись, сказалъ:

— Нѣтъ, ваше высокопревосходительство, совсѣмъ не такъ! Я обогатилъ міръ новымъ орудіемъ добра. Это-то орудіе я и осмѣливаюсь предложить нашему великому государству для дальнѣйшей его славы и процвѣтанія. Долгомъ считаю предложить мое изобрѣтеніе моей родинѣ, которая меня уже наградила столькими отличіями. Прежде всего...

Онъ опять перегнулся, сдѣлалъ умильное лицо, мелькомъ взглянулъ на ордена, украшавшіе его грудь, и поклонился министру съ такимъ видомъ, какъ будто бы передъ нимъ сидѣла въ креслѣ его воплощенная родина.

Министръ, въ головѣ котораго только что, неизвѣстно по какой ассоціаціи идей возникъ вопросъ: „Неужели мой Гейнрихъ опять у т о й?“—вѣрный признакъ разсѣянности,—министръ насторожилъ уши. Какое такое добро можно ожидать отъ людей съ выкатившимися глазами и расширенными легкими?

Профессоръ, прыгающей походкой, ступая на носочки, подошелъ къ изящному столику эбеноваго дерева, граціозно положилъ на него портфель, развернулъ и досталъ изъ него два шарика изъ толстаго стекла, дюйма три въ поперечникѣ. Внутри шариковъ можно было видѣть какое-то коричневое вещество, порошкообразное и похожее на сухія дрожжи. Въ одномъ мѣстѣ шарика укрѣплена была металлическая трубочка, совершенно такая, какъ у разрывныхъ гранатъ.

Профессоръ взялъ каждый шарикъ двумя пальцами и, съ видомъ бѣса, соблазняющаго Еву, подалъ ихъ министру. Тотъ взялъ шарикъ, прищурилъ глаза и, отодвинувъ сигару въ уголъ рта, сталъ его разсматривать.

Профессоръ стоялъ передъ нимъ, разглаживая рыжія бакенбарды, и съ самодовольнымъ видомъ игралъ колѣномъ правой ноги.

— Что это такое? спросилъ, наконецъ, министръ.

— Ваше высокопревосходительство, произнесъ профессоръ торжественнымъ голосомъ,—имѣю честь предложить черезъ ваше посредство нашему могучему государству пріобрѣсть у меня бомбу моего изобрѣтенія. Вамъ извѣстны, разумѣется, лучше чѣмъ мнѣ, разрушительныя силы динамита, робурита, мелинита и т. д. Осмѣлюсь думать, что моя бомба сдѣлаетъ войну положительно невозможною, даже немыслимою, и дастъ въ руки вашего высокопревосходительства могучее орудіе устрашенія враговъ нашей родины.

Министръ раскрылъ глаза, и въ нихъ что-то отразилось. Онъ усиленно запыхалъ своею сигарою и еще внимательнѣе сталъ разсматривать шарики. Ему представилась въ это время ненавистная фигура главы соціалъ-демократовъ, который горячо возражаетъ по пунктамъ на всѣ увѣренія его, министра, что „законопроектъ не идетъ дальше абсолютно-необходимаго для защиты и неприкосновенности страны". Въ это время профессоръ стоялъ и съ разсѣяннымъ видомъ осматривалъ роскошный кабинетъ министра. Сколько здѣсь драгоцѣнныхъ вещей! Сколько удобства и изящества! Безспорно, и у него будетъ все это, если государство купитъ его изобрѣтеніе. Вотъ онъ—владѣлецъ такого же помѣстья гдѣ-нибудь въ Вестфаліи; у него прекрасная лабораторія; къ нему, какъ къ Вольтеру или Эдисону, съѣзжаются на поклонъ свѣтила всего міра. Его жена, его маленькіе Мальхенъ и Фрицъ... Ахъ, сколько будущихъ благъ заключены въ этихъ стекляныхъ шарикахъ!...

— Что это такое? повторилъ опять министръ, вдругъ взглянувъ на профессора.

— Этотъ стеклянный шаръ съ трубочкой—бомба, наполненная культивированными, до извѣстной степени силы, бактеріями Microspirula Srurmweltii. А именно, культура этой бактеріи доведена до той степени, что, попавъ въ организмъ, она производитъ, правда, не смерть, но тяжелую, продолжительную болѣзнь. Этимъ она удовлетворяетъ требованіямъ человѣколюбія, которыя въ нашъ вѣкъ несомнѣнно предъявляются ко всѣмъ орудіямъ войны. Эту бомбу можно положить въ пушку, бросать ею въ лагерь непріятелей; падая, она будетъ разрываться и осыпать ихъ бактеріями. Такимъ способомъ можно остановить въ какихъ нибудь два-три часа цѣлую армію враговъ, такъ какъ зараза распространяется чрезвычайно быстро. Но бомба—не единственный способъ распространять бактеріи...

Даже на лицѣ невозмутимаго министра изобразились на ми-

нуту восклицательные и вопросительные знаки, чѣмъ профессоръ остался очень доволенъ. Гордый, сіяющій, не замѣчая все болѣе и болѣе хмурящихся бровей министра, ученый докторъ Штурмвельтъ незамѣтно возвысилъ тонъ своего голоса и, съ видомъ опытнаго профессора, сталъ излагать свою теорію войны помощью бактерій. Онъ говорилъ, что осыпать такими бактеріями хоть самое послѣднее мѣстечко страны — значитъ заразить всю страну; войско, осыпанное бактеріями, черезъ два часа уже неспособно къ битвѣ: въ немъ открывается болѣзнь. Бактеріи наводняютъ воздухъ, кишатъ въ водѣ, облѣпляютъ платье; вмѣстѣ съ дождемъ онѣ падаютъ сверху; вмѣстѣ съ пылью или парами воды несутся вверхъ: солнце, вѣтеръ, люди, вода — носятъ, кружатъ ихъ. „Это, такъ сказать, маленькія, невидимыя пульки, которыми мы можемъ стрѣлять въ нашихъ непріятелей. Для этого не нужно ни ружей, ни пушекъ.—Microspirula Sturmweltii не требуетъ большихъ расходовъ на вооруженіе. Расходы на ея содержаніе входятъ не въ государственный бюджетъ, а въ бюджетъ природы. Для пользованія ею не нужно даже бомбъ, — ничего не нужно, кромѣ знанія. Враждебную страну, ваше высокопревосходительство, вы каждую секунду можете запугать ужасомъ страшной заразы, которую два любыхъ вашихъ агента могутъ занести туда въ платьѣ, въ книгѣ, въ волосахъ. Да что агенты! Ее могутъ нести звѣри, птицы, даже мухи!.. Санитарныя мѣры и карантины спасти не могутъ: мы всю страну закидаемъ микробами. Если и не всѣ подвергаются опасности смерти, за то ужъ во всякомъ случаѣ всѣ подвергаются опасности тяжелой болѣзни. У враговъ нѣтъ средствъ бороться съ эпидеміей; тифозная бацилла живетъ полгода, а Microspirula Sturmweltii — года три! Ей не страшенъ жаръ и сухость, ибо она высыхаетъ, но не погибаетъ, не страшенъ холодъ, ибо она, по моимъ опытамъ, выдерживаетъ морозъ въ 30 градусовъ. Правда, свѣтъ уничтожаетъ ее, но ночью или въ полутьмѣ она размножается со страшной быстротою. Подобно тому какъ теперь выдѣлываются дрожжи, такъ мы будемъ фабричнымъ путемъ приготовлять бациллъ Microspirula Sturmweltii и тысячами способовъ забрасывать ими непріятельскую страну. Вмѣсто арміи солдатъ мы пошлемъ на враговъ, такъ сказать, армію бактерій; вмѣсто видимаго, дорого стоющаго воинства полетитъ на врага воинство невидимое, грозное, само себя питающее, неуничтожаемое, все проникающее. По моимъ вычисленіямъ, одинъ миллиграмъ этого бураго вещества, находящагося въ шарикѣ, содержитъ семьсотъ милліоновъ Microspirula Sturmweltii; черезъ каждый часъ, каждая особь даетъ поколѣніе въ 900,000 особей; положимъ, половина ихъ пропадаетъ, но тѣмъ не менѣе граната, содержащая восемь граммовъ вещества, несетъ въ себѣ пять триліоновъ шестьсотъ биліоновъ бациллъ А сколько

ихъ будетъ черезъ часъ? А черезъ сутки? Сражаясь съ непріятелемъ помощью такой арміи, мы, несомнѣнно, должны одержать побѣду. По теоріи вѣроятностей, 98 противъ 2, что врагъ не допуститъ до того, чтобы мы начали войну. Вѣдь всѣ его пушки и ружья, мелиниты и робуриты безсильны, добавочные кредиты безцѣльны; его страна не въ силахъ ни нападать, ни защищаться. Она гибнетъ. А бактеріи несутся все дальше и дальше; онѣ достигаютъ городовъ, онѣ врываются въ парламенты, палаты, дворцы. Въ странѣ начинается броженіе. Общество требуетъ, чтобы правительство уступило всѣмъ требованіямъ вашего высокопревосходительства. Всѣ кричатъ: „Довольно! Остановите эпидемію!" Побѣда, ваше высокопревосходительство, побѣда! Всѣ ваши требованія удовлетворены, и вы даете приказаніе остановить моръ предохранительной прививкой. И это дѣлается немедленно".

Профессоръ становится въ картинную позу, въ которой, вѣроятно, стоялъ когда-то Цицеронъ, защищая Милона. Министръ, сдвинувъ брови, смотритъ на оратора и постукиваетъ рукою о кресло. Онъ мраченъ. Онъ внутренно содрогается. Онъ видитъ эпидемію гуляющею по всему земному шару.

— Да, ваше высокопревосходительство, только одно средство можетъ остановить нападеніе, продолжаетъ профессоръ. Это— предохранительная прививка смѣси бациллъ, усиленныхъ до опредѣленной степени—Microspirula Sturmweltii и коховскихъ запятыхъ. Но это средство извѣстно только намъ, а мы его держимъ, разумѣется, въ секретѣ. У насъ всѣмъ вѣрноподданнымъ его величества государя заблаговременно дѣлается предохранительная прививка. И прививка эта обязательна. За этимъ слѣдитъ правительство, разсылающее бациллъ изъ особой лабораторіи, которую я берусь устроить въ большихъ размѣрахъ во всякое время. Способъ культивировки нашей побѣдоносной бациллы государственная власть, разумѣется, держитъ въ строгомъ секретѣ. Мы въ безопасности, но орудіе страшнѣе всякихъ мелинитовъ и громобоевъ—въ нашихъ рукахъ,—въ рукахъ государственной власти, то есть я хочу сказать,—въ вашей власти, ваше высокопревосходительство...

Министръ еще болѣе нахмурился. Порывъ вѣтра откинулъ на мгновеніе гардину окна, и яркіе лучи солнца золотымъ снопомъ ворвались въ кабинетъ министра и ударились въ паркетный полъ, который заблестѣлъ и потухъ.

Министръ что-то соображалъ.

— Ваше высокопревосходительство, продолжалъ профессоръ, играя колѣномъ и полусогнувъ свой пухленькій станъ, — никто не рѣшится вамъ даже дать поводъ прибѣгнуть къ бомбамъ изъ Microspirula Sturmweltii. Поэтому я и не стану входить въ под-

робности того способа, какъ локализировать и остановить эпидемію. Но и это, разумѣется, возможно, съ помощью тѣхъ же бациллъ и прививокъ.

— И такъ, я считаю возможнымъ утверждать передъ лицомъ ученаго міра, и прежде всего предъ вашимъ лицомъ и предъ лицомъ моего всемилостивѣйшаго государя, что благодаря моимъ бактеріямъ вы несомнѣнно сдѣлаетесь владыками вселенной, а это послужитъ къ большей прочности мира и, какъ всякое сосредоточеніе силы въ однѣхъ рукахъ, надолго устранитъ войну. Безспорно, ученый міръ современемъ найдетъ и помимо меня средство сдѣлать и мою бактерію безвредной,—настанетъ день, когда и моя бомба утеряетъ смыслъ, и когда всѣ державы будутъ знать средство противъ Microspirula Sturmweltii. О, безспорно, моя бомба испытаетъ, такимъ образомъ, судьбу всѣхъ военныхъ изобрѣтеній. Но, ваше высокопревосходительство,—это когда-то еще будетъ, а до тѣхъ поръ вѣдь и мы не станемъ напрасно терять времени! Вашему высокопревосходительству лучше чѣмъ кому-либо извѣстно, что значитъ въ дипломатіи „уловить моментъ“...

Профессоръ улыбнулся, откинулъ голову назадъ и замеръ, уставившись изъ-подъ очковъ на лысую, сѣдую фигуру министра, сидящаго въ креслѣ.

Министръ не только уже отбивалъ тактъ рукою, но и кивалъ головою, и при каждой остановкѣ профессора говорилъ однимъ тономъ „да“, „да“, и только эти движенія и слова показывали, что онъ въ волненіи.

— Итакъ, ваше высокопревосходительство, перемѣняя тонъ съ ораторскаго на дѣловой, закончилъ свою рѣчь профессоръ,— осмѣливаюсь предложить черезъ васъ моей родинѣ пріобрѣсть у меня секретъ культивировки бациллъ Microspirula Sturmweltii и предохранительной прививки противъ нея... Принимая въ разсчетъ, тѣ мои труды, которые положены мною на это высокогосударственное и глубоко-гуманное дѣло,—дѣло отысканія самаго вѣрнаго способа сдѣлать вовсе не нужной никакую войну... Принимая въ разсчетъ мои будущія заслуги предъ моимъ государемъ, а, значитъ, и государствомъ, я позволяю себѣ опредѣлить и гонораръ за мое изобрѣтеніе. Я желалъ бы уступить его всего лишь за восемьсотъ тысячъ талеровъ. Далѣе, я готовъ каждую минуту представить фактическія доказательства того дѣйствія, какое производитъ моя Microspirula Sturmweltii, и продѣлать опыты предъ лицомъ ученой комиссіи. Нѣтъ сомнѣнія, для большей очевидности того, сколь полезно мое изобрѣтеніе, вы мнѣ предоставите возможность сдѣлать опытъ,—маленькій опытъ надъ какимъ-нибудь маленькимъ человѣкомъ, вполнѣ допустимый ради великой цѣли — именно я прежде всего желалъ бы привить мою бациллу тѣмъ отребьямъ человѣчества,

которыя за свои стремленія, наклонности и поступки противъ государства, за свои нарушенія основныхъ правилъ общечеловѣческой нравственности, за свои анти-христіанскіе поступки приговорены государственной властью къ смертной казни.

— Что-о? спросилъ вдругъ министръ, поднимаясь съ кресла. Что вы сказали?

Глаза его сверкнули, два желтые зуба выдвинулись изо рта, исказившагося гримасой.

На лицѣ министра отразилось какое-то сильное чувство, не то презрѣніе, не то гнѣвъ. Воображеніе нарисовало передъ нимъ человѣка, посинѣвшаго, скорчившаго, спазматически втягивающаго въ себя воздухъ. Въ душѣ мелькнуло нѣчто похожее на жалость, и, посмотрѣвъ на изящную, раздушенную фигуру профессора, разглаживающаго баки и играющаго колѣнами, розовую, цвѣтущую,—министръ вдругъ почувствовалъ къ нему омерзеніе.

— Что-о? еще спросилъ онъ.—Вы хотите это... это... примѣнить... на человѣкѣ... для опыта?.. Такъ?..

— О, не пугайтесь, ваше высокопревосходительство, я уже имѣлъ честь сказать, что одинъ изъ признаковъ болѣзни, производимой Microspirula Sturmweltii—потеря сознанія. Заразившійся теряетъ всякую чувствительность и ровно-ровно ничего не чувствуетъ, самоувѣреннымъ тономъ сказалъ профессоръ.—Сознаніе отсутствуетъ въ самый тяжелый періодъ болѣзни, а затѣмъ... ну затѣмъ сохраняются извѣстныя страданія.

— Но, ваше высокопревосходительство, развѣ моя Microspirula причинитъ столько же ихъ, сколько причиняютъ пули, мелиниты и другія орудія современной войны? нѣтъ, гораздо, гораздо меньше.

— Война съ помощью бактерій — война безкровная, смертность при ней несравненно меньшая, чѣмъ отъ ядеръ и пуль; моя бомба послужитъ не только для войны, но и для человѣколюбія!..

Ротъ министра еще болѣе искривился. Онъ мелкими шажками зашагалъ по кабинету. Что-то поднялось и закипѣло внутри него. Оба кончика своихъ усовъ министръ забилъ въ ротъ и сосалъ ихъ немилосердно. Его рука протянулась къ звонку.

— Ну да, да, не страдаетъ, улыбаясь говорилъ профессоръ.— Итакъ, ваше высокопревосходительство, я всепокорнѣйше прошу васъ доложить его величеству королю и военному совѣту о моемъ изобрѣтеніи и о моемъ желаніи уступить его нашему славному государству... на тѣхъ условіяхъ, о которыхъ я сказалъ.

И профессоръ снова отвѣсилъ граціозный поклонъ, переступилъ съ мѣста на мѣсто и, отставивъ мизинецъ лѣвой руки, погладилъ себя по бакенбардѣ. Министръ сморщилъ лобъ, оста-

новился передъ профессоромъ и, повинуясь какой-то волнѣ внутренняго чувства, порывисто дернулъ за звонокъ. Онъ уже готовъ былъ закричать явившемуся лакею:

— Прогоните этого негодяя!..

Но...

Но.. въ эту минуту, передъ его глазами, вдругъ откуда-то развернулась знакомая панорама—Европа, та самая Европа, населенная не людьми съ мясомъ и нервами, а какими-то отвлеченными существами, красными, черными, синими, бѣлыми, не мыслящими, не чувствующими, которыхъ можно и собирать и разбирать, вооружать, и разоружать, стукать лбами и гладить по головкамъ; Европа—символъ, Европа—карта, Европа—щетинистая, какъ ежъ, отъ стальныхъ штыковъ, съ ея оскаленными зубами и съ недвусмысленными угрозами, облеченными въ приторно-вѣжливый языкъ склизкой дипломатіи.

И слова замерли на языкѣ министра. Онъ ничего не сказалъ лакею и, поклонившись ученому профессору, вѣжливымъ тономъ произнесъ, пряча глаза за занавѣски.

— Хорошо! Я доложу о вашемъ изобрѣтеніи государю...

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

ИНТЕЛЛИГЕНЦІЯ ИЗЪ НАРОДА.

I

Митрошкино жертвоприношеніе.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Изъ разсказовъ земскаго статистика.

Съ Митрошкой я познакомился лѣтъ пятнадцать тому назадъ. Тогда я проживалъ въ одной изъ среднихъ губерній Европейской Россіи и находился на службѣ въ Н-скомъ земствѣ по „статистической части".

Какъ извѣстно, губернія эта не изъ многоземельныхъ и не изъ хлѣбныхъ и подвержена хроническимъ неурожаямъ, причины которыхъ, по оффиціальнымъ источникамъ, превосходно извѣстны. Причины эти—во первыхъ, Божье попущеніе, а во вторыхъ—погода, т. е. нѣчто такое, надъ чѣмъ власть человѣка, пока что, не простирается. Моя обязанность была не изъ легкихъ. То я ѣздилъ по деревнямъ, производилъ подворныя обслѣдованія, то корпѣлъ по 10—12 часовъ въ сутки надъ цифрами, размѣщая ихъ въ колонки и ряды, и щелкалъ по цѣлымъ часамъ счетами. Главное пребываніе мое было въ губернскомъ городѣ Н. Пятнадцать лѣтъ тому назадъ этотъ городъ, какъ и много другихъ россійскихъ городовъ, еще не былъ захваченъ тою волной культурническаго движенія, которое пошло съ конца восьмидесятыхъ годовъ, и какъ-ни-какъ, а встряхнуло таки и дремавшихъ, и разочаровавшихся, и еще не успѣвшихъ разочароваться обывателей.

Вотъ въ этомъ-то городѣ Н. я и познакомился съ Митрошкой. Тогда ему было лѣтъ одиннадцать. Это былъ прешустрый и препонятливый мальчишка. Настоящее его имя было Митрофанъ, но такъ его никто не называлъ, да онъ, быть можетъ, и самъ не откликнулся бы тогда на эту кличку. Чтобы отличить его отъ

другихъ Н—скихъ Митрошекъ, — когда нужно, къ его родовой кличкѣ прибавляли видовой признакъ, и тогда онъ назывался „Авдотьинъ Митрошка"! Мать его Авдотья была (впрочемъ, она жива и по сіе время) мѣстной мѣщанкой и жила въ ужасающей бѣдности, промышляя чѣмъ Богъ пошлетъ: стирала бѣлье, ходила на поденщину, вязала чулки и продавала ихъ по магазинамъ, получая по гривеннику за пару. Одна рука дѣйствовала у Авдотьи плохо, а глаза были поразительно близоруки; оттого работа не клеилась, и несчастную Авдотью гоняли-таки съ мѣста на мѣсто. Въ результатѣ приходилось довольствоваться ежемѣсячнымъ заработкомъ рублей въ пять-шесть и жить на эти деньги вдвоемъ съ Митрошкой. Ничего завиднаго въ такой жизни не было. Мать съ сыномъ платила рубль-цѣлковый за уголъ, да рубля два въ мѣсяцъ шло на черный хлѣбъ, а все прочее—на приправку къ этому хлѣбу,—то на лукъ, то чеснокъ, то брюкву, то капусту, то какую-нибудь крупу. Такъ и жили. На одежду, разумѣется, не хватало, и Митрошкѣ съ Авдотьей насчетъ одежды было плохо. И надо отдать справедливость этой несчастной бабѣ,—она вполнѣ заслуживала бы лучшей участи по своему, если такъ можно выразиться, ломовому трудолюбію. Она съ утра до ночи работала словно лошадь. Даже больше лошади. Иная кляча, протрепавшись на бѣломъ свѣтѣ столько же лѣтъ, все таки отдыха проситъ, а Авдотья объ отдыхѣ и думать не могла: у нея на рукахъ былъ этотъ самый Митрошка.

И доставалось-таки старухѣ отъ этого дѣтища! Какъ сказано, Митрошка былъ пренепосѣдливое и безпокойнѣйшее существо, и на него то и дѣло приходили жаловаться другія подобныя же существа или, что гораздо хуже, ихъ родители и воспитатели. А что еще хуже,—жалобщики, въ видѣ вещественныхъ доказательствъ, представляли на разсмотрѣніе Авдотьѣ то желваки, то синяки, то какія-нибудь царапины, расквашенные носы, разбитые лбы, разодранныя одѣянія и тому подобныя доказательства матерьяльнаго и личнаго ущерба. Авдотья по своему чрезвычайно любила свое дѣтище, но за подобные подвиги относилась къ нему безъ послабленія. Лачужка или, вѣрнѣе, сарай какого-то полуразрушеннаго домика, стоявшаго на одной изъ самыхъ заглохшихъ улицъ нашего города (теперь этотъ домикъ, кажется, уже снесенъ за ветхостью, по распоряженію полиціи), то и дѣло оглашалась и воплями, и стонами, и завываніями, и скрежетомъ зубовнымъ, по истинѣ нечеловѣческаго свойства. Это Авдотья „учила" своего „единственнаго" Митрошку. Я жилъ по близости отъ ея жилья, и чуть не ежедневно слышалъ стоны Митрошки, и эти стоны производили на меня самое удручающее впечатлѣніе. Митрошка умѣлъ-таки кричать и выводилъ самыя высокія и жалостныя нотки. Но сосѣдей моихъ вопли и стоны Митрошки нисколько

не трогали, а пострадавшіе отъ его озорства были даже очень довольны ими. Вѣдь въ этихъ стонахъ имъ слышалоеь торжество справедливости. И когда со двора выскакивалъ, словно очумѣлый, самъ Митрошка, взлохмаченный, взъерошенный, весь въ слезахъ, и продолжая кричать благимъ матомъ; когда за нимъ въ калиткѣ показывалась сама Авдотья, сгорбленная, хрупкая, жалкая и ужь отнюдь не страшная, тогда скандалъ на нашей захудалой улицѣ достигалъ своего апогея.

— Я тебя, курлатый! Я тебя!—кричала Авдотья во слѣдъ Митрошкѣ.

А Митрошка улепетывалъ, даже не оборачиваясь. Онъ лишь сверкалъ пятками, обливаясь слезами, визжа и хватаясь за особенно пострадавшія мѣста его особы.

И это избіеніе единственнаго одиннадцатилѣтняго сына совершалось хронически, особенно весною и лѣтомъ, когда для дѣтей на землѣ нѣкоторымъ образомъ праздникъ, можно сказать,—даже каждый день, изъ недѣли въ недѣлю, изъ мѣсяца въ мѣсяцъ, и такъ изъ года въ годъ. Я выходилъ изъ себя и иной разъ, не утерпѣвъ, бросался къ Авдотьѣ, вступалъ съ нею въ словесныя пререканія и доказывалъ ей всю возмутительность подобнаго рода обращенія съ дѣтьми. Но Авдотья въ эти минуты сама чуть не плакала и тряслась всѣмъ своимъ тщедушнымъ тѣломъ, словно въ лихорадкѣ. Она казалась не менѣе жалкой, чѣмъ самъ Митрошка, и когда я особенно настойчиво нападалъ на нее и угрожалъ полиціей, она со слезами на глазахъ говорила мнѣ въ свое оправданіе:

— Батюшка, отецъ родной! Да нешто Митрошка отъ бсли визжитъ? Это онъ такъ! Право такъ,—народъ и меня пужаетъ. Я еще не дотронулась до него, а онъ ужъ оретъ! Вотъ вамъ крестъ честной—правда!

Оправданіе было довольно оригинальное, но я скоро и самъ убѣдился, что старуха говоритъ правду. Отъ ослабѣвшихъ старческихъ рукъ не больно-то доставалось сильному и юркому Митрошкѣ. Попавъ въ руки матери, мальчишка такъ кричалъ, бился и вывертывался, что рѣдкая затрещина попадала по назначенію, но это обстоятельство только помогало Митрошкѣ орать благимъ матомъ, наводя ужасъ на меня, на свою мать, да и на весь народъ. Я нѣсколько разъ прибѣгалъ въ ея лачужку во время самаго боя и при всей возмутительности кулачныхъ расправъ, при всемъ отвращеніи, какое онѣ мнѣ внушали, я не могъ удержаться, въ концѣ концовъ, отъ улыбки, при видѣ этой борьбы слабой старухи съ сильнымъ мальчишкой, когда тотъ, кто слабѣе—бьетъ, а кто сильнѣе—кричитъ. Гораздо хуже доставалось Митрошкѣ, когда его за всякаго рода провинности и шалости били другіе. Вотъ тутъ, дѣйствительно, мальчишка страдалъ довольно-таки сильно,

и въ этихъ случаяхъ первой его защитницей и утѣшительницей являлась, разумѣется, его мать.

Старуха, дѣйствительно, любила своего единственнаго сына. Особенно эта любовь сказалась въ томъ, что, не смотря на голодъ, холодъ и всякаго рода физическія и нравственныя мученія и лишенія, старуха все-же не захотѣла сбыть своего сынишку съ рукъ долой „на чужіе хлѣба", не отдала въ ученье какому-нибудь сапожнику или портному, или въ мальчики къ сосѣду лавочнику, а отдала его въ настоящее ученье,—въ мѣстное уѣздное училище. Я вполнѣ оцѣнилъ этотъ подвигъ старухи. Впрочемъ Авдотья поступила такъ не по одному своему собственному рѣшенію, а и по внушенію мѣстнаго батюшки, у котораго Митрошка обучался грамотѣ въ церковно-приходской школѣ. Священникъ очень скоро подмѣтилъ, что мальчишка обладаетъ порядочными способностями. Онъ очень быстро захватилъ въ школѣ все, что могъ захватить отъ своихъ не слишкомъ-то шустрыхъ, толковыхъ и свѣдущихъ учителей. Но ему было некуда дѣвать своихъ богатыхъ способностей—и онъ принялся щеголять ими. Такъ, напримѣръ, однажды, онъ быстро выучилъ наизустъ какой-то длиннѣйшій акаѳистъ. Въ сущности, зубрить этотъ акаѳистъ было не къ чему, и самъ священникъ этого не требовалъ, но Митрошка все-таки прозубрилъ его за словомъ слово, даже совершенно не понимая ихъ смысла. Тѣмъ не менѣе, такимъ способомъ, Митрошка доставилъ великое удовольствіе священнику.

Изъ церковно-приходской школы Митрошка перешелъ въ уѣздное училище, опять-таки съ помощью того же священника, который даже досталъ ему какимъ-то путемъ двух-рублевое ежемѣсячное пособіе отъ мѣстнаго домовладѣльца, богатаго купца Акима Федоровича Мухобоева.

* * *

Какъ извѣстно, губернскій городъ Н. ведетъ до сего времени немалую торговлю хлѣбомъ. Здѣсь издавна свили себѣ теплое гнѣздышко оптовые хлѣботорговцы, въ амбары которыхъ стекаются потоки хлѣба со всей округи, и по желѣзнымъ дорогамъ, и по рѣкѣ. У каждаго такого купца обыкновенно имѣется цѣлая ватага скупщиковъ, которые разъѣзжаютъ по разнымъ губерніямъ, заводятъ дѣла то съ крестьянами непосредственно, то со скупщиками болѣе или менѣе мелкими, то съ помѣщиками, вѣчно нуждающимися въ деньгахъ, особенно послѣ того, какъ ихъ осчастливили милліоны дворянскаго и золотого банка. Въ хлѣбномъ дѣлѣ, какъ извѣстно, на счетъ скупки хлѣба существуетъ цѣлое, даже довольно сложное устройство,—съ особаго рода обычаями, пріемами, ухватками, подходами, со своими правилами надувательства, обвѣшиванія, явнаго и тайнаго обмана, неодно-

изъ себя волченка, а они охотниковъ. Его ловили и тормошили, попросту били. На него кричали, его иногда выгоняли вонъ, и все это выходило до такой степени грубо и глупо даже съ рябяческой точки зрѣнія, что Митрошка очень скоро пересталъ находить что-либо привлекательное въ такой „игрѣ". Онъ не захотѣлъ больше ходить къ Мухобоеву и запротестовалъ, когда мать принялась было настаивать на необходимости „уважить" богатаго купца, въ лицѣ его трехпудовыхъ дѣтишекъ. Очевидно, свободолюбивая натура Митрошки тутъ еще сказывалась въ немъ, и онъ отстаивалъ себя если не по „способу зычнаго кричанія благимъ матомъ", то сотнями разныхъ доводовъ, которые казались чрезвычайно убѣдительными его дѣтскому сердцу.

И онъ несомнѣнно отстоялъ бы себя, если-бы не запротестовали мухобоевскія чада. Нужно же имъ съ кѣмъ-нибудь играть! Самъ Мухобоевъ къ тому же и понять не могъ, какъ можетъ какой-нибудь Митрошка отказываться отъ такой чести. Акимъ Федоровичъ чувствовалъ себя благодѣтелемъ Митрошки и, призвавъ къ себѣ его мать, оказалъ на нее очень внушительное воздѣйствіе.

Такъ или иначе Митрошка сдался и снова сталъ похаживать къ Мухобоевымъ. Но, какъ оказалось потомъ, онъ послѣ этой исторіи усвоилъ себѣ уже иную политику: въ играхъ съ купеческими чадами, на колотушки отвѣчалъ колотушками же, на тумаки—тумаками и, пуская, гдѣ только можно, не по лѣтамъ развившуюся практическую сметку и сообразительность, въ концѣ концовъ приспособился и подчинилъ себѣ глуповатыхъ наслѣдниковъ Мухобоева.

Чего стоила Митрошкѣ эта первая борьба— никому не вѣдомо. Но только, встрѣтивъ Митрошку, кажется, на Рождествѣ слѣдующаго года, я сразу замѣтилъ въ немъ изрядную перемѣну. На его бойкомъ, красивомъ лицѣ уже лежалъ отпечатокъ чего-то не дѣтскаго. Дѣтская искренность, дѣтская непосредственность какъ будто бы начинали исчезать, заволакивались чѣмъ-то другимъ,— какъ будто мальченка поддѣлывался,—то, что свое,—онъ уже пряталъ, а то, что онъ говорилъ, казалось чѣмъ-то чужимъ, ему несвойственнымъ.

Мнѣ стало даже непріятно смотрѣть на Митрошку. Изъ него, на мой взглядъ, уже вырабатывался давнымъ-давно извѣстный и несимпатичный мнѣ типъ. Очевидно, думалось мнѣ, изъ Митрошки врядъ ли выйдетъ что-нибудь порядочное,—будетъ онъ обыкновеннѣйшимъ приказчикомъ,—только и всего". Это казалось тѣмъ болѣе вѣроятнымъ, что Митрошкѣ, какъ я узналъ, въ это время приходилось подвергаться не малымъ-таки униженіямъ, и онъ ихъ терпѣливо выносилъ.

„Пропадаетъ парнюга", думалось мнѣ.

Авдотья.—Ужъ Митрошенька заслужитъ у него! Авось, Богъ дастъ, со временемъ и свое дѣло заведетъ.

Митрошкѣ также почувствовалось, что въ его судьбѣ произошла большая перемѣна и что пора, пожалуй, немного и остепениться. Онъ скоро забылъ о понесенныхъ побояхъ и принялся за ученіе какъ слѣдуетъ. Я уже рѣдко-рѣдко слышалъ изъ моего логова неистовыя завыванія шустраго мальчугана, но зато часто видалъ его довольно опрятно одѣтымъ и съ сумкою черезъ плечо. Митрошка усердно посѣщалъ свое училище, и ученіе, повидимому, какъ ни какъ, а шло ему въ прокъ. Въ первый же годъ шустрый и толковый мальчуганъ получилъ за успѣхи въ наукахъ похвальный листъ и съ этимъ листомъ въ рукахъ, въ сопровожденіи старушки-матери, изогнутой, сморщенной, по дѣтски радостно сіяющей, обошелъ всѣхъ сосѣдей, въ томъ числѣ и меня. Старуха чуть не плакала отъ радости, и привѣтливое, веселое, осмысленное лицо мальчугана, казалось, испускало вокругъ себя сіяніе.

Я подарилъ Митрошкѣ одинъ завалящій томъ стараго изданія сочиненій Некрасова, и этотъ незначительный подарокъ, какъ кажется, доставилъ мальчугану не меньшее удовольствіе, чѣмъ похвальный листъ, а на судьбу Митрошки, какъ выяснилось впослѣдствіи, оказалъ такое вліяніе, какое трудно было и ожидать,—во всякомъ случаѣ гораздо большее, чѣмъ похвальный листъ.

Митрошка въ это время очень любилъ книги, въ особенности толстыя, и томикъ сочиненій Некрасова былъ первой толстой книгой—его полной собственностью.

Скоро я узналъ отъ Авдотьи, что она въ тотъ же день побывала съ сыномъ и у купца Мухобоева, который погладилъ Митрошку по головѣ и далъ двугривенный на гостинцы.

Надо полагать, опытный глазъ купца тогда же замѣтилъ, что и Митрошка можетъ ему пригодиться со временемъ и, занявъ какое-нибудь мѣстечко въ скупщицкой іерархіи, въ свою очередь посодѣйствуетъ пріумноженію богатствъ Акима Федоровича. Бойкіе, толковые отвѣты мальчугана, его безыскуственная выдержка и понятливость, очевидно, пришлись купцу по душѣ,—эти самыя качества онъ и цѣнилъ въ своихъ приказчикахъ. По крайней мѣрѣ, такимъ способомъ я объяснялъ себѣ необыкновенную привѣтливость хлѣботорговца, о которомъ въ городѣ ходили очень нелестные слухи.

Митрошка не только получилъ двугривенный, но и былъ приведенъ въ садъ, гдѣ возились и играли многочисленныя чада Мухобоева. Ему позволили цѣлыхъ два часа играть съ этими чадами и получать отъ нихъ тумаки и колотушки.

Въ теченіе всего лѣта Митрошка отъ времени до времени приходилъ къ Мухобоеву и игралъ съ его дѣтьми. Онъ изображалъ

изъ себя волченка, а они охотниковъ. Его ловили и тормошили, попросту били. На него кричали, его иногда выгоняли вонъ, и все это выходило до такой степени грубо и глупо даже съ рябяческой точки зрѣнія, что Митрошка очень скоро пересталъ находить что-либо привлекательное въ такой „игрѣ". Онъ не захотѣлъ больше ходить къ Мухобоеву и запротестовалъ, когда мать принялась было настаивать на необходимости „уважить" богатаго купца, въ лицѣ его трехпудовыхъ дѣтишекъ. Очевидно, свободолюбивая натура Митрошки тутъ еще сказывалась въ немъ, и онъ отстаивалъ себя если не по „способу зычнаго кричанія благимъ матомъ", то сотнями разныхъ доводовъ, которые казались чрезвычайно убѣдительными его дѣтскому сердцу.

И онъ несомнѣнно отстоялъ бы себя, если-бы не запротестовали мухобоевскія чада. Нужно же имъ съ кѣмъ-нибудь играть! Самъ Мухобоевъ къ тому же и понять не могъ, какъ можетъ какой-нибудь Митрошка отказываться отъ такой чести. Акимъ Федоровичъ чувствовалъ себя благодѣтелемъ Митрошки и, призвавъ къ себѣ его мать, оказалъ на нее очень внушительное воздѣйствіе.

Такъ или иначе Митрошка сдался и снова сталъ похаживать къ Мухобоевымъ. Но, какъ оказалось потомъ, онъ послѣ этой исторіи усвоилъ себѣ уже иную политику: въ играхъ съ купеческими чадами, на колотушки отвѣчалъ колотушками же, на тумаки—тумаками и, пуская, гдѣ только можно, не по лѣтамъ развившуюся практическую сметку и сообразительность, въ концѣ концовъ приспособился и подчинилъ себѣ глуповатыхъ наслѣдниковъ Мухобоева.

Чего стоила Митрошкѣ эта первая борьба—никому не вѣдомо. Но только, встрѣтивъ Митрошку, кажется, на Рождествѣ слѣдующаго года, я сразу замѣтилъ въ немъ изрядную перемѣну. На его бойкомъ, красивомъ лицѣ уже лежалъ отпечатокъ чего-то не дѣтскаго. Дѣтская искренность, дѣтская непосредственность какъ будто бы начинали исчезать, заволакивались чѣмъ-то другимъ,—какъ будто мальченка поддѣлывался,—то, что свое,—онъ уже пряталъ, а то, что онъ говорилъ, казалось чѣмъ-то чужимъ, ему несвойственнымъ.

Мнѣ стало даже непріятно смотрѣть на Митрошку. Изъ него, на мой взглядъ, уже вырабатывался давнымъ-давно извѣстный и несимпатичный мнѣ типъ. Очевидно, думалось мнѣ, изъ Митрошки врядъ ли выйдетъ что-нибудь порядочное,—будетъ онъ обыкновеннѣйшимъ приказчикомъ,—только и всего". Это казалось тѣмъ болѣе вѣроятнымъ, что Митрошкѣ, какъ я узналъ, въ это время приходилось подвергаться не малымъ-таки униженіямъ, и онъ ихъ терпѣливо выносилъ.

„Пропадаетъ парнюга", думалось мнѣ.

Послѣ того я нѣсколько мѣсяцевъ не видалъ Митрошки и ничего не слыхалъ о немъ.

* * *

Спѣшная работа по статистикѣ поглотила всѣ мои силы и все время. Къ тому же нужно было готовиться къ лѣтнимъ разъѣздамъ. Незамѣтно пришло и время этихъ разъѣздовъ. И вотъ, совершенно нежданно-негаданно, въ одинъ изъ этихъ разъѣздовъ я встрѣтился съ Митрошкой. И гдѣ же? Въ подгородной деревнѣ, на крыльцѣ сельской школы. Митрошка, босой, безъ шапки, сидѣлъ рядомъ съ учителемъ этой школы и внимательно слушалъ разглагольствованія этого послѣдняго. Я рѣшительно былъ пораженъ неожиданной встрѣчей и, признаюсь, просто-таки залюбовался красивой фигурой мальчугана, который, подперевъ щеку рукой, напряженно-внимательно и мучительно-серьезно уставился своими живыми, умненькими глазенками прямо въ лицо учителю. Это было лицо прежняго Митрошки; въ его неправильныхъ чертахъ сквозило что-то такое свѣжее, искреннее, хорошее, чего въ послѣднія наши встрѣчи я не видалъ въ немъ. Сельскій учитель Смазковъ, рядомъ съ которымъ сидѣлъ Митрошка, былъ своего рода фигура. Поповичъ родомъ, верзила въ сажень ростомъ, широкоплечій, лохматый и вѣчно подъ хмѣлькомъ, онъ изображалъ собою демоническое величіе своего рода. Онъ говорилъ басомъ, громко, чеканисто, то и дѣло отбрасывая длинные черные волосы, непослушно опускавшіеся на шишковатый лобъ, и грозно поводя блестящими, замѣтно осоловѣлыми глазами. Учитель читалъ, Митрошка слушалъ. На колѣняхъ у учителя лежалъ томикъ Некрасова. До меня доносилось громкое чтеніе извѣстнаго стихотворенія:

Чтобъ одного возвеличить, борьба
Тысячи слабыхъ уноситъ;
Даромъ ничто не дается: судьба
Жертвъ искупительныхъ проситъ.

— Понимаешь ты, мальчуганъ, — возглашалъ учитель,— понимаешь эти правильнѣйшія слова? Слушай, дурень, внимательнѣй же! Гдѣ ты ихъ больше, мальчуганъ, услышишь! Слушай!

И учитель еще разъ повторилъ только что произнесенное четверостишіе. Митрошка внимательно слушалъ стихотвореніе, и по лицу его можно было видѣть, что онъ дѣлалъ невѣроятныя усилія ясно уразумѣть, что сей стихъ значитъ. И не понималъ,— мнѣ ясно было—не понималъ.

— Чувствуешь ли ты, голова, что здѣсь говорится? Для счастія человѣческаго жертвы нужны! Жертвы духу святому, иначе сказать, идеѣ... Чортъ насъ всѣхъ возьми, если это не

такъ!—восклицалъ учитель. А мы вотъ никуда негодными вышли! Развѣ мы жертвовать-то собой умѣемъ? Мы сами жертвъ требуемъ, заскорузлыя наши души! Оттого отъ насъ и пользы никому нѣтъ! Зерна жалости настоящей въ нашей душѣ нѣтъ. Только тогда мы и хороши, когда выпьемъ! Эхъ, выпьемъ!

А Митрошка все слушалъ и все не понималъ, о чемъ собственно идетъ рѣчь. Чувствовалось ему, что въ стихѣ Некрасова скрыто что-то хорошее, сильное, возвышенное, чего онъ дѣйствительно не слышалъ подъ кровлей отеческой. И все же это хорошее было непонятно ему.

За то мнѣ было ясно, что подогрѣтое настроеніе учителя Смазкова, его пафосъ, съ какимъ онъ читалъ стихотвореніе, его скрытая скорбь, слезы, сквозившія и въ словахъ, и въ голосѣ, сильно дѣйствовали на мальчугана, и тотъ напряженно ломалъ свою дѣтскую головку, чтобы хоть какъ-нибудь уразумѣть, да что же, собственно, говорится въ этомъ стихотвореніи?...

Я подошелъ къ Смазкову и поздоровался съ нимъ и съ Митрошкой и высказалъ свое удивленіе, какъ же попалъ сюда мой Н—скій знакомый.

— А вотъ гоститъ у меня! отвѣчалъ Смазковъ. Уже цѣлую недѣлю гоститъ. Я его нашелъ въ дебрѣ лѣсной,—лежитъ и Некрасова читаетъ. И я съ нимъ сталъ читать.

Митрошка немного смутился при встрѣчѣ со мной.

— Ты, Митроша, что же тутъ дѣлаешь?—спросилъ я.

— Отдыхаю отъ ученья,— отвѣчалъ мальчуганъ.

На его лицѣ появилось опять прежнее неестественное, непріятное выраженіе, и не успѣлъ я войти въ комнату, гдѣ уже кипѣлъ самоваръ, какъ мой Митрошка исчезъ.

Смазковъ былъ несомнѣнно честный и по-своему порядочный человѣкъ; но это былъ неразвитой малый,— весьма распространенный типъ неудачника изъ семинаристовъ, которые „чувствуютъ“, которые „недовольны собой и всѣмъ“ и тянутъ лямку, „какая пришлась“, услаждая свое скорбное существованіе винопитіемъ. Оказалось, что Митрошка давно знакомъ съ Смазковымъ, что онъ цѣлые дни и даже недѣли проводитъ, или, вѣрнѣе, проводилъ у него, если погода стояла плохая, а въ остальное время — деревенское раздолье и зеленый просторъ увлекали собою Митрошку, и онъ исчезалъ тогда въ степь или въ глухія дебри и жилъ тамъ, вѣроятно, въ полномъ одиночествѣ, самъ-другъ съ книжкой Некрасова.

Кое-что въ его настроеніи мнѣ стало понятнымъ тогда же, но я все еще не могъ уразумѣть, что же собственно связывало Митрошку съ неудачникомъ и полупьянымъ Смазковымъ.

— И жив-вая же душа у этого мальчишки!—сказалъ мнѣ Смазковъ, когда мы вошли въ его комнату и усѣлись за само-

варъ. Одна только бѣда: эта душа теперь мухобоевщиной законопачивается,—ужъ очень много въ ней становится премудрости—философіи мухобоевской. „Рубль да рубль"—въ этомъ молъ и есть настоящая жизнь. „Ты мнѣ рубль,—я тебѣ рубль"—и никакой другой мѣрки нѣтъ и не должно быть ничему.

— А развѣ эта премудрость на Митрошкину душу дѣйствуетъ? спросилъ я.

— А какъ же ей не дѣйствовать! Мухобоевъ Митрошкѣ даже цѣлыя лекціи насчетъ пріумноженія своей собственности читаетъ. „Дай мнѣ рубль, а изъ него я сдѣлаю два,—это и значитъ священная собственность!" Ха! ха! Священная! И Митрошкѣ Мухобоевъ приказываетъ: „поѣзжай въ такую-то деревню Голодуху и сдѣлай тамъ изъ одного моего рубля два, тоже моихъ". А потомъ еще молебны служитъ въ благодарность за торговые барыши... „Благодарю молъ тебя, Создатель, что ты помогъ мнѣ съ мужичками справиться и хорошо поторговать". И за государя молебны служитъ, потому и государь волостнымъ старшинамъ сказалъ: „собственность священна и неприкосновенна". А Митрошка все слушаетъ, все впитываетъ...

Я ничего не возражалъ Смазкову, но по существу дѣла не вполнѣ былъ согласенъ съ нимъ. Во время-то дѣтства всѣ души живыми кажутся, а въ Митрошкину душу, думалось мнѣ, ужъ давнымъ давно такой мерзости и гадости наползло отъ того же Акима Федоровича Мухобоева и его чадъ и домочадцевъ, что очень быстро эта гадость съ корнемъ уничтожитъ то живое, что есть въ этой душѣ. Съ этимъ никакая хорошая и честная книга не справится. Митрошка, думалось мнѣ, стоитъ на вѣрной дорогѣ къ торговому благополучію.

Впрочемъ, дружба Митрошки со Смазковымъ продолжалась цѣлые годы. Нужно отдать и справедливость Смазкову,—онъ не жалѣлъ своихъ трудовъ, чтобы вытряхивать и выскабливать изъ Митрошкиной души эту самую мухобоевскую премудрость. Отъ самого Смазкова я узналъ, что Митрошка бралъ у него и кое-какія книги для прочтенія. Онъ даже успѣлъ прочитать не мало книгъ. Но вѣдь жизнь сильнѣе всякой хорошей книги. А та жизнь, которую велъ Митрошка, думалось мнѣ,—это стѣна каменная—никакихъ настроеній некрасовскихъ она сквозь себя не пропуститъ.

Факты очень скоро какъ-будто бы оправдали мои подозрѣнія. Мѣсяцевъ шесть или восемь спустя послѣ того, какъ я въ послѣдній разъ видѣлъ Митрошку, вдругъ я узнаю, что онъ уже вышелъ изъ уѣзднаго училища, не окончивъ курса, и поступилъ на службу къ Мухобоеву. Узналъ я, что эту перемѣну въ Митрошкиной судьбѣ произвелъ самъ Мухобоевъ, который рѣшилъ, что „довольно съ него науки-то,—пусть дѣло дѣлаетъ, да мать

кормитъ". И Митрошка не оказалъ никакого сопротивленія этой перемѣнѣ и принялся ревниво за свое новое дѣло.

* * *

Послѣ этого прошло нѣсколько лѣтъ. Я лишь мелькомъ видѣлъ Митрошку на станціи желѣзной дороги, гдѣ онъ дѣловито, съ квитанціями и счетами въ рукѣ, принималъ или отправлялъ куда то какіе-то грузы. Встрѣчалъ я его и на улицѣ,—то онъ мчался чуть не бѣгомъ, очевидно, тоже по какому-нибудь торговому дѣлу, то стоялъ въ толпѣ мужиковъ-возчиковъ и громко спорилъ съ ними. Особенно въ эти минуты Митрошка казался мнѣ очень непривлекательнымъ. Шустрые глаза его такъ и бѣгали, а слова такъ и лились съ устъ. Онъ и ругалъ, и язвилъ, и убѣждалъ, и, очевидно, крѣпко стоялъ на сторонѣ хозяйскихъ интересовъ. Въ это время ему было никакъ не болѣе шестнадцати лѣтъ, но всякій посторонній человѣкъ, не хуже Акима Федоровича, могъ убѣдиться воочію, что Митрошка дѣлаетъ дѣло и изъ него выйдетъ отличный хлѣботорговецъ. На Митрошкѣ была франтовская фуражка, „спинжакъ" и сапоги съ бураками, на пестрой жилеткѣ висѣла, повидимому серебряная, цѣпочка съ брелоками. Митрошка былъ одѣтъ франтовато и опрятно и уже очень тщательно закручивалъ свои усики. Свѣжая глина принимала, очевидно, опредѣленную форму...

Видалъ я и Митрошкину мать, Авдотью. Старуха была на высотѣ счастья: вѣдь ея Митрошка давалъ ей на содержаніе ежемѣсячно рублей пять или семь. Она со слезами на глазахъ разсказывала мнѣ о „благодѣяніяхъ Акима Федоровича", за котораго она вѣчно будетъ Бога молить, что онъ ее, старую, изъ голоднаго житья вызволилъ, по „собачьи не далъ умереть"... Еще бы! Жизнь какъ-будто очень улыбалась старухѣ: самъ Акимъ Федоровичъ обѣщалъ скоро прибавить Митрошкѣ жалованья и сдѣлать его какъ бы приказчикомъ. Самъ хозяинъ обѣщалъ осенью отправить Митрошку въ уѣздъ,—скупать хлѣбъ у мужиковъ...

— Да! — думалъ я, — Митрошка стоитъ теперь на твердой и опредѣленной дорогѣ; Митрошка будетъ очень скоро скупщикомъ, затѣмъ приказчикомъ, затѣмъ хлѣботорговцемъ; черезъ двадцать-тридцать лѣтъ онъ самъ наживетъ палаты каменныя и амбары хлѣбные,—у Мухобоева онъ отлично пройдетъ науку и узнаетъ, какъ надо дѣла дѣлать. — Ну и чортъ съ нимъ — думалъ я — не онъ первый, не онъ и послѣдній... Жалко, разумѣется, что способный и хорошій по существу человѣкъ получаетъ такое направленіе и не поработаетъ на общую пользу. Но, вѣдь, что подѣлаешь? Во всѣ времена, у всѣхъ народовъ наиболѣе сильный въ экономическомъ отношеніи общественный классъ притягивалъ и притягиваетъ къ себѣ наиболѣе способныя силы.

И я махнулъ рукой на Митрошку и пересталъ думать о немъ. Въ воспоминаніяхъ объ этомъ мальчуганѣ такъ и осталось во мнѣ нѣчто непріятное, тяжелое.

* *
*

Скоро я переѣхалъ въ У—скую губернію, совсѣмъ въ другой конецъ Россіи. Тамъ пришлось мнѣ прожить года три-четыре. Въ городъ Н—скъ я вернулся лишь тогда, когда наступилъ ужасный 1892 годъ. Я говорю „ужасный" потому, что ни въ одной губерніи „недородъ" хлѣбовъ не былъ такъ великъ, а голодъ такъ ужасенъ, какъ именно въ той, гдѣ мнѣ пришлось проживать въ то время. Безпомощность населенія была поразительная, въ земствѣ, какъ водится, денегъ нѣтъ, хлѣбо-запасные магазины пусты. Ходатайства о ссудахъ на обсѣмененіе полей тщетны или почти тщетны, то-есть уменьшены министерствомъ противъ необходимаго этакъ разъ въ пять или въ десять, на томъ основаніи, что „по имѣющимся свѣдѣніямъ" земство „недобросовѣстно преувеличиваетъ бѣду" и запрашиваетъ невѣроятно. Горячка у насъ въ земствѣ пошла въ ту пору просто головокружительная. Насъ, старыхъ друзей-товарищей, собралось тогда въ городѣ Н. цѣлая компанія. Кое-какъ всѣ приспособились и каждый промышлялъ какой-нибудь работишкой, этакъ рублей въ 30—50 въ мѣсяцъ, кто въ статистикѣ, кто въ мѣстной газетѣ, кто гдѣ. Ну, разумѣется, какъ нагрянула бѣда, мы и руками и ногами принялись за устройство хлѣбныхъ дѣлъ: земство нуждалось въ безкорыстныхъ работникахъ. И работы навалилось страсть: нужно было ссуды распредѣлять, столовыя устраивать, пожертвованія собирать, переписываться съ частными жертвователями, съ комитетами грамотности, Краснымъ Крестомъ и проч., отчеты писать, разсылать ихъ, самолично ѣздить по самымъ что ни на есть глухимъ дебрямъ нашей губерніи, гдѣ нашему населенію приходилось особенно плохо. Словомъ, пошла такая головокружительная горячка, которую описать невозможно. Мы съ ногъ сбились, буквально языки повысовывали. Да это еще что, физическое-то утомленіе! Вы вообразите-ка, что дѣлалось въ это самое время съ нашими нервами,—вотъ гдѣ было настоящее-то мученіе. Ужъ чего мы не насмотрѣлись въ голодныхъ углахъ. И вѣдь хуже всего то, что особенно сильно чувствуется въ такія минуты своя собственная безпомощность, съ одной стороны, и жертвенное состояніе всего населенія съ другой. Чувствуешь, что вокругъ тебя страдаютъ и гибнутъ „тысячи слабыхъ", а ты стоишь передъ ними и дѣлаешь, въ сущности, пустяковинное дѣло. Тутъ жертва духу святому нужна, а ты мелочами отдѣлываешься. Вмѣсто того, чтобы бороться съ соціальной болѣзнью, соціальнымъ зломъ по существу, ты только наружныя язвы кое-какъ замазываешь, и то съ грѣхомъ пополамъ. Передъ тобой тысячи людей на

закланіи, а ты и къ жертвѣ-то неспособенъ, хотя какъ будто и хлопочешь, стараешься... Столько у тебя суеты, бѣготни, трудовъ, сборовъ и споровъ, а въ результатѣ—собрано какихъ-нибудь сто рублей на устройство столовой. А на каждый кусокъ по десятку голодныхъ ртовъ, пожирающихъ эти самые сто рублей съ невѣроятною быстротою. И скоро опять нѣтъ ничего, и взять неоткуда. А нужда все растетъ и растетъ. Нѣсколько копѣекъ, выражающихъ ежедневное пропитаніе человѣка, спасаемаго съ ихъ помощью отъ голодной смерти, съ невѣроятною быстротой разростаются въ тысячи и милліоны рублей, которыхъ не добудешь ни откуда, проскреби хоть по всѣмъ ступенямъ административной машины. И самъ себя ругаешь: на кой же чортъ мы, чистые „господа въ шляпахъ", прикатили въ эти дебри, когда не можемъ здѣсь помочь бѣдѣ ровно ничѣмъ, когда „корень зла" совсѣмъ ужъ не здѣсь, а гдѣ-то за горами, когда главное зло коренится въ самомъ соціальномъ и политическомъ строѣ... И вотъ мы принуждены лишь слушать и созерцать, что творится въ голодныхъ мѣстахъ, словно какіе-то посторонніе зрители въ театрѣ, по существу чуждые той драмѣ, какая происходитъ на сценѣ. Чорта ли въ нашемъ сочувствіи и много ли пользы народу отъ нашихъ грошевыхъ благодѣяній? И много ли мы тутъ поступаемся своимъ? И это сознаніе своего ничтожества и своей безпомощности было до такой степени мучительно, что нѣкоторые изъ моихъ друзей не выдерживали,—уѣзжали, чтобы не быть свидѣтелями человѣческихъ страданій. Слабодушіе, коли хотите, но что же подѣлаешь? Взгляните на дѣло по существу! Правда, и мы жертвовали нѣкоторымъ образомъ,—давали вещи, деньги, какія могли. Мы отнимали отъ себя иной разъ какъ-будто послѣднее, мы тоже словно поступались своимъ. Но объ этихъ жертвахъ ужъ лучше помалкивать. Не можетъ нашъ братъ не понимать, что великая ерунда и мелочь всѣ эти грошевыя жертвоприношенія.

Вотъ именно это и тяжело, что человѣкъ какъ будто бы жертву приноситъ, какъ будто бы чѣмъ-то поступается, а въ этотъ самый моментъ все же его главное при немъ и остается. Онъ только иной разъ самоѣдничаетъ, самъ себя грызетъ и не доволенъ собой. Но развѣ-же это жертва?

И правда,—что за герои грошевые! Это до такихъ-то игрушечныхъ жертвъ спуститься и ими забавлять свою душу вмѣсто старыхъ, былыхъ стремленій измѣнить, передѣлать сверху до низу весь существующій строй! Что между тѣмъ и другимъ общаго? И вѣдь къ тому же не забыты эти стремленія, не забыты! Такое уныніе въ тѣ времена душу охватывало—просто ужасъ. Сдѣлка съ совѣстью вотъ какъ ясно и вотъ какъ мучительно чувствовалась! На себя, какъ на подлеца-отступника, бывало глядишь и чувствуешь,—чувствуешь несомнѣнную свою неспособность принести

жертву настоящую, то есть не обглодушки и обскребушки, а нѣчто такое, что дѣйствительно соотвѣтствовало бы степени твоего собственнаго сознанія и пониманія. Чувствуешь, что не себя отдаешь, а отдаешь что-то такое несущественное. Многіе, многіе отвыкли въ тяжелыя времена реакціонныхъ восьмидесятыхъ годовъ собой жертвовать: бывало, собою и своимъ поступаемся на грошъ, а сознаніе и пониманіе хранимъ гдѣ-то подъ замкомъ, и о шкурѣ подумываемъ, хотя даже смотрѣть на себя противно... А вѣдь и тогда сознаніе и пониманіе далеко-далеко ушло отъ проклятой холопской дѣйствительности. Но что изъ того? „Субъективныя мученія" налицо, а объективной пользы отъ нихъ мало... Россійскіе интеллигенты, стоявшіе въ девяносто второмъ году лицомъ къ лицу съ народнымъ бѣдствіемъ, столько пережили, столько перечувствовали, чего никогда не забудутъ. Но съ этого и пошло. Многіе и многіе всеже стали новыхъ путей искать. И не даромъ,—нашли таки! А, впрочемъ, были и такіе, которые размагнитились и окончательно опустились. Какъ всегда бываетъ, съ голоднаго-то года и начались новыя явленія русской жизни, возрожденіе и подъемъ революціонныхъ стремленій. Я не о „маленькихъ свѣтлыхъ явленіяхъ" говорю, не о мелочахъ и мелочишкахъ, а о настоящемъ крупнѣйшемъ поворотѣ, происшедшемъ въ весьма почтенной части нашего общества. Ну, да это я только такъ, къ слову.

А въ тѣ-то времена, и я чувствовалъ себя мученикомъ...

А, вѣдь, въ народѣ-то что было, что было! Цѣлая толпа разныхъ возрастовъ и званій переживала то самое состояніе, которое можно назвать жертвеннымъ. И что это за тяжелое состояніе! Видите вы вдругъ передъ собой толпу мужиковъ, которые сжались, съежились, замерли и подчинились тому, что есть. Дрожатъ, мучаются, мрутъ,—и ни звука, ни слова. Сами въ могилу лѣзутъ—а молчатъ. Этакая силища въ этой толпѣ, думалось мнѣ тогда, но силища-то проклятая, пассивная, мертвая. И это обстоятельство больше всего и мучало меня своею безнадежностью, такъ что я рѣшительно отказываюсь описать вамъ его. Только и видѣлась вокругъ эта пассивность да пассивность— и въ городахъ, и въ деревняхъ. Порою просто отчаяніе охватывало. Да я развѣ зналъ тогда, я развѣ могъ предполагать, какъ и тысячи подобныхъ мнѣ, что русская дѣйствительность, правда, въ другомъ мѣстѣ, при другихъ обстоятельствахъ, скороскоро уже выдвинетъ нѣчто особое, непреоборимое, могущественное и—массовое?.. Фабрика была тогда уже въ значительной степени охвачена мощнымъ и глубокимъ, даже непреоборимымъ движеніемъ, а деревня была еще погружена въ гипнотическій сонъ. Мы, старики, видѣли ежедневно вокругъ себя, въ голодныхъ деревушкахъ, жертвенное состояніе толпы и слышали, въ вѣчное утѣшеніе: „ничего молъ не подѣлаешь... за грѣхи на-

казываетъ Господь". И рѣдкія, рѣдкія головы шли дальше... Но и такія головы уже были. Это что и говорить—были...

* * *

Прошелъ 1892 годъ. Въ слѣдующемъ году бѣдствіе, какъ помните, повторилось, хотя и не въ такой степени, и мнѣ, въ качествѣ уполномоченнаго отъ земства, снова пришлось разъѣзжать по градамъ и весямъ Н-ской губерніи. Вотъ, какъ-то я и заѣзжаю въ деревушку Мироновку. Эта деревушка лежитъ какъ разъ на большой дорогѣ, пролегающей между уѣзднымъ городомъ С. и губернскимъ Н. До города С. до сего времени желѣзная дорога не проложена, хотя черезъ него направляется въ Н. изрядно большое количество хлѣбныхъ грузовъ. Мироновка—деревушка не малая, однако и въ ней бѣдность поразительная. Верстахъ въ 3—4 отъ нея—глухая деревушка Некутка, а рядомъ съ нею, на пригоркѣ, деревня Волчья Высь. Эта деревня еще того глуше. Всѣ три деревни составляютъ одно сельское общество. Всѣ три чрезвычайно сильно пострадали отъ неурожая. Соломенныя крыши были въ свое время съѣдены скотомъ, а скотъ былъ или проданъ или перерѣзанъ. Пашни вокругъ всѣхъ этихъ деревушекъ—просто печаль одна,—черныя. Яровыхъ словно не бывало. Кое-гдѣ едва-едва зеленѣютъ кое-какіе злаки. Но пусть бы ужъ и ихъ не было; на такое убожество лучше и не смотрѣть. Казалось, мужики и бабы въ этихъ трехъ деревняхъ не люди, а какія-то мертвыя души. Почернѣли даже отъ худого питанія. Дѣтей не видать,—рѣдко, рѣдко, гдѣ покажутся,—въ томъ и въ этомъ году на дѣтей какой-то особенный моръ былъ. Тишина, унынie, разореніе—бѣда одна... По внѣшнему виду кажется, что жизнь идетъ да идетъ своимъ обычнымъ порядкомъ, а присмотришься къ ней внимательнѣе,—и страшно становится.

Ну, да гдѣ ужъ тутъ мнѣ разореніе описывать? Оно описано уже многое множество разъ.

Вотъ и занесла меня судьба въ эту самую деревушку Мироновку. Отъ этой деревушки до губернскаго города считается верстъ 30, а до уѣзднаго верстъ 25. Осенью, да въ темнотѣ, да по невозможной грязищѣ, устилающей сплошь всю дорогу, ѣхать въ городъ было невозможно; пришлось ночевать. Кое-какъ устроился. Выбралъ избенку изъ лучшихъ лучшую (и та оказалась съ дырявой тесовой крышей, наполовину израсходованной на дрова); велѣлъ распрячь лошадей и вошелъ въ избу, чтобы хоть отъ дождя и сырости укрыться. Тамъ поставили мнѣ воду грѣть въ котелкѣ,—самовара, разумѣется, въ цѣлой деревнѣ не оказалось, кромѣ какъ у лавочника, къ которому мнѣ не хотѣлось идти.— Въ ожиданіи чаепитія, я принялся разсматривать картины, расклеенныя по стѣнамъ.

Хозяинъ мой, очевидно, былъ большой любитель картинъ и въ урожайные годы обильно покупалъ ихъ. На стѣнѣ висѣли портреты государя и государыни Сытинскаго изданія, далѣе—большая картина, изображающая историческій моментъ представленія Александру III волостныхъ старшинъ, а подъ картиной значились слова, сказанныя тогда государемъ по адресу русскаго крестьянства: „не вѣрьте лживымъ и нелѣпымъ слухамъ" о прирѣзкѣ земли. Тутъ же висѣла невозможная лубочная картина, изображающая взятіе Ардагана, гдѣ на штыкѣ русскаго солдата торчалъ турокъ головою внизъ, ногами вверхъ; далѣе—размалеванный портретъ лубочной красавицы съ якоремъ въ рукѣ и съ надписью „Надежда".

И вдругъ посреди этой картинной галлереи, въ самомъ, такъ сказать, центрѣ ея, я увидѣлъ, какъ вы думаете—что?

Портретъ Митрошки!

Да, да, портретъ моего стараго знакомаго Митрошки, снятый въ какой-то, очевидно плоховатой, фотографіи, портретъ во весь ростъ, какъ обыкновенно любитъ сниматься простонародье. Митрошка изображенъ былъ сидящимъ на стулѣ въ „пинжакѣ", въ высокихъ сапогахъ. Волосы его были причесаны a la Капуль, маленькіе черные усики закручены. Митрошка, снимаясь, принялъ удивительно торжественную позу и очевидно былъ чрезвычайно доволенъ собой. Самодовольство такъ и сквозило въ его глазахъ, въ его улыбкѣ, въ разставленныхъ неестественно ногахъ и растопыренныхъ локтяхъ. Митрошка явился мнѣ на карточкѣ во всей непобѣдимости „спинжачнаго" франта, покорителя сердецъ деревенскихъ дѣвокъ. Я сразу узналъ Митрошку, но найти его портретъ въ этой глухой деревушкѣ, въ этой разрушенной избѣ—положительно было столь большою неожиданностью, что я не повѣрилъ своимъ собственнымъ глазамъ и спросилъ:

— Это кто же у васъ тутъ изображенъ?

— Это-то? Да вѣдь это нашъ благодѣтель,—во истину христіанской души человѣкъ—Митрофанъ Степановичъ Ягодинъ, отвѣчалъ хозяинъ.

Значитъ, глаза не обманули меня. Слова же хозяина еще болѣе поразили. Митрошка попалъ въ благодѣтели! Какое же такое благодѣяніе онъ могъ оказать? Ужъ не скупкою ли хлѣба по цѣнѣ на одну копѣйку дороже, чѣмъ давали другіе торгаши-скупщики? Или не тѣмъ ли, что принялъ на себя раздачу пожертвованій, сдѣланныхъ другимъ благодѣтелемъ рода человѣческаго—Акимомъ Федоровичемъ Мухобоевымъ, съ готовностью жертвующаго гроши тѣмъ самымъ (или не тѣмъ самымъ) людямъ, съ которыхъ онъ собралъ всякими способами рубли? Право же, въ удивительныя времена мы живемъ...

— Ягодинъ! Митрофанъ Ягодинъ! воскликнулъ я.—Да вѣдь и

я его зналъ когда-то! Вѣдь это тотъ самый, который служилъ приказчикомъ у Мухобоева?..

— Онъ самый, онъ самый! И матушка его, старушка Авдотья Ивановна, до сихъ поръ тутъ... Можетъ, вы и ее знавали?

Я даже не понялъ, что говоритъ хозяинъ.

— Я зналъ и Авдотью Ивановну. Развѣ и она тутъ?

— Да, у насъ, то есть въ нашей деревнѣ!..

Мое удивленіе возрастало больше и больше.

— Что же она тутъ дѣлаетъ?

— А ничего-съ! На покоѣ, значитъ...

— Какъ на покоѣ? На какомъ такомъ покоѣ?

— Да такъ-съ, почитай ужъ съ годъ! Наши деревенскіе на пропитаніи ее держатъ...

Чѣмъ я больше слушалъ, тѣмъ меньше понималъ.

Хозяинъ мой, худой, высокій мужикъ съ длинною сѣдою бородой и подслѣповатыми глазками, кряхтя опустился на скамейку рядомъ со мной и, въ ожиданіи чайку, повидимому, былъ непрочь побесѣдовать о какихъ угодно деревенскихъ дѣлахъ и дѣлишкахъ, а главное—подѣлиться по душѣ разнаго рода легендами, ожиданіями и слухами „на счетъ земли", какихъ тогда уже очень много ходило въ народной средѣ.

— Охъ, Господи, тяжело намъ, то есть вотъ какъ тяжело, продолжалъ хозяинъ. Самимъ ѣсть нечего, а старушку божью бережемъ,—такъ бережемъ, словно она намъ мать родная. Бо былкину избушку ей отвели, харчи ей, какія ни на есть, носимъ, одеженку даемъ... Потому нельзя,—дѣло Божье!

— Вы, вы, всѣ деревенскіе, ее содержите? спросилъ я.

— Да, такъ вышло. И мы, и некутскіе, и волковысскіе, кто что можетъ, то и даетъ... Такъ и Господь велѣлъ... Иначе никакъ быть не можетъ...

Я окончательно потерялъ всѣ нити соображенія.

— А за что же вы ее кормите? За какія такія дѣла?

— Ахъ, господинъ, отвѣчалъ старикъ,—какъ же намъ родную-то мать нашего благодѣтеля Митрофана Степановича Ягодина не кормить? Вѣдь мы не звѣри какіе безчувственные... Дай ему Господи, Митрофану-то Степановичу, всякаго блага и счастья. Помоги ему всякія страданія перенести,—этакая вѣдь душа-то въ немъ раскрылась христіанская!

— О чемъ же вы это говорите?—спросилъ я, пораженный и изумленный окончательно.—О какихъ такихъ страданіяхъ вы говорите?

Старикъ съ удивленіемъ посмотрѣлъ на меня.

— О какихъ? переспросилъ онъ. Аль не слышали? Я такъ полагалъ, что Митрофанъ-то Степановичъ—знакомый вамъ, такъ значитъ о приключеніяхъ-то съ нимъ слышали...

— Нѣтъ, нѣтъ,—я очень давно потерялъ его изъ виду,—разскажите, пожалуйста.

Но не успѣлъ старикъ приступить къ разсказу, какъ дверь отворилась, и въ избу вошла сама Авдотья Ивановна.

Она была въ крестьянской одеждѣ и закутана большимъ вязанымъ платкомъ, но я сразу узналъ ее. Старушка много постарѣла за эти года; волоса сдѣлались совсѣмъ бѣлыми, тѣло скорчилось и согнулось еще больше, а на лицѣ появился какой-то особенный отпечатокъ молчаливаго страданія, безропотной покорности судьбѣ, но вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ показалось мнѣ, и мира душевнаго, примиренности... Когда эта самая старушка бѣгала по стиркамъ и занималась вязаньемъ чулокъ на продажу, на ея лицѣ было больше озлобленія, чѣмъ теперь, да и манеры стали другими. Юркая вертлявость и хлопотливость исчезли, уступивъ мѣсто неторопливой обстоятельности .. Войдя въ избу, старушка перекрестилась, поздоровалась съ хозяиномъ, затѣмъ подошла ко мнѣ и поклонилась неестественно низко. Она какъ будто хотѣла о чемъ-то заговорить и какъ будто ждала, что первымъ заговорю съ нею я. Все это казалось лишь чѣмъ-то необычно страннымъ. За всѣми этими мелочами чувствовалось нѣчто страшное, какая-то драма, а, можетъ быть, и трагедія. Какъ сейчасъ помню всю эту сцену.

— Здравствуйте, батюшка, Константинъ Сергѣевичъ, заговорила, наконецъ, Авдотья Ивановна. Услышала я отъ деревенскихъ, что вы сюда пріѣхали. Вотъ и пришла узнать, нѣтъ ли новенькаго чего...

Старуха опустилась на скамейку и какъ-то вся съежилась, притихла.

— Да вотъ, Авдотья Ивановна, пріѣхалъ и я сюда,—отъ земства помощь привезъ. Помогаемъ чѣмъ можемъ.

— А мой-то... мой-то... тоже по-мо-о-галъ!... Ой, Господи, ой, Вседержитель милостивый!..

И старуха ничего больше не могла выговорить, опустила свою окутанную платкомъ голову на костлявыя руки, всхлипнула разъ, другой и вдругъ горько заплакала или, вѣрнѣе, завыла. Вы себѣ и представить не можете, какъ мнѣ стало въ это время жаль старуху.

— Да что же съ вами, Авдотья Ивановна? спросилъ я, подходя къ бѣднягѣ.—Что у васъ тутъ такое вышло? Гдѣ же вашъ сынъ-то?

— Охъ, болѣзная, охъ я, горемычная!.. Пропалъ мой сынокъ-то, погибъ на вѣки-вѣчные... Въ тюрьмѣ мой сынъ-то...

Старуха еще ниже опустила голову, обхватила руками костлявыя колѣни и громко завыла. Все это было до такой степени неожиданно, до такой степени странно, на лицѣ и во всей

фигурѣ Авдотьи Ивановны изображалось такое отчаяніе, что даже теперь, когда послѣ этой сцены прошло уже много лѣтъ, и первыя впечатлѣнія успѣли изгладиться въ душѣ, у меня невольно еще морозъ пробѣгаетъ по кожѣ, и я вижу передъ собой эту сѣдую, убитую горемъ старуху, обхватывающую костлявыми руками колѣни и плачущую не-своимъ голосомъ.

— Полно, голубушка, полно, милая!—Старикъ-хозяинъ подошелъ къ Авдотьѣ Ивановнѣ, сѣлъ рядомъ съ нею, положилъ руку на плечо.

— Авдотья Ивановна, матушка, — ну чего плачешь-то?— заговорилъ онъ, да такъ просто и задушевно,—ну чего убиваешься? За божье дѣло сынъ-то твой пострадалъ, по Христову правилу сдѣлалъ. И Христосъ-бы такъ поступилъ-то!

— Охъ я, горемычная! И куда только мнѣ приклонить головушку!—плакала, задыхаясь отъ горя, Авдотья Ивановна.— И что со мной только будетъ! И пропала-то головушка сынка моего единаго-о...

— Вотъ о чемъ, глупая, сокрушается, сказалъ старикъ. Нешто тебѣ худо у насъ-то жить? Міръ великъ человѣкъ. Міръ не оставитъ! И тебѣ мѣсто будетъ, и сыну, когда онъ вернется. Нешто такая христіанская душа-то пропадаетъ? Пусть пріѣзжаетъ сюда—и будетъ у насъ жить,—дѣло какое начнетъ... Міръ не оставитъ.

Вотъ тутъ-то я и узналъ во всей полнотѣ Митрошкину драму, о которой раньше этого времени зналъ лишь мелькомъ, по краткому судебному отчету въ какой-то столичной газетѣ. Этотъ отчетъ тогда совсѣмъ не произвелъ на меня никакого впечатлѣнія и затерялся въ массѣ другихъ такихъ же отчетовъ. Прочелъ его—и позабылъ, а съ именемъ Митрошки я его такъ и не связалъ: мало ли разныхъ Митрофановъ на свѣтѣ?.. А вѣдь Митрошкина драма—драма, какую ни одинъ досужій романистъ не выдумаетъ. Такія драмы только жизнь выдумываетъ. И предполагать я никогда не могъ, что героемъ такой драмы будетъ именно Митрошка, тотъ самый, на котораго я, непомѣрно плохой психологъ, рукой ужъ махнулъ, и сталъ даже считать его погибшимъ уже человѣкомъ. Но этотъ-то Митрошка и явился дѣйствительно своего рода героемъ.

ГЛАВА II.

Митрошкина драма.

Какъ было сказано, Митрошка или Митрофанъ Ягодинъ не окончилъ курса ученья въ уѣздномъ училищѣ, а „пристроился къ дѣлу“ у купца Мухобоева. Мухобоевъ очень скоро и очень

— Нѣтъ, нѣтъ,—я очень давно потерялъ его изъ виду,—разскажите, пожалуйста.

Но не успѣлъ старикъ приступить къ разсказу, какъ дверь отворилась, и въ избу вошла сама Авдотья Ивановна.

Она была въ крестьянской одеждѣ и закутана большимъ вязанымъ платкомъ, но я сразу узналъ ее. Старушка много постарѣла за эти года; волоса сдѣлались совсѣмъ бѣлыми, тѣло скорчилось и согнулось еще больше, а на лицѣ появился какой-то особенный отпечатокъ молчаливаго страданія, безропотной покорности судьбѣ, но вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ показалось мнѣ, и мира душевнаго, примиренности... Когда эта самая старушка бѣгала по стиркамъ и занималась вязаньемъ чулокъ на продажу, на ея лицѣ было больше озлобленія, чѣмъ теперь, да и манеры стали другими. Юркая вертлявость и хлопотливость исчезли, уступивъ мѣсто неторопливой обстоятельности .. Войдя въ избу, старушка перекрестилась, поздоровалась съ хозяиномъ, затѣмъ подошла ко мнѣ и поклонилась неестественно низко. Она какъ будто хотѣла о чемъ-то заговорить и какъ будто ждала, что первымъ заговорю съ нею я. Все это казалось лишь чѣмъ-то необычно страннымъ. За всѣми этими мелочами чувствовалось нѣчто страшное, какая-то драма, а, можетъ быть, и трагедія. Какъ сейчасъ помню всю эту сцену.

— Здравствуйте, батюшка, Константинъ Сергѣевичъ, заговорила, наконецъ, Авдотья Ивановна. Услышала я отъ деревенскихъ, что вы сюда пріѣхали. Вотъ и пришла узнать, нѣтъ ли новенькаго чего...

Старуха опустилась на скамейку и какъ-то вся съежилась, притихла.

— Да вотъ, Авдотья Ивановна, пріѣхалъ и я сюда,—отъ земства помощь привезъ. Помогаемъ чѣмъ можемъ.

— А мой-то... мой-то... тоже по-мо-о-галъ!... Ой, Господи, ой, Вседержитель милостивый!..

И старуха ничего больше не могла выговорить, опустила свою окутанную платкомъ голову на костлявыя руки, всхлипнула разъ, другой и вдругъ горько заплакала или, вѣрнѣе, завыла. Вы себѣ и представить не можете, какъ мнѣ стало въ это время жаль старуху.

— Да что же съ вами, Авдотья Ивановна? спросилъ я, подходя къ бѣднягѣ.—Что у васъ тутъ такое вышло? Гдѣ же вашъ сынъ-то?

— Охъ, болѣзная, охъ я, горемычная!.. Пропалъ мой сынокъ-то, погибъ на вѣки-вѣчные... Въ тюрьмѣ мой сынъ-то...

Старуха еще ниже опустила голову, обхватила руками костлявыя колѣни и громко завыла. Все это было до такой степени неожиданно, до такой степени странно, на лицѣ и во всей

фигурѣ Авдотьи Ивановны изображалось такое отчаяніе, что даже теперь, когда послѣ этой сцены прошло уже много лѣтъ, и первыя впечатлѣнія успѣли изгладиться въ душѣ, у меня невольно еще морозъ пробѣгаетъ по кожѣ, и я вижу передъ собой эту сѣдую, убитую горемъ старуху, обхватывающую костлявыми руками колѣни и плачущую не-своимъ голосомъ.

— Полно, голубушка, полно, милая!—Старикъ-хозяинъ подошелъ къ Авдотьѣ Ивановнѣ, сѣлъ рядомъ съ нею, положилъ руку на плечо.

— Авдотья Ивановна, матушка, — ну чего плачешь-то?— заговорилъ онъ, да такъ просто и задушевно,—ну чего убиваешься? За божье дѣло сынъ-то твой пострадалъ, по Христову правилу сдѣлалъ. И Христосъ-бы такъ поступилъ-то!

— Охъ я, горемычная! И куда только мнѣ приклонить головушку!—плакала, задыхаясь отъ горя, Авдотья Ивановна.— И что со мной только будетъ! И пропала-то головушка сынка моего единаго-о...

— Вотъ о чемъ, глупая, сокрушается, сказалъ старикъ. Нешто тебѣ худо у насъ-то жить? Міръ великъ человѣкъ. Міръ не оставитъ! И тебѣ мѣсто будетъ, и сыну, когда онъ вернется. Нешто такая христіанская душа-то пропадаетъ? Пусть пріѣзжаетъ сюда— и будетъ у насъ жить,—дѣло какое начнетъ... Міръ не оставитъ.

Вотъ тутъ-то я и узналъ во всей полнотѣ Митрошкину драму, о которой раньше этого времени зналъ лишь мелькомъ, по краткому судебному отчету въ какой-то столичной газетѣ. Этотъ отчетъ тогда совсѣмъ не произвелъ на меня никакого впечатлѣнія и затерялся въ массѣ другихъ такихъ же отчетовъ. Прочелъ его—и позабылъ, а съ именемъ Митрошки я его такъ и не связалъ: мало ли разныхъ Митрофановъ на свѣтѣ?.. А вѣдь Митрошкина драма—драма, какую ни одинъ досужій романистъ не выдумаетъ. Такія драмы только жизнь выдумываетъ. И предполагать я никогда не могъ, что героемъ такой драмы будетъ именно Митрошка, тотъ самый, на котораго я, непомѣрно плохой психологъ, рукой ужъ махнулъ, и сталъ даже считать его погибшимъ уже человѣкомъ. Но этотъ-то Митрошка и явился дѣйствительно своего рода героемъ.

ГЛАВА II.

Митрошкина драма.

Какъ было сказано, Митрошка или Митрофанъ Ягодинъ не окончилъ курса ученья въ уѣздномъ училищѣ, а „пристроился къ дѣлу" у купца Мухобоева. Мухобоевъ очень скоро и очень

вѣрно оцѣнилъ способности шустраго мальчугана, и тотъ быстро пошелъ въ гору.

Не прошло и году,—хлѣботорговецъ сталъ смотрѣть на своего Митрошку какъ на „вѣрнаго человѣка", который „никакого дѣла не испортитъ". Митрошка ѣздилъ платить и получать деньги по векселямъ. Митрошка принималъ и отправлялъ вагоны съ хлѣбомъ. Митрошка производилъ подсчеты по разнымъ неоконченнымъ платежамъ. Словомъ сказать, Митрошка сдѣлался для Мухобоева не только „вѣрнымъ", но и необходимымъ человѣкомъ, и, чтобы привязать къ себѣ толковаго мальчугана, купецъ то и дѣло рисовалъ ему перспективы будущаго, а въ настоящемъ платилъ ежемѣсячное жалованье въ двѣнадцать рублевъ. Но, подмѣтивъ своимъ опытнымъ взглядомъ, что въ душѣ Митрошки еще далеко таки не вывелась чисто дѣтская непосредственность и наивность, Мухобоевъ все-же остерегался поручать своему „вѣрному человѣку" такія дѣла, гдѣ было кое-что „не чисто", иначе сказать,—обмѣръ и обвѣсъ, а то и иное что похуже. Надо полагать, Мухобоева смущало и то, что Митрошка все книжки почитываетъ. Въ глазахъ хлѣботорговца это была „блажь", которая „дѣлу мѣшаетъ". Мухобоевъ надѣялся, что со временемъ Митрошка выкинетъ эту блажь изъ своей головы.

— Пусть поприсмотрится маленько, разсуждалъ Мухобоевъ, — тогда и пріобыкнетъ и по настоящему втянется въ наши дѣла!

И разсужденіе было вѣрно: Митрошка понемногу втягивался-таки въ „дѣла" и отъ времени до времени уже исполнялъ „небольшія" Мухобоевскія порученія.

И вотъ въ одинъ прекрасный день самаго что ни на есть голоднаго и глухого времени, Мухобоевъ возложилъ на Митрошку солидное порученіе — немедленно ѣхать въ городъ С. и нанять, разумѣется, сколь возможно дешевле, сорокъ подводъ для перевозки хлѣба изъ С. въ Н. Мухобоевъ обдѣлалъ выгодное дѣльце: хлѣбъ, „по очень сходной цѣнѣ" купленный въ С-комъ уѣздѣ, въ количествѣ нѣсколькихъ вагоновъ, онъ запродалъ одному изъ сосѣднихъ земствъ. Правда, по голодному времени, въ С-комъ уѣздѣ не было и не могло даже быть хорошаго хлѣба,—то, что называлось „рожью", были какіе-то, „поскребышки", отысканные неизвѣстно гдѣ и какъ, и спроданные съ невѣроятною поспѣшностью мужиками,—явленіе до такой степени обычное въ осеннее время,—время всякихъ платежей и сборовъ,—что измѣнить его нерушимый ходъ не могла и голодовка 1892—93 г. Какъ ни какъ, а хлѣбъ былъ мужиками запроданъ (иными еще на корню), и Мухобоевскими скупщиками купленъ.

Надлежало везти его изъ С. въ Н., гдѣ и нагрузить въ вагоны желѣзной дороги. Все это дѣло необходимо было обдѣлать спѣшно, такъ какъ надъ Мухобоевымъ висѣла довольно-таки

крупная неустойка. Но опытный хлѣботорговецъ нисколько не боялся этой неустойки,—хлѣбъ, скупленный въ С-комъ уѣздѣ, былъ вѣдь уже въ его рукахъ, а должное число вагоновъ было давнымъ давно за нимъ обезпечено: Мухобоевъ былъ человѣкъ предусмотрительный.

Тѣмъ не менѣе, въ виду спѣшности и выгодности дѣла, Акимъ Федоровичъ счелъ для себя полезнымъ и лично отправиться въ городъ С.

И вотъ, рано утромъ, въ одинъ изъ самыхъ ненастныхъ ноябрьскихъ дней 1892 года, изъ города С. тронулся большой хлѣбный обозъ купца Мухобоева, возовъ 40—45, нагруженныхъ рожью. На одномъ изъ возовъ возсѣдалъ и „вѣрный человѣкъ" Митрошка, которому былъ данъ строжайшій приказъ отправить весь этотъ хлѣбный грузъ по назначенію не позднѣе, какъ черезъ три дня.

Погода стояла прескверная. Небо было густо обложено тяжелыми тучами, которыя висѣли надъ землею низко-низко и сыпали дождемъ и снѣгомъ. Капли дождя были крупныя и, по выраженію мужиковъ-возчиковъ, „злыя".

Снѣгъ валилъ густыми хлопьями и, падая на землю, тотчасъ таялъ. На уныло обнаженной, черной землѣ „кормилицѣ-матушкѣ", не бѣлѣло ни снѣжинки. Луга, омертвѣлые, безжизненные, наводили не меньшее унынiе на мужиковъ-возчиковъ. А такія поля и луга только и тянулись вдоль дороги, съ пригорка на пригорокъ, съ холма на холмъ. Надъ ними свистѣлъ, носился какъ будто съ какою-то дикой злобой на всеобщее разореніе, сильный западный вѣтеръ и хлесталъ и дождемъ и снѣгомъ по лицамъ угрюмо шагавшихъ рядомъ съ телѣгами мужиковъ-возчиковъ.

Дорога была необыкновенно грязная, но мало кто изъ этихъ возчиковъ рѣшился сѣсть на подводу,—каждый жалѣлъ свою скотинку, которая въ какомъ-то изступленномъ изнеможеніи вытягивала шею, напрягала ноги и не везла, а волокла возъ, дѣлая невѣроятныя усилія своимъ костлявымъ, изможденнымъ отъ безкормицы и непосильнаго труда, тѣломъ

Чтобы укрыться отъ дождя и вѣтра, отъ котораго не очень-то защищали продранные зипуны и сермяги, возчики пристроили себѣ на спину кто рогожку, кто джутовый мѣшокъ, и шагали, угрюмо наклонивъ головы. Обозъ растянулся далеко далеко и скорѣе походилъ на какое-то похоронное шествіе. На послѣдней подводѣ, сильно укутанный и обвязанный шарфами и въ большой мѣховой шапкѣ, сидѣлъ Митрошка, терпѣливо ожидая конца невѣроятно-медленнаго пути.

Что онъ думалъ въ это время, Богъ его знаетъ, но, надо полагать, на душѣ у него было не сладко. Обстановка была слишкомъ ужъ унылая и навѣвала безконечную тоску и грусть, а къ заходу солнца стала еще печальнѣе. Митрошка въ первый еще

разъ получилъ отъ хозяина такое загородное порученіе. Онъ, очевидно, въ первый разъ имѣлъ случай, не говорю видѣть, а прочувствовать деревенское разореніе. На пути попадалось нѣсколько деревень. Тамъ останавливались, кормили лошадей, пили чай. Когда обозъ проѣзжалъ черезъ деревню, кое-гдѣ изъ оконъ и дверей показывались чьи-то блѣдныя, изжелта зеленыя лица, выскакивали полуодѣтые мальчишки и, вылупивъ глаза, смотрѣли и разспрашивали, что везутъ, куда везутъ,—не къ нимъ ли? Всѣ терпѣли, всѣ мучились, всѣ ждали откуда-нибудь помощи... А обозъ шелъ да шелъ дальше и дальше. А Митрошка, вѣрный слуга своего хозяина, зорко слѣдилъ, чтобы по дорогѣ не случилось никакихъ хищеній, о которыхъ слухи уже ходили здѣсь и тамъ... А снѣгъ и дождь все валилъ и валилъ изъ сѣрыхъ, нависшихъ тучъ, степной вѣтеръ все громче и тоскливѣе напѣвалъ свою пѣсню.

Тяжелое впечатлѣніе производитъ эта самая пѣсня, особенно въ голодное время. Такъ въ какой-нибудь психіатрической больницѣ воетъ-завываетъ буйный больной, въ безсиліи старающійся разорвать свою сумасшедшую рубашку, воетъ и мечется, и корчится, и ничего изъ этого не выходитъ, и лишь весь ужасъ своего душевнаго состоянія онъ выражаетъ въ этомъ своемъ завываніи—ужасъ и безпомощность. Завываніе вѣтра надъ голодной землей и надъ голоднымъ людскимъ обществомъ въ концѣ XIX вѣка напоминаетъ именно это завываніе больного. Кажется, что не вѣтеръ воетъ, а земля воетъ и люди воютъ, поля, безхлѣбныя пашни, безтравные луга.

Часовъ въ семь вечера обозъ доплелся-таки до Мироновки, о которой уже шла рѣчь. Деревушка эта, какъ оказалось, стоитъ почти на полпути между городами Н. и С. Тутъ приходилось волей-неволей ночевать, потому что тащиться въ такую погоду дальше никто не рѣшался.

Какъ на зло, оказалось, что большой постоялый дворъ въ Мироновкѣ дня за два передъ тѣмъ сгорѣлъ до тла отъ неизвѣстной причины. Такіе случаи въ то время бывали не рѣдко. Приходилось думать о ночевкѣ въ крестьянской избѣ. Ночь была темная. Погода стала еще хуже, чѣмъ днемъ. Вся деревня спала. Разумѣется, каждый возчикъ хлопоталъ за себя, и многіе кое-какъ уже устроились. Возы были втащены во дворы, подъ навѣсъ, лошади распряжены, возчики разбрелись кто куда могъ, лишь бы укрыться отъ непогоды. Митрошка съ 3—4 возчиками въѣхалъ въ Мироновку послѣднимъ и пошелъ искать ночлега и для себя.

* * *

Изба, въ которую вошелъ Митрофанъ, стоитъ почти на самомъ концѣ села. Это большая, очевидно, когда-то красивая

изба, выстроенная хозяйственнымъ мужикомъ для большой рабочей семьи. Но отъ времени она словно осѣла, покачнулась, вросла въ землю; бѣдствіе, свалившееся на всю деревню, заставило хозяевъ этой избы употребить половину тесовой крыши на дрова; а солома, покрывавшая пристройки, пошла на кормъ скоту. Ворота тоже куда-то исчезли, и если бы Митрошка видѣлъ, въ какое ужасное подобіе человѣческаго жилья онъ входитъ, то, быть можетъ, поскорѣе бы повернулъ и пошелъ прочь. Но дѣло вѣдь было ночью, и Митрошка, шаря въ потьмахъ, больше дѣйствовалъ на ощупь. Онъ едва-едва нашелъ и отворилъ дверь.

— Ей, православные, отворите!

Изъ избы такъ и пахнулъ на него паръ и затхлый, вонючій воздухъ. Горница была довольно просторная, но невѣроятно грязная. Огарокъ сальной свѣчи едва освѣщалъ ее. Въ переднемъ углу горѣла небольшая лампада у иконы Богородицы Троеручицы. Полутьма царила въ избѣ. Тамъ находилось въ то время нѣсколько человѣкъ. Прежде всего на скамьѣ, у самой печки, Митрошка увидѣлъ дѣвушку лѣтъ 18 — 19, одѣтую въ бѣлую вышитую рубашку и пестрядинную юбку. Дѣвушка лежала на какомъ-то грязномъ тряпьѣ и была покрыта тоже тряпьемъ. При видѣ вошедшихъ, она вскочила съ лавки и большими, удивленными глазами уставилась на нихъ. Глаза ея лихорадочно блестѣли, а по лицу было видно, что она тяжело больна. Лицо дѣвушки было некрасиво, но выразительно. Такія лица, какъ ея, очень рѣдко встрѣчаются въ деревняхъ, особенно въ Н-ской губерніи, гдѣ населеніе до сихъ поръ носитъ какой-то особый отпечатокъ татарской крови. Лицо длинное, блѣдное, глаза большіе, открытые; подбородокъ рѣзко очерченный, красивый, нѣсколько выдвинутый впередъ, на лицѣ — печать страданія. Такое лицо забываешь не скоро. Тогда въ Мироновкѣ уже ходилъ сыпной тифъ, отъ котораго вымерло столько народа.

Вотъ въ такое тифозное гнѣздо и попалъ Митрошка; этотъ самый тифъ прежде всего и взглянулъ на него широко раскрытыми, удивленными глазами Марфутки.

И Митрошка остановился. Ему стало жутко отъ этого взгляда раскрытыхъ глазъ, отъ этой таинственной полутемноты, отъ этой грязи и вони.

— Дозвольте переночевать, православные! — сказалъ одинъ изъ возчиковъ, ввалившійся въ избу вслѣдъ за нимъ.

Въ отвѣтъ на эти слова, на печи что-то завозилось. Кто-то закряхтѣлъ, заохалъ, или, вѣрнѣе, застоналъ, а въ темнотѣ понемногу обрисовалась высокая человѣческая фигура въ синей рубахѣ и такихъ же портахъ, худая, дряблая, изможденная. Показались босыя ноги, затѣмъ лохматая сѣдая голова съ сѣдой щетинистой бородкой, торчкомъ торчавшей впередъ.

— Охъ, Господи! Охъ, Никола милостивый! — бормотала фигура, опускаясь съ печи и зѣвая. За печкой еще кто-то заворчалъ и запищалъ, и Митрошка, словно боявшійся ступить шага, вдругъ услышалъ тоскливый, жалобный дѣтскій голосокъ.

— Дѣдка, дѣдушка, дай поисть хлѣ-ѣ-б-ца!

— Спи, Мишка, спи, штобъ тебя!—сердито прикрикнулъ на него дѣдъ. Спи, каксго тебѣ тутъ хлѣба!..

— Дѣдка, дай по-и-и-исть! — пищалъ снова дѣтскій голосокъ.

— Спи, тебѣ говорятъ, — еще строже прикрикнулъ дѣдъ. У-у, неугомонные,—даже ночью не даютъ покоя! Охъ, Господи...

А дѣвушка все сидѣла, опершись костлявыми руками о лавку, откинувъ косу и спустивъ босыя ноги на мокрый, холодный полъ, и все смотрѣла на вошедшихъ... На печи еще кто-то заворочался, и оттуда показалась голова старухи, съ любопытствомъ уставившейся на вошедшихъ.

— Кого Богъ принесъ?—угрюмо спросилъ старикъ.

— Обозчики С—скіе,—отвѣчалъ одинъ изъ возчиковъ (Митрошка по какой-то непонятной робости не могъ ни пошевелиться, ни говорить). Ночевать просимся... По-божески, значитъ.

— Гдѣ же вы тутъ переночуете? — такъ же угрюмо продолжалъ старикъ.—Вишь тѣснота какая, и Марфутка дюже больна— гдѣ устроитесь?

— Да ничего, какъ-нибудь. — хоть тутъ, на полу... Мы не даромъ... Погода больно хлещетъ...

Старикъ почесалъ затылокъ, почесалъ грудь и задумался. Больная дѣвушка въ безсиліи откинулась назадъ и повалилась на свое жесткое ложе.

— Дѣдушка, хлѣ-ѣ-б-ца!—раздалось за печкой.

— Да перестанешь ты или нѣтъ?—закричалъ дѣдъ, подошелъ къ столу, досталъ изъ ящика небольшой кусокъ какого-то сѣро-зеленаго вещества и сунулъ его въ ротъ мальчугану. Тотъ замолчалъ. Слышно было, какъ онъ грызетъ что-то жесткое, крѣпкое, словно песчаное.

— Лошадокъ-то мы подъ навѣсъ поставимъ, — сказалъ возчикъ.

— Ставьте,—отвѣчалъ старикъ. Только отъ навѣса-то, чай, ничего не осталось. Вся солома на кормъ скотинѣ пошла.

— Ничего, какъ нибудь!—опять повторилъ возчикъ и вышелъ на улицу. За нимъ пошли и другіе распрягать лошадей и давать имъ кормъ. Въ избѣ остался одинъ Митрошка. Онъ робко сѣлъ на скамейку у самой двери и молчалъ. Куда и прыть дѣлась. Глаза его такъ и бѣгали по сторонамъ, и чѣмъ больше онъ всматривался въ окружающую обстановку, тѣмъ ему становилось страшнѣе. И больше всего пугала его эта больная дѣвушка, ко-

торая лежала ничкомъ, уткнувшись лицомъ въ тряпье, не то безъ памяти, не то въ нѣмомъ отчаяніи.

— Чайкомъ бы я угостилъ, робко сказалъ Митрошка, чтобы какъ-нибудь нарушить томительное молчаніе. Кипяточку бы...

— Чего по ночамъ чаи распивать, угрюмо возразилъ старикъ. Ложись вонъ въ углу... Завтра напьешься...

— Сейчасъ, родименькій, раздался старушечій голосъ, и на печи снова кто-то заворочался. Изъ темноты выступила маленькая, скрюченная фигурка старухи, — простоволосая, босая, въ грязной синей юбкѣ. Она подошла къ печи и принялась раздувать огонь. Митрошка почему-то очень внимательно сталъ присматриваться ко всѣмъ ея тѣлодвиженіямъ и молчалъ. Молчалъ и дѣдъ.

— А ты, молодецъ,—началъ старикъ, обращаясь къ Митрошкѣ,—изъ какихъ будешь?

— Съ обозомъ иду, провожаю!—отвѣчалъ робко молодой человѣкъ.

Наступило минутное молчаніе.

Затѣмъ старикъ снова спросилъ.

— Такъ, такъ! Съ чѣмъ обозъ-то?

— Съ мукой... Съ хлѣбомъ...

— Съ хлѣбомъ?—спросила, какъ-то встрепенувшись, старуха. Не намъ ли хлѣбъ-то? Не царскій ли паекъ привезли?

Митрошка молчалъ. Ему стало еще болѣе жутко.

— Сказывали, тутъ скоро паекъ будетъ... Али хлѣбъ-отъ земскій? Анадысь тутъ барыня пріѣзжала, кормежъ устраивала, спаси ее, Господи,—хоть ребятъ накормила. А то вѣдь труху ѣдимъ, не хлѣбъ...

— Дѣдушка, хлѣ-бца! опять раздался жалобный дѣтскій голосокъ. Митрошка вынулъ изъ кармана небольшой ломтикъ полубѣлаго хлѣба и далъ его мальчику. Тотъ вырвалъ хлѣбъ изъ рукъ, да такъ и набросился на него.

— Чей же хлѣбъ-отъ?—допытывался старикъ.

Митрошка молчалъ. Ему почему-то страшно было говорить правду. И почему собственно страшно-то,—онъ рѣшительно не понималъ. Но старикъ не унимался и повторилъ вопросъ.

— Мухобоевскій!--наконецъ, нехотя, отвѣчалъ Митрошка.

— Евона что!—протянулъ старикъ. Слышишь, старуха, хлѣбъ-отъ не къ намъ везутъ, а отъ насъ увозятъ!.. Ироды, окаянные ироды!..

И старикъ злобно посмотрѣлъ на Митрошку; тотъ только теперь разглядѣлъ, какое выразительное, умное и вмѣстѣ съ тѣмъ злое лицо у этого старика.

— Ироды, продолжалъ тотъ.—На чемъ деньгу зарабатываете! На душахъ христіанскихъ! Суда Божьяго на васъ нѣтъ!

Митрошка весь съежился и молчалъ по прежнему.

— А ты самъ-то кто будешь? — обратился къ нему послѣ нѣкотораго молчанія старикъ. Но это молчаніе было для Митрошки не менѣе тягостно, чѣмъ самые вопросы старика. Въ минуты этого молчанія только и слышно было, какъ охаетъ и стонетъ больная дѣвушка и усиленно грызетъ хлѣбъ блѣдный бѣлоголовый мальчуганъ за печкой.

„И что же возчики не идутъ? — Все же легче было бы съ ними", думалъ Митрошка... А старикъ не унимался и снова продолжалъ свой допросъ.

— Ты-то кто, — спрашиваю?—Приказчикъ Мухобоевскій?

— Приказчикъ,- угрюмо отвѣтилъ Митрошка.

— Вотъ ты какой!—протянулъ старикъ. Въ это время старуха у печки завыла.

— Помоги хлѣбцемъ-то, милый! Помоги, любезный! Умираемъ совсѣмъ безъ хлѣбца-то! Внучка который день, почитай, безъ памяти лежитъ. Дите малое хлѣбца проситъ, всю душу вымотало. Помоги, милый! Дай хоть мѣрку — чай твой-то не обѣднѣетъ отъ этого.

У Митрошки даже сердце замерло отъ этихъ словъ. Онъ еще больше съежился и опустилъ низко голову, чтобы не видѣть ни этой дѣвки больной, ни бѣлой головы голоднаго Мишутки, ни черныхъ, блестящихъ глазъ старика.

— Максимъ, дѣдко Максимъ! — продолжала причитать баба. Упроси ты его хорошенько! Не за себя просимъ, за дѣтокъ сиротокъ. Отецъ-мать анадысь померли, на нашу шею дѣтей оставили.

Но Максимъ молчалъ и, повидимому и не думалъ слѣдовать примѣру старухи. Нѣсколько секундъ опять стояла мертвая тишина. Митрошка, казалось, ждалъ своего приговора.

— Что ихъ просить-то, иродовъ! — заговорилъ старикъ.— Иродово племя—только и всего. Нешто у нихъ душа есть? Нешто Христа-то они знаютъ?

— Знаютъ! хотѣлъ-было воскликнуть Митрошка, но почему-то языкъ словно не повиновался ему.

— Чье это добро-то, что ты везешь? еще болѣе сурово спросилъ Митрошку старикъ.

— Мухобоевское, я сказывалъ, — тихо пробормоталъ тотъ.

— Я не про то спрашиваю, возразилъ старикъ. Знаемъ мы такихъ, Мухобоевыхъ. Видывалъ,—когда въ Питерѣ жилъ. Всѣ они одинаковы,—жнутъ, гдѣ не сѣяли... Чужое добро въ свои житницы складываютъ.

— Какое такое чужое? по прежнему робко возразилъ Митрошка. Добро не краденое. Что купилъ, то и положилъ.

— Что краденое, что купленное,—у васъ тамъ не разберешь,

заворчалъ старикъ, что-то ковыряя въ углу. Твой Мухобоевъ что ли весь этотъ обозъ наработалъ? Жди, подожди, — не дождешься! Чай такіе же, какъ мы, мухобоевскій-то хлѣбъ добывали.

— Понятно, не онъ самъ, сказалъ Митрошка. Въ словахъ старика онъ безсознательно чувствовалъ что-то очень жгучее и, казалось ему, весьма для него обидное. Кто на землѣ работалъ, тотъ за работу тоже получилъ.

— Получилъ, да не дополучилъ, какъ-то особенно огрызнулся дѣдъ. Ужъ съ чего-нибудь карманы-то твоего Мухобоева пухнутъ. Недополученное-то и мы умѣли бы въ дѣло пустить.

— Чего не дополучили, то не ваше, сказалъ Митрошка и вдругъ почему-то ухмыльнулся. Дѣдъ сразу замѣтилъ усмѣшку и вспылилъ.

— Не ваше! Знаемъ, что не ваше! воскликнулъ онъ. Что наше, то—ваше, а что ваше, то не наше. Это завсегда и вездѣ такъ! Скоблить да отцѣживать вы всѣ тамъ — великіе мастера.

— Вы сами по себѣ, а мы сами по себѣ! возразилъ Митрошка, въ душѣ котораго уже подымался обычный прикащичій задоръ. Онъ уставился глазами прямо въ лицо дѣда, словно нарочно стараясь показать тому, что совѣсть его чиста. Дѣдъ угрюмо смотрѣлъ на Митрошку. Бѣлые мягкіе волосы, бѣлая щетинистая борода, суровый взглядъ большихъ открытыхъ глазъ, вся суровая фигура дѣда напоминала что-то монастырское, подвижническое, иконописное. Митрошкѣ было жутко смотрѣть въ эти глубокіе, суровые глаза. Онъ не выносилъ ихъ взгляда. Глаза Митрошки машинально бѣгали по сторонамъ, стараясь какъ будто спрятаться, укрыться. А дѣдъ все смотрѣлъ и смотрѣлъ. Дырявый, рваный полушубокъ спустился съ его худыхъ, изможденныхъ плечъ. Спина изогнулась. Не то жалость, не то презрѣніе сквозило въ его взорѣ. Митрошкѣ почему-то машинально пришли на память всѣмъ извѣстные стихи Н. А. Некрасова. „Надрывается сердце отъ муки, плохо вѣрится въ силу добра". Почему пришли на память именно эти стихи? Какая глубокая, задушевная ассоціація идей выдвинула ихъ изъ области безсознательныхъ душевныхъ движеній? И почему выдвинула именно въ этотъ моментъ? Митрошка ничего этого не зналъ и не понималъ. Но ему вдругъ сдѣлалось какъ-то мучительно-неловко отъ одного воспоминанія. Въ глубинѣ души что-то повернулось. Митрошка сразу отвелъ глаза отъ пристальнаго взора старика.

— Что ты тамъ говоришь? спросилъ еще разъ старикъ.

— Вы сами по себѣ, мы сами по себѣ! хотѣлъ-было повторить свои слова еще разъ Митрошка, и не могъ. Какая-то сила

Митрошка весь съежился и молчалъ по прежнему.

— А ты самъ-то кто будешь? — обратился къ нему послѣ нѣкотораго молчанія старикъ, Но это молчаніе было для Митрошки не менѣе тягостно, чѣмъ самые вопросы старика. Въ минуты этого молчанія только и слышно было, какъ охаетъ и стонетъ больная дѣвушка и усиленно грызетъ хлѣбъ блѣдный бѣлоголовый мальчуганъ за печкой.

„И что же возчики не идутъ? — Все же легче было бы съ ними", думалъ Митрошка... А старикъ не унимался и снова продолжалъ свой допросъ.

— Ты-то кто, — спрашиваю?—Приказчикъ Мухобоевскій?

— Приказчикъ,— угрюмо отвѣтилъ Митрошка.

— Вотъ ты какой!—протянулъ старикъ. Въ это время старуха у печки завыла.

— Помоги хлѣбцемъ-то, милый! Помоги, любезный! Умираемъ совсѣмъ безъ хлѣбца-то! Внучка который день, почитай, безъ памяти лежитъ. Дите малое хлѣбца проситъ, всю душу вымотало. Помоги, милый! Дай хоть мѣрку — чай твой-то не обѣднѣетъ отъ этого.

У Митрошки даже сердце замерло отъ этихъ словъ. Онъ еще больше съежился и опустилъ низко голову, чтобы не видѣть ни этой дѣвки больной, ни бѣлой головы голоднаго Мишутки, ни черныхъ, блестящихъ глазъ старика.

— Максимъ, дѣдко Максимъ! — продолжала причитать баба. Упроси ты его хорошенько! Не за себя просимъ, за дѣтокъ сиротокъ. Отецъ-мать анадысь померли, на нашу шею дѣтей оставили.

Но Максимъ молчалъ и, повидимому и не думалъ слѣдовать примѣру старухи. Нѣсколько секундъ опять стояла мертвая тишина. Митрошка, казалось, ждалъ своего приговора.

— Что ихъ просить-то, иродовъ! — заговорилъ старикъ.— Иродово племя—только и всего. Нешто у нихъ душа есть? Нешто Христа-то они знаютъ?

— Знаютъ! хотѣлъ-было воскликнуть Митрошка, но почему-то языкъ словно не повиновался ему.

— Чье это добро-то, что ты везешь? еще болѣе сурово спросилъ Митрошку старикъ.

— Мухобоевское, я сказывалъ, — тихо пробормоталъ тотъ.

— Я не про то спрашиваю, возразилъ старикъ. Знаемъ мы такихъ, Мухобоевыхъ. Видывалъ,—когда въ Питерѣ жилъ. Всѣ они одинаковы,—жнутъ, гдѣ не сѣяли... Чужое добро въ свои житницы складываютъ.

— Какое такое чужое? по прежнему робко возразилъ Митрошка. Добро не краденое. Что купилъ, то и положилъ.

— Что краденое, что купленное,—у васъ тамъ не разберешь,

заворчалъ старикъ, что-то ковыряя въ углу. Твой Мухобоевъ что ли весь этотъ обозъ наработалъ? Жди, подожди, — не дождешься! Чай такіе же, какъ мы, мухобоевскій-то хлѣбъ добывали.

— Понятно, не онъ самъ, сказалъ Митрошка. Въ словахъ старика онъ безсознательно чувствовалъ что-то очень жгучее и, казалось ему, весьма для него обидное. Кто на землѣ работалъ, тотъ за работу тоже получилъ.

— Получилъ, да не дополучилъ, какъ-то особенно огрызнулся дѣдъ. Ужъ съ чего-нибудь карманы-то твоего Мухобоева пухнутъ. Недополученное-то и мы умѣли бы въ дѣло пустить.

— Чего не дополучили, то не ваше, сказалъ Митрошка и вдругъ почему-то ухмыльнулся. Дѣдъ сразу замѣтилъ усмѣшку и вспылилъ.

— Не ваше! Знаемъ, что не ваше! воскликнулъ онъ. Что наше, то—ваше, а что ваше, то не наше. Это завсегда и вездѣ такъ! Скоблить да отцѣживать вы всѣ тамъ — великіе мастера.

— Вы сами по себѣ, а мы сами по себѣ! возразилъ Митрошка, въ душѣ котораго уже подымался обычный прикащичій задоръ. Онъ уставился глазами прямо въ лицо дѣда, словно нарочно стараясь показать тому, что совѣсть его чиста. Дѣдъ угрюмо смотрѣлъ на Митрошку. Бѣлые мягкіе волосы, бѣлая щетинистая борода, суровый взглядъ большихъ открытыхъ глазъ, вся суровая фигура дѣда напоминала что-то монастырское, подвижническое, иконописное. Митрошкѣ было жутко смотрѣть въ эти глубокіе, суровые глаза. Онъ не выносилъ ихъ взгляда. Глаза Митрошки машинально бѣгали по сторонамъ, стараясь какъ будто спрятаться, укрыться. А дѣдъ все смотрѣлъ и смотрѣлъ. Дырявый, рваный полушубокъ спустился съ его худыхъ, изможденныхъ плечъ. Спина изогнулась. Не то жалость, не то презрѣніе сквозило въ его взорѣ. Митрошкѣ почему-то машинально пришли на память всѣмъ извѣстные стихи Н. А. Некрасова. „Надрывается сердце отъ муки, плохо вѣрится въ силу добра". Почему пришли на память именно эти стихи? Какая глубокая, задушевная ассоціація идей выдвинула ихъ изъ области безсознательныхъ душевныхъ движеній? И почему выдвинула именно въ этотъ моментъ? Митрошка ничего этого не зналъ и не понималъ. Но ему вдругъ сдѣлалось какъ-то мучительно-неловко отъ одного воспоминанія. Въ глубинѣ души что-то повернулось. Митрошка сразу отвелъ глаза отъ пристальнаго взора старика.

— Что ты тамъ говоришь? спросилъ еще разъ старикъ.

— Вы сами по себѣ, мы сами по себѣ! хотѣлъ-было повторить свои слова еще разъ Митрошка, и не могъ. Какая-то сила

не давала ему вымолвить этихъ словъ. Глаза Митрошки забѣгали изъ стороны въ сторону. Онъ смѣшался.

— Сами по себѣ! повторилъ Митрошкины слова старикъ. Ишь еще что говоритъ! Изъ молодыхъ да ранній. На губахъ молоко не обсохло, а разсуждаетъ по-грабительски, по настоящему. Задолбилъ съ малыхъ лѣтъ мухобоевскія слова. Въ такіе же благодѣтели готовится! Ну, малый, помяни мое слово,—и изъ тебя иродъ хорошій выйдетъ! Хозяйскимъ чайкомъ поить, — это молъ съ нашимъ удовольствіемъ. А все прочее — какъ хозяинъ велитъ.

Митрошка опустилъ голову и молчалъ.

— Да не грызи ты мальца! вмѣшалась старуха. Ты его, парень, не слушай. Онъ завсегда такой. Ворчитъ, ворчитъ, самъ не знаетъ чего.

— Нѣтъ, я-то знаю! сказалъ дѣдъ и быстро поднялся со скамейки и зашамкалъ съ небольшими разстановками.,. Знаю! Ученъ и переученъ дѣдъ Максимъ. Гнулъ-гнулъ спину надъ сохой-кормилицей,—выучился! Поливалъ-поливалъ потомъ и слезами землю матушку,— это ли не ученье еще? На своей спинѣ знаю, что мой хлѣбъ—это и есть мой трудъ, а Мухобоевское добро — это мое добро. Знаю, знаю, какъ мое добро изъ моихъ рукъ уходитъ. Съ одного мѣрку, съ другого мѣрку,—смотришь, и цѣлый обозъ готовъ. Весь вашъ хлѣбъ—это нашъ хлѣбъ... Вотъ оно что! Нашимъ добромъ кровнымъ твой Мухобоевъ богатъ. Хлѣбъ ему продаю,—свой трудъ отдаю. Чего не дополучилъ,—своей собственной силушки не дополучилъ!.. Аренду отдалъ, подати отдалъ,—это все мое отъ меня утекаетъ. Хозяину рубль, а мнѣ полъ-рубля. Это что же такое будетъ? Выколачивай, молъ, мужикъ пропитаніе на себя да на всѣхъ прочихъ. Тѣ только рты разѣвай да руки растопыривай. Знаемъ! Видывали виды. На двухъ десятинахъ-то!..

Дѣдъ словно наслаждался смущеніемъ Митрошки. И чѣмъ больше тотъ смущался, чувствуя что-то глубоко справедливое въ довольно безсвязныхъ словахъ старика, тѣмъ больше волновался дѣдъ. Высокій, худой, съ трясущейся головой, онъ стоялъ посреди избы и говорилъ, говорилъ, дополняя свою рѣчь выразительными жестами по адресу Митрошки. Старикъ, казалось, не могъ остановиться. Ему нужно было кому-нибудь выложить то, что, быть можетъ, всю жизнь накапливалось у него въ душѣ. Старуха все еще возилась у печки, громыхая горшками.Стонала, тяжело дыша, больная дѣвушка, окруженная какой-то зловѣщей, душной темнотой. Митрошка сидѣлъ на скамьѣ, съежившись, опустивъ голову, словно какой-то преступникъ передъ грознымъ и неумолимымъ судьей. Только стихи Некрасова не выходили у него изъ головы по прежнему. И было въ рѣчахъ старика и въ этихъ стихахъ нѣчто общее, нѣчто родственное. И Митрошка самъ хо-

рошо не сознавалъ, что собственно онъ переживаетъ въ эту минуту.

— Да знаешь ли ты, кто дѣдъ Максимъ-то? говорилъ старикъ. Дѣдъ Максимъ на своемъ вѣку два раза за правду страдалъ. Дѣдъ Максимъ въ тюрьмѣ за міръ отсидѣлъ. Гдѣ-то гдѣ онъ не побывалъ. Били, били дѣда Максима, да изъ него правды не выбили. Такъ и въ могилу уйду, и все-таки скажу правду... Ироды вы—и есть ироды. Суда на васъ только нѣту! Ишь Мухобоевъ какой-нибудь навалился всѣмъ брюхомъ на мужика! Валяй! Чего его жалѣть! Нѣтъ, мы и не такихъ видывали! И не боялись. Будьте вы тамъ всѣ, проклятые, сами по себѣ. А мы пусть будемъ сами по себѣ. У него мѣрку хлѣба отъ его грабительства на ограбленныхъ просятъ. А онъ вона какъ растопырился. Собака на сѣнѣ! Тоже,—слуга своему хозяину. Ничего кромѣ его интересу не видитъ и не чувствуетъ... А чайкомъ небось угощаетъ!

— А вотъ, что я тебѣ скажу, молодецъ!— вдругъ громко проговорилъ старикъ. Уходи-ка ты отсюда. Поищи-ка ты ночлега въ другой избѣ,—кто-нибудь пуститъ. Слышишь, уходи!..

Эти послѣднія слова были такою неожиданностью для Митрошки, что онъ даже затрясся и поблѣднѣлъ. отъ самой ли неожиданности, или отъ страха, или отъ оскорбленія. Больная дѣвка опять приподнялась на своемъ ложѣ и снова уставилась на Митрошку большими глазами... И въ этихъ безумно-блестящихъ, широко раскрытыхъ глазахъ, казалось Митрощкѣ, тоже былъ написанъ приговоръ его невольному жестокосердію... „Что я такое? Что я сдѣлалъ для нихъ худого"? подыскивалъ себѣ оправданія Митрошка. „Я все дѣлаю, какъ слѣдуетъ быть, по закону, по чести... Добро не мое,—хозяйское".

— Что я тебѣ сдѣлалъ?—громко повторилъ онъ.

— Слышь,—наступалъ на него старикъ,—уходи! Бога вы тамъ, видно, не знаете! Съ этакихъ лѣтъ разбою учитесь! Ты зачѣмъ сюда пришелъ-то? Смотрѣть, какъ люди отъ голоду мрутъ? Уходи, говорятъ тебѣ, по добру, по здорову!

Митрошка вскочилъ и невольно попятился къ двери. Онъ былъ блѣденъ какъ полотно. А съ печки снова затараторила баба:

— Максимъ, пошто пужаешь мальца-то? Нешто его добро? Слышь, малецъ, поступи по-божески, — дай мѣрку хлѣбца, — не обѣднѣетъ твой-то, а тутъ дите отъ голода умираетъ.

— Перестань, старуха, — крикнулъ на нее дѣдъ Максимъ. Нешто такихъ-то проймешь словомъ Христовымъ? Уходи, малецъ. Слышь,—уходи, не то будетъ грѣхъ!..

И старикъ опять началъ наступать на Митрошку. Тотъ снова попятился къ двери и только бормоталъ: „За что? за что?" И когда онъ былъ уже въ сѣняхъ, то позади за собой услышалъ, какъ застонала и заметалась больная дѣвка и заголосила у печи

старуха. „Смертушка наша приходитъ!.. Покинулъ насъ Господь Богъ и царь-батюшка!“

* * *

Не зная, куда идти, не зная, что дѣлать съ собой, Митрошка въ какомъ-то ужасѣ, въ какомъ-то оцѣпенѣніи остановился въ сѣняхъ избы. На дворѣ завывалъ вѣтеръ и хлестали дождь и снѣгъ. Подъ навѣсомъ, съ фонарями, возились возчики, старавшіеся укрыть отъ непогоды истомленныхъ, озябшихъ лошадокъ. Митрошка слышалъ разговоръ возчиковъ какъ въ полуснѣ.

— Ну, батя, тутъ голодуха-то почище будетъ, чѣмъ наша!

— Дѣти, вишь ты, мрутъ сильно...

— Прибираетъ Господь... Охъ, Владычица Милосердная!

— Сунулся въ сусѣднюю избу, да поскорѣе и вонъ, — тамъ покойникъ!

— Ну-у!?

— Страшно, робята!

— Страшно!

А Митрошка все стоялъ въ темныхъ сѣняхъ и все думалъ.

А изъ избы снова слышался стонъ больной дѣвки и надрывающія душу просьбы голоднаго мальчугана. „Дѣдушка, хлѣ-ѣ-ѣ бца!“

Митрошка бросился изъ сѣней на улицу, а оттуда, шлепая по грязи и снѣгу, къ сосѣдней избѣ, гдѣ въ окнѣ едва свѣтился слабый мерцающій огонекъ, добѣжалъ до этого окна, приложился къ нему глазами, и силился разсмотрѣть, что происходитъ за этимъ стекломъ, въ полутемной избѣ. Митрошка видѣлъ какія то темныя фигуры; изъ нихъ иныя сидѣли, иныя стояли; видѣлъ чье-то тѣло, вытянувшееся на скамьѣ, покрытое зипуномъ, блѣдное, неподвижное, странно освѣщенное восковой свѣчей, горящею у него въ головахъ. „Покойникъ“ — подумалъ Митрошка, и по слякоти и грязи бросился бѣжать отъ окна скорѣе назадъ. Его высокіе смазные сапоги грузно шлепали по грязи. На лбу у Митрошки выступилъ холодный потъ. Снѣгъ въ перемежку съ дождемъ сыпалъ съ неба все сильнѣе и сильнѣе. Завыванья вѣтра казались еще тоскливѣе. Митрошка метнулся-было къ сосѣдней избѣ, но вдругъ остановился и снялъ шапку. Куда же ему идти? И что, въ сущности, случилось? А если въ той избѣ, куда онъ придетъ, будетъ съ нимъ то же, что и здѣсь? А что если будетъ и еще что-нибудь похуже? Вѣдь голодные-то вездѣ. Да и больные вездѣ. И всѣ мучаются. И всѣмъ имъ нужно хлѣба. И Митрошкѣ стало еще страшнѣй. Картина всеобщаго разоренія, безысходной нужды и медленнаго и безсмысленнаго преждевременнаго умиранія вдругъ развернулась въ душѣ Митрошки во всей своей широтѣ. А отчего бы и вправду не отсыпать мѣрку-другую отъ хозяйскаго добра на голодающихъ?

Вѣдь и вправду хозяинъ отъ этого не обѣднѣетъ... А коли одному мѣрку, да другому мѣрку, тогда что же хозяину останется? Митрошкѣ вдругъ пришли на память только что слышанныя слова старика. „Съ одного мѣрку, съ другого мѣрку,—вотъ и составился Мухобоевскій обозъ"... Но что съ кого взято, то тому и должно быть отдано, возвращено. Отъ рабочихъ рукъ да къ тѣмъ же рабочимъ рукамъ,—только и всего... „Мнѣ что-же дѣлать?" прошепталъ онъ. „А тѣмъ-то дѣлать что? А съ тѣми-то что будетъ, если онъ возьметъ да и проѣдетъ со всѣмъ своимъ обозомъ куда-нибудь мимо"? Сѣсть бы вотъ такъ на лошадь, да и проѣхать мимо: вѣдь и вправду у тѣхъ положеніе свое, а у него свое... И Митрошкѣ сдѣлалось еще страшнѣй! Страшно за себя, за свою душу, и за эту голодную, обнищавшую деревушку, за этихъ безконечно жалкихъ ея обитателей-страдальцевъ, на которыхъ съ разныхъ сторонъ надвигается, вмѣстѣ съ безысходной нуждой, гибель, разореніе, смерть... На одно мгновеніе всплылъ образъ Мухобоева, промелькнулъ и исчезъ. Его словно захлестнули какія-то волны человѣческаго горя, слезъ и нужды. И предъ лицомъ безбрежнаго моря человѣческихъ страданій, ненужныхъ, несправедливыхъ, безсмысленныхъ, Митрошка сразу и словно даже сознательно забылъ, что есть гдѣ-то на свѣтѣ какой-то купецъ-хлѣботорговецъ Мухобоевъ. Митрошка забылъ и о себѣ самомъ. Безконечно ничтожнымъ, безсмысленно жалкимъ, ненужнымъ, гадкимъ показался Митрошкѣ этотъ образъ Мухобоева, со всѣми его домами, капиталами, складами, обозами, конторами и всякой другой „священной собственностью". Образъ мелькнулъ и исчезъ. Онъ словно испарился, растворился въ волнахъ. Митрошка уже не помнилъ,—онъ-то самъ кто такой,—приказчикъ онъ или не приказчикъ? Бѣднякъ или не бѣднякъ? Наемникъ или не наемникъ? Митрошкѣ было ясно только одно: онъ—человѣкъ, и вокругъ него тоже люди. И вдругъ что-то шевельнулось въ душѣ Митрошки, и сердце екнуло. На него словно что-то нашло. Онъ совсѣмъ пересталъ замѣчать самого себя. Что-то могучее, властное охватило его душу, и это что-то оказалось сильнѣе его самого. Оно имъ овладѣло, и метнуло туда, куда человѣкъ, незадолго передъ тѣмъ, даже и не думалъ и не гадалъ идти. Митрошка вдругъ сдѣлался вродѣ какъ игрушкою въ чьихъ-то крѣпкихъ и могучихъ, но свѣтлыхъ и даже святыхъ рукахъ. Онъ почувствовалъ себя жертвой,—жертвой чему-то высокому и святому, передъ чѣмъ и онъ, и все—сущіе пустяки. И, странное дѣло, онъ былъ даже радъ этому чувству своего ничтожества. И такому чувству онъ не противился,—онъ самъ словно стремился именно туда, куда оно приказывало ему идти. Душу Митрошки охватило жертвенное состояніе,—то самое, которое чувствуетъ человѣкъ и всякое другое живое существо, готовое идти на закланіе, на смерть. Когда это состоя-

ніе охватываетъ человѣческую душу, человѣкъ уже не господинъ самому себѣ. Что-то великое, свѣтлое, нужное тянетъ и тянетъ его куда-то и отъ него жертвъ требуетъ; человѣкъ чувствуетъ всѣмъ нутромъ, что жертва нужна, и именно нужна теперь, неотложно, нераздѣльно и безъ разсужденій. И человѣкъ идетъ въ жертву безъ оговорокъ, да иной разъ и безъ яснаго сознанія того, что онъ дѣлаетъ и что изъ этого выйдетъ, и чего бы это ни стоило: нужно, такъ нужно—вотъ я весь тутъ. Забилось сердце все сильнѣе, все больнѣе и больнѣе—и особое, неизвѣданное ощущеніе внутренней боли и внутренняго сладостнаго трепета овладѣло всѣмъ существомъ Митрошки. И совсѣмъ отодвинулся отъ него еще куда-то дальше городъ Н. съ его хлѣбными амбарами и богатыми хлѣботорговцами, и вокзалъ желѣзной дороги съ нагруженными хлѣбомъ вагонами, и купецъ Мухобоевъ, съ его воловьими глазами, отвисшими щеками и пухлымъ брюхомъ. Митрошка встрепенулся, провелъ холодною рукой по вспотѣвшему лбу, снова надѣлъ и снова снялъ шапку, потеръ затылокъ, зачѣмъ-то перекрестился, тряхнулъ кудрями и направился назадъ къ Максимовой избѣ, прямо къ возчикамъ. Его сильно обдало холоднымъ вѣтромъ, который вихремъ крутилъ и дождь и снѣгъ.

— Эй, Иванъ! — крикнулъ Митрошка возчику. — Все ли устроили-то?

— Все, все, кажись, какъ слѣдоваетъ.

— Гдѣ твоя подвода-то?

— Вотъ эта самая!

— Подь-ка сюда,—помоги немного!

Митрошка подошелъ къ телѣгѣ и началъ вызволять изъ-подъ брезента, рогожъ и веревокъ мѣшокъ съ мукою. Руки его дрожали отъ волненія и леденѣли отъ холода,—онъ этого не замѣчалъ. Онъ употреблялъ всѣ усилія, чтобы развязать и вытащить съ воза мѣшокъ съ мукою.

— Иванъ,—говорилъ онъ,—помоги же, чѣмъ такъ-то глаза пялить!

— Это вы что же затѣяли, Митрофанъ Степановичъ?—возразилъ ему мухобоевскій „довѣренный" Иванъ, который смотрѣлъ на „вѣрнаго слугу" Митрошку и не вѣрилъ своимъ глазамъ.— Это вамъ на что-же мѣшокъ-то понадобился?

Митрошка ничего не отвѣчалъ ему и продолжалъ дѣлать свое дѣло. Два другихъ возчика стояли тутъ же, молчали и какъ будто бы ничему не удивлялись. Они лишь искоса поглядывали на Митрошку и, казалось, ловили глазами его приказанія.

— Это что же такое будетъ? — спросилъ снова Иванъ. — Кажись, такъ-то неладно...

— Ну чего тамъ! вмѣшался другой возчикъ. Не обѣднѣетъ Мухобоевъ, коли отъ него мѣрку-другую на голодныхъ возьмутъ...

Митрошка и на этотъ разъ не сказалъ ни слова. Съ помощью двухъ другихъ возчиковъ онъ высвободилъ, наконецъ, мѣшокъ и велѣлъ тому же Ивану взвалить его на спину. Иванъ повиновался очень неохотно.

— Право что задумали? Еще тутъ съ вами въ отвѣтѣ будешь!

Митрошка, казалось, даже и не слышалъ этихъ словъ, да они, пожалуй, и сказаны-то были возчиками больше для приличія, потому что не возчики отвѣчали за цѣлость хлѣба, а то самое лицо, которому былъ сданъ хлѣбъ самимъ хозяиномъ, то есть Митрошка. Другіе два возчика молчали, какъ и раньше. Одинъ сталъ свѣтить фонаремъ Ивану. Нагнувшись, натужившись, Иванъ потащилъ пятипудовый куль хлѣба въ избу Максима.

Въ это время старикъ уже лежалъ на печи, и въ избѣ царствовала по прежиему угрюмая тишина, прерываемая лишь возгласами голоднаго мальчика и стонами и оханьемъ больной.

— Получайте, что ли,—сказалъ Иванъ и грузно опустилъ тяжелый куль на полъ.

Больная дѣвка, разбуженная стукомъ, быстро присѣла на своей лавкѣ. На печи зашевелились. Сначала сползъ оттуда старикъ, потомъ и старуха. Старуха бросилась сначала къ мѣшку съ мукой, посмотрѣла, ощупала, зачѣмъ-то схватила его въ обхватъ, потомъ бросилась къ Митрошкѣ и бухнула ему прямо въ ноги.

А Митрошка въ это время стоялъ, прислонившись къ косяку дверей, блѣдный, дрожащій, покрытый холоднымъ потомъ. У него зубъ не попадалъ на зубъ, глаза метались изъ стороны въ сторону. Онъ,повидимому, даже не совсѣмъ ясно представлялъ себѣ, что собственно происходитъ съ нимъ и вокругъ него. Все какъ-то вышло само собой, безъ разсужденія и безъ приготовленія, вышло нѣчто такое, чего и не могло не быть. Старый дѣдъ Максимъ опустился на скамейку, склонилъ къ себѣ на грудь сѣдую, лохматую голову, да такъ и замеръ. Онъ что-то бормоталъ себѣ подъ носъ: бороденка его то и дѣло тряслась. Но что онъ говорилъ—совершенно не было слышно.

Возчикъ Иванъ стоялъ хмурый, какъ будто бы даже злой, и вдругъ, неизвѣстно почему, принялся истово креститься на висѣвшій въ углу образъ Троеручицы.

Вся эта сцена, какъ оказалось впослѣдствіи, во всѣхъ деталяхъ выяснилась изъ свидѣтельскихъ показаній на судѣ, и главное—изъ чистосердечнаго, безхитростнаго разсказа самого Митрошки. Онъ все выложилъ передъ судьями, все свое душевное состояніе, которое онъ пережилъ въ эту роковую для него ночь. Онъ ясно,

отчетливо помнилъ, какъ „началось дѣло". Помнилъ и то, что, разъ начавъ, онъ ужъ ни какъ не могъ остановиться. Вѣдь такъ или иначе, прежній принципъ, лежащій въ основѣ его жизни и его отношеній къ людямъ, былъ нарушенъ. Не нарушить его— было нельзя предъ лицомъ всей жизни, всѣхъ страданій человѣческихъ. А далеко ли предѣлъ этому нарушенію? Митрошкѣ ясно было одно, что не въ предѣлѣ этомъ самая суть. Вмѣсто прежняго принципа всталъ во всемъ его величіи какой-то другой,— новый и властный, и свѣтлый, и озаренный лучами человѣческаго сознанія, а главное—счастья человѣческаго...

Такъ или иначе, не прошло и десяти минутъ, какъ Максимова изба была уже окружена большою толпой голоднаго люда, до котораго быстро дошла вѣсть, что въ „Максимовой избѣ хлѣбъ раздавать начали". Вѣроятно, это извѣстіе сначала пошло отъ возчика къ возчику, а отъ нихъ къ деревенскимъ, и тѣ посыпали толпою къ избѣ дѣда Максима. Митрошка самъ не помнилъ и не понималъ, какъ изъ этой самой избы онъ вышелъ въ сѣни, а оттуда подъ дырявый навѣсъ, какъ онъ очутился у той самой подводы, съ которой собственноручно сволокъ первый куль съ мукою, какъ на его глазахъ съ этой же подводы были сняты, при свѣтѣ фонарей, и брезенты и рогожи, и какъ за первымъ кулемъ былъ снятъ съ воза и второй, и третій, и такъ дальше. И все это дѣлалось какъ будто по приказанію его самого, то есть Митрошки. Что онъ говорилъ, что онъ приказывалъ,—онъ самъ не понималъ и не сознавалъ. Дѣлалось то, что только и нужно было дѣлать, и чего просила душа. Въ душѣ что-то проснулось, загорѣлось и потребовало отъ человѣка полнаго, безпрекословнаго повиновенія себѣ. Вокругъ стояли какія-то бабы, мужики, старые и малые, одѣтые въ какія-то лохмотья, въ платкахъ, шапкахъ и безъ шапокъ. Въ полутемнотѣ, при мерцающемъ свѣтѣ фонарей, то и дѣло задуваемыхъ вѣтромъ, виднѣлись чьи-то болѣзненныя, истомленныя лица, не то черныя, не то желтыя, иныя похожія на мертвецовъ, иныя въ слезахъ, съ вытаращенными глазами, иныя угрюмыя; тянулись чьи-то костлявыя руки, кто-то просилъ и молилъ, кто-то завывалъ, раздавались чьи-то причитанія и благословенія... Кто-то громко воскликнулъ: „Стой, братцы, лишняго не брать, дѣли по совѣсти, дѣло божье!" „Вѣрно! Вѣрно! ровняй по совѣсти!" вторилъ хоръ голосовъ. А кули съ подводъ уносились одинъ за другимъ, сначала съ одной, а тамъ и съ другой, и третьей подводы. Со двора Максима Митрошка перешелъ на другой какой-то дворъ, а оттуда на третій, гдѣ повторились тѣ же сцены. Неизвѣстно, въ которомъ часу, но несомнѣнно очень поздно, Митрошка, истомленный, измученный физически и нравственно, очутился въ душной избѣ, въ той же избѣ Максима, откуда его незадолго передъ тѣмъ выгнали, и растянулся на широ-

кой лавкѣ, вдоль стѣны. Кто-то подложилъ ему подъ голову какой-то вонючій полушубокъ, кто-то помогалъ ему снимать теплое ватное пальто. Митрошка, какъ во снѣ, видѣлъ огонекъ, весело пылающій въ широкой русской печи и освѣщающій избу ласково и привѣтно; на огнѣ стоялъ глиняный горшокъ, гдѣ старуха варила какую-то мучную похлебку, а восьмилѣтній Мишутка въ пріятномъ ожиданіи теплой и здоровой ѣды, къ которой не подмѣшано ни лебеды, ни иной приправы, сидѣлъ у самой печки, поджавъ по-турецки ноги, и во весь ротъ улыбался. Только больная Марфутка по-прежнему лежала въ жару, безпомощно спустивъ со скамьи бѣлую, полупрозрачную руку.

Не помнилъ Митрошка, какъ и прошла эта ужасная ночь, самая знаменательная въ его жизни; не сознавалъ онъ, то ли онъ спалъ, или не спалъ, и что съ нимъ было. Но лишь только забрезжилъ свѣтъ начинающейся зари, лишь только забѣлѣлъ восточный край неба, какъ вокругъ избы Максима собралась уже новая толпа голодныхъ и полуголодныхъ людей. Тутъ были некутскіе, тутъ были и изъ Волчьей Выси, и мироновскіе, которые еще не получили хлѣба во вчерашней ночной толчеѣ. И передъ этой толпой, или, вѣрнѣе, среди этой толпы, повторилась та же исторія, какъ и вчера, только въ болѣе крупныхъ размѣрахъ. Одна подвода быстро пустѣла за другою, при соблюденіи какихъ-то правилъ дѣлежа „по справедливости", „по-божьи" и „по совѣсти"; за всѣмъ за этимъ, впрочемъ, слѣдилъ не Митрошка а та самая толпа, каторая приходила, брала и уходила, унося за собою ѣду, свалившуюся съ неба.

И въ концѣ концовъ всѣ подводы опустѣли. Было еще далеко до полдня, когда дѣло было закончено вполнѣ; мужикамъ-возчикамъ не оставалось ничего дѣлать, какъ ворочаться назадъ въ городъ С., а Митрошкѣ—нести повинную самому хозяину Мухобоеву.

— Плохое ты дѣло устроилъ!—говорилъ тотъ же возчикъ Иванъ Митрошкѣ, который сидѣлъ на заваленкѣ Максимовой избы и думалъ не очень-то веселую думу.—Чай по головкѣ-то тебя за это не погладятъ! Да какъ бы и намъ чего не было!

На Митрошку въ это время жалко было смотрѣть—такъ онъ былъ блѣденъ и казался такимъ измученнымъ.

— Да вамъ-то что? — отвѣчалъ на эти слова Митрошка. Мнѣ сдаденъ былъ весь обозъ—я за его цѣлость и отвѣчаю.

— Такъ-то такъ, а все же неловко выходитъ.

— По-Божьи все сдѣлано, что ни на есть по чистои совѣсти...

— Знаю, какое дѣло на себя взялъ, на какое дѣло иду!

— То-то, знаешь ли?

— Моя вина,—я и отвѣчаю.

— Передъ Богомъ-то отвѣчать не будешь!—сказалъ какой-то старикъ, смотрѣвшій на эту сцену.

— Оно, пожалуй, что и такъ... Это вѣрно!—послышалось изъ толпы возчиковъ, окружавшихъ Митрошку.

— Такъ-то такъ, — не унимался Иванъ. —А хозяинъ что скажетъ? А начальство? А попъ?

Митрошка взглянулъ-было на говорившаго, двѣ, три секунды подумалъ, затѣмъ махнулъ рукой и сказалъ возчикамъ:

— Поѣдемъ-ка, братцы, обратно! Скорѣе отвѣтъ держать!

Оказалось, что нѣкоторые возчики уже уѣхали. Не прошло и четверти часа, какъ изъ Мироновки покатилъ въ городъ С. на пустой телѣгѣ и самъ Митрошка.

Его провожала большая толпа деревенскихъ, которые кланялись, посылали благословенія, махали руками. Въ толпѣ этой было бабъ очень немного. Бабы суетились каждая въ своей избѣ, приготовляя ѣду истощавшему, проголодавшемуся народу.

* * *

Когда Митрошка вошелъ въ корридоръ той гостинницы, гдѣ остановился Мухобоевъ, онъ былъ блѣденъ, какъ полотно. Но онъ былъ готовъ на все, и ни на минуту въ немъ не шевельнулось сомнѣнія, такъ ли онъ поступаетъ, какъ надо. Жертвенное состояніе все глубже и глубже охватывало его душу. Тамъ въ Мироновкѣ, Некуткѣ, Волчьей Выси осталось столько народа, котораго онъ, какъ ни-какъ, хоть на время, все же избавилъ отъ страшной бѣды—голода. Тамъ остались дѣти, которымъ онъ не далъ умереть, потому что помогъ во время. Тамъ эта Марѳутка съ такими большими глазами и хорошимъ лицомъ... И она не умретъ, поправится... А тутъ Мухобоевъ, полиція, судъ, тюрьма... Митрошка всю дорогу думалъ объ этомъ и приготовлялся.

До Мухобоева уже дошли вѣсти о Митрошкиномъ преступленіи. Купецъ, какъ бѣшеный, метался по комнатѣ и буквально не зналъ, что дѣлать отъ ярости.

— Ну подожди, окаянная душа! Я тебя слопаю, я тебя въ Сибирь упеку!

— Это ты что же, разбойникъ?—зычно воскликнулъ Акимъ Федоровичъ, когда на порогѣ его номера показался Митрошка.— Это ты что же надѣлалъ? Тюрьмы попробовать захотѣлъ? Ты разорить меня въ конецъ выдумалъ?

Митрошка молчалъ и стоялъ неподвижно, смотря прямо въ глаза хозяину.

Мухобоевъ остановился передъ нимъ, опустивъ пухлыя, волосистыя руки въ карманы широченныхъ брюкъ.

— Ты, разбойникъ, забылъ церковь-то Христову, забылъ, что

на небѣ-то Богъ есть! Поди-ка къ попу, каналья, онъ тебя Закону Божію выучитъ! Онъ тебя за такія дѣла похвалитъ, анаѳема-проклятъ!...

Слова такъ и вылетали цѣлыми партіями изъ пухлыхъ устъ Мухобоева. Но, странное дѣло, они не пугали Митрошки. Онъ по прежнему смотрѣлъ хозяину прямо въ глаза. Онъ чувствовалъ, что м о ж е т ъ смотрѣть въ глаза не только хозяину, но в с ѣ м ъ людямъ, всѣмъ, всѣмъ, кто бы они тамъ ни были. Онъ теперь и дѣду Максиму можетъ смотрѣть въ глаза... А вотъ теперь ему самому не всякій сумѣетъ въ глаза заглянуть,—даже этотъ самый хозяинъ, Мухобоевъ...

— Сицилистъ! Разбойникъ! Въ каторгу такихъ, какъ ты, ссылать мало! Не противъ меня идешь, болванъ этакій, а противъ самого государя!... Отвѣчай! Чего молчишь-то?

Митрошка молчалъ, а его пристальный и спокойный взглядъ рѣшительно выводилъ изъ себя Мухобоева.

— Отвѣчай, плутъ, разбойникъ, воръ этакій! Отвѣчай, гадина!

Цѣлый потокъ ругательствъ обрушился на Митрошку. Но тотъ молчалъ по прежнему.

— Я изъ-за тебя, такого-то сына, хлѣбъ потерялъ, выгоду потерялъ, неустойку платить придется за вагоны, да возчикамъ. Ты меня, подлецъ, разорилъ!

— Дѣлайте, что хотите,—пробормоталъ, наконецъ, Митрошка.

Мухобоевъ метнулся разъ-другой по комнатѣ, бросился къ двери, крикнулъ полового и велѣлъ тому бѣжать за полиціей, а самъ внезапно остановился передъ Митрошкой, поднялъ лѣвую руку и съ какимъ-то скрежетомъ зубовнымъ запустилъ ее въ шевелюру Митрошки, а правою принялся тузить его по чему попало...

Не прошло и получаса, какъ въ гостинницу явилась полиція и принялась составлять протоколъ о случившемся. Призвали возчиковъ, записали ихъ имена, собрали всякія показанія. Была написана Мухобоевымъ и подана куда слѣдуетъ формальная жалоба. Судебное дѣло началось по всѣмъ правиламъ. Какъ водится, Митрошку арестовали и сначала засадили въ уѣздную кутузку, чтобы при первой возможности перевести въ Н-скую губернскую тюрьму. Мухобоевъ рѣшился дѣйствовать безъ послабленія, чтобы и другимъ не повадно было. Такая исторія обрушивалась на его карманъ еще въ первый разъ. Правда, случалось, что иной вѣрный слуга, приказчикъ, нѣтъ-нѣтъ, да и проворуется. Но то ужъ дѣло извѣстное, то—плутъ, и съ нимъ расправа коротка. А Митрошкино дѣло—какъ будто бы дѣло пострашнѣе и посложнѣе. Мухобоевъ чувствовалъ, что въ это дѣло замѣшалась какая-то такая сила, передъ которой воровато сть и плутовство не стоятъ и гроша мѣднаго. У Мухобоева

несомнѣнно было отличное чутье опытнаго и очень ловкаго человѣка. Онъ не остановился передъ затратами и нанялъ особаго адвоката спеціально для „устройства" Митрошкина дѣла.

Это дѣло получило вскорѣ нѣкоторую огласку, разумѣется, не въ мѣстной, а въ столичной печати.

* * *

Прошла недѣля. Митрошка все это время просидѣлъ въ С-ской кутузкѣ. О его прегрѣшеніи разнеслись вѣсти по всему С-скому уѣзду и даже по далекимъ деревнямъ. Полиція пробовала даже ѣздить въ Мироновку, Некутку и въ Волчью Высь и отбирать тамъ отъ мужиковъ хлѣбъ, розданный Митрошкой. Разумѣется, изъ этого ничего не вышло. Пришлось лишь констатировать фактъ: хлѣбъ былъ розданъ и въ свое время съѣденъ. Въ нѣкоторыхъ избахъ его даже искали и не нашли, хотя разныхъ свидѣтельскихъ показаній было собрано полиціей и слѣдователемъ не мало. Въ число свидѣтелей попали многіе деревенскіе, въ томъ числѣ дѣдъ Максимъ съ женою. Мухобоевъ хотѣлъ было привлечь и мужиковъ въ качествѣ обвиняемыхъ, но это хотѣніе ни къ чему не привело. По всѣмъ даннымъ было ясно, что виноватъ былъ лишь тотъ, кто раздавалъ, а не тѣ, кто брали; большинство крестьянъ даже не знало, кто такой Митрошка и чей у него хлѣбъ. Иные думали, что это „царскій паекъ", иные—что это земская ссуда, иные—что хлѣбъ присланъ особымъ благотворителемъ или „американскими жителями". Въ концѣ концовъ вышло, что всѣ сорокъ подводъ хлѣба пропали безслѣдно, а виновнымъ оказался одинъ Митрошка. Мухобоеву же пришлось-таки платить и за хлѣбъ, и возчикамъ, и за простой вагоновъ. Только неустойку земскую онъ не заплатилъ, потому что какъ-то вывернулся,—добылъ нужное количество хлѣба гдѣ-то въ другомъ мѣстѣ и во-время послалъ его по назначенію.

Слѣдуетъ замѣтить при этомъ, что земство, которому предназначался хлѣбъ, отъ всей этой исторіи лишь выгадало. Та рожь, въ видѣ зерна и муки, какую раздавалъ мужикамъ Митрошка, была куда хуже, чѣмъ эта.

Мухобоевъ не получилъ отъ своего гешефтмахерства и той выгоды, какую уже считалъ какъ бы у себя въ карманѣ.

* * *

А пока происходили всѣ эти хлопоты и пока шло слѣдствіе, Митрошка сидѣлъ да сидѣлъ въ С—ской кутузкѣ. День шелъ

за днемъ, недѣля за недѣлей. Уже нѣсколько разъ доходили до Мироновки слухи, что вотъ въ такой-то день поведутъ Митрошку въ Н—скую тюрьму. Уже нѣсколько разъ на Н—ской дорогѣ собиралась толпа мужиковъ и бабъ, желавшихъ еще разокъ взглянуть на Митрошку. Но тотъ все не ѣхалъ. Погода стала лучше. Ударилъ небольшой морозъ; грязь и слякость исчезли. Выпалъ хорошій снѣжокъ. На пригоркѣ, версты за полторы отъ Мироновки, то и дѣло дежурилъ кто-нибудь изъ ребятишекъ и смотрѣлъ, не гонятъ ли Митрошку.

А у Митрошки, пока онъ сидѣлъ въ тюрьмѣ, „жертвенное состояніе", какъ говорится, все шло въ гору и въ гору. Правда, тяжело было на душѣ, очень тяжело: еще такъ недавно Митрошка то и дѣло строилъ воздушные замки, рисовалъ великолѣпныя картины хлѣботорговческаго купецкаго благополучія. И такъ это было складно и хорошо,—жизнь шла словно по рельсамъ, и мать старуха была очень довольна,—и ей жилось спокойнѣе. И вдругъ все это... Но что же подѣлаешь? Развѣ иначе могло бы быть?

Митрошка шагалъ по Н—ской дорогѣ и переживалъ тяжелое состояніе. На немъ былъ арестантскій тулупъ, арестантская шапка. Передъ нимъ и позади него шли солдаты съ ружьями... Направо и налѣво отъ дороги бѣлая снѣжная пелена, которая покрыла, спрятала отъ глазъ подальше истощенную, истомленную землю-кормилицу. Вотъ вдали ужъ виднѣется пригорокъ, изъ-за котораго сейчасъ откроется деревня Мироновка. Вотъ чернѣютъ деревни Некутка и Волчья Высь. На пригоркѣ стоятъ какіе-то люди. Завидѣвъ Митрошку, эти люди бросились куда-то бѣжать. Скоро открылась и деревня Мироновка. При дневномъ свѣтѣ она казалась тоже какой-то унылой и заброшенной... Картина разоренія была полная. Но лишь только Митрошка со своими провожатыми вступилъ въ деревню, какъ изъ избъ и переулковъ на дорогу высыпала цѣлая толпа народа,—мужики, бабы, дѣти.

Съ пригорка, отъ деревни Некутки и Волчьей Выси тоже бѣжали толпы народа. Митрошка смотрѣлъ на это зрѣлище, и ему было невѣроятно тяжело и стыдно. Онъ впервые почувствовалъ, дѣйствительно почувствовалъ, какой на немъ нарядъ. Деревенское любопытство казалось ему такимъ обиднымъ, да и такимъ жестокимъ. Онъ хотѣлъ было остановиться и куда-нибудь свернуть, спрятаться, но солдаты съ машинообразной правильностью, съ ружьями на плечо, шагали впередъ и впередъ, а съ ними шагалъ и Митрошка.

Большая толпа собралась у самаго входа въ деревню, впереди всѣхъ ребятишки, тамъ бабы въ тулупахъ, мужики. Митрошка, проведшій въ кутузкѣ нѣсколько недѣль, какъ-то машинально разсматривалъ эту толпу... Рвань-то какая! Бѣдность-то

вопіющая! Вонъ у той дѣвушки голова укутана посконной тряпкой, выбранной изъ старой юбки матери! А этотъ мальчуганъ, ростомъ въ вершокъ, напялилъ на себя братнинъ полушубокъ съ длиннѣйшими рукавами. А вонъ старушка... А вонъ и дѣдъ Максимъ,—да, онъ самый. Онъ безъ шапки и держитъ что-то въ рукахъ. И у другихъ въ рукахъ что-то... Что это! Митрошка присматривался къ этой толпѣ и въ то же время чувствовалъ, что вотъ-вотъ его сердце замираетъ и замираетъ. И это какое-то странное замираніе. На его глаза спускается словно туманъ. Нѣтъ, это не туманъ, а слезы, горячія, жгучія и радостныя слезы. Сквозь нихъ онъ видитъ, какъ эта толпа людей, словно одинъ человѣкъ, лишь только онъ поровнялся съ нею, опускается на колѣни. Сквозь слезы онъ видитъ, какъ мужики снимаютъ шапки, иные крестятся. Дѣдъ Максимъ истово творитъ крестное знаменіе. Крестятся бабы, посылаютъ благословенія, говорятъ всѣ заразъ, а видно отъ души, отъ самаго сердца...

У дѣда Максима въ рукахъ икона, та самая Мать-Троеручица, которую онъ видѣлъ тогда въ избѣ. И у другихъ мужиковъ въ рукахъ иконы, у многихъ даже. А рядомъ съ Максимомъ—укутанная Марѳутка, блѣдная, худая, едва держится на колѣняхъ, а стоитъ... И глаза Митрошки все больше и больше наполнялись слезами. Слезы горячими каплями текли по его щекамъ. Какъ будто бы прослезились и солдаты, по крайней мѣрѣ тотъ, который шагалъ впереди. И у дѣда Максима слезы, и у другихъ.

Митрошка смотритъ впередъ на дорогу, а тамъ, далеко-далеко впереди, еще чернѣютъ группы деревенскаго люда. Это некутскіе и волчевыскіе,—и они, при приближеніи Митрошки, опускаются на колѣни, крестятся, держатъ иконы. Митрошка машинально снялъ шапку съ своей головы и тоже началъ креститься. Говорить онъ не могъ, ни одно слово не слетало съ его языка, но онъ чувствовалъ, что душа его въ это время молится, молится безъ словъ, безъ молитвы, молится горячо и сильно, и это моленіе проникаетъ все его существо, и его душа горитъ и пылаетъ, и въ этомъ горѣніи чувствуется присутствіе чего-то высокаго, чего-то такого великаго, передъ чѣмъ меркнутъ и блѣднѣютъ дѣла и дѣлишки, мелочи и мелочишки человѣческія...

* * *

Черезъ день Митрошка благополучно прибылъ въ Н—скую губернскую тюрьму, гдѣ впервые ему было дано свиданіе съ матерью. До этого времени это ее къ нему не пускали, не смотря на всѣ хлопоты и старанія. Свиданіе происходило, какъ водится, въ помѣщеніи очень неуютномъ. Авдотья Ивановна только что приготовилась излить на своего блуднаго сына цѣлый потокъ

горе-горькихъ упрековъ и жалобъ. И представьте себѣ удивленіе старушки. Не успѣла она еще рта открыть, какъ этотъ самый Митрошка, этотъ самый ея блудный сынъ, бросился ей на шею и, плача совсѣмъ ужъ не горькими слезами, воскликнулъ такимъ славнымъ, такимъ задушевнымъ голосомъ:

— Матушка! Матушка, мнѣ такъ хорошо теперь, такъ хорошо, какъ никогда не было!..

Старушка, не понимавшая истиннаго значенія этихъ словъ, такъ и осѣла, такъ и притихла, и молча принялась цѣловать своего сына. А слезы такъ и текли по ея пожелтѣвшему, морщинистому лицу, текли и падали на арестантское платье сына.

Разумѣется, Митрошку судили и осудили. Судили судомъ присяжныхъ, которые и признали его виновнымъ и не заслуживающимъ снисхожденія. Говорятъ, на судъ было произведено давленіе. Митрошкино преступленіе разволновало весь хлѣботорговческій міръ, а по городу, и по губерніи пошли разговоры, что Митрошку нужно „наказать примѣрно". Нечего и говорить, Мухобоевъ усердствовалъ во всю и пустилъ въ ходъ всѣ свои связи. Дѣло окончилось къ его большому удовольствію. Составъ присяжныхъ подобрался, по новому закону, соотвѣтственный,—были въ ихъ числѣ и хлѣботорговцы, и ихъ родственники, и ихъ должники. Другихъ, „какъ слѣдуетъ", тоже „по закону", то прокуроръ отвелъ, то ловкій представитель Мухобоева. Остались большей частью люди, „понимающіе суть дѣла". Защитникомъ Митрошки выступилъ какой-то косноязычный, неопытный адвокатикъ „по назначенію", только что соскочившій, съ грѣхомъ пополамъ, со школьной скамьи. Онъ больше взывалъ къ добрымъ чувствамъ судей, вмѣсто того, чтобы доказывать, что въ дѣяніи Митрошки нѣтъ даже и состава преступленія, такъ какъ ни единаго зерна самъ Митрошка себѣ не присвоилъ и выгодъ отъ своего дѣянія не получилъ, и что противъ него слѣдуетъ вчинить искъ гражданскій, а не уголовный. Но Митрошка совсѣмъ опустился и даже не пожелалъ, чтобы его дѣло пошло по инстанціямъ. Онъ ко всему приготовился и махнулъ на себя рукой. Онъ ясно и отчетливо, всѣмъ своимъ нутромъ понималъ, что есть на свѣтѣ такія дѣла, за которыя пострадать не только можно, но и должно...

Судъ присудилъ Митрошкѣ арестантскія роты, кажется, на годъ или около того, которыя, въ видахъ его молодости, были замѣнены тюрьмою.

И пошелъ Митрошка въ тюрьму. И всѣмъ стало ясно, что митрошкинскія дѣла дѣлать по голодному времени дѣйствительно неповадно.

Во всякомъ случаѣ, Акимъ Федоровичъ Мухобоевъ былъ очень доволенъ исходомъ судебнаго процесса.

— Слава тебѣ, Господи, говорилъ онъ по этому поводу исправнику,—Россійское-то государство, пока что, управляется еще вѣдь на точномъ основаніи законовъ, и частная собственность въ немъ священна и неприкосновенна!.. Нарушать этого никто, никто не моги... Такъ-то!..

II.

Взыскующіе града.

изъ наблюденій надъ фабрично-заводской интеллигенціей.

Вотъ уже скоро шесть часовъ, какъ я сижу въ этомъ душномъ и неуклюжемъ ящикѣ, который зовется вагономъ третьяго класса Варшавской желѣзной дороги, шесть долгихъ и мучительно однообразныхъ часовъ, которыхъ не скрашиваютъ и пестрыя картины, мелькающія, словно въ калейдоскопѣ, по обѣимъ сторонамъ въ окнахъ вагона. Какъ извѣстно, для петербуржца, очумѣвшаго отъ суеты въ теченіе зимнихъ девяти мѣсяцевъ, нѣтъ сильнѣе наказанія, какъ пребываніе глазъ на глазъ съ самимъ собою. Въ такія мгновенія всегда, откуда-то изъ глубины души, всплываетъ то какая-либо старая, быть можетъ, полузабытая въ суетѣ, но еще острая боль—отзвукъ пережитаго и перечувствованнаго, щемящее, мучительное ощущеніе неудовлетворенности, недовольства прошлымъ и настоящимъ, недовольства окружающимъ, и въ особенности недовольства самимъ собою. Въ минуту такого настроенія всѣ завѣтные планы кажутся какъ-то неисполнимыми, а самыя задушевныя стремленія такими далекими отъ цѣли Обрывки мыслей, разрозненные образы далеко не одинаковой яркости быстро мелькаютъ въ душѣ, сочетаясь въ самыхъ разнообразныхъ ассоціаціахъ,—мелькаютъ вотъ какъ эти картины, видимыя изъ окна несущагося вагона. Близкіе предметы,—кусты, деревья, камни, сторожевыя будки, стремительно несутся назадъ; вотъ эта береза, такая раскидистая, стройная, съ вѣтвями изогнутыми столь своеобразно, отодвигаясь, вдругъ словно съеживается, сжимается и вдали теряетъ свою индивидуальность, сливается съ безконечно зеленой полосой на горизонтѣ. А тамъ, на этомъ горизонтѣ, тусклые образы.

подернутые дымкой тумана, какъ будто несутся впередъ и уходятъ изъ глазъ медленно, словно нехотя. Только бѣлое облачко надъ лѣсомъ, нѣжно выступая на голубомъ фонѣ, вотъ уже сколько времени плыветъ впередъ и впередъ, съ такою же скоростью, какъ и самый поѣздъ, оставляя позади, за собою, и деревья, и кусты, и избушки, и цѣлыя селенія. Во всей этой мелькающей панорамѣ такое облачко, долго и неподвижно стоящее передъ вашими глазами, производитъ впечатлѣніе также чего-то неотвязнаго, мучительнаго. Оно какъ-то соотвѣтствуетъ тому настроенію, какое вы чувствуете внутри себя и отъ котораго не можете освободиться.

Читать какъ-то не хочется но, не зная, куда дѣваться отъ самого себя и своихъ думъ, невольно развертываешь газету и быстро пробѣгаешь глазами столбецъ за столбцомъ. Ахъ, какъ это скучно! Все то же, все то же вотъ уже въ теченіе цѣлыхъ десяти, а то и больше лѣтъ.

Но газета не утѣшаетъ и въ этомъ смыслѣ. Она лишь отражаетъ ту же канитель, только подцензурную.

Это было въ 1895 году, ровно за годъ до знаменитой петербургской тридцати-тысячной забастовки, въ которой петербургскій пролетаріатъ впервые выступилъ на историческую сцену и грозно напомнилъ о своемъ существованіи, о своихъ нуждахъ и гребованіяхъ. Эта самая забастовка уже назрѣвала тогда гдѣ-то въ глубинѣ трудящихся массъ. Здѣсь и тамъ уже мелькали ея предвѣстники, но ни я, да, надо полагать, и никто другой, не придавали имъ особеннаго значенія. Мы считали ихъ тогда ничѣмъ инымъ, какъ „случайными мелочами жизни“, которымъ, въ политическомъ и соціальномъ отношеніи, пока что, грошъ цѣна. Въ полуоффиціальной полутьмѣ и казенной тишинѣ эти мелочи новой жизни глохли и затушевывались, не доходя до сознанія, тяжелая, безконечно длинная историческая ночь словно старалась заглушить душу, давила вѣру, угнетала мысль, ничего не обѣщая, ничѣмъ не маня. То была не жизнь, а какая-то политическая канитель. Если иные и ожидали какихъ-нибудь крупныхъ перемѣнъ, то непремѣнно „сверху“, а не „снизу“, и если кто-нибудь брался за газету, то прежде всего искалъ тамъ глазами, что, собственно, жизнь даетъ, даже и не думая искать того, что отъ нея берутъ борьбой сами люди, которымъ ихъ общественный идеалъ хоть немножко дороже министерскаго циркуляра. Въ газетахъ искать этого идеала не приходилось. Тамъ все было гладко и чисто, всюду одинъ и тотъ же пестрый калейдоскопъ сѣренькихъ, похожихъ на далекую старину фактовъ, „мнѣній“, предположеній, разсужденій pro et contra по ихъ поводу и—опять таки мучительно щемящее чувство, возбуждаемое невольнымъ сопоставленіемъ ихъ и анализомъ. Пишутъ напр., что сахарозаводчики, устроившіе „спаси-

тельный" для всей Россіи вообще, а для рабочихъ въ особенности синдикатъ, все еще не находятъ его результатовъ достаточною наградой за свое самоотверженіе. Пишутъ о циркулярѣ тамбовскаго губернатора и о совѣтѣ, который имъ данъ г.г. земскимъ начальникамъ, чтобы тѣ пріучали „лѣниваго и безпечнаго" мужика къ заботамъ о его собственномъ благополучіи и благосостояніи посредствомъ „принудительныхъ, но сердечно примѣняемыхъ мѣръ", до сердечнаго тѣлеснаго наказанія включительно. Пишутъ о провалѣ городского ломбарда, объ учрежденіи новыхъ штатовъ полиціи въ такой-то палестинѣ. Мелькаетъ цѣлый рядъ вопросовъ,—рабочій, переселенческій, женскій, восточный,—при чемъ о нихъ разсуждаютъ такъ, что невольно какъ-то вспоминаешь Бэду проповѣдника. Даже и тонъ выработался какой-то особенный,—словно все, что говорится, въ одно и то же время и ни къ чему и къ чему, и важно и не важно. Прочтешь одинъ номеръ одной газеты,—то же найдешь и въ другомъ номерѣ другой, и въ третьей, и такъ далѣе, съ какими-нибудь небольшими варіаціями, вродѣ того, что такая-то газета травитъ жида, а такая-то травитъ земца, а такая то ищетъ крамолу въ обществѣ грамотности или въ комиссіи народныхъ чтеній... Нѣтъ, при такихъ условіяхъ право же лучше ничего не дѣлать, не читать, ни о чемъ не думать, запрятать газеты куда-нибудь подальше и уйти съ головой въ безстрастное буддійское созерцаніе окружающаго.

И правда, какъ это россійскій интеллигентный читатель еще не отвыкъ за десятки-то лѣтъ бѣгать глазами по этимъ печатнымъ простынямъ и искать, искать чего-то для него нужнаго, и вверху, и внизу, и на строкахъ, и между строкъ? Да, не отвыкъ,—я на себѣ это чувствовалъ. А искать между строкъ,—что ни годъ, то привыкаетъ все больше и больше народа, начиная отъ князя Мещерскаго и кончая широкой публикой. Что же даютъ эти исканія? Дали ли они отвѣтъ на какой-либо вопросъ? Нѣтъ, думалось мнѣ, лучше ужъ посмотрѣть на все окружающее, и поискать отвѣта именно здѣсь, въ этой пестрой и шумной толпѣ. Закупоренный ящикъ вагона, полный самаго разнообразнаго и пестраго народа, начиная отъ чистой публики, очевидно переправляющейся на дачу, и кончая торговымъ и рабочимъ людомъ, спѣшащимъ куда-то по дѣламъ, казался мнѣ по временамъ какимъ-то движущимся садкомъ, куда набралось всевозможной рыбицы со всего житейскаго моря.

Противъ меня въ вагонѣ уютно размѣстились двѣ молоденькія барыни, похожія на трясогузокъ, такія изящныя, воздушныя и подвижныя, не смотря на свой дорожный костюмъ и кучу багажа. И сверху, и снизу онѣ обложились узелками и кордонками, запихали ихъ подъ сидѣнья, втискали на полки, положили большой узелъ и пледъ чуть-ли не на колѣни ко мнѣ, и затѣмъ ще-

бетали и щебетали, неустанно вертясь и подпрыгивая на своей вертикальной оси. Сквозь стукъ и грохотъ вагонныхъ колесъ до меня то и дѣло долетали всевозможныя междометія и отдѣльныя слова: „Яковлевъ, ахъ! Мазини, ахъ!.. Фигнеръ, Фигнеръ!" Я мысленно благодарилъ и Мазини, и Яковлева, и Фигнера, что они даютъ столько матеріала для разсужденія и, очевидно, и для мышленія такихъ милыхъ головокъ, какъ эти, потому что вотъ уже почти шесть часовъ, съ самаго отъѣзда изъ Петербурга, я слышалъ все тѣ же имена: „Яковлевъ, ахъ! Фигнеръ, Фигнеръ"...

Позади меня разговоръ шелъ о высокихъ матеріяхъ. Первоначально я лишь слышалъ, что тамъ кто-то все чавкаетъ и что-то хруститъ. Затѣмъ бабій голосъ высказалъ сожалѣніе, что въ этомъ году раковъ уродилось очень мало. На это — другой голосъ, мужской, отчеканенный, авторитетный, произнесъ многозначительно: „кто-жъ ихъ знаетъ,—когда какъ!" Снова хрустѣніе и опять вопросъ:

— А отчего это у рака хвостъ названъ шейкой?

— Не спроста названъ. Это всякій дуракъ знаетъ.

— А почему?

— А потому, что это шейка и есть,—слышу авторитетный отвѣтъ. Голова у рака сначала и вправду на шейкѣ сидѣла, монашекъ одинъ мнѣ этта сказывалъ... Да вѣдь ракъ и есть ракъ... Онъ взялъ да и прогнѣвилъ Господа, а Господь и переставилъ за это его голову къ хвосту...

— Ой! Да какъ же такая тварь могла прогнѣвить Господа?

Въ бабьемъ голосѣ прозвучала сильная нота сомнѣнія.

— А, извѣстно, могъ. Даже очень просто. Послѣ всемірнаго потопа... Значитъ, ракъ первый поползъ изъ ковчега Ноева. А это не ему было положено. Тогда Господь и переставилъ ему голову, съ самаго зада да на самый передъ...

— А! А!

— Оттого вотъ теперь ракъ и пятится шейкой впередъ, а головой смотритъ назадъ*).

Снова раздалось хрустѣнье и чавканье. И затѣмъ опять бабій голосъ!

— И гдѣ же все это монашекъ могъ узнать-то?

— Гдѣ?! Извѣстно, въ священныхъ книгахъ. Тамъ все прописано...

Наискось отъ меня сидѣли четыре человѣка, больше всего привлекшіе къ себѣ мое вниманіе. На одной скамьѣ сидѣли два парня въ фуражкахъ съ синимъ бархатнымъ околышемъ. Одному парню, казалось, было лѣтъ двадцать пять, другому лѣтъ тридцать.

---

*) Въ точности записано со словъ говорившаго.

Тотъ, кто помоложе, былъ одѣтъ въ черное драповое пальто широкое, неуклюжее, и самъ казался отъ этого какимъ-то четырех-угольнымъ. На старшемъ былъ одѣтъ сѣрый „пинжакъ", изъ подъ котораго сквозила синяя рабочая блуза, довольно таки засаленная. Оба были въ высокихъ сапогахъ. У того и у другого кожа рукъ была пропитана чѣмъ-то чернымъ, что, очевидно, не поддавалось никакому мытью. У старшаго на лѣвой рукѣ,—какъ я замѣтилъ,—не было двухъ пальцевъ,—мизинца и безымяннаго. Лицо молодого положительно сразу же поразило меня вдумчивымъ, глубокимъ выраженіемъ своихъ глазъ, которые вмѣстѣ съ тѣмъ смотрѣли на все окружающее какъ-то просто и ясно. Особенный отпечатокъ клало на это лицо то, что между бровями чернѣла глубокая складочка, а правая бровь нѣсколько была приподнята. Во время нашей продолжительной дороги я очень часто взглядывалъ на это лицо, въ которомъ мнѣ нравилось все,—и высокій лобъ, и прямой красивый носъ, и энергично очерченный подбородокъ, покрытый русой, шелковистой бородкой. И въ теченіе долгихъ часовъ пути лицо сохранило почти неизмѣнно свое задумчивое выраженіе. Товарищъ этого человѣка былъ высокій, рослый дѣтина, съ угрюмымъ лицомъ, которое по временамъ принимало даже злое выраженіе, съ черными, глубоко посаженными глазами, съ черной бородой, дѣлавшей ея обладателя еще болѣе мрачнымъ и угрюмымъ... Обоихъ этихъ пассажировъ я сразу же принялъ за мастеровыхъ, и, какъ потомъ оказалось, не ошибся. Тотъ, кто помоложе, во все время пути, пока было свѣтло, усердно читалъ, шевеля губами, какую-то книжку. Я видѣлъ, что на полкѣ, среди багажа, лежатъ у него еще нѣсколько „толстыхъ" книгъ. На корешкѣ одной книжки я съ удивленіемъ прочелъ: „Cours élémentaire de la langue française", не помню чей—кажется Марго. Тотъ мастеровой, который былъ постарше, больше молчалъ.

Противъ этихъ двухъ пассажировъ, сидѣли два повидимому торговца,—одинъ низенькій, толстый, съ рыжей окладистой бородой и свиными глазками, другой—средняго роста, плотный мужчина съ усами, одѣтый довольно прилично. Почти отъ самаго Петербурга толстый купецъ принялся за чаепитіе, къ которому вскорѣ пригласилъ и своего сосѣда. Долгое время до меня долетали отрывочныя слова о погодѣ, объ урожаѣ, о какомъ-то убійствѣ, подробно описанномъ въ „Петербургскомъ Листкѣ", о японцахъ и китайцахъ. Но мало-по-малу разговоръ перешелъ на другія темы.

— А вы сами-то кто будете?—спросилъ сиплымъ голосомъ купецъ своего сосѣда.

— Мы изъ Кіевской губерніи, служимъ въ конторѣ рафинаднаго завода братьевъ Кроликовыхъ,—отвѣчалъ тотъ. Онъ гово-

рилъ ровно, мягко, довольно тихо. Его голосъ рѣзко отличался отъ сиплаго голоса купца.

— Бойко у васъ дѣла идутъ?

— И! Дѣла очень хороши! Благодареніе Господу! Семь лѣтъ тому назадъ нашъ заводъ изъ одного флигелька состоялъ. Ну, работало тамъ человѣкъ пятьдесятъ, восемьдесятъ рабочихъ. Только и всего.

— А теперь?

— Теперь нашъ заводъ—махина. Два громадныхъ корпуса надъ Днѣпромъ, тысяча человѣкъ рабочихъ, не считая тѣхъ, что на свекловичныхъ плантаціяхъ, свой подъѣздной путь къ вокзалу этто въ прошломъ году выстроили,—обошелся сто тысячъ рублей, двѣ паровыхъ машины по семидесяти силъ, шесть выпаривательныхъ приборовъ, электричество... Такъ дѣла пошли, — рѣдко у кого такъ идутъ.

— Много готовите?

— Въ прошломъ году полтора милліона пудовъ рафинаду, почти три милліона сахарныхъ головъ, хе, хе!..

— Знаемъ вашъ сахаръ. И имъ тоже торгуемъ. Хорошій товаръ.

— А гдѣ берете?

— Чрезъ Мустерштюка выписываемъ.

— Знаю, знаю.

Молчаніе. Вагонъ дребезжитъ и несется. За стѣной уже раздается храпъ. Двѣ барыньки выпрыгнули на какой-то промежуточной дачной станціи. Изъ-за далекихъ низкихъ тучъ на горизонтѣ выдвинулся огненно-красный шаръ заходящаго солнца и сразу освѣтилъ вагонъ оранжевыми лучами.

— А по какой нуждѣ въ Питеръ изволили ѣздить?—снова спросилъ купецъ.

— Тамъ, у насъ одна небольшая заминка вышла,—такъ порученіе мнѣ давали къ одному человѣку.

— Какая же это заминка?—довольно-таки назойливо продолжалъ приставать купецъ. Собесѣдникъ его, повидимому, сначала не хотѣлъ отвѣчать, но затѣмъ, послѣ небольшой паузы, все же сказалъ:

— Такъ, несчастный случай вышелъ.

При этихъ словахъ мастеровые, сидѣвшіе визави съ говорившими, встрепенулись. Молодой отвелъ глаза отъ книги. Купецъ нѣкоторое время молчалъ. Но, очевидно, молчаніе такъ тяготило его, что въ концѣ концовъ, даже подмѣтивъ свою назойливость, онъ опять спросилъ:

— А какой же это случай?

— Несчастіе,—въ одинъ день двухъ человѣкъ у насъ машинами убило. Такая страсть, прости Господи!

Вниманіе мастеровыхъ еще больше возросло. Купецъ вытара-

щилъ глаза. Чтобы удобнѣе было слушать, я растянулся на освободившейся скамьѣ, Очевидно, сейчасъ мнѣ предстояло услышать кое-что объ интимной жизни сахарнаго рафинаднаго завода. Но разсказчикъ, повидимому, не обладалъ никакимъ желаніемъ все разсказывать и объяснять.

— Вотъ несчастіе, сочувственно произнесъ купецъ.—Заразъ двоихъ убило? Какъ же это такъ? Одной машиной?

— Нѣтъ, не заразъ. Въ разныхъ отдѣленіяхъ...

Затѣмъ, какъ бы спохватившись, конторщикъ вдругъ сказалъ:

— Да что вамъ разсказывать? Въ газетахъ все описано, тамъ и читайте.

Любопытство купца было раздражено до крайности. Мастеровые тоже слушали очень внимательно.

— Да гдѣ уже мнѣ газету искать,—сказалъ купецъ.—Лучше вы разскажите. Значитъ, не секретъ, если въ газетахъ описано...

Но разговоръ начался не раньше какъ черезъ нѣсколько минутъ. Сначала разсказчикъ какъ будто бы чего-то опасался, но затѣмъ самъ же первый прервалъ молчаніе.

— Да, было страсти!.. Сижу я этакъ въ конторѣ, обѣда поджидаю. До обѣда еще часа полтора остается. Вдругъ слышу гудокъ. Смотрю въ окно,—изъ слесарни народъ бѣжитъ. И я вскочилъ и побѣжалъ. „Что такое?“ спрашиваю.—„Человѣка у машины убило!“ кричитъ мнѣ Иванъ Семенычъ, другой конторщикъ. Я побѣжалъ со всѣхъ ногъ къ машинѣ. Бѣжать не близко. И народъ туда бѣжитъ. Машина уже остановлена. У насъ въ одномъ отдѣленіи съ нею и насосы воздушные поставлены, которыми воздухъ изъ вакуумъ-аппаратовъ выкачиваютъ. Вотъ такъ машина стоитъ, а немного къ сторонкѣ—двойной насосъ. Къ нему отъ машины идетъ толстый желѣзный валъ, этакъ на полъ-аршина отъ пола... Такая тѣснота въ отдѣленіи, что и сказать не могу. У насъ на заводѣ и всегда-то очень жарко, а тутъ и дышать нельзя. И директоръ тутъ, и мастеръ, инженеръ-механикъ. А на полу вотъ у этого самаго вала, по ту сторону его,—вотъ такъ, перекинувшись, голая баба лежитъ. И молодая такая, красивая; какъ то вся вотъ скрючилась неловко, руку назадъ откинула, щекой прямо на каменный полъ. А на полу кровь,—тамъ цѣлая лужа крови. Какъ сейчасъ помню,—черная, густая кровь, въ одномъ мѣстѣ и въ другомъ. И на лицѣ кровь,—такъ черезъ всю щеку кровяная жилка. Глаза бабы закрыты, не дышитъ. А на всемъ желѣзномъ валу какія-то тряпки намотаны. Тутъ у этого самаго вала стоитъ желѣзный тоже столбъ. Вижу—и на немъ кровь. И не приведи Боже, какъ страшно. А рабочіе—они у насъ народъ все глупый, все бѣлоруссы,—съ своихъ мѣстъ всѣ поразбѣжались. Прибѣжитъ этакъ голышемъ къ двери,—у насъ на рафинадныхъ многіе голышемъ работаютъ,—протолкается, заглянетъ на покой-

ницу, и дралка,—значитъ, боится. И на волосахъ я вижу кусокъ чего-то бѣлаго... Рядомъ со мной директоръ стоитъ, и слышу я, какъ онъ шепчетъ механику: „Нужно скорѣе унести!..“ „Не имѣемъ права, отвѣчаетъ тотъ, надо сначала, чтобы протоколъ составили!“ Вижу я, что директоръ сердится: „Ахъ, оставьте, пожалуйста, ваши права. Она еще жива, нужно ее въ больничный покой!“—„Но вѣдь она мертвая!“ говоритъ механикъ. „А я вамъ говорю, что она жива!“ еще больше сердится директоръ. „Что вы самыхъ простыхъ вещей не понимаете!“ Я то понялъ, чего хочетъ директоръ. Но механикъ нашъ хоть понимай, не понимай, а все же долженъ слушаться. Принесли носилки какія-то, положили на нихъ тѣло. Директоръ все утверждаетъ вслухъ:—„дышитъ, дышитъ! несите скорѣе!“ А я вижу, что ему хочется перенести тѣло, пока еще полиція не пришла. Это ужъ всегда такъ дѣлается, чтобы работъ въ отдѣленіи не останавливать.

— А зачѣмъ такъ?—спросилъ купецъ.

— Ну подумайте сами! Развѣ можно заводу день или два стоять? Вѣдь полиція когда еще соберется придти.

— А почему же такое несчастіе случилось?—допытывался купецъ.

— Да оченно просто. Бабѣ-то и не мѣсто въ машинномъ отдѣленіи. И бѣсъ ее што-ли попуталъ лѣзть къ машинному валу. Вишь ты, она мыла полъ, подошла, значитъ, къ валу—ну платье и замотало на валъ, а ее этакъ захватило и стукнуло со всего маху головой о столбъ, а потомъ объ полъ.

— Голову и пришибло?—спросилъ опять купецъ.

— Страшно сказать, какъ. Лѣвый високъ въ дрызгъ разбило,—на мелкія косточки. Мозгъ такъ и вылетѣлъ кусочками, и кровь полилась. А все платье съ бабы такъ машина и стащила *).

Я съ содроганіемъ сердца слушалъ этотъ разсказъ. Дѣйствительно, все случилось „оченно просто“. И именно въ этой-то простотѣ и было нѣчто ужасное.

— А отчего чехла на валу не было?—вмѣшался въ разговоръ тотъ рабочій, который помоложе.

— Кто-жъ его знаетъ, отчего—сказалъ разсказчикъ. Потомъ и чехолъ сдѣлали.

— У нихъ-то, на сахарныхъ заводахъ, не всѣмъ сладко приходится!—вмѣшался въ разговоръ другой рабочій.

Эти слова онъ сказалъ довольно громкимъ и весьма рѣзкимъ голосомъ. Замѣчаніе, по всей видимости, весьма не понравилось разсказчику. Но онъ удержался и сдѣлалъ видъ, что не желаетъ даже говорить съ авторомъ замѣчанія.

---

*) Въ Малороссіи бабы носятъ длинную рубашку и юбку.

— Ну что же,—продолжалъ спрашивать купецъ.—Померла тутъ же? Мужъ послѣ нея остался, дѣти?

— Остались и дѣти, и мужъ.

— Что-жъ, за увѣчье заплатили? Вѣдь должны бы заплатить!

— Чего должны! Сама вѣдь неосторожна-то была да неловка. Мыли же и другія бабы тотъ же полъ,—да ничего,—живы остались.

— Вы-то всѣ тамъ больно ловки, такъ нашъ братъ всегда передъ вами неловокъ будетъ!—опять вставилъ свое словечко старшій мастеровой и зло посмотрѣлъ на говорившаго. Но тотъ опять почтилъ его нулемъ вниманія.

— Это такой народъ, рабочіе, скажу я вамъ,—продолжалъ онъ,—что съ ними-то нужно пожить да пожить! Нашъ директоръ хоть и не долженъ бы былъ платить, а семьсотъ рублей далъ и за погребеніе заплатилъ. Мужиченко пьяница-распьяница. Заранѣе можно было знать, что всѣ деньги пропьетъ и дѣтямъ ничего не оставитъ.

— У васъ, небось, что ни рабочій, то пьяница!—вставилъ опять свое словечко мрачный мастеровой, который, повидимому, чѣмъ дольше слушалъ разсказъ, тѣмъ болѣе приходилъ въ ражъ.

— А позвольте,—мягко спросилъ конторщика другой мастеровой.—Отчего же вы инымъ путемъ дѣтей не позаботились обезпечить? Вѣдь если заводъ не долженъ платить, такъ значитъ эти 700 рублей онъ какъ бы даритъ; значитъ, его воля какъ подарить ихъ,—положили бы эти деньги въ банкъ на имя дѣтей, а то бы земли купили на ихъ же имя.

— Эге! Вѣдь ихъ отецъ—ихъ опекунъ. Да у насъ развѣ только и времени, чтобы съ каждымъ возиться...—отвѣчалъ конторщикъ.

— Вотъ то-то оно и есть!—вставилъ опять свое словечко мрачный мастеровой.

— Ну такъ изволите видѣть дальше, продолжалъ разсказчикъ, опять не обращая вниманія на эти слова.—Никогда у насъ этихъ несчастіевъ не бывало. Такъ только,—иногда, когда машина какого-нибудь зацапнетъ,— ну палецъ тамъ оборветъ или что такое.

— Что палецъ-то оторветъ,—это у нихъ ни за что не считается!

Дѣлая это замѣчаніе, мастеровой поднялъ свою изуродованную руку, уже прямо обращаясь ко мнѣ. Но разсказчикъ, очевидно, рѣшилъ подавить его своимъ презрѣніемъ и продолжалъ:

— Да, а тутъ вотъ въ одинъ день случилось два: центрофугой еще одного рабочаго убило.

— Это что за центрофуга?—спросилъ купецъ.

— Такой чанъ, очень быстро вертящійся, и весь въ рѣшеткахъ. Здѣсь сахарный песокъ отъ патоки отдѣляютъ. И-и какъ скоро

вертится,—нѣсколько тысячъ разъ въ минуту! Рабочимъ строго на строго запрещается мѣшать въ этомъ чану. Да вѣдь имъ что ни говори,—ничего они не понимаютъ. А тамъ за нихъ и отвѣчай. Вотъ одинъ и помѣшалъ такъ-то деревянной лопаткой.

— Ну и что-жъ изъ того?

— А то, что тутъ же и упалъ, и Богу душу отдалъ. Даже крикнуть не успѣлъ. И крови немного вышло: небольшая пробоинка вотъ здѣсь (разсказчикъ указалъ на грудь, гдѣ сердце), только и всего.

— Ахъ ты, Господи! Вотъ дѣла!

— Да, были дѣла... Не приведи Боже! И слѣдствія тутъ было сколько, и инспекторъ прискакалъ, и полиція...

— Жмутъ поди?

— Э, полиція еще ничего,—къ той привыкли. Знаютъ, какъ съ ней разговаривать. И она знаетъ. Между нами будь сказано, если бы не заводъ, то полиція и совсѣмъ бы пропала.

— Ну!

— А что подѣлаешь? Да развѣ приставъ-то можетъ на 40 рублей въ мѣсяцъ съ семействомъ прожить? А у насъ ужъ отъ завода каждому жалованье положено.

— Еще бы вамъ не платить! Обдираете потребителя всякими нормировками, да съ казенными разбойниками, съ кѣмъ понужнѣе, и дѣлитесь! Эхъ вы, друзья отечества!

Тутъ ужъ и купецъ не вытерпѣлъ, какъ-то сразу вздулся, словно волъ, покраснѣлъ и оскалилъ зубы:

— Ты это что въ чужой разговоръ лѣзешь?—воскликнулъ онъ.—Добрые люди промежъ себя разговариваютъ, а тебя и знать не хотятъ. Вотъ еще какой выискался! Туда же ученыя слова говоритъ. „Нормировки“, „потребители“. Вотъ еще какой ученый выскочилъ!

— Побольше вашего-то понимаемъ!—громко и еще рѣзче произнесъ мрачный мастеровой, не обращая никакого вниманія на то, что его товарищъ усиленно дергалъ его за рукавъ.—Вы что ли ученые-то? Что котелки-то носите, такъ и учеными стали? Вотъ, господинъ,—обратился тогда говорившій уже прямо ко мнѣ,—какъ они на нашего брата смотрятъ, словно у насъ и своихъ понятіевъ нѣтъ. А намъ ли наше экономическое положеніе не знать, если на своей шкурѣ его чувствуемъ?

— Хе, хе!—засмѣялся и конторщикъ.—Тоже похвастать хочешь, что „экономическое положеніе“ (экое словечко-то!) знаетъ!

— Да, знаю. А вы и въ русскихъ-то словахъ не смекаете.

— Не у тебя ли уже имъ поучиться? Еще я тебя самого поучу!

Мастеровой презрительно улыбнулся, и вдругъ спокойно спросилъ:

— Вотъ хоша вы и на сахарномъ заводѣ конторой управляете,

а все же не знаете, что есть за слово „отечество"? Али знаете? Ну въ такомъ случаѣ скажите и насъ научите.

Такимъ оборотомъ рѣчи я рѣшительно былъ заинтересованъ, а тѣ, къ кому относился вопросъ, были имъ поставлены въ тупикъ. Но, чтобы не показаться смѣшнымъ въ моихъ глазахъ, купецъ пренебрежительно отвѣчалъ:

— Намъ-то очень хорошо извѣстно, что есть отечество.

— Ну такъ скажи, что?

— Дурацкія вещи спрашиваешь! И отвѣчать-то тебѣ не стоитъ! небрежно сказалъ купецъ, даже не смотря на спрашивающаго.

— А вотъ ты скажи, тогда мы и посмотримъ, дурацкія ли?

— Извѣстно, отечество—Россія.

Мастеровые засмѣялись.

— Вотъ то-то оно и есть! Я про Ерему, а ты про Кузьму. Я не про то тебя спрашиваю, какое у тебя отечество. Ты скажи мнѣ, почему ты его такъ называешь?

— Потому, что я россійскій почетный гражданинъ и родился здѣсь, въ Россіи.

Купецъ, очевидно, хотѣлъ порисоваться своимъ званіемъ „почетнаго". Мастеровые и это замѣтили и подняли опять его на смѣхъ.

— Что мнѣ изъ того, что ты почетный? Вотъ оно еще что! Кто-то тамъ тебя еще почитаетъ! А вотъ что ты въ Россіи родился, — это ничего не доказываетъ. Мало ли и поляковъ, и евреевъ, и нѣмцевъ здѣсь родятся. Да и тебя твоя матушка могла бы произвести на свѣтъ гдѣ-нибудь за границей.

Купецъ начиналъ сердиться. И общій смѣхъ, и общее вниманіе поставили его въ неловкое положеніе. Изъ-за скамеекъ выглядывали физіономіи другихъ пассажировъ, которымъ, очевидно, надоѣло созерцать въ окно широкую панораму, все больше и больше погружавшуюся въ темноту. Конторщикъ деликатно молчалъ, впрочемъ, изображая все время на своемъ лицѣ прежнее пренебреженіе. Я не могъ удержаться отъ улыбки. Чувствуя всю выгоду своего положенія, мрачный мастеровой наступалъ все энергичнѣе на своего противника и уже прямо съ презрѣніемъ смотрѣлъ на него.

— Да что мнѣ съ тобою толковать-то!—воскликнулъ купецъ, лицо котораго опять какъ-то раздулось и покраснѣло. Это можетъ твоя матушка по заграницамъ таскалась и тамъ дѣтей рожала. А моя такъ россійская гражданка.

— А Польша—твое отечество? — не унимался мастеровой.

— Извѣстно, Россійская держава,—вставилъ свое слово конторщикъ.

— Такъ, значитъ, вся держава—твое отечество? И Польша, и Финляндія, и Камчатка?

— Вся держава, подвластная одному царю.

— Посадить бы тебя въ Камчатку, такъ сказалъ бы ты тогда, что въ отечествѣ находишься.

Раздался общій смѣхъ. Очевидно, понятіе объ отечествѣ и у купца, и у конторщика было довольно смутно. Этого рода фактъ не представлялъ для меня никакой новизны и оригинальности. Не разъ приходилось мнѣ бесѣдовать на эту тему съ людьми самыхъ разнообразныхъ положеній, начиная отъ рабочихъ и крестьянъ и кончая людьми болѣе культурныхъ слоевъ. Это слово, повидимому, для всѣхъ такое извѣстное, въ сущности, до сихъ поръ милліонами простого народа до такой степени понимается смутно, такъ примѣшиваются къ нему всевозможныя толкованія, то квази-патріотическаго свойства, то просто изобрѣтенныя „отъ вѣтра главы своея", что врядъ ли нужно сомнѣваться, что изъ ста человѣкъ, опрошенныхъ такимъ образомъ, лишь въ лучшемъ случаѣ десять дадутъ на вопросъ болѣе или менѣе правильный и сознательный отвѣтъ. Во всякомъ случаѣ, изслѣдованіе о томъ, какъ понимаетъ народъ и различныя группы общества это слово „отечество", было бы крайне интересно и поучительно. Еще болѣе интересно было бы документально изслѣдовать народное представленіе и понятіе о „самодержавіи и самодержавномъ царѣ". Не подлежитъ ни малѣйшему сомнѣнію, что матеріалъ, собранный въ цѣляхъ такого изслѣдованія, пришелся бы очень не по вкусу нашимъ кваснымъ патріотамъ. Разумѣется, таковый матеріалъ и имѣется уже въ архивахъ департамента полиціи и охраннаго отдѣленія. Къ сожалѣнію, пока что, онъ еще не доступенъ безкорыстнымъ и ученымъ изслѣдователямъ народной жизни. Впрочемъ, оба вышеупомянутыя почтенныя учрежденія, столько сдѣлавшія для вытравленія изъ народной души всякаго уваженія къ самодержавной власти, и въ настоящее время имѣютъ возможность составить довольно точное представленіе о томъ, насколько „патріотиченъ" народъ. Быть можетъ, департаментъ полиціи и охрана даже и составили такія понятія. Но если и такъ, къ сожалѣнію, исторія показываетъ, что они высшему правительству не пошли въ прокъ: констатированное отсутствіе патріотизма привело за собой лишь усиленное его подогрѣваніе и насажденіе... Во всякомъ случаѣ, слѣпые и корыстные неучи даже на основаніи документовъ не убѣдились, что истинный патріотизмъ, истинная любовь къ отечеству возможны лишь при условіи сознательнаго и критическаго отношенія къ нему, къ различнымъ сторонамъ жизни родной страны, и прежде всего политическимъ и соціальнымъ, лишь при условіи широкаго распространенія образованія, распространенія знаній, развитія, пониманія, словомъ — просвѣщенія и при условіи гарантированной политической свободы. Тамъ же, гдѣ все это стремятся замѣ-

нить или даже подмѣнить какой-то гипнотизаціей и муштрой, гдѣ доказываютъ пользу самодержавія висѣлицами и тюрьмами и ссылками безъ суда и слѣдствія, гдѣ культивируютъ народную гордость въ голодныхъ деревняхъ и обездоленныхъ губерніяхъ, гдѣ стономъ стоитъ стонъ по всему отечеству и гдѣ не стонутъ только тѣ, кто живетъ за народный счетъ, гдѣ всѣ стороны жизни, даже самыя безобидныя, наши патентованные насильники и казенные просвѣтители норовятъ показывать непремѣнно съ одной показной стороны, оберегая народъ отъ знакомства съ другими ея сторонами,—тамъ истиннаго патріотизма въ народѣ, кромѣ развѣ взрыва народнаго чувства въ минуты обще-національнаго бѣдствія и взрыва народнаго гнѣва и негодованія въ дни революціи—и нѣтъ, и быть не можетъ. Исторія послѣднихъ пятидесяти лѣтъ показала это въ весьма достаточной степени.

Правда, наши квасные патріоты больше всего натуживаются насаждать патріотизмъ, такъ сказать, м е ж д у н а р о д н ы й,— не по отношенію къ внутреннимъ дѣламъ своего отечества, своего народа, а по отношенію къ внѣшней политикѣ. Но и въ этомъ отношеніи за послѣднія десять — тринадцать лѣтъ на нашихъ глазахъ происходитъ въ народѣ удивительная перемѣна. Уже много лѣтъ меня интересуетъ, какъ относится читатель изъ народа къ вопросамъ внѣшней политики. Въ матеріалахъ, какіе мнѣ удалось собрать за время 1889 — 1899 годы, имѣются и кое-какія интересныя данныя по этому вопросу. Когда-нибудь я еще вернусь къ ихъ детальной разработкѣ. Выводъ же, къ которому я пришелъ, познакомившись съ ними до сего дня, это тотъ, что нашъ народъ рѣшительно никакихъ внѣшнихъ отношеній близко къ сердцу не принимаетъ, да и не можетъ принимать *). Все его патріотическое чувство прежде всего сосредо-

*) Строки эти были написаны въ 1895 году. Событія за время 1901—906 гг. болѣе чѣмъ оправдали ихъ. Припомнимъ, къ какимъ средствамъ и способамъ прибѣгалъ разрушавшійся режимъ для подогрѣванія казеннаго патріотизма въ эпоху русско-японской войны, какія патріотическія манифестаціи устраивались полиціей, сыщиками и жандармами; припомнимъ далѣе, какъ усиленно раздувается правительствомъ патріотизмъ черной сотни, какимъ покровительствомъ и поддержкою властей пользуются всевозможные „союзы русскаго народа", „истинно русскихъ людей", „активной борьбы съ революціей" и т. п. — и сопоставимъ это искусственное насажденіе всякаго такого патріотизма съ тѣмъ удивительнымъ массовымъ равнодушіемъ, которымъ встрѣчаетъ его трудящійся народъ, страстно жаждущій прежде всего земли и воли. Казенные „патреоты", въ большинствѣ случаевъ, тѣ-же хулиганы. Усилія властей ни къ чему не привели. Черная сотня не дала ни одного депутата въ первую государственную думу. Звонкія слова „самодержавный царь", „отечество," „православіе", словно по мановенію волшебной палочки, вдругъ потеряли все свое обаяніе. Эта перемѣна совершилась въ нѣсколько мѣсяцевъ, — она не потребовала даже года! Слабовато же, въ такомъ случаѣ, сидѣла вѣра въ эти звонкія слова въ душѣ простого человѣка! Этой вѣры д а в н ы м ъ д а в н о

точено на его родной землѣ, землѣ кормилицѣ, волѣ и землѣ, и прежде всего землѣ. Что касается до другихъ народовъ и другихъ странъ, то онъ знаетъ лишь ихъ имена, да и то передѣланныя по своему („англичанка", „французикъ"). А что такое „англичанка", что такое „французъ"? — Навѣрное, еще очень недавно мало кто могъ отвѣтить на этотъ вопросъ мало-мальски опредѣленно. Какъ же, въ такомъ случаѣ, понимаются отношенія Россіи къ другимъ народамъ, если объ этихъ народахъ не имѣется никакого понятія? Не мудрено, что при такихъ условіяхъ всѣ другіе народы только и могутъ казаться врагами, и казаться по традиціи, далекой традиціи, переданной отъ дѣдовъ и прадѣдовъ. Такъ, въ моментъ кронштадтскихъ торжествъ я имѣлъ случай странствовать по деревнямъ Петергофскаго уѣзда (близъ столицы и близъ Кронштадта). Какъ же тамъ знали француза? Какъ виновника 1812 года и какъ участника въ крымской войнѣ! И только!

Къ сожалѣнію, мы должны признаться, что у насъ не образованіе, не школа запечатлѣваетъ въ душѣ простого народа понятіе о той или иной великой націи, а традиція о какомъ-либо международномъ насиліи, кровавомъ столкновеніи, гдѣ справедливости и истинѣ, какъ извѣстно, отводится самый скромный уголокъ. Я видѣлъ, какъ въ деревнѣ читается мужичками газета „Свѣтъ". Этотъ генеральскій „органъ", которому такъ выгодно несправедливое устройство русскаго государства, какъ извѣстно, съ первыхъ дней своего бытія стоитъ на почвѣ этого международнаго человѣконенавистничества, на чемъ стоятъ, къ сожалѣнію, и нѣкоторые другіе наши органы печати... Вотъ этимъ-то г.г. казенные, приспособившіеся патріоты и стремятся подмѣнить въ душѣ самаго мирнаго изъ европейскихъ народовъ понятіе о патріотизмѣ! Къ всему предыдущему слѣдуетъ прибавить, что народу цѣлое столѣтіе даже и негдѣ было черпать свѣдѣній о жизни, о бытѣ, о государственномъ устройствѣ, объ исторіи другихъ странъ и даже собственной страны. Такихъ книгъ до самаго послѣдняго времени даже и не существовало или почти не существовало. О ихъ созданіи и распространеніи правительство ужъ во всякомъ случаѣ не заботилось. И даже, напротивъ, главная забота „предержащихъ властей" снизу до верху состояла въ томъ, чтобы „непущать" „ничего такого". Тысячи народныхъ книжекъ конфисковались или въ рукописяхъ, или въ напечатанномъ видѣ *).

уже тамъ не было. Она была лишь въ оффиціальныхъ докладахъ, да казенныхъ бумагахъ, да на языкѣ разныхъ продажныхъ рептилій, голоса которыхъ были слышны столько лѣтъ лишь потому, что у всѣхъ прочихъ „вѣрноподданныхъ", „всемилостивѣйше" были заткнуты рты. Лишь только этому затыканію пришелъ конецъ, казенный патріотизмъ развѣялся моментально.

*) Не мало пострадалъ за время 1894—905 г. и пишущій эти строки.

Даже повторныя изданія запрещались строжайшими и удивительно глубокомысленными цензорами. Даже перепечатки изъ подцензурныхъ журналовъ и газетъ. А тѣ казенныя души и оффиціальныя учрежденія, которымъ „была ввѣрена“ кой-какая забота о развитіи казенной литературы, подчасъ издавали такую дрянь, что только оставалось развести руками, какъ и почему сіе? Напримѣръ, одна оффиціальная издательская фирма (пресловутая „Постоянная комиссія по устройству народныхъ чтеній“) на случай кронштадтскихъ торжествъ подарила россійскому народу книжицу—„О Франціи и французахъ“. Изъ этой книжицы читатель имѣетъ счастіе узнать, что Франція замѣчательна, во-первыхъ, тѣмъ, что тамъ есть Эйфелева башня и устрицы, и, во-вторыхъ, что тамъ были Орлеанская дѣва и „умный и добрый генералъ Бонапартъ“, который „смирилъ своеволіе, изничтожилъ революцію и насадилъ порядокъ“, при которомъ чрезвычайно удобно погибать отъ голодной смерти...*)... Въ другой книжкѣ, состряпанной тою же казенной фирмой („Царствованіе Михаила Ѳеодоровича“) (изд. 1886 г.) доказывалось, что не мѣшаетъ иной разъ вѣшать и дѣтей, если того требуетъ государственная необходимость **). Въ третьей книжкѣ, посвященной біографіи Александра II, этотъ государь выставленъ прежде всего человѣкомъ воинственнымъ, а о великихъ реформахъ почти ничего не сказано. Такихъ книжекъ для народа, которыя помогали бы развитію въ немъ истиннаго патріотизма и насаждали бы знанія своего края, своей жизни, ея темныхъ и свѣтлыхъ сторонъ, знаніе тѣхъ учрежденій, которымъ принуждена повиноваться эта жизнь, знаніе умственныхъ, религіозныхъ и всякихъ иныхъ теченій въ обществѣ и народѣ, его лучшихъ людей, борцовъ и мучениковъ за улучшеніе этой жизни. (кстати сказать, изъ этихъ послѣднихъ имена Новикова и Спе-

*) См. нашу замѣтку—„Сѣв. Вѣстникъ“ 1892 г., августъ. Библіографія народныхъ книгъ.

**) Пишущій эти строки отмѣтилъ всю гнусность казеннаго патріотизма Постоянной комиссіи и другихъ т. п. фирмъ въ своей статьѣ „Историческія книжки для народа“ въ III томѣ „Историческаго Обозрѣнія“, изд. подъ ред. проф. Карѣева (1890 г.). Тогдашній предсѣдатель Постоянной комиссіи, довольно прославившійся въ свое время своими благоглупостями И. П. Хрущовъ, по поводу этой статьи поднялъ цѣлую бурю, ѣздилъ объясняться съ проф. Карѣевымъ и подавалъ жалобу на автора статьи министру нар. пр. Делянову и мин. вн. д. Дурново. „Зловредная дѣятельность“ пишущаго эти строки въ области народной литературы, въ особенности его стремленіе, по мѣрѣ силъ, помочь распространенію общественныхъ знаній, критическому мышленію и боевому настроенію въ народной средѣ, повели къ тому, что въ 1894 г. въ особомъ тайномъ циркулярѣ эти стремленія автора были квалифицированы какъ особенно зловредныя; во всякомъ случаѣ, вредоносность популяризаторскихъ работъ пишущаго эти строки была засвидѣтельствована оффиціально. (См. также книжку „Освобожденіе“, № 1).

ранскаго гораздо меньше извѣстны народу, чѣмъ имя Аракчеева),— такихъ книжекъ, говоримъ мы, до 1906 г. вовсе не было создано. Не насаждаетъ знанія о своемъ отечествѣ и объ отношеніяхъ къ нему другихъ странъ и казенная, придушенная, связанная по рукамъ и по ногамъ народная школа. И странно сказать, въ эту послѣднюю идеи мира и братства народовъ, патріотизмъ внутренній взамѣнъ внѣшняго, не проникали даже и тогда, когда всевозможные органы печати, въ томъ числѣ и „Правительственный Вѣстникъ", такъ много и такъ хорошо разсуждали о миролюбіи, о царѣ миротворцѣ, о всеобщемъ разоруженіи, о гаагской конференціи и т. д. и т. д. Все это дѣлалось словно для одной Европы, но отнюдь не для своего родного народа. А вѣдь вопросъ патріотизма есть вопросъ широкаго, нетенденціознаго просвѣщенія. Но разъ этого послѣдняго условія нѣтъ, поневолѣ онъ будетъ заключаться въ однихъ ходячихъ словахъ, похожихъ на цвѣтную и золоченую бумажку, которою заклеена какая-то подозрительная дыра.

Меня не удивило неумѣнье купца опредѣлить, что есть отечество, но мнѣ было очень интересно узнать, какъ опредѣлитъ это слово самъ мастеровой. Такъ какъ было очевидно, что ходячія опредѣленія его не удовлетворяли, то, несомнѣнно, онъ имѣлъ про себя свое собственное, до котораго дошелъ своими средствіями.

— Вотъ такъ-то оно и есть,—ужъ прямо въ глаза и безцеремонно смѣялся надъ конторщикомъ и купцомъ мастеровой.— Хоша вы и большіе обороты тамъ дѣлаете, а все же, что есть отечество,—до того не додумались.

Тѣ, къ кому относились эти слова, чувствовали себя очень неловко. Чтобы выручить ихъ изъ такого непріятнаго положенія, я тоже вмѣшался въ разговоръ и спросилъ:

— Что же это такое,—скажите, въ такомъ случаѣ вы?

— А вотъ что,—отвѣчалъ храбро мастеровой. — Отечество есть доброе, полезное и выгодное для своихъ гражданъ общество, на точномъ основаніи справедливыхъ законовъ управляемое.

Уже по первымъ словамъ мастерового я понялъ, что имѣю дѣло съ человѣкомъ болѣе или менѣе начитаннымъ и книжнымъ, но все же я никакъ не ожидалъ услышать такого опредѣленія, которое такъ широко и своеобразно рѣшало вопросъ. Опредѣленіе, сдѣланное мастеровымъ, я воспроизвожу буквально, такъ какъ хорошо запомнилъ его. Можно съ нимъ не соглашаться, можно находить его неполнымъ или черезчуръ полнымъ, но нельзя отказать ему въ томъ, что оно — результатъ работы мысли,— мысли критической и творческой. Какъ отнесутся къ такому опредѣленію купецъ и конторщикъ, къ сожалѣнію, мнѣ узнать не удалось. Въ это время въ вагонъ желѣзной дороги вошелъ кон-

дукторъ и объявилъ, что на ближайшей станціи предстоитъ пересадка тѣмъ, кто ѣдетъ въ Ровно. Купецъ и конторщикъ начали приготовлять свои вещи. Мнѣ и мастеровымъ приходилось ѣхать еще дальше. Тотъ мастеровой, кто постарше, все же не воздержался, чтобы не кольнуть своего противника на прощанье.

— Такъ-то вотъ вы надъ этимъ и подумайте, если сами не додумались. Я-то ужъ много думалъ! Хоть и въ деревенской школѣ быть не удалось, а знаю-то и понимаю побольше вашего!

— Мы еще съ тобой каши-то не ѣли! — отрѣзалъ купецъ, увязывая свою подушку.—Кто тебя тамъ знаетъ, много ты понимаешь или больше бахвалишься!..

Тотъ, къ кому относились эти слова, нѣсколько осѣкся. Въ душѣ я тоже не могъ не согласиться съ купцомъ, что спорщикъ-мастеровой нѣсколько рисовался. Всякій кому приходилось встрѣчаться съ начетчиками изъ крестьянъ и рабочихъ, знаетъ, что таковъ ужъ общій грѣхъ у всѣхъ у нихъ, за очень рѣдкими исключеніями. Но меня все же интересовало узнать поближе, какъ дошелъ до такого понятія объ отечествѣ тотъ, кто его высказалъ. Интересно мнѣ было познакомиться и съ молчаливымъ товарищемъ спорщика, не сказавшимъ почти ни слова во все время пути.

Когда поѣздъ снова тронулся, было уже очень поздно. Въ вагонѣ стало просторнѣе. Тѣ, кто остался, спали, помѣстившись кто какъ умѣлъ. Купецъ и конторщикъ ушли. Я передвинулся на ихъ мѣсто и заговорилъ съ молодымъ рабочимъ:

— А вы далеко ли ѣдете?

— Къ Варшавѣ,— сказалъ тотъ.

— Онъ-то еще дальше,—добавилъ старшій.

— Мастерствомъ занимаетесь?

— До сихъ поръ все въ слесаряхъ работали, по заводамъ.

— Я такъ и родился на фабрикѣ—добавилъ старшій. А онъ вотъ ужъ изъ деревни пришелъ. Это фабричное дѣло вотъ какъ знаемъ! Можетъ быть, и голову придется на фабрикѣ сложить. Два пальца уже тамъ у меня остались.

И онъ улыбнулся. Но это не была улыбка добродушная и мягка, а скорѣе жестокая и злая.

— А вы сами-то кѣмъ будете?—спросилъ вдругъ въ свою очередь и онъ меня.

Я сказалъ, чѣмъ занимаюсь,

— Такъ, такъ. Очень пріятно.

Мои слова, повидимому, развязали языкъ обоимъ мастеровымъ.

— Вотъ этотъ, конторщикъ-то сахарозаводскій, что здѣсь сидѣлъ, свое дѣло вотъ какъ нахваливалъ. Только и жить не тужить тамъ у нихъ, началъ опять старшій. Что говорить! Хорошо! А тутъ вдругъ несчастный случай,—одинъ, а потомъ и другой.

А почему, позвольте васъ спросить, это такъ дѣлается, что вотъ онъ, конторщикъ, у себя тамъ за стеклами сидитъ, да пописываетъ, и больше нашего не въ примѣръ получаетъ, а мы у такихъ машинъ день и ночь стоимъ, которыя того и гляди возьмутъ насъ и прихлопнутъ? Почему мы отъ бѣды не застрахованы *)?

Я сказалъ, что въ другихъ странахъ вводится и все больше и больше распространяется страхованіе рабочихъ; кромѣ того, существуютъ еще вспомогательныя кассы, устраиваемыя рабочими.

Оказалось, что мои собесѣдники обо всемъ этомъ отлично знаютъ. Младшій даже назвалъ нѣкоторыхъ лицъ, извѣстныхъ въ литературѣ по данному вопросу. Онъ плавно, обстоятельно и убѣдительно привелъ всѣ основные доводы, которые приводятся въ защиту страхованія рабочихъ, затѣмъ принялся доказывать, что это дѣло можно было бы безъ труда устроить и у насъ и къ тому же исключительно на государственный и предпринимательскій счетъ. Онъ приводилъ не только доводы, но, въ довершеніе всего, досталъ изъ кармана толстую, довольно засаленную тетрадку и отыскалъ въ ней выписанныя откуда-то цифры, повидимому, поразившія его своею величиною и значеніемъ. Очевидно, данный вопросъ настолько интересовалъ говорившаго, что онъ не только читалъ все, что могъ найти о немъ въ книжкахъ, какія удалось добывать, но и искалъ именно такихъ книгъ, и даже изучалъ вопросъ. Я съ большимъ интересомъ и вниманіемъ слушалъ его рѣчь.

— Страховаться-то можно, и хорошо бы, сказалъ онъ, только я думаю, этого никогда не будетъ при нынѣшнемъ государственномъ устройствѣ...

— Почему такъ? спросилъ я.

— Да такъ... И онъ загадочно замолчалъ, и лишь послѣ небольшой паузы прибавилъ: — Кто насъ будетъ страховать-то? Намъ самимъ—невозможно, а другимъ какая охота?

Я началъ оспаривать этотъ взглядъ. Я говорилъ, что есть фабриканты, которые страхуютъ всѣхъ своихъ рабочихъ, и что такихъ все больше и больше...

— Отъ чего страхуютъ-то?—вмѣшался вдругъ въ разговоръ мрачный товарищъ. Слышали вы о сахарномъ рафинадномъ заводѣ? Бывалъ я на такихъ, знаю. И вотъ что скажу: весь ихъ заводъ, вся тамъ маята рабочая—одинъ сплошной несчастный случай... Знаю, видѣлъ. А вы бывали тамъ?

Я сказалъ, что нѣтъ.

---

*) Намъ приходилось наблюдать, что въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ между рабочими и „конторскими“ существуетъ значительный антагонизмъ.

— Посмотрѣли бы вы, чего тамъ только не дѣлается Все время, какъ идутъ работы, жара стоитъ такая, что работаютъ голышемъ. Рубашку снимаютъ, штаны. Одѣнетъ на голову колпакъ, сложенный изъ бумаги, поясокъ этакъ изъ тряпки навѣситъ, чтобы не очень зазорно было, да такъ и работаетъ. Бабы и дѣвки тутъ же,—ничего, всѣ привыкли. Вѣрите ли, когда сахарныя формы ставятъ въ сушку, такъ тамъ градусовъ семьдесятъ жары. Непривычный человѣкъ тутъ-же упадетъ, а тѣ, привычные, ничего—терпятъ. Сушильныя камеры—словно пекло. А у иного вся спина въ ранахъ,—и все же лѣзетъ въ этотъ жаръ.

— Въ какихъ ранахъ? спросилъ я.

— Извѣстно, въ какихъ. Тамъ дурная болѣзнь такъ ходитъ, какъ нигдѣ. Я года три на рафинадномъ заводѣ работалъ,—все видѣлъ *). Язвины—во какія. А есть и такой народъ, что вотъ-вотъ носъ провалится. Дѣвки тоже не чисты. Иныя еще отъ отца съ матерью заполучили. И вотъ такія-то рѣжутъ сахаръ, плюютъ на полъ, а пыль сахарная съ полу опять въ дѣло идетъ... Такая гадость, что и сказать скверно. А еще есть раны особыя,—только у тѣхъ рабочихъ, кто работаетъ на сахарныхъ заводахъ. Кто ихъ знаетъ, отчего онѣ. Сказываютъ, будто кровь отравляется сахаромъ. Только я это доподлинно не знаю...

— И много такихъ больныхъ?

— Много.

— Чего же начальство смотритъ?

— Полиція то? Извѣстно чего. Ей всякое фабричное безобразіе лишній доходъ даетъ. А инспектору до этого дѣла нѣтъ,—не къ нему относится... Все тычетъ въ носъ рабочему человѣку: „законъ, законъ,—такого молъ закона нѣтъ,—по закону молъ я ничего не могу". Тоже вѣдь—стражи закона! По просту сказать: хозяйское благополучіе стерегутъ. Вотъ я и говорю, что весь такой заводъ — просто одинъ несчастный случай... Какое тутъ страхованіе поможетъ...

— Чего же рабочіе не остерегаются?

— И,—какой тамъ темный народъ! Все пришлые,—изъ Смоленской, и Могилевской губерніи,—все бѣлоруссы. Это рабочій запуганный, общипанный, да темный. Онъ не только ничего не понимаетъ, такъ и грамотѣ-то не обученъ. Получитъ двѣнадцать рублей въ мѣсяцъ на своихъ харчахъ,—и доволенъ. Что ему тутъ втолкуешь...

— Но вѣдь такимъ-то темнымъ людямъ и долженъ бы втолковать все, что нужно, свой братъ рабочій, кто поумнѣй да поученѣе, сказалъ я.

---

*) Пишущій эти строки нѣсколько позднѣе тоже имѣлъ случай убѣдиться въ справедливости этихъ словъ на одномъ изъ сахарныхъ заводовъ Черкасскаго уѣзда Кіевской губ. См. ст. „Сахарный адъ." „Недѣля" 1895 г.

— Это и мы отлично понимаемъ, возразилъ мнѣ на это молодой. Что можемъ, то и мы дѣлаемъ. Только въ такой бѣдности не все и на умъ пойдетъ. Нашему брату добраться до книжекъ—и, какъ трудно!..

— Да вѣдь вы же добрались? возразилъ я.

— А многіе ли добираются? Иной живетъ, живетъ,—и интереса ни къ чему не имѣетъ. И не знаетъ онъ, что и есть интереснаго... А иному только покажи, такъ ужъ онъ и самъ пойдетъ,—себя не пожалѣетъ... Это я по себѣ знаю.

— А вы какъ же до книжки дошли? Вамъ кто-нибудь помогалъ?

— Нѣтъ, никто не помогалъ. Въ нашей деревнѣ и школы не было.

— Какъ же вы грамотѣ научились?

— Солдатикъ отставной у насъ въ деревнѣ жилъ, такъ ребятишекъ обучалъ. И я научился. Сначала, какъ водится, молитвенникъ читалъ и календарь,—отъ сосѣдей доставалъ, что можно. Только все это такъ, не очень интересно было. Больше читалъ для того, чтобы грамоту не позабыть.

— А что же васъ пріохотило къ книгѣ?

— Да книга же. Изъ нашей деревни издавна народъ на мальцевскіе заводы работать ходитъ. И я пошелъ. И читать я тамъ сталъ больше, потому что книги легче стало доставать. Да и народъ на фабрикахъ,—какъ бы сказать, посамодѣятельнѣе, потароватѣе, чѣмъ въ деревнѣ. И понимаетъ лучше, и за себя постоять можетъ лучше, чѣмъ деревенскіе. Тамъ на фабрикѣ мнѣ и подвернулась одна книжка, отъ которой—я отлично помню,—у меня даже духъ захватило. И книжонка-то такая малюсенькая. Сначала я ее и читать не хотѣлъ. А какъ началъ,—и, Боже мой! Такъ меня „захватило“, словно я новый материкъ рядомъ съ собою отыскалъ. Читалъ я эту книжку, читалъ, пока, кажется, наизустъ не выучилъ. И не столько она мнѣ новыхъ свѣдѣній сообщила, сколько я понялъ, благодаря ей, все свое незнаніе. Съ этого и пошло.

— Какая же это книжка?—спросилъ я. То, что разсказывалъ мнѣ этотъ рабочій, разумѣется, не представляло ни малѣйшей новизны. Съ этого, т. е. съ интереса къ какой-либо одной книжкѣ, обыкновенно и начинается самообразованіе сотенъ и тысячъ людей,—начетчиковъ изъ народа. Я ужъ имѣлъ случай не мало видѣть такихъ людей. Мнѣ кажется даже, что въ ихъ появленіи есть даже какая-то законосообразность.

Но въ этомъ созданіи начетчиковъ, въ этомъ пробужденіи дремлющаго, такъ сказать, или потенціальнаго читателя, вовсе не книга играетъ главную роль. Книга въ данномъ случаѣ является совершенно случайнымъ элементомъ. Она уподобляется

искрѣ, упавшей случайно на готовый уже запасъ пороха. Какъ извѣстно, порохъ можетъ воспламениться отъ различныхъ причинъ, начиная отъ электрической искры и кончая какимъ-либо химическимъ процессомъ, при которомъ выдѣляется теплота. Вся сущность въ запасѣ потенціальной энергіи, которая создается не книгой, а жизнью. Въ исторической жизни народа, какъ извѣстно, бываютъ такіе моменты, когда самый ходъ вещей волей-неволей толкаетъ къ участію въ этой жизни не только людей грамотныхъ, но и не-грамотныхъ. Есть такіе вопросы, которые носятся воздухѣ и требуютъ своего разрѣшенія отъ всѣхъ и каждаго. Многія, очень многія головы долгое время работаютъ безсознательно, рѣшая ихъ. Сознательная работа начинается лишь много позднѣе, а съ какого конца она начнется, это опять таки-вопросъ личности. Намъ приходилось видѣть случаи, когда сознательная работа начиналась въ человѣкѣ послѣ того, какъ случайно ему попалась подъ руки книжка Л. Толстого „Чѣмъ люди живы". Грибоѣдова „Горе отъ ума", статья изъ „Историческаго Вѣстника" (напр. „Бунтъ въ Кандевкѣ" Худякова), „Разсказы о силахъ земныхъ" Иванова и проч. И индивидуальныя особенности личности, и мельчайшія условія обстановки, душевное настроеніе, испытываемое въ такой-то моментъ,— все это вліяетъ на то, к а к а я именно книга подѣйствуетъ на такого-то читателя. Но что к а к а я-л и б о к н и г а изъ десятковъ и, можетъ быть, сотенъ, имѣющихъ случай проходить черезъ его руки, на него подѣйствуетъ н е п р е м ѣ н н о, разъ историческія условія, переживаемыя народомъ, такія, а не иныя, разъ народное сознаніе работаетъ и не можетъ не работать надъ такими то вопросами, которые для иныхъ своего рода „быть или не быть",—что к а к а я л и б о к н и г а н е п р е м ѣ н н о подѣйствуетъ,—это ужъ несомнѣнно. Въ этомъ, въ сущности, и заключается громаднѣйшій интересъ изученія читателей изъ народа,— интересъ, можно сказать, историческій. Изучать читателя изъ народа,—это значитъ изучать пути мышленія народнаго въ его наиболѣе культурныхъ представителяхъ, изучать, какъ народъ додумывается до с в о е г о, читая ч у ж о е и размышляя надъ ч у ж и м ъ.

— Какая же книжка такъ заинтересовала васъ?—спросилъ я моего собесѣдника.

— Ужъ не помню ея заглавія,—отвѣчалъ тотъ.—Только тамъ говорилось о звѣздахъ и о лунѣ, и о солнцѣ, и о многомъ, что есть на небѣ,—просто говорилось, понятно. И свѣтъ показался мнѣ такимъ большимъ и такимъ просторнымъ, что и сказать вамъ теперь не могу. А раньше онъ казался такимъ душнымъ да маленькимъ. И такъ захотѣлось мнѣ знать, что есть на бѣломъ свѣтѣ,—трудно и выразить. Тогда я сталъ добывать книжки,

какъ только могъ. Что добывалъ, все читалъ, понятно оно или непонятно. Понемногу и привыкъ.

— Какія же вы книжки больше читали?

— Да всякія, о чемъ приходилось,—сказалъ, улыбаясь, мой собесѣдникъ.—Вѣдь книгъ-то не такъ много, чтобы выбирать. Только я старался, что ни прочитаю, все приводить въ связь одно съ другимъ, все ставить рядышкомъ. Такъ и удалось дойти до многаго... Читалъ и тоненькія книжки,—листовки,—иныя самъ покупалъ; читалъ „Исторію" Карамзина,—восемь томовъ прочелъ,—„Путешествіе Норова по святымъ мѣстамъ", „Чудеса подземнаго міра",—сочинителя ужъ не помню,—сочиненія Гюго—отличная книга „Девяносто третій годъ", и много, много книжекъ „Русскаго Вѣстника". Все это отъ конторщика добывалъ. Вотъ этого журнала я книжекъ двадцать перечиталъ. И сколько тамъ интереснаго было! Читалъ я тамъ о Галилеѣ, о Савонаролѣ, о Катеринѣ Медичи.

— И какъ же,—вы все понимали?

— Нѣтъ, не все понималъ, только что-жъ изъ этого? Кое-что изъ каждой книжки оставалось...

— А внутреннія обозрѣнія тоже читали?

— И ихъ читалъ иногда,—отвѣчалъ, улыбаясь, рабочій.—Только я ихъ тогда по настоящему не понималъ, хоть теперь и за нихъ спасибо скажу.

— За что же именно?

— Тамъ писали и о штундѣ, и о крестьянскомъ банкѣ, и о многомъ другомъ. И ни о чемъ объ этомъ я раньше ниоткуда и не слышалъ, а тамъ,—изъ внутреннихъ-то обозрѣній „Русскаго Вѣстника"—и узналъ... Читаю и думаю,—вотъ оно что еще на свѣтѣ-то есть!

Услышавъ такое признаніе, не могъ не улыбнуться и я.

— Отчего же вы у другихъ служащихъ болѣе хорошихъ и понятныхъ книжекъ не спросили?

— Нѣтъ, я спрашивалъ. Ходилъ къ одному инженеру,—онъ у насъ воскресную школу устраивалъ,—такъ онъ мнѣ и сталъ давать тоненькія. Я бралъ ихъ, бралъ,—и надоѣли онѣ. И поучительны очень, и ужъ больно просты. Какъ бы это сказать,—стало казаться мнѣ, что въ нихъ содержанія мало...

— Отчего же вы не попросили такихъ книжекъ, которыя были бы вамъ по душѣ?

— Какъ вамъ сказать,—сразу-то не рѣшился.

— А тотъ чего смотрѣлъ,—вставилъ вдругъ свое слово другой рабочій, который все это время, какъ мнѣ казалось, дремалъ.—Вѣдь видитъ, что съ нимъ говоритъ человѣкъ съ пониманіемъ— нечего было и совать тонкія книжонки... Нашего-то брата все больше ими пичкаютъ... Хе!

Это было сказано такъ рѣзко и такъ правдиво, что, признаться, мнѣ стало совѣстно за тѣхъ нашихъ культуръ-трегеровъ, которые и понятія иной разъ не имѣютъ о томъ, что запросы народа сплошь и рядомъ обогнали ихъ собственные.

— Только потомъ я сталъ и хорошія книжки добывать, продолжалъ молодой.

— Откуда же?

— Отъ священника. Его дочка была учительницей гдѣ-то въ другомъ городѣ. Она немного и своихъ имѣла, а главное,—научила меня въ библіотекѣ подписаться...

— А тамъ кто вамъ выбиралъ?

— Да я самъ!— отвѣчалъ рабочій и даже вспыхнулъ.—Развѣ трудно научиться книжку отыскивать хорошую? О чемъ интересно,—я всегда могу найти. Вѣдь вы же выбираете?

Отъ этого правдиваго вопроса—мнѣ опять стало совѣстно...

— И долго вы такъ читали?

— Да лѣтъ пять читалъ. И библіотека-то была тамъ бѣдненькая, да вѣдь и у нашего брата времени не много. Вотъ когда приспособились къ слесарной работѣ, тогда легче стало...

— Ну, а теперь вы куда ѣдете?—полюбопытствовалъ я.

Мой собесѣдникъ нѣсколько мгновеній какъ будто медлилъ отвѣчать.

— Мой товарищъ-то въ Варшавскую губернію, а я то,—я дальше ѣду.

— Куда же именно? настаивалъ я.

— Въ Бельгію.

Признаюсь, я такого отвѣта никакъ не ожидалъ. Безспорно, я понималъ очень хорошо, что случай столкнулъ меня въ этомъ вагонѣ съ однимъ изъ многочисленныхъ самоучекъ-интеллигентовъ изъ народа, выдвигаемыхъ фабрикой и деревней. Я понималъ все значеніе передвиженій такихъ самоучекъ по лицу святой Руси. Но зачѣмъ было ѣхать въ Бельгію? Этого я еще не понималъ.

— Зачѣмъ же тогда вы туда ѣдете?—спросилъ я.

— Такъ, надо... за многимъ...—уклончиво отвѣтилъ мнѣ мастеровой. И какъ бы предугадывая мое возраженіе, онъ продолжалъ.—Да, да, это вѣрно. И здѣсь работы много. Что же,—и мы дѣлаемъ что можемъ. Вотъ мы съ товарищемъ промежъ себя библіотеку устроили. И еще какую! (Мой собесѣдникъ вдругъ оживился). Хотите разскажу? Складчину устроили, всѣхъ податью обложили, ха, ха, ха! По 20 коп. въ мѣсяцъ. А кто и больше давалъ. Рублей до десяти въ мѣсяцъ вотъ мы съ нимъ собирали. И книгъ на эти деньги черезъ магазинъ выписывали.

— Вотъ какъ! И кто же выбиралъ?

— Да я же! Вотъ бы вы посмотрѣли, какъ эти книги читаются,—не листовкамъ чета!

— А вы уѣхали, такъ и библіотека пропадетъ, — пожалѣлъ я.

— Зачѣмъ же? На нашемъ мѣстѣ другіе остались. Только покажи да докажи, что интересно, такъ ужъ не погибнетъ!

Это было сказано тихо, но такъ горячо, такъ убѣжденно, что мнѣ хотѣлось встать и пожать, горячо, отъ всего сердца, руку моего случайнаго спутника... Но я этого не сдѣлалъ. Почему—и самъ теперь хорошо не знаю. Вѣрнѣе всего, въ силу какой то неувѣренности... Вѣдь если мы начинаемъ понимать, какъ нужно смотрѣть на народъ и на ту интеллигенцію, которую онъ выдвигаетъ изъ своей среды, развѣ изъ этого уже слѣдуетъ, что и онъ начинаетъ понимать насъ? Оттуда—идутъ бодрыя силы, а отсюда—кающіеся грѣшники... Только за послѣдніе годы какъ будто что-то измѣнилось къ лучшему. Понятіе объ интеллигенціи стало разграничиваться въ сознаніи такихъ людей изъ народа отъ понятія о „чистой публикѣ". Эти люди несомнѣнно стали понимать, что у нихъ есть с в о и писатели, с в о и ученые, с в о и журналы и газеты. Съ другой стороны, и интеллигенція стала понимать свое мѣсто въ рядахъ трудящейся массы и многому кой-чему научилась отъ нея... Но это только за послѣднія десять-пятнадцать лѣтъ.

Что-то удержало меня отъ порыва. Удержало даже тогда, когда мой спутникъ сказалъ:

— Ужъ мы три библіотеки товарищескихъ устроили. Вотъ мой товарищъ на новое мѣсто пріѣдетъ—и тоже соорудитъ.

И затѣмъ, улыбаясь своею хорошею, свѣтлою улыбкой, онъ прибавилъ:

— Мы все такъ,—съ фабрики на фабрику: то мы сами ходимъ, то насъ гоняютъ. И, ей-Богу же, въ этомъ худого ничего нѣтъ. Пусть гоняютъ! Г д ѣ м ы—т а м ъ и н а ш е. Вѣдь мы-то вотъ какъ понимаемъ, что намъ нужно—свѣту, свѣту и знанія. И мы тоже, какъ можемъ,—работаемъ... А ну-ка, зажми намъ ротъ-то! А ну-ка, попробуй. Не здѣсь, такъ тамъ, не тотъ, такъ этотъ, а ужъ наше дѣло кто-нибудь изъ насъ навѣрно сдѣлаетъ... Только, только...

— Только все же мнѣ непонятно, зачѣмъ вы уѣзжаете,— перебилъ я.

Мой спутникъ замялся снова. При свѣтѣ фонаря, колеблющемся въ тактъ съ громыханіемъ несущагося вагона, я видѣлъ смущеніе въ этомъ красивомъ, интеллигентномъ лицѣ и не понималъ его. Этотъ молодой человѣкъ, сидѣвшій предо мною, очевидно, чего-то искалъ, очевидно, къ чему-то стремился, и этихъ стремленій и исканій я не могъ даже и угадать. Я пони-

малъ только то, что стремленія такихъ людей уже начинаютъ идти впереди нашихъ стремленій, что не мы обгоняемъ этихъ людей, а они обгоняютъ насъ своими требованіями, что ихъ критическая и творческая мысль ушла впередъ такъ далеко, какъ, быть можетъ, и не снилось нашимъ "уравнителямъ подъ одно"...

Опять прошелъ кондукторъ съ фонаремъ и объявилъ, что ѣдущимъ на Варшаву нужно переходить въ другой вагонъ. Предстояло переселяться и мнѣ. Никогда мнѣ не приходилось дѣлать этого такъ неохотно, какъ тогда. Мнѣ хотѣлось о многомъ спросить моихъ случайныхъ спутниковъ, многое выяснить себѣ въ нихъ...

— Теперь,—вдругъ прервалъ эти думы мой случайный сотоварищъ,—хотѣлъ бы и я васъ спросить объ одномъ...

— Спрашивайте, пожалуйста,—сказалъ я.

— Вотъ о чемъ: если всѣ люди сдѣлаются людьми учеными, книжными, начитанными, да понастроятъ вездѣ школъ, да заведутъ библіотеки, станетъ ли имъ отъ этого лучше жить?

На этотъ прямой вопросъ, признаюсь, я побоялся дать прямой отвѣтъ. Я не хотѣлъ сильно разувѣрять того, кто, очевидно, клалъ и душу, и свои скудныя средства на то, чтобы распространять знаніе и свѣтъ въ толпѣ своихъ сотоварищей по труду. Разумѣется, знаніе нужно, но не одно знаніе. Знанія—только орудіе, а перестраивается міръ кое чѣмъ другимъ, хотя и съ ихъ помощью. Я не могъ увѣрять этого человѣка, что просвѣщеніе и работа въ этой области—панацея отъ всякихъ бѣдъ и золъ.

— А какъ по вашему?—спросилъ я его.

— Дружества, единенія у насъ вотъ нѣтъ,—задумчиво сказалъ тотъ.—Какъ-то всѣ ходимъ розно. Нѣтъ того, чтобы дѣйствовать сообща. Даже съ библіотекой какой-нибудь—и то какъ-вѣдь намучаешься. Тоже и съ кассой—сколько намъ непріятностей пришлось терпѣть... Вѣдь это такъ же худо, безъ дружества-то, какъ и во тьмѣ... Сказываютъ, въ Бельгіи нашъ братъ живетъ не такъ, какъ у насъ, и этимъ не грѣшенъ: за себя и за своихъ стоять умѣетъ...

Эти слова уяснили мнѣ то, чего я раньше не понималъ.

— А развѣ тамъ умѣютъ?—спросилъ я, чтобы продолжать разговоръ.

— Да, умѣютъ! Мы-то здѣсь вродѣ какъ въ ямѣ сидимъ. И бѣдно, и обидно, и темно,—это и есть вся наша жизнь. А тамъ много людей, быть можетъ, тоже въ ямѣ, но, какъ ни какъ, а изъ нея выбиваются. Тамъ выбиваются.

Рабочій съ особеннымъ выраженіемъ произнесъ эти слова, и его глаза сверкнули. Затѣмъ онъ продолжалъ:

— Тамъ и яма-то, быть можетъ, не такая паскудная, какъ наша, а вотъ люди даже и въ такой не хотятъ сидѣть. Нѣтъ, ты имъ

— Да я же! Вотъ бы вы посмотрѣли, какъ эти книги читаются,—не листовкамъ чета!

— А вы уѣхали, такъ и библіотека пропадетъ, — пожалѣлъ я.

— Зачѣмъ же? На нашемъ мѣстѣ другіе остались. Только покажи да докажи, что интересно, такъ ужъ не погибнетъ!

Это было сказано тихо, но такъ горячо, такъ убѣжденно, что мнѣ хотѣлось встать и пожать, горячо, отъ всего сердца, руку моего случайнаго спутника... Но я этого не сдѣлалъ. Почему—и самъ теперь хорошо не знаю. Вѣрнѣе всего, въ силу какой то неувѣренности... Вѣдь если мы начинаемъ понимать, какъ нужно смотрѣть на народъ и на ту интеллигенцію, которую онъ выдвигаетъ изъ своей среды, развѣ изъ этого уже слѣдуетъ, что и онъ начинаетъ понимать насъ? Оттуда—идутъ бодрыя силы, а отсюда—кающіеся грѣшники... Только за послѣдніе годы какъ будто что-то измѣнилось къ лучшему. Понятіе объ интеллигенціи стало разграничиваться въ сознаніи такихъ людей изъ народа отъ понятія о „чистой публикѣ". Эти люди несомнѣнно стали понимать, что у нихъ есть с в о и писатели, с в о и ученые, с в о и журналы и газеты. Съ другой стороны, и интеллигенція стала понимать свое мѣсто въ рядахъ трудящейся массы и многому кой-чему научилась отъ нея... Но это только за послѣднія десять-пятнадцать лѣтъ.

Что-то удержало меня отъ порыва. Удержало даже тогда, когда мой спутникъ сказалъ:

— Ужъ мы три библіотеки товарищескихъ устроили. Вотъ мой товарищъ на новое мѣсто пріѣдетъ—и тоже соорудитъ.

И затѣмъ, улыбаясь своею хорошею, свѣтлою улыбкой, онъ прибавилъ:

— Мы все такъ,—съ фабрики на фабрику: то мы сами ходимъ, то насъ гоняютъ. И, ей-Богу же, въ этомъ худого ничего нѣтъ. Пусть гоняютъ! Г д ѣ м ы—т а м ъ и н а ш е. Вѣдь мы-то вотъ какъ понимаемъ, что намъ нужно—свѣту, свѣту и знанія. И мы тоже, какъ можемъ,—работаемъ... А ну-ка, зажми намъ ротъ-то! А ну-ка, попробуй. Не здѣсь, такъ тамъ, не тотъ, такъ этотъ, а ужъ наше дѣло кто-нибудь изъ насъ навѣрно сдѣлаетъ... Только, только...

— Только все же мнѣ непонятно, зачѣмъ вы уѣзжаете,— перебилъ я.

Мой спутникъ замялся снова. При свѣтѣ фонаря, колеблющемся въ тактъ съ громыханіемъ несущагося вагона, я видѣлъ смущеніе въ этомъ красивомъ, интеллигентномъ лицѣ и не понималъ его. Этотъ молодой человѣкъ, сидѣвшій предо мною, очевидно, чего-то искалъ, очевидно, къ чему-то стремился, и этихъ стремленій и исканій я не могъ даже и угадать. Я пони-

малъ только то, что стремленія такихъ людей уже начинаютъ идти впереди нашихъ стремленій, что не мы обгоняемъ этихъ людей, а они обгоняютъ насъ своими требованіями, что ихъ критическая и творческая мысль ушла впередъ такъ далеко, какъ, быть можетъ, и не снилось нашимъ "уравнителямъ подъ одно"...

Опять прошелъ кондукторъ съ фонаремъ и объявилъ, что ѣдущимъ на Варшаву нужно переходить въ другой вагонъ. Предстояло переселяться и мнѣ. Никогда мнѣ не приходилось дѣлать этого такъ неохотно, какъ тогда. Мнѣ хотѣлось о многомъ спросить моихъ случайныхъ спутниковъ, многое выяснить себѣ въ нихъ...

— Теперь,—вдругъ прервалъ эти думы мой случайный сотоварищъ,—хотѣлъ бы и я васъ спросить объ одномъ...

— Спрашивайте, пожалуйста,—сказалъ я.

— Вотъ о чемъ: если всѣ люди сдѣлаются людьми учеными, книжными, начитанными, да понастроятъ вездѣ школъ, да заведутъ библіотеки, станетъ ли имъ отъ этого лучше жить?

На этотъ прямой вопросъ, признаюсь, я побоялся дать прямой отвѣтъ. Я не хотѣлъ сильно разувѣрять того, кто, очевидно, клалъ и душу, и свои скудныя средства на то, чтобы распространять знаніе и свѣтъ въ толпѣ своихъ сотоварищей по труду. Разумѣется, знаніе нужно, но не одно знаніе. Знанія—только орудіе, а перестраивается міръ кое чѣмъ другимъ, хотя и съ ихъ помощью. Я не могъ увѣрять этого человѣка, что просвѣщеніе и работа въ этой области—панацея отъ всякихъ бѣдъ и золъ.

— А какъ по вашему?—спросилъ я его.

— Дружества, единенія у насъ вотъ нѣтъ,—задумчиво сказалъ тотъ.—Какъ-то всѣ ходимъ розно. Нѣтъ того, чтобы дѣйствовать сообща. Даже съ библіотекой какой-нибудь—и то какъ-вѣдь намучаешься. Тоже и съ кассой—сколько намъ непріятностей пришлось терпѣть... Вѣдь это такъ же худо, безъ дружества-то, какъ и во тьмѣ... Сказываютъ, въ Бельгіи нашъ братъ живетъ не такъ, какъ у насъ, и этимъ не грѣшенъ: за себя и за своихъ стоять умѣетъ...

Эти слова уяснили мнѣ то, чего я раньше не понималъ.

— А развѣ тамъ умѣютъ?—спросилъ я, чтобы продолжать разговоръ.

— Да, умѣютъ! Мы-то здѣсь вродѣ какъ въ ямѣ сидимъ. И бѣдно, и обидно, и темно,—это и есть вся наша жизнь. А тамъ много людей, быть можетъ, тоже въ ямѣ, но, какъ ни какъ, а изъ нея выбиваются. Тамъ выбиваются.

Рабочій съ особеннымъ выраженіемъ произнесъ эти слова, и его глаза сверкнули. Затѣмъ онъ продолжалъ:

— Тамъ и яма-то, быть можетъ, не такая паскудная, какъ наша, а вотъ люди даже и въ такой не хотятъ сидѣть. Нѣтъ, ты имъ

что-нибудь лучшее подавай! Да и чего подавай,—они отъ другихъ этого даже и не просятъ: сами стараются добыть все, что имъ нужно.

— Да вѣдь это легко сказать—замѣтилъ я.

— Разумѣется, такъ—продолжалъ мой собесѣдникъ.—Ну такъ что-жъ, что не легко? Все-таки, главная-то суть не въ этомъ,—вѣдь прежде-то всего нужно все-таки знать и понимать, какъ именно, какимъ именно способомъ выбиваться, да съ чего начать. Этого-то изъ головы пожалуй и не придумаешь. Этому тоже поучиться надо.

—Колотушки-то принимать на свой загривокъ мы давно учены,—вставилъ мрачный товарищъ.—Приходитъ пора, что нужно намъ поучиться не только ихъ принимать, а и давать кому слѣдуетъ...

— Вотъ этому и надо поучиться—сказалъ молодой.—И вправду приходитъ такая пора...

— Приходитъ, приходитъ,—сказалъ въ свою очередь и я.

Мнѣ очень хотѣлось еще побесѣдовать съ моими спутниками, но увы,—поѣздъ уже подходилъ къ станціи, гдѣ мнѣ предстояла пересадка. Раздался глухой и протяжный свистокъ. Замелькали станціонныя зданія и сигнальные столбы. Запестрѣли лица и одежды пассажировъ, стоящихъ на платформѣ... Я собралъ свои вещи и уже тутъ, на прощанье, горячо пожалъ руки моимъ случайнымъ товарищамъ и друзьямъ.

Теперь ужъ я не колебался, называя ихъ этимъ словомъ,—и того, озлобленнаго и потертаго жизнью человѣка, и этого, полнаго вѣры въ жизнь...

И когда, полтора часа спустя, я снова сидѣлъ въ громыхающемъ ящикѣ, называемомъ вагономъ, и несся дальше, я уже не чувствовалъ себя словно въ душной и тѣсной тюрьмѣ, гдѣ ни дѣйствовать, ни жить нѣтъ возможности. И здѣсь, даже здѣсь, нашлись люди. И какіе же люди? Такіе, которые вовсе не желаютъ только брать и брать то, что имъ кто-то даетъ, но которые желаютъ брать и брать именно то, что имъ самимъ нужно и что они сами считаютъ нужнымъ, и брать хотя бы съ бою. И мнѣ думалось въ эту минуту,—развѣ не въ этомъ-то и заключается высшее человѣческое счастье, чтобы сознавать эту свою способность брать отъ жизни то самое, чего требуетъ твое собственное сознаніе? Брать отъ жизни! Но вѣдь это и значитъ передѣлывать жизнь, т. е. дѣлать ее именно такою, чтобы она давала человѣку и всѣмъ людямъ то, что имъ нужно. Вѣдь это и есть сила, это и есть счастье, это и есть борьба, это и есть жизнь и смыслъ жизни, это и есть творчество. Что же можетъ быть выше творчества жизни, ея передѣлки и перестройки на новый ладъ? Счастливъ даже тотъ борецъ, кто умѣетъ, кто способенъ къ разрушенію старыхъ, отжившихъ, обветшалыхъ, давя-

щихъ, ненужныхъ жизненныхъ формъ. Но еще счастливѣе тотъ, кто чувствуетъ въ своей душѣ искру новыхъ началъ, новыхъ принциповъ, новой, справедливой, широкой, осмысленной,—и общественной и личной жизни,—началъ, не имѣющихъ ничего общаго съ изжитымъ прошлымъ и отрицающихъ его, началъ, являющихся неизбѣжнымъ вѣстникомъ и даже воплощеніемъ свѣтлаго будущаго,—новыхъ основъ новой жизни, царства Божія на землѣ, созданнаго руками человѣческими,—царства всего трудящагося народа...

Попрежнему громыхали колеса подъ ногами. Попрежнему близкіе предметы неслись отъ меня назадъ и лишь далекіе, далекіе—впередъ; попрежнему новое облачко, какъ неотвязная дума, все еще висѣло на темно-голубомъ фонѣ неба прямо предо мною, но это ужъ была дума не мучительно-тревожная, а мучительно-радостная... Теперь уже я самъ говорилъ себѣ, что въ удивительно интересный моментъ я живу. То, во что вѣрю я, то, что дорого мнѣ—идетъ и безъ меня, идетъ само собою, и, что особенно важно, идетъ изъ глубины, отъ незнаемыхъ, отъ несчитанныхъ... Что такое была эта случайная встрѣча? Единственный примѣръ? Нѣтъ, не единственный. Примѣръ одинъ изъ многихъ. Ищутъ многіе, ищутъ по разному, но ищутъ. И идутъ многіе, и идутъ по разному, но идутъ...

Мнѣ припомнились стихи Гюго:

Ты думалъ, я волна? Нѣтъ, я потопъ всемірный!

Всѣ знаютъ, что жизнь сложна. Но несомнѣнно,—она гораздо сложнѣе, чѣмъ иные думаютъ. Есть нѣчто такое, чего она никому не уступаетъ. Бываютъ моменты, когда ничто не заставитъ ее ступать. Мышленіе читающей публики—та же жизнь. Ужъ, разумѣется, не для того писалъ свои статьи покойный редакторъ „Русскаго Вѣстника", чтобы съ ихъ помощью создавать такихъ людей, какимъ оказался этотъ мастеровой... Нѣтъ, ихъ создавало все,—и урожай, и неурожай, и „Русскій Вѣстникъ", и Пфейферъ, и „несчастный случай" на заводѣ, и дружеская библіотека, основанная своими братьями-товарищами...

Въ сосѣднемъ отдѣленіи вагона кто-то вдругъ запѣлъ:

Нелюдимо наше море,
Много бѣдъ сулитъ оно...

Грохотъ вагона помѣшалъ мнѣ слышать дальнѣйшія слова пѣсни. Но черезъ нѣсколько мгновеній я услышалъ опять:

Будетъ буря, мы поспоримъ
И поборемся мы съ ней...

Но тотъ же грохотъ подъ ногами заглушилъ и ихъ... А поѣздъ мчался и мчался впередъ. Деревья, дома, холмы, селенія мелькали быстрѣе и быстрѣе...

III

Лицомъ къ лицу.

Изъ путевыхъ наблюденій.

Какъ водится, дорога была ужасная. Невозможный экипажъ, воплощенная небылица въ лицахъ, не то тарантасъ, не то бричка, не то „долгушка„, не то среднее пропорціональное изъ всѣхъ трехъ, вѣроятно, изобрѣтеніе какого-нибудь самобытнаго мастера,—то прыгалъ, то переваливался изъ стороны на сторону, слѣдуя всѣмъ неровностямъ „казенной“ дороги и воспроизводя ихъ съ механической точностью на моей спинѣ и поясницѣ. Чтобы сохранить хотя бы подвижное равновѣсіе на мало подвижной колесницѣ, я принужденъ былъ выдѣлывать невозможныя вещи—упираться ногами, цѣпляться руками, изгибать туловище то вправо, то влѣво, то впередъ, то назадъ, хвататься съ какимъ-то особымъ остервенѣніемъ и за сидѣнье, и за широкую четырехугольную спину моего возницы, который, несмотря на страшную жару свѣтлаго іюньскаго дня, былъ плотно облаченъ въ черный суконный кафтанъ и черную, но успѣвшую основательно порыжѣть, теплую фуражку. По моему лицу въ изобиліи струились капли пота, тогда какъ ямщику, казалось, совсѣмъ не было ни жарко, ни неудобно: „дорога, какъ дорога,—такая, знать, и полагается. Другія еще того хуже будутъ,—чего ужъ тутъ“. Эти и тому подобныя утѣшительныя разсужденія несомнѣнно очень облегчали ямщицкое существованіе. Мой ямщикъ, очевидно, былъ философъ, хотя и не похожій на другихъ. Низкорослый, коротконогій, кубическій, съ плоскимъ, широкимъ лицомъ, чрезвычайно добродушнымъ, но и довольно-таки глупымъ, съ клинообразной, остренькой бородкой и широко-разставленными глазами, онъ обладалъ какою-то особенною способностью смотрѣть впередъ и

какъ будто бы ничего не видѣть, кромѣ лошадиныхъ хвостовъ и заднихъ лошадиныхъ ногъ.

— Голубчикъ, ѣхать-то намъ съ тобою еще далеко-ли?— спрашивалъ я его, спрашивалъ тѣмъ болѣе настойчиво и надоѣдливо, чѣмъ невыносимѣе становилась тряска по ухабистой дорогѣ.

— А кто-жъ его точно-то знаетъ? — отвѣчалъ монотоннымъ голосомъ возница.—Надыть полагать, верстъ съ десятокъ еще осталось.

— А когда же мы на Тугаевской фабрикѣ будемъ?

— А вотъ, какъ пріѣдемъ туда, такъ тамъ и будемъ...

И слѣва и справа дороги тянулась холмистая, зеленовато-желтая степь. Она походила на какое-то застывшее море съ неравномѣрно разбросанными, своеобразно изогнутыми, но вездѣ сглаженными и закругленными холмами, которые напоминали застывшія волны.

Солнечные лучи, палящіе, надоѣдливые, еще не успѣли умертвить, изсушить ни зеленой травы, ни пестраго собранія цвѣтовъ, среди которыхъ преобладали фіолетовые и желтые оттѣнки. Изрѣдка межъ холмовъ открывались, словно въ ямѣ, глубокія и живописныя балки, по которымъ бѣжала, причудливо извиваясь и походя на серебряную змѣйку, прихотливая рѣченка. Надъ нею, по скатамъ холма, желтѣли нивы, начинавшія уже колоситься, а подъ своеобразною зеленью пирамидальныхъ тополей привѣтливо бѣлѣли малороссійскія хатки съ толстыми соломенными крышами, которыя такъ походятъ на нахлобученныя шапки. Но эта панорама „населенныхъ мѣстъ", какъ именуетъ оффиціальная статистика всякіе хутора, поселки, деревушки и прочее,— панорама, почти не оживленная присутствіемъ живыхъ душъ, производила какое-то особенное впечатлѣніе. Улицы попадавшихся деревушекъ были безлюдны. Только изрѣдка, гдѣ-нибудь въ тѣни деревьевъ, виднѣлась группа дѣтей подъ надзоромъ сгорбленной старушенки, изрѣдка доносилось хрюканье свиньи, лѣнивое мычанье коровы. И только... И степь, и кое-какія воздѣланныя поля были безлюдны. Населеніе словно вымерло. Это мельканіе „населенныхъ мѣстъ" не нарушало общаго впечатлѣнія, производимаго на душу степью.

Признаюсь, я еще не сразу сумѣлъ разобраться въ своихъ впечатлѣніяхъ. Съ легкой руки нашихъ извѣстныхъ авторовъ, принято, вообще говоря, считать, что прежде всего степь производитъ на человѣка,—особенно на такого человѣка, который привыкъ жить въ четырехъ стѣнахъ, среди каменныхъ гробовъ, называемыхъ домами,—впечатлѣніе чего-то широкаго-широкаго, чего-то необъятнаго, впечатлѣніе простора и свободы. То, что я чувствовалъ, было нѣчто совсѣмъ иное. Среди этихъ зеленыхъ, застывшихъ волнъ я прежде всего, какъ-то всѣмъ нутромъ почувствовалъ

свое одиночество... Все холмы и холмы, все трава да трава, да свѣтло-голубое, совершенно безоблачное небо, извивающаяся пыльная дорога и на ней четыре живыхъ существа— двѣ лошади и два человѣка. Говорятъ, что степь поетъ сотнями птичьихъ голосовъ. Я не слышалъ этого пѣнія. Вокругъ меня царила необъятная, какъ и степь, тишина,—и здѣсь, вблизи, и далеко-далеко за этими холмами. Въ этой тишинѣ тонули, какъ въ морѣ, и пѣсня жаворонка, и топотъ нашихъ лошадей, и лѣнивыя понуканія возницы. Тишина и одиночество —эти двѣ черты опредѣляли полнѣе всего раскрывавшуюся передо мной картину. И когда я встрѣчалъ на пути кое-какіе одинокіе поселки, такіе же молчаливые и пустынные, тишина и одиночество казались для меня еще страшнѣе.

— А что же у васъ тутъ людей не видно?— спросилъ я моего ямщика, желая какъ-нибудь нарушить тишину. Неужто же у васъ всегда здѣсь народу такъ мало даже въ деревняхъ-то?

— А гдѣ же его взять-то, коли нѣтъ?—флегматично отвѣчалъ ямщикъ. — Извѣстно, теперь никого здѣсь нѣту-ти. Всѣ ушедши.

— Куда же?—настойчиво продолжалъ спрашивать я.

Возница съ минуту помолчалъ, крикнулъ „ну, голубчики, ну"! и затѣмъ, вѣроятно, вдругъ вспомнивъ мой вопросъ, отвѣтилъ, не торопясь:

— Извѣстно куда ушедши – на фабрику...

— На Тугаевскую?

— А на какую еще-то? Другой во всей округѣ нѣту!

— Что же, развѣ она много народа требуетъ?

— Когда какъ... Ну, голубчики, ну!.. Иногда много, а иногда возьметъ, да этакъ всѣхъ и распуститъ... Эхъ вы, разлюбезные! Трогай!.. Да, этакъ распуститъ и стоитъ мѣсяцъ-другой...

— Какъ же такъ стоитъ? А рабочіе-то куда идутъ?

— А куда-жъ имъ идти? У кого домъ есть—домой идетъ, а у кого дома нѣтъ—я-то почемъ знаю?

И это было сказано съ невозмутимымъ, философскимъ спокойствіемъ. Оно тѣмъ болѣе заинтересовало меня, что ужъ очень просто глядѣлъ мой возница на всякія такія вещи, которыхъ былъ свидѣтелемъ, безъ сомнѣнія, цѣлые десятки лѣтъ и которыя, очевидно, его нисколько не волновали, тогда какъ я отъ его спокойно сказанныхъ словъ волновался все болѣе и болѣе. Для меня какъ-то было непонятно, что вотъ фабрика работала-работала, сзывала народъ, сзывала, и шелъ этотъ народъ по этой самой пыльной дорогѣ, двигался по ней и въ жару, и въ холодъ, и вѣтеръ, и пѣшій, и конный, а затѣмъ „встала и стоитъ,

а тѣ, значитъ, по домамъ"!.. И идутъ тѣ же люди по той же дорогѣ назадъ съ обманутыми надеждами, пустыми карманами, и живутъ и питаются, кто гдѣ можетъ и какъ можетъ, до тѣхъ поръ, пока ихъ опять на эту самую фабрику не кликнутъ. А затѣмъ начинается та же исторія.

— А отчего же остановки бываютъ?

— А кто-жъ ихъ тамъ знаетъ? Я по фабрикамъ не служу. Сказывали мнѣ, что иной разъ машины новыя ставятъ, а то вотъ, года три тому назадъ, пожаръ былъ—флигель цѣлый сгорѣлъ... А иной разъ и такъ распускаютъ.

— Какъ это „такъ"?—полюбопытствовалъ я.

— Да такъ вотъ—работы мало, ну и распустятъ. Значитъ, некуда товаровъ дѣвать...

— И много народа тамъ работаетъ?

— Почитай, вся округа... Изъ-за сотенъ верстъ народъ сюда приходитъ– только работу давай.

— И бабы работаютъ?

— А то какъ же!

— И дѣти?

— А то какъ же!

— А земли-то у васъ много пашутъ?

— А кто-жъ ее знаетъ сколько? Почитай, что не очень-то много. Здѣсь все четвертинники... Было бы что пахать...

— Значитъ, отъ фабрики народъ здѣсь кормится?

— Много онъ тамъ нарабатываетъ! — ухмыльнулся возница...

Онъ дернулъ возжами, сплюнулъ сквозь зубокъ и затѣмъ флегматично сказалъ:

— Не кормится тамъ народъ, а обколачивается.

Звукъ „б" въ этомъ послѣднемъ словѣ показался мнѣ въ устахъ моего спутника какъ будто немножко страннымъ. Мнѣ показалось, что слово это было сказано вмѣсто другого, имѣющаго въ народной рѣчи опредѣленный смыслъ. Я переспросилъ, какъ это такъ на фабрикѣ народъ „обколачивается".

— А то какъ же?— удивительно флегматично процѣдилъ тотъ, какъ будто бы даже дивясь моему вопросу.—И сколько здѣсь народу отъ земли отбилось!.. Тяжко, знать, на четвертномъ-то надѣлѣ сидѣть—вотъ и бѣгутъ, бросаютъ землю-матушку. А фабрика тутъ и засѣла,—вродѣ какъ голодный народъ подкарауливать.

— Такъ чего жъ на землѣ-то сидѣть, когда земли почти нѣтъ?— продолжалъ спрашивать я.

— А такъ что потерпѣть до времени нужно... Уйти-то недолго. А вотъ ушли, ушли, — придетъ часъ, — тебя тутъ и нѣтъ...

— Какой такой часъ?—удивленно спросилъ я, начиная понимать, что въ головѣ моего возницы съ понятіемъ земли крѣпко на-крѣпко ассоціирована какая-то другая идея, вокругъ которой и бродитъ безсознательно или, быть можетъ, полусознательно, его не привыкшая къ отвлеченнымъ соображеніямъ душа.

— Да такъ,—продолжалъ мой возница,—ударитъ часъ этотъ самый, а тебя и нѣтъ у твоей земли, и давать ее некому. Тогда вотъ и скажутъ тебѣ. „а, братъ, ты отъ фабрики корма ждешь? Ну и жди отъ нея,—не будетъ тебѣ земли-то"!.. И правильно! Нешто можно мужику землю свою бросать?.. Только и останется тогда помирать съ голоду,—земля уйдетъ, да и фабрика не накормитъ...

Мой возница начиналъ терять свой обычно-флегматичный видъ, лишь только заговорилъ объ этомъ „часѣ".

— Ну, братъ, долго тебѣ этого „часа" дожидаться, сказалъ я, дѣлая попытку, хотя, разумѣется, безполезную, вывести его изъ упорнаго заблужденія.

— До-ождемся, баринъ,—протянулъ тотъ, какимъ-то знаменательнымъ тономъ, употребивъ впервые при этомъ слово „баринъ".—Эхъ вы, голубчики, трогай!

На нѣкоторое время опять воцарилось молчаніе.

— А какъ же это такъ народъ на фабрикѣ обколачивается?—снова спросилъ я, чтобы поддержать разговоръ.

— А оченно просто,—отвѣчалъ мой собесѣдникъ.—Пойдетъ это онъ, мужикъ-то, на фабрику, поработаетъ тамъ, поработаетъ, да и придетъ домой съ чѣмъ туда шелъ.

— Ужъ будто бы такъ?

— А то какъ же? Заработаетъ на харчи только-только одному, а дома-то и корми на свой-то заработокъ четырехъ или пятерыхъ человѣкъ... Н-нескладно устроено!..

Мой собесѣдникъ махнулъ при этомъ рукой и упорно уставился въ лошадиныя ноги, ходившія словно ходуны.

— Да вѣдь и земля то тебя не накормитъ,—опять-таки настойчиво сказалъ я.—Ты говоришь, и фабрика вашего брата только обколачиваетъ. Что же вамъ дѣлать-то въ такомъ случаѣ?

— А кто жъ его знаетъ?

— Вѣдь пить, ѣсть надо? Гдѣ-жъ ѣду-то достать?

— Ѣхалъ я этто съ господиномъ однимъ,—вдругъ заговорилъ мой собесѣдникъ.—Тоже вотъ, какъ теперь разговаривали... Тоже о нашемъ житьѣ все разспрашивалъ... Да и говоритъ этакъ мнѣ: какъ же вы это, братцы, свое житье устроить не можете? Дураки вы, значитъ.

— Ну, что-жъ ты ему отвѣчалъ?

— Да что ему отвѣчать-то? Самъ понимать долженъ. Только

и мнѣ это стало удивительно: отчего у него, у господина-то, настоящаго пониманія нѣтъ?

— Да ему что понимать?

— Какъ что? Все же, небось, мѣсто какое таиъ занимаетъ... Свои-то дѣла, небось, устроилъ...

Въ это время дорога сдѣлала крутой поворотъ, обогнувъ высокій зеленѣющій холмъ. На нашъ экипажъ сразу налетѣло густое облако пыли.

Кто ѣздилъ когда-либо по россійскимъ степямъ и дорогамъ, тотъ знаетъ, что означаютъ эти слова „облако пыли". Эта такая пыль, которая буквально застилаетъ солнце, залѣпляетъ глаза, набивается въ ротъ, въ носъ и уши, проникаетъ въ легкія, оседаждается на языкѣ, хруститъ на зубахъ; это такая пыль, которая издали кажется столбомъ дыма, поднимающимся надъ пожарищемъ... Сквозь эту пыль иногда не видно даже головъ лошадей.

Саженяхъ въ двадцати или тридцати передъ нами двигался, поскрипывая, цѣлый обозъ, который я съ трудомъ разглядѣлъ, когда главное облако пыли промчалось куда-то дальше. Флегматично шагали тонконогіе волы, то рыжіе, то пѣгіе, пыльные и грязные; еще флегматичнѣе лежали, развалившись на своихъ телѣгахъ, носомъ къ солнцу, въ холщевыхъ рубахахъ и самодѣльныхъ соломенныхъ шляпахъ, ихъ возницы, харьковскіе хохлы... Новый столбъ пыли снова скрылъ обозъ отъ моихъ глазъ, а когда пыль разсѣялась, у самаго моего экипажа, чуть ли не подъ его колесами, я увидѣлъ какого-то человѣка, сидящаго на травѣ. Это былъ человѣкъ лѣтъ тридцати или тридцати пяти, въ синей блузѣ, подпоясанный ремнемъ, въ высокихъ сапогахъ и въ черномъ картузѣ. Даже лицо и руки этого человѣка были покрыты не только потомъ и пылью, но и замазаны сажей и сильно просалены. Рядомъ съ человѣкомъ лежало пальто, мѣшокъ съ какими-то инструментами и крѣпкая дубовая палка. Мой возница раскланялся съ этимъ человѣкомъ.

— Ивану Кузьмичу, наше почтеніе!—привѣтливо сказалъ онъ, сдерживая легонько лошадей и не стѣсняясь нисколько моимъ присутствіемъ. Неизвѣстный человѣкъ поклонился тоже.

— На Тугаевскую путь-то держите?—спросилъ опять мой возница.—Ишь умаялись,—скажите барину-то,—онъ васъ подвезетъ...

Въ обращеніи моего спутника съ Иваномъ Кузьмичемъ проглядывала какая-то почтительность и особенное доброжелательство. Лицо Ивана Кузьмича невольно бросалось въ глаза. Это было энергичное, выразительное лицо, съ умными глубокими, задумчивыми глазами, смотрѣвшими открыто и прямо, но вмѣстѣ съ тѣмъ серьезно и вдумчиво, съ рѣзко очерченнымъ ртомъ, на-

половину закрытымъ небольшою курчавою бородкой. Вся фигура Ивана Кузьмича мнѣ очень понравилась, и я, не колеблясь, предложилъ ему занять мѣсто рядомъ со мною.

Иванъ Кузьмичъ быстро поднялся на ноги, съ достоинствомъ поклонился мнѣ и, не говоря ни слова, вскочилъ въ мой невозможный экипажъ.

— Вы на Тугаевской фабрикѣ работаете?—спросилъ я, желая завязать разговоръ, когда лошади уже тронулись.

— Да, тамъ,—отвѣчалъ Иванъ Кузьмичъ.

— А что это за фабрика?—спросилъ опять я.

— Писчебумажная, господъ Воденюковыхъ... Бумагу дѣлаемъ писчую, газетную, папиросную тоже... Большая фабрика!

Фамилія Воденюковыхъ мнѣ показалась какъ будто знакомой... Но эта фамилія напомнила мнѣ кого-то совершенно изъ другихъ временъ и другой среды, нѣчто далекое и теперь уже чуждое.

— И вы давно тамъ служите?

— Года четыре съ небольшимъ... А вы куда ѣхать изволите?

Я сказалъ.

— Долго вамъ еще ѣхать! Это далеко за Тугаевской будетъ!..

— Вотъ, господинъ,—вдругъ вмѣшался опять въ разговоръ мой возница,— Иванъ Кузьмичъ вамъ о фабрикѣ все, что угодно, скажетъ, потому самъ на нее отрабатываетъ... А мнѣ онъ кумъ— мою дочку Аннушку крестилъ...

И потомъ вдругъ, неизвѣстно по какимъ соображеніямъ, прибавилъ:

— Потому, что́ вы для него,—пріѣхали, да уѣхали, только и всего...

Чѣмъ была вызвана эта послѣдняя фраза—я не понялъ. Мой возница какъ будто бы старался пріободрить ею Ивана Кузьмича, какъ будто хотѣлъ сказать: „говори, Иванъ Кузьмичъ не робѣй"... Но этотъ послѣдній вдругъ весьма выразительно замолчалъ. Его даже сильно покоробило отъ словъ, сказанныхъ его куманькомъ. Вмѣсто того, чтобы отвѣчать на мои вопросы, Иванъ Кузьмичъ очень ловко и политично самъ принялся выспрашивать меня, кто я такой, куда и зачѣмъ ѣду, гдѣ живу, чѣмъ занимаюсь, и прочее. Всѣ эти разспросы, повидимому, скоро его удовлетворили, и между нами мало-по-малу завязался оживленный разговоръ, въ которомъ отчасти принялъ участіе и философъ-возница.

Лошади тащились, не торопясь. Ямщикъ тоже не торопился ихъ подгонять. Солнце, хотя и перевалило за полдень, все же пекло немилосердно. По сторонамъ дороги растилалась все та же безпредѣльная степь, а надъ ней еще болѣе безпредѣльное

небо. Никакое человѣческое жилье уже не попадалось намъ въ степи. Ни одна тучка не виднѣлась на небѣ. До Тугаевской фабрики оставалось, по меньшей мѣрѣ, два часа ѣзды. Нужно было скоротать какъ-нибудь время.

Иванъ Кузьмичъ, повидимому, вполнѣ, какъ говорится, вошелъ во вкусъ. Онъ говорилъ, почти не умолкая. Его лишь временами прерывалъ возница, вставляя свои немногосложныя замѣчанія, вродѣ „такъ-то оно такъ“ или „а то какъ же“?.

У насъ, среди фабричнаго люда, въ самой глубинѣ работающей массы, на такой глубинѣ, до которой не всякій интеллигентный изслѣдователь еще сумѣетъ проникнуть своимъ глазомъ, уже болѣе десяти лѣтъ несомнѣнно совершается крайне интересное и поучительное явленіе, еще трудно поддающееся оцѣнкѣ: мысль рабочаго человѣка, сдавливаемаго со всѣхъ сторонъ тяжелыми условіями экономическаго и всякаго иного характера, работаетъ усиленно и напряженно надъ разрѣшеніемъ такихъ вопросовъ, которые, какъ извѣстно, и въ настоящее время еще считаются неотчуждаемою собственностью „чистой публики“. Въ трудовой массѣ проявляется своего рода „міровая скорбь“, Weltschmerz, своего рода идейный подъемъ, выдвигающій идейныхъ работниковъ. Кто или что ихъ порождаетъ? Откуда они черпаютъ весьма знаменательную широту и опредѣленность своего кругозора, критическое, сознательное отношеніе къ той обстановкѣ, въ которой имъ приходится жить? Откуда они черпаютъ, наконецъ, силу или настроеніе, втягивающія ихъ въ это самое идейное теченіе, какою отмѣчена исторія нашего общественнаго развитія за послѣднія 30 лѣтъ? На всѣ эти вопросы въ настоящее время отвѣты могутъ быть даны лишь гадательные и приблизительные. Слишкомъ мало мы знаемъ то, что происходитъ въ народной средѣ, слишкомъ многое мы мѣряемъ тамъ совсѣмъ не той мѣркой, какая въ данномъ случаѣ нужна, слишкомъ далеки бываемъ мы отъ болѣе или менѣе объективной и внѣсословной оцѣнки, слишкомъ сильно въ насъ то, что на языкѣ психологіи называется апперцепціей... Тѣ, кому приходится жить на фабрикѣ и сталкиваться съ ея населеніемъ лицомъ къ лицу, навѣрное уже имѣли случай наблюдать представителей этого нарождающагося типа, носителя скорби своей среды. Разумѣется, такихъ людей, сравнительно со всей народной массой, до сего времени еще мало, и они представляются явленіемъ исключительнымъ и тонутъ въ общей массѣ сѣраго, ничѣмъ не замѣчательнаго люда; но исключительность этого явленія — не столько дѣйствительная, сколько кажущаяся, и врядъ ли приложеніе статистическаго метода, обращающаго вниманіе прежде всего на количество, а не на качество, въ данномъ случаѣ умѣстно. Много ли такихъ элементовъ, носителей Weltschmerz'а, и въ культурной средѣ, и не

тонутъ ли и они „какъ песчинки въ болотѣ"? По крайней мѣрѣ я, проживъ нѣсколько лѣтъ на одной фабрикѣ, потолкавшись по другимъ фабрикамъ и познакомившись съ умственной физіономіей рабочаго люда, прежде всего вынесъ изъ этого знакомства то впечатлѣніе, что въ глубинѣ этой рабочей, фабричной среды, еще съ начала девяностыхъ годовъ, сталъ замѣтенъ несомнѣнный умственный подъемъ, идейные типы стали встрѣчаться чаще и чаще, что подъемъ этотъ начался и идетъ въ сущности почти безъ всякихъ внѣшнихъ вліяній, такъ сказать, самопроизвольно, и обусловленъ двумя основными фактами, противъ которыхъ, надѣюсь, никто не станетъ спорить: во-первыхъ, тѣмъ, что въ этой рабочей массѣ не мало есть умныхъ, отзывчивыхъ людей, голова у которыхъ не можетъ не думать, сердце не можетъ не чувствовать, а глаза не могутъ не видѣть, что творится вокругъ не только въ такомъ-то уголкѣ, но и во всѣхъ россійскихъ углахъ, глухихъ и не-глухихъ, вплоть до столицъ и резиденцій включительно; во-вторыхъ, что наша текущая жизнь о многомъ даже заставляетъ подумать и требуетъ, чтобы именно рабочіе люди объ этомъ думали, потому что слишкомъ ужъ много въ ней разныхъ неурядицъ, и слишкомъ ужъ чувствуетъ ихъ рабочій человѣкъ на своей спинѣ. Да вѣдь нужно только хоть немного подумать объ этихъ двухъ коренныхъ фактахъ, чтобы понять ихъ громадное общественное и историческое значеніе, чтобы никогда, ни въ какомъ, даже самомъ печальномъ случаѣ, не потерять вѣры въ назрѣваніе лучшаго будущаго въ трудовой средѣ. На воззрѣніе этихъ, если такъ можно выразиться, „общественныхъ людей" изъ трудящагося народа, не въ силахъ подѣйствовать ни самый реакціонный журналъ, ни самая глупая газета, ни рутинныя стремленія разныхъ общественныхъ группъ, какъ на какую-то tabulam rasam. Встрѣчаясь съ идейнымъ типомъ въ средѣ крестьянъ и фабричныхъ, обыкновенно ахаютъ и удивляются. Это выходитъ только смѣшно и оскорбительно; было бы гораздо болѣе странно и невѣроятно, если бы *такихъ людей не было вовсе*. Скажутъ: есть времена, когда такое-то растеніе процвѣтаетъ, но есть и такія времена, когда оно гибнетъ. Безспорно, слова эти справедливы въ мірѣ растеній, но не въ мірѣ идей. Нѣтъ и не было въ исторіи такихъ временъ, когда бы гибло массовое пониманіе, отзывчивость и альтруистическія стремленія народа, когда народная масса не выдвигала бы изъ своей среды не только идейныхъ мыслителей, но и идейныхъ работниковъ и борцовъ, желающихъ положить душу свою за други своя.

Иванъ Кузьмичъ родился на фабрикѣ, грамотѣ научился у своего отца—рабочаго же, который училъ его съ „смертнымъ боемъ", одиннадцати лѣтнимъ мальчишкой онъ уже стоялъ у какой-то машины, въ атмосферѣ тридцати градусовъ по Реомюру

пятнадцати лѣтъ онъ перенесъ на своей спинѣ „несчастный случай", потому что какая-то другая машина, у которой онъ тогда стоялъ, въ концѣ концовъ, зацѣпила таки его ремнемъ, втянула въ себя, перекувырнула, ударила разъ другой, переломила правую руку и лѣвую ногу, но—и за то спасибо—оставила живымъ и не лишила возможности работать. Иванъ Кузьмичъ отлежался и выздоровѣлъ и, во всякомъ случаѣ, не потерялъ способности работать. Проходя со ступени на ступень по фабричной лѣстницѣ, Иванъ Кузьмичъ, въ концѣ концовъ, добился почетнаго званія „машиниста", нѣчто вродѣ няньки и пѣстуна громаднаго парового чудовища съ гигантскимъ маховикомъ, мощными цилиндрами, съ безконечнымъ числомъ винтиковъ, крановъ, рычаговъ и проч. Все это до послѣдняго болта и гайки, до послѣдняго сальника, въ концѣ концовъ, возложено было на попеченіе Ивана Кузьмича, подъ руководствомъ сначала какого-то заграничнаго нѣмца, а потомъ и своего инженеръ-механика. И вотъ, стоя цѣлыхъ тринадцать лѣтъ, изо дня въ день, изъ мѣсяца въ мѣсяцъ, у своего нагрѣтаго чудовища, которое вѣчно пыхтитъ, свиститъ, временами постукиваетъ и громыхаетъ, прислушиваясь къ шипѣнію паровъ и лязганью громаднаго резиноваго ремня, Иванъ Кузьмичъ еще молодымъ человѣкомъ началъ думать, какъ онъ говорилъ, „свою собственную" задушевную думу. Думалъ онъ и о томъ, какъ „люди до всего дошли", и о томъ, какъ они „фабрику устроили", какъ у „одного единственнаго человѣка могло столько денегъ найтись, чтобы онъ такую махину соорудилъ". Бывали и всякія „столкновенія" и недоразумѣнія, которыя тоже наводили на размышленія. Когда я спросилъ Ивана Кузьмича, съ чего же, собственно, начались эти размышленія, то сколько ни думалъ Иванъ Кузьмичъ, такъ и не вспомнилъ. „Съ чего-то началось... Кажется, съ того, что чувствовалъ ужъ я очень"...—Что чувствовалъ?—„А такъ, вообще .. Разумѣется, помогали и книги"... Но до самыхъ двадцати пяти лѣтъ Ивану Кузьмичу и книгъ-то почти не попадалось. Затѣмъ стали попадаться и онѣ.

— Артель меня на чтеніе навела. Жилъ я долго въ артели, которая состояла человѣкъ изъ двадцати. Всѣ жили въ одной комнатѣ или, вѣрнѣе, въ коморкѣ, саженъ семь квадратныхъ. Въ ней только и помѣщалось, что десять кроватей да большой артельный столъ.

— Какъ десять кроватей, когда васъ двадцать? — спросилъ я.

— А такъ: десять человѣкъ работаютъ днемъ, а десять ночью... Ну, на всѣхъ и хватало десять кроватей. Только вотъ въ праздники тяжело приходилось—душно ужъ очень. Тогда иные шли ночевать куда-нибудь на фабрику... Чего вы удивляетесь?

И теперь у насъ на Тугаевской иные не лучше живутъ. Хозяинъ другой, а житье-то такое же. Вотъ пріѣдете—увидите. За такую коморку съ насъ теперь по сорокъ пять рублей въ мѣсяцъ собираютъ. По два съ четвертакомъ на брата за нее у насъ вычитываютъ. Да кромѣ того артель платитъ 8 рублей кухаркѣ, да харчи обходятся въ мѣсяцъ рублей шесть на каждаго, безъ чая и сахара. Затѣмъ, нужно еще оставить на баню да на табакъ, да на мыло, да на одежонку. Чтобы прожить, каждому въ нашихъ краяхъ мало-мало нужно рублей десять — одиннадцать.

— А зарабатываютъ-то сколько?—спросилъ я.

— Кто какъ... Я рублей двадцать пять,—у меня вѣдь семья, дѣти. Больше зарабатываютъ рублей по 12 или 13...

— Не густо, сказалъ я.

— Не густо!—подтвердилъ онъ.

— Одно слово — обколачиваются,—вставилъ свое замѣчаніе и ямщикъ.

— Да что здѣсь? Былъ я въ разныхъ мѣстахъ,—все больше на одинъ ладъ заведено. Нашъ теперешній хозяинъ тоже насъ не балуетъ, хотя съ виду ухъ какой привѣтливый, и такія все хорошія слова говоритъ. Ну, спасибо ему хоть за то, что школу и больницу устроилъ, книжки даетъ читать всякія. Старый-то не давалъ... Да, такъ вотъ говорю, читать-то меня артель пріучила. Мы вотъ какъ живемъ: вставать-то приходится въ 5 часовъ, только всталъ—звонокъ: на работу. Въ 7 часовъ вечера приходишь домой, ну, и за ужинъ. Пожилые мужчины больше ложатся спать сразу послѣ ужина, молодежь садится играть въ карты, больше играютъ въ „козла". Рѣдко-рѣдко читаютъ вслухъ и книжки: „Черный воронъ", „Заднѣпровская вѣдьма", „Ермакъ", еще что-то... И, вѣрите ли,– эти книжки меня, какъ говорится, вотъ какъ пробрали: захотѣлось узнать, что на свѣтѣ было и бываетъ... Сначала такъ просто захотѣлось, ради интересу, а послѣ словно какой-то зудъ одолѣлъ. Я самъ сталъ выискивать книжки и въ артели читать. И самъ пріохочивался и другихъ пріохочивалъ. Такое у насъ чтеніе въ артели началось—просто бѣда! До полуночи сидѣли, когда „Князя Серебрянаго" и „Кудеяра" читали. И всѣмъ очень жалостно было, что подъ Кудеяромъ полъ провалился, когда тотъ на Ивана-то Грознаго бросился. Ну, понятно, когда самъ-то читаешь, такъ легче все уразумѣть. Волей-неволей мнѣ пришлось и книжку читать, и другимъ ее толковать. Вечеромъ толкуешь, а днемъ стоишь у машины да самъ этакъ вотъ обдумываешь да обдумываешь.

— И долго такія чтенія у васъ шли?

— Почитай, года два съ небольшимъ. И до многаго мы стали своимъ умомъ доходить. Даже былъ у насъ такой рольщикъ,

Терентій, по прозванію „Дура", малый непонятливый. И онъ слушалъ себѣ да слушалъ. Только онъ-то все и сгубилъ по своей глупости.

— Какъ такъ?

— А очень просто. На фабрикѣ, у машинъ, мастеръ никогда читать не позволяетъ. Оно и правильно: въ бумажномъ дѣлѣ очень легко хозяина въ убытки ввести, чуть что не досмотришь. Сѣтка повредится, сукно разрѣжется. Терентій не досмотрѣлъ, цѣлый ролъ массы напортилъ—зачитался „Пана Твардовскаго". Съ этого и началось. На Терентія штрафъ наложили. Мастеръ началъ смотрѣть строго на-строго, нѣтъ ли на фабрикѣ у рабочаго книжекъ. Чуть что замѣтитъ—сейчасъ и отберетъ. „Да она у меня на папироски приготовлена", бывало, говоришь ему, чтобы какъ-нибудь оправдаться.—„Ахъ ты, дуракъ, пошелъ вонъ". Нашъ Карлъ Карлычъ, „ночной мастеръ" *), гораздъ былъ ругаться и на этотъ случай такія русскія отборныя слова зналъ, какихъ и мы не слыхивали. Ну и случился случай. Одинъ паренекъ—онъ работалъ подручнымъ у сѣточника **)— взялъ да и досталъ у сосѣдней учительницы романъ Шпильгагена и давай читать ночью у машины. Карлъ Карлычъ и налетѣлъ. Книгу отобралъ,—въ контору. Тамъ на бѣду урядникъ. Какъ увидѣлъ „Впередъ", такъ съ нимъ чуть не столбнякъ сдѣлался. Протоколъ. Цѣлое дѣло! „Откуда взялъ книгу, такой-сякой"?—Даже драться сталъ. „Отъ учительницы". Къ той пошли. Не только урядникъ, а и становой. „Изъ библіотеки, говоритъ, книга, ничего не знаю больше". Учительница бѣдняжка (въ прошломъ году она отъ горловой чахотки умерла) даже расплакалась... Такъ что же вы думаете?—Библіотеку эту самую въ нашемъ сосѣднемъ городѣ даже закрыть хотѣли. Хозяинъ ея другой экземпляръ романа даже въ землю закопалъ. Къ счастью, кто-то изъ начальства выручилъ и объяснилъ, что книга эта—дозволенная. Смѣшно вамъ? А намъ-то не смѣшно было. Съ тѣхъ поръ конецъ пришелъ нашимъ чтеніямъ. Года три вмѣстѣ-то нечитали.

— Отчего же?

— А оттого, что о нашихъ чтеніяхъ даже въ протоколѣ было записано. Хоть и дозволенныя книги читали, а все же артелью-то читать, сказали намъ, „нехорошо". Да, такъ-то: нехорошо да нехорошо, а чего нехорошо, такъ мы и не поняли. Ну, къ тому же и смотрѣть стали. И насталъ нашимъ вечерамъ конецъ. Только это ни къ чему вышло.

---

*) Такъ называется тотъ мастеръ, который наблюдаетъ за фабрикой въ ночное рабочее время.

**) Сѣточникъ стоитъ у главной бумажной машины и занимаетъ отвѣтственную должность.

— Какъ ни къ чему?—спросилъ я.

— А такъ, ни къ чему! Послѣ этого меня такая злость взяла, такая злость—и сказать вамъ не могу. И злость, и обида. Ну, и не меня одного... Послѣ первой получки взялъ я всѣ двадцать рублей, какіе заполучилъ, и въ городъ. Семьи-то у меня тогда не было. Въ городъ пришелъ пѣшкомъ, чтобы деньги сберечь. А тамъ прямо на базаръ—книги искать. А книжнаго магазина еще не было въ городѣ. Онъ только въ прошломъ году завелся. На рынокъ часто офени выѣзжали. Ну, и нашелъ я офеню съ книгами.

— Какими же?

— Да разными. Былъ тутъ одинъ томъ сочиненій Лермонтова, „Никласъ медвѣжья лапа", „Ожерелье королевы", одинъ томъ „Исторіи крестьянской войны", „Феликсъ Гольтъ" Элліота, „Долой оружіе", очень хорошій романъ, много листовокъ, разныхъ журналовъ книжки. Я все купилъ. Цѣлый ворохъ разныхъ книгъ на фабрику приволокъ,—онѣ у меня до сихъ поръ еще хранятся. Что нашелъ, все купилъ,—читай, ребята, каждый про себя, а потомъ потолкуемъ о нихъ вмѣстѣ,—про это вѣдь намъ ничего не сказано!..

— Ну, и что же?

— И такъ всѣ эти книжки въ ходъ пошли — просто душа радовалась. Другого-то ничего нѣтъ. Читать охота. Ну, и читали,—даже тѣ, кто не все и понималъ. Особенно та книжка понравилась, которая о войнѣ разсказывала. Кто раньше и насъ-то не слушалъ и на нашихъ чтеніяхъ не бывалъ, и тотъ принялся читать. Даже Терентій „Дура" въ засосъ читалъ.

— И много васъ спѣлось въ такую читательскую артель?—спросилъ я.

— Человѣкъ двадцать. Тутъ были и молодые, и старые. Былъ даже одинъ такой, Никифоръ Козловъ, читать почти совсѣмъ не умѣлъ, а ночью, бывало, придетъ ко мнѣ въ отдѣленіе (онъ, по сосѣдству, у котловъ работалъ) и проситъ разсказать, что читано. И не отвяжешься вѣдь. Теперь же нашъ Никифоръ умеръ давно.

— А съ другими товарищами что сталось?

— Иные до сихъ поръ со мной, а иные разошлись. Вѣдь наша фабрика разъ-то ужъ горѣла... Послѣ пожара многіе разбрелись. А книги-то вѣдь и до сихъ поръ цѣлы!

Иванъ Кузьмичъ произнесъ послѣднія слова какъ будто бы даже съ гордостью, и добавилъ:

— Теперь ихъ у насъ много! Накупили за пять-то лѣтъ!

— А читателей-то стало больше?

— Да, побольше гораздо. Только народъ-то не очень дружный. Пониманія все же настоящаго нѣтъ.

— Отчего же это, по вашему мнѣнію?

— Да отъ многаго. Скоро и не пересчитаешь, отчего. То отъ насъ самихъ, а то и отъ хозяевъ.

— А хозяева тутъ при чемъ?

— А то какъ же!?—вставилъ свое слово возница.

— А вотъ что я вамъ разскажу,—продолжалъ свою рѣчь Иванъ Кузьмичъ.—Возьмемъ вотъ теперь, нашъ хозяинъ и его сестра,—книжки любятъ читать, журналы тамъ всякіе выписываютъ, русскіе, иностранные. У самого цѣлая комната книгами заставлена. Вотъ онъ со своей сестрицей въ прошломъ году и для насъ библіотеку завели. Такъ что-жъ вы думаете? Такую фильтру для книгъ-то устроили, что и не опишешь!

— Фильтру? Какую же это?

— А такую. Барышня, сестра-то хозяйская, всякую книжку прежде сама прочтетъ, а потомъ намъ дастъ. Это, значитъ, насъ бережетъ, хо-хо! И хозяинъ тоже. Ну, напримѣръ, теперь я—много ужъ прочиталъ книгъ, и свои имѣю, и чужія, отъ учительницы беру, и журналы вижу, получаю газету. Ну, знаю ужъ тамъ, какія есть хорошія книги на свѣтѣ. Пробовалъ и я ихъ спрашивать у хозяина: дайте мнѣ вотъ „Политическую экономію". Такъ что же вы думаете? Въ глаза мнѣ вѣдь засмѣялся, хоть всегда съ виду-то онъ ласковый И обидно вѣдь такъ сказалъ: „Вотъ еще что выдумалъ! Вѣдь мы въ вашу библіотеку-то книгъ много накупили,—и безъ этого есть что читать"!

— И не далъ?

— Не далъ. Я еще раза два у него и у сестрицы его спрашивалъ по своему выбору. Другіе тоже. Ни-ни! Все фильтра да фильтра. Ну, понятно, коли нѣтъ другихъ книгъ, такъ и эти будешь читать. Только ни къ чему все это. Замедленіе одно, а не дѣло. Обидно только.

— Что именно?

— А то, что какъ будто онъ всѣхъ насъ за дураковъ какихъ-то считаетъ, словно у насъ и своей головы нѣтъ, и думать мы вовсе не умѣемъ... А господинъ-то съ виду такой гладкій будетъ. И сестрица его тоже. И высокія же слова они говорятъ иногда, словно проповѣдники какіе.

— Ну, что же, а замедленіе то большое выходитъ?—спросилъ я.

Иванъ Кузьмичъ немного подумалъ, а потомъ улыбнулся и сказалъ:

— Не очень-то!.. Иной ихнюю книжку вотъ такъ пойметъ, а прочту я, прочтетъ ее еще кто-нибудь,—смотришь,—тамъ и не то, что хозяевамъ на руку... Ну и растолкуешь...

— И понимаютъ?

— Еще бы!.. Съ полуслова. Вотъ есть другая статья—та больше портитъ дѣло.

— Какая именно?

— Справедливости у насъ на фабрикѣ мало. Все подлаживайся да подлаживайся. Не говоря ужъ о хозяинѣ и его сестрицѣ, а и къ директору, и къ инженерамъ, и къ мастеру, и къ Карлу Карлычу, и къ конторщикамъ тамъ разнымъ... Надбавки-то да льготы всѣ отъ нихъ вѣдь... Ну, на эту удочку многихъ ловятъ. Думали всѣхъ поймать недавно, да не больно-то вышло.

— Какъ это всѣхъ?

— Да такъ. Страхованіе завели. Въ годовой праздникъ у насъ молебенъ бываетъ. Вотъ послѣ молебна хозяинъ и объявилъ, что всѣхъ своихъ рабочихъ онъ отъ несчастныхъ случаевъ застраховалъ: какъ что съ кѣмъ случится—сейчасъ тому премію выдадутъ. Иные-то поняли, что онъ говорилъ. Но многіе не поняли.

— Что же тутъ худого?—спросилъ я Ивана Кузьмича.

— Худого-то ничего нѣтъ, да и славы-то мало, что хозяинъ себя-то отъ убытковъ застраховалъ, неравно какъ его платить за несчастный-то случай заставятъ...

— Еще что выдумали!—вставилъ свое слово возница.—Грѣхи!

Я невольно улыбнулся такой постановкѣ вопроса, но не сталъ разубѣждать Ивана Кузьмича, желая продолжать интересный разговоръ.

— И что же, были у васъ послѣ того несчастные случаи?

— Богъ миловалъ. Только вотъ-вотъ, а случится. Ужъ такъ у насъ порядку мало, я вамъ скажу,—страсть. Не знаю, чѣмъ и держимся иногда.

— Вотъ видите, несчастнаго случая не было, а хозяинъ страховку отъ себя платитъ.

— Отъ себя? Наши же это денежки! Лучше бы онъ на нихъ хоть казарму получше выстроилъ или „винтиляцію“ завелъ, или бы намъ эти деньги отдалъ на школу тамъ, что ли. Иныя наши ребятишки все еще за четыре версты въ школу должны теперь бѣгать.

— Развѣ же фабричной школы нѣтъ?

— Есть и фабричная, только она полнымъ полна. Вѣдь на фабрикѣ двѣ тысячи душъ живетъ!

— А больница есть?

— Есть и больница. Что-жъ, это дѣло хорошее. Только... только... какъ бы вамъ это сказать? Все равно, на мой взглядъ, это какъ бѣличье колесо выходитъ.

— Что имѣнно?

— Вотъ побывайте у насъ на фабрикѣ: въ машинномъ отдѣленіи такой паръ стоитъ, что дышать даже невозможно. Бабы, что рѣжутъ тряпку, гнилью всѣ пропитаны: пыль да гниль. Зараза! Въ позапрошломъ году у насъ холера была—двадцать пять бабъ въ двѣ недѣли умерло! Ужъ что тамъ больныхъ лечить! Лучше бы ужъ такъ устроили, чтобы работать-то поудобнѣе, по здоровѣе было можно!

— Отчего же вентиляцію не устроятъ?

— А вотъ поди-жъ ты! Надо полагать, деньги не малыя, и ихъ жалко!

— А то какъ же?—вставилъ опять свое слово возница.

— Не жалѣютъ насъ, господинъ,—вдругъ воскликнулъ Иванъ Кузьмичъ, — такъ не жалѣютъ, что я вамъ и сказать-то даже не могу. Маются люди, хвораютъ... Дѣтишки это рваныя, безъ призору, въ жильѣ духота, грязь. Только о харчахъ всѣ и думаютъ. Пьютъ, безобразничаютъ. Больныхъ много. Одно слово — горе, темнота.. Бьются-бьются, а только-только на харчи и хватаетъ... И такъ это горе за сердце возьметъ—вотъ! Я стихи даже о нашемъ горѣ написалъ—не утерпѣлъ. Хотите, прочитаю?

— Пожалуйста, прошу васъ.

Возница поѣхалъ шагомъ. Иванъ Кузьмичъ вытащилъ изъ кармана пальто вчетверо сложенную бумажку, исписанную крупными, неотчетливыми словами, съ большими грамматическими ошибками, развернулъ ее и началъ читать, немного нараспѣвъ, но съ неподдѣльнымъ чувствомъ *).

Ахъ ты доля наша, долюшка,
Ахъ ты долюшка тоскливая...
Ты откуда намъ досталася...
Ты откуда, б о я з л и в а я?..
Не съ росою ты спустилася
И не съ вѣтрами примчалася,
А насъ х и т р ы е проводятъ все,—
Хитрость „долей“ и назвалася.
Ахъ мы, бѣдные, несчастные,
Горемычные, убогіе!
Почему жъ это проводятъ насъ
Наши хитрые и строгіе?
И что только они думаютъ?
И на что р а с п о л а г а ю т с я?
Иль изъ слезъ брильянты дѣлаютъ
И слезами умываются?

Далѣе въ стихотвореніи шло описаніе всевозможныхъ неурядицъ фабричной и крестьянской жизни, на ту тему, что „строгости съ каждымъ годомъ прибавляются“, а „чиновники-грабители все чинами возвышаются“!..

Мы же мучаемся, маемся,
Насыщаемъ всю сторонушку...
А какъ подать не уплачена,
То берутъ твою коровушку
И ведутъ ее, кормилицу,
Къ людямъ сытымъ отъ голоднаго.
А деревня—какъ убитая,—
Нѣтъ въ ней г о л о с а н а р о д н а г о.
Чуть лишь что, и всѣ пугаются
И стихаютъ въ ослѣпленіи,

*) Стихи эти дѣйствительно написаны фабричнымъ рабочимъ.

Смотрятъ, какъ ведутъ коровушку,
Смотрятъ всѣ въ недоумѣніи...
И тогда въ твоей головушкѣ
Такъ ясна-больна жизнь рабская...
И стоишь, и думу думаешь;
Эхъ ты, воля, воля царская!..

Далѣе, авторъ стихотворенія не жалѣлъ и поповъ, которыхъ называлъ „миротворцами волосатыми“, за то, что они не заступаются за простой народъ. Горячіе упреки посылались и по адресу высшихъ властей, которымъ такой порядокъ на руку, потому что онѣ отъ него-то и кормятся и богатѣютъ. Словомъ сказать, весь существующій строй снизу до верху былъ воспѣтъ въ этомъ стихотвореніи какъ слѣдуетъ, и изъ каждаго слова было видно, что авторъ отлично понималъ всю „хитрую механику“ и зналъ, о чемъ онъ писалъ...

Свое стихотвореніе авторъ оканчивалъ такъ:

Ахъ ужъ долго ли мы, братіе,
Будемъ мучиться и маяться,
Скоро-ль тьма пройдетъ проклятая,
Скоро-ль свѣтлый день проявится?

Разумѣется, въ стихотвореніи было очень мало поэзіи, но что касается до настроенія автора, то оно было выражено превосходно. Очевидно, авторъ додумался „до самаго корня“, но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ, повидимому, ясно чувствовалъ свое безсиліе въ борьбѣ съ разнаго рода неурядицами. Одно мгновеніе я было даже подумалъ, что Иванъ Кузьмичъ передъ громадой задачи, представляющейся его уму, лишь опускаетъ руки, поглощенный сознаніемъ своего безсилія. Это оказалось невѣрнымъ. Въ нашемъ предыдущемъ разговорѣ Иванъ Кузьмичъ уже сообщалъ, и къ тому же безъ малѣйшей рисовки, какъ онъ устроилъ „свою“ библіотеку, на устройство которой его толкало ничто иное, какъ самая жизнь. Онъ ясно высказалъ мнѣ, что эта библіотека дорога и интересна ему вовсе на сама по себѣ, а какъ орудіе борьбы съ основными неурядицами жизни. Библіотека же заставляла Ивана Кузьмича выступать самопроизвольнымъ толкователемъ разнаго рода фабричныхъ и общественныхъ новшествъ и неурядицъ. Изъ дальнѣйшаго нашего разговора выяснилось, что Иванъ Кузьмичъ шелъ еще дальше. Онъ уже вполнѣ понималъ значеніе „дружества“ въ средѣ своихъ сотоварищей и въ погонѣ за созданіемъ такого „дружества“ успѣлъ уже на своемъ вѣку перемѣнить нѣсколько разъ мѣста, словомъ кое-что испытать, перенести. Приходилось ему за послѣднее время странствовать, и даже не одному, а вмѣстѣ съ семьей. „Нашего брата гоняютъ благороднымъ и благовиднымъ способомъ“, шутилъ Иванъ Кузьмичъ надъ своей тяжелой долей. Поглядите на паспортъ— чистъ-чистехонекъ. А сунешься на ту, на другую фабрику —

конторщики тебѣ даже въ руку не смотрятъ, а сейчасъ же шмыгъ за какими-то „справками“. А справки тутъ какъ тутъ. Ну, значитъ, и проваливай рабочій человѣкъ въ какое угодно другое мѣсто. И размышляй, значитъ, по дорогѣ-то, что вотъ молъ что такое начальство: оно—другъ господамъ фабрикантамъ, твоимъ хозяевамъ, а хозяева, какъ водится, ему другъ... А у тебя отъ этой самой ихъ дружбы только спина трещитъ, и ты вродѣ какъ плѣнникъ въ своей собственной странѣ. „Тяжеленько приходилось, но что же подѣлаешь“?...

Иванъ Кузьмичъ прекрасно понималъ положеніе дѣлъ и отлично смекалъ, что представляетъ изъ себя нынѣшнее государственное устройство, хотя у Ивана Кузьмича никогда не было знакомства съ образованными людьми, съ которыми онъ могъ бы поговорить „на чистоту“ и „по душѣ“. До всего онъ додумался самъ, своей головой, да благодаря книжкамъ.

— Впрочемъ, было дѣло,—одно время я даже обрадовался, когда къ нашему хозяину сестрица его пріѣхала. Такая она ласковая, привѣтливая, ловкая да красивая. Такъ ей все хотѣлось со мной и еще тамъ съ нѣкоторыми моими товарищами побесѣдовать.. Хозяинъ самъ никогда такъ съ нами ласково не говорилъ, хотя тоже ласковъ.

— Ну, и что же,—познакомились?

— Какъ-же,—познакомились. Только ничего изъ этого не вышло. Не по душѣ она намъ пришлась...

— Чѣмъ же?

— Да такъ что-то. Кто ее знаетъ, что такое въ ней... А не по душѣ.

— Да кто она сама-то?

— Училась гдѣ-то въ Петербургѣ, да еще за-границей. Книжки на разныхъ языкахъ читаетъ. Какъ пріѣхала къ намъ, сейчасъ за дѣло принялась: пріютъ или ясли для нашихъ дѣтей устроила; потомъ попа позвала, поговорила, поговорила съ нимъ—и чтенія съ фонаремъ завела. Сказываютъ, съ этимъ дѣломъ много ей было хлопотъ и непріятностей. Ну, завелись чтенія. Половину тамъ божественное читаютъ, а половину такъ себѣ, кое-что... Народъ-то на нихъ ходитъ.

— И вы бываете?

— Иной разъ, чтобы картины посмотрѣть, только ужъ очень рѣдко... Не по душѣ мнѣ эти ихъ чтенія.

— Чѣмъ же именно?

— Да такъ: жуютъ, жуютъ, да еще и съ поученіями... Вотъ изъ-за этого и барышня наша многимъ не полюбилась: больно ужъ поучительна.

Иванъ Кузьмичъ улыбнулся и посмотрѣлъ на меня. Я тоже не могъ удержаться отъ улыбки. Та черточка, на которую онъ указалъ въ „барышнѣ“, присуща вѣдь не ей одной. Пристрастіе

„поучать", читать мораль—одна изъ характернѣйшихъ чертъ громаднаго большинства нашихъ такъ называемыхъ культуръ-трегеровъ. Это стремленіе разлито широкой волной и въ оффиціальныхъ, и полуоффиціальныхъ учрежденіяхъ, вродѣ „Постоянной комиссіи по устройству народныхъ чтеній", „Общества распространенія полезныхъ книгъ", и во многихъ изданіяхъ „для народа", и среди тѣхъ представителей нашей интеллигенціи, которые работаютъ по мѣрѣ силъ въ разнаго рода большихъ и маленькихъ учрежденіяхъ, отчасти созданныхъ ими же самими. Всѣхъ этихъ людей нельзя не упрекнуть въ извѣстной узости взгляда, на которую и намекнулъ Иванъ Кузьмичъ. Такіе, быть можетъ, и искренно убѣждены, что народъ „погрязъ въ темнотѣ", а они живутъ въ свѣтѣ, что онъ своей жизни не понимаетъ, а они его понимаютъ, что народъ возьметъ отъ нихъ, почерпнетъ изъ ихъ запаса знаній и эмоцій лишь то, что они ему д а д у т ъ, а если чего не дадутъ, такъ до того онъ самъ никогда не додумается, или же дойдетъ до этого очень медленно („Улита ѣдетъ"). Быть можетъ, эти люди и искренно убѣждены, что то, что они имѣютъ сами, ужъ очень хорошая вещь, безусловно достойная распространенія. Между тѣмъ, то, что они сами распространяютъ, очень часто ими самими совсѣмъ еще не продумано, не выяснено, не сопоставлено съ нуждами, интересами, желаніями самого народа. А главное, совсѣмъ ужъ народъ не такой младенецъ, какъ это кажется... Получается въ концѣ концовъ поистинѣ историческое qui pro quo,—говоримъ историческое, потому что, думается намъ, корни этой тенденціи къ поучительности нужно искать въ томъ воспитаніи, которое наше общество получило на почвѣ крѣпостного права и бюрократизма. Разумѣется, „поучительность" содержитъ въ себѣ массу хорошихъ словъ, свѣтлыхъ идей, проповѣдуемыхъ болѣе или менѣе искренно и горячо, но безъ устраненія того коренного разлада съ этими самыми идеями самой жизни этихъ самыхъ культуръ-трегеровъ, разлада, прекрасно понимаемаго тѣмъ самымъ народомъ, который служитъ въ данномъ случаѣ объектомъ поученія. Но вотъ именно этого-то пониманія многіе и не замѣчаютъ, относясь къ народу такъ, словно онъ „дитя малое, неразумное". Между тѣмъ, это „дитя" думаетъ не хуже и не меньше, чѣмъ его опекуны, и простираетъ свои чаянія, надежды и запросы гораздо дальше, чѣмъ сами эти опекуны. Это „дитя" отлично понимаетъ, что они отдаютъ ему не лепту вдовицы, а грошевый излишекъ собственныхъ матеріальныхъ и культурныхъ благъ. Понимаютъ и источники этихъ благъ, не всегда валящихся съ неба, а обыкновенно имѣющихъ чисто земное происхожденіе. Мнѣ очень интересно было поговорить съ Иваномъ Кузьмичемъ о самой „сути фабричнаго житія", прежде

всего мнѣ хотѣлось составить хоть нѣкоторое понятіе о сестрѣ хозяина.

— Но все же вы бесѣдовали съ вашей хозяйкой по душѣ?— спросилъ я.

— А кто-жъ ея душу-то знаетъ?—ухмыльнулся Иванъ Кузьмичъ.— Она хоть и хочетъ оказать ко всѣмъ намъ свое доброжелательство... Не знаю только, можетъ быть, я ошибаюсь, но доброжелательство-то я своею особой мѣркой мѣряю...

— Какой же именно?

— Да такой,— я думаю, не на то нужно смотрѣть, что человѣкъ даетъ, а на то, какъ онъ своимъ поступается.

—Да развѣ она не поступается своимъ? Она отдаетъ трудъ, время, она живетъ все же у васъ на фабрикѣ, а не въ столицѣ,—сказалъ я больше для того, чтобы выслушать поподробнѣе мнѣніе Ивана Кузьмича, чѣмъ въ возраженіе ему.

— Такъ-то такъ... Что же,—это все дѣла хорошія, спасибо и за это! А все-таки здѣсь не то... Вотъ та учительница, которая отъ чахотки умерла, та дѣйствительно была душа-человѣкъ. Посмотришь, бывало, на ея лицо,—худое такое, блѣдное, а глаза такіе большіе, блестящіе, и сейчасъ видишь: она вся тутъ, начистоту, не другой кто-то изъ ея глазъ-то на тебя смотритъ. И не подумаешь даже, что она своими дѣлами хвалится или себя жалѣетъ; а наша—работать-то работаетъ, а живетъ посмотри какъ.

Иванъ Кузьмичъ такъ и сказалъ,—сказалъ просто, безъ укора. Но эти простыя слова въ моей душѣ прозвучали очень громкой и опредѣленной нотой.

— А я такъ думаю, что всѣми ейными дѣльцами нашего житья не поправишь... А можетъ, я и ошибаюсь. Вотъ заѣзжайте къ намъ сами—посмотрите на наше житье, если это вамъ интересно.

Предложеніе Ивана Кузьмича мнѣ пришлось по душѣ. Все равно въ Тугаевѣ предстояла остановка, нужно было дать передышку лошадямъ, да и самимъ подкрѣпиться. Шестичасовая ѣзда по степи, подъ назойливыми лучами палящаго солнца давала себя знать. Жажда мучила невыносимо, и перспектива пыхтящаго самовара пріобрѣтала своего рода философскую прелесть. Однообразіе окружающей картины—холмы да холмы, небо да трава, пыльная дорога и покрытыя пѣной и пылью лошади— тоже начинало надоѣдать, не говоря уже о систематическихъ пинкахъ, толчкахъ и щелчкахъ снизу. И вдругъ, вдали, на самомъ горизонтѣ показалась группа красныхъ зданій и бѣлыхъ хижинъ, полузакрытыхъ зеленью деревьевъ и кустарниковъ. Всѣ эти строенія были сбиты въ кучу. Надъ нѣкоторыми высились громадныя кирпичныя трубы, испускавшія по временамъ густыя облака дыма...

— Вотъ оно, наше Тугаевское,—сказалъ Иванъ Кузьмичъ, показывая на горизонтъ.—Это и есть Воденюкова фабрика. А налѣво, гдѣ хатки-то бѣлыя, это самое село,—жилища рабочія. А вонъ то—фабричныя казармы, недавно только строены... Издали-то это красиво.

Дѣйствительно, фабричный городокъ былъ чрезвычайно живописенъ. Когда наши лошади втащили насъ на вершину холма, вся Тугаевская фабрика широко развернулась передъ нами. Я увидѣлъ цѣлый рядъ зданій, то сбившихся въ кучу, то вытянувшихся въ длинныя шеренги. Между ними видно было, какъ копошились люди и лошади. Въ иныхъ я разглядѣлъ красноватые отблески пламени,—несомнѣнно, это были „кочегарки", источникъ силы для всей громады-фабрики. Я узналъ и машинныя отдѣленія, благодаря бѣлымъ клубамъ густыхъ водяныхъ паровъ, мѣрно выбрасываемыхъ изъ пароотводныхъ трубъ паровыхъ машинъ... Громадные фабричные корпуса стояли на берегу небольшого пруда, отъ котораго шла, извиваясь, небольшая, но красивая рѣченка.

— А вонъ и домъ хозяйскій,—сказалъ Иванъ Кузьмичъ.—Видите, гдѣ флагъ-то болтается. Здѣсь и садъ, и оранжерея, и школа. Заѣдемте, заѣдемте... Только вотъ что: теперь у насъ на фабрикѣ небольшое неудовольствіе произошло...

— Какое такое?

— Да такъ... Все изъ-за денегъ...

— Что же именно?

— Лишній часъ работы накинули... Ну, разумѣется, это никому не понравилось.

— Какъ же это сдѣлали?

— Да очень просто: аншлагъ вывѣсили, только и всего. Когда я поступалъ на фабрику, здѣсь-то работали до семи часовъ вечера. А въ прошломъ году парни и вздумай просить директора, чтобы тотъ далъ имъ гулять на Смоленскую Божію Матерь. Хозяинъ и говоритъ: согласенъ, молъ, но только вы за это отработайте! Ну, парни сдуру и согласились. Онъ лишній часъ работы и накинулъ, а тамъ это такъ и укоренить захотѣли, аншлагъ вывѣсили.

— А какъ же жалованье?

— Точно сперва и жалованья прибавили было, а теперь и оказывается, что всѣ мы стали получать меньше рубля на три, на четыре въ мѣсяцъ.

— Какъ же это вышло?

— Ужъ не знаю... Ходилъ я съ товарищами и къ хозяину, и въ контору,—сообща высчитывали... По счетамъ вѣрно выходитъ, а по карману—меньше получка, и все тутъ.

— Ну, что же, говорили вы о прибавкѣ или просили, чтобы по-прежнему работать до семи часовъ?

— Да какъ же, какъ же! И теперь все еще просимъ и хозяина, и его сестрицу—вернуть на старое. Да все неудача. Она говоритъ—„это не я“, а онъ—„нельзя, молъ, иначе, а то рабочихъ распускать придется“... Вотъ изъ за этой-то неудачи и недовольство произошло... Теперь не знаю, что еще и будетъ...

Въ это время наша колымага уже въѣзжала въ Тугаево. Мимо насъ мелькали грязныя, хотя и бѣлыя хатки съ толстыми соломенными крышами, длинные ряды плетней, вдоль которыхъ зеленѣла тощая растительность. Тугаево, какъ водится, ничѣмъ не отличалось отъ другихъ южно-русскихъ селеній, если не считать какого-то отпечатка нищенства и унынія, замѣтнаго не только на людяхъ, попадавшихся намъ навстрѣчу, но даже и на животныхъ.

— Ва-тю! Ва-тю-ва-тю-ва-тю-у!—слышались вдали бабьи голоса, сзывавшіе свиней, съ характернымъ выкрикиваніемъ послѣдняго слога. Тѣ же крики доносились до меня съ разныхъ сторонъ. Прямо на насъ шло по широкой деревенской улицѣ захудалое стадо тощихъ коровъ, въ сопровожденіи четырехъ или пяти оборванныхъ подростковъ. Какой-то глупый теленокъ, испугавшись лошадей, повернулся къ нимъ задомъ, растопырилъ заднія ноги, да такъ и остановился неподвижно, вытаращивъ и безъ того глупые глаза. Нашему возницѣ пришлось слѣзать съ козелъ и гнать теленка ударами кнута. Скоро стали попадаться и рабочіе, кто въ рубахѣ, кто въ блузѣ, вымазанные во всевозможные цвѣта, начиная отъ сажи до свинцовыхъ бѣлилъ. Бабы въ длинныхъ рубахахъ, поверхъ которыхъ были повязаны юбки, не шли, а скорѣе бѣжали, семеня ногами и здорово отбивая тактъ своими пятками. Почти всѣ рабочіе, мужики и бабы, обмѣнивались съ Иваномъ Кузьмичемъ привѣтствіями. Я тотчасъ замѣтилъ, что всѣ они относились къ нему съ большимъ уваженіемъ. Наконецъ, лошади остановились у постоялаго двора.

— Нашему совѣтчику, Ивану Кузьмичу! Наше вамъ съ кисточкой!—зычно провозгласилъ свой привѣтъ здоровенный черномазый мужчина, стоявшій на крыльцѣ и, повидимому, уже хлебнувшій малую толику.

Мы вошли въ трактиръ. За нами вошелъ и этотъ мужчина. Трактиръ, какъ водится, оказался темнымъ, вонючимъ и грязнымъ, начиная отъ стѣнъ и потолка и кончая стаканами, блюдцами и лицомъ сидѣльца... Въ комнатѣ находилось нѣсколько человѣкъ рабочихъ, которые поздоровались и съ Иваномъ Кузьмичемъ, и со мною. Въ полутемнотѣ я съ трудомъ могъ разглядѣть ихъ лица. Тутъ были и молодые парни, и одинъ сѣдо-

волосый старикъ, и пожилые. Кто-то высчитывалъ по пальцамъ, что ему стоятъ его харчи и какъ онъ изъ-за нихъ бьется. Кто-то кричалъ пьянымъ голосомъ: „Р-разнесу! Н-не могу"! Кто-то попросту ругался, неизвѣстно къ кому обращаясь со своими ругательствами... Въ ожиданіи самовара, я забрался въ уголъ и скромно созерцалъ характерную сцену, происходившую вокругъ меня.

— Такъ какъ же, Иванъ Кузьмичъ,—спрашивалъ моего спутника красивый парень лѣтъ двадцати пяти. — Не идти завтра на работу то?

— Ну, чего еще тамъ?—говорилъ пожилой мужчина, съ блѣднымъ, изнуреннымъ лицомъ. — Съ голода помирать безъ работы, что ли? Ишь ты, попрыгунъ выискался! Хорошо тебѣ разсуждать бездѣтному да неженатому!

— Постойте, постойте, — заговорилъ и Иванъ Кузьмичъ. — Не горячитесь, братцы! Обдумать нужно,—прежде всего разсудить.

Иванъ Кузьмичъ подошелъ ко мнѣ и шепоткомъ сказалъ:

— Ужъ вы извините! Вонъ какъ народъ настроенъ! Просто бѣда! Какъ бы чего тутъ не вышло. Надо съ товарищами поговорить на чистоту. Хоть и не совсѣмъ подручно это прямо съ дороги-то, но что же подѣлаешь? Народъ у насъ буйный... больно ужъ трудно его сдерживать.

— Пожалуйста, пожалуйста, сказалъ я. Бесѣдуйте съ вашими товарищами, а я вотъ здѣсь посижу, если только вамъ не помѣшаю...

— Нѣтъ, чего же тутъ мѣшать! Вижу, вы вродѣ какъ свой, сказалъ Иванъ Кузьмичъ и вмѣшался въ толпу рабочихъ, а я скромно усѣлся въ уголкѣ, приготовившись со всѣмъ моимъ вниманіемъ наблюдать крайне интересное проявленіе вѣковѣчной всемірной борьбы труда съ капиталомъ, совершенно неожиданно встрѣтившееся мнѣ въ тугаевской глуши въ годину самаго глухого россійскаго безвременья...

Вокругъ Ивана Кузьмича столпились всѣ рабочіе. Ихъ было не меньше шестидесяти-семидесяти человѣкъ. Иванъ Кузьмичъ говорилъ, толпа внимательно слушала.

Онъ началъ говоритъ плавно, спокойно, не горячась и не дѣлая скачковъ и отступленій. Онъ говорилъ удивительно простымъ и яснымъ языкомъ, словно зналъ, какую голову какимъ аргументомъ можно прошибить. Онъ взвѣшивалъ всѣ „за" и всѣ „противъ", а больше всего упиралъ на то, что будетъ, если ничего не выйдетъ. А „чтобы вышло,—нужно все хорошенько разузнать да посмотрѣть, да поговорить съ товарищами". „Но во всякомъ случаѣ этимъ живодраламъ да живоглотамъ спускать не полагается. Довольно съ нихъ"!—говорилъ Иванъ Кузьмичъ. —

„Спускай-спускай, отступай-отступай, такъ что же изъ этого будетъ? Вѣдь отступать-то и теперь ужъ некуда".

По тому вниманію, съ какимъ всѣ относились къ словамъ Ивана Кузьмича, я тотчасъ понялъ, какимъ вліяніемъ онъ пользовался въ своей средѣ. Понялъ я и то, что Иванъ Кузьмичъ высказывался рѣшительно противъ всякихъ выраженій недовольства только въ данную минуту. „Чего такъ-то зря?—говорилъ онъ. — Надо навѣрняка бить, подготовившись какъ слѣдуетъ... Чтобы, значитъ, подъ наше рабочее дѣло комаръ носу не подточилъ".

— Вѣр-р-но! И не подточитъ!— кричалъ какой-то здоровенный дѣтина, изо всей силы ударяя кулакомъ по столу. — Вотъ этакъ какъ хвачу, да вотъ такъ какъ хвачу,—и раздавилъ комарей.

— Ну ты, дядя,—не очень чтобы очень!—остановилъ дѣтину кто-то изъ толпы!

— Свор-ротимъ нашего-то хозяина! продолжалъ, не смущаясь, дѣтина. Своротимъ—и сами замѣсто него усядемся. И-ихъ какъ будетъ хорошо!

Иванъ Кузьмичъ засмѣялся и взглянулъ мелькомъ на меня. Казалось, ему было немножко неловко передо мною, что его товарищи-рабочіе говорятъ такія неподходящія вещи. Я сидѣлъ и молчалъ. Иванъ Кузьмичъ, не смущаясь, привсталъ немного на своемъ стулѣ, оглядѣлся вокругъ и заговорилъ, обращаясь къ толпѣ. Шумливая публика, наполнявшая въ это время трактиръ, вдругъ присмирѣла и столпилась около стола, за которымъ стоялъ Иванъ Кузьмичъ. Въ полутемнотѣ, при мерцаніи нѣсколькихъ дешевыхъ керосиновыхъ лампъ, я видѣлъ десятки черномазыхъ рабочихъ людей, видѣлъ ихъ закоптѣлыя лица, ихъ блестящіе глаза, напряженно уставившіеся на оратора. Я всматривался въ эти лица, въ эту, такъ сказать, толпу лицъ, и неизъяснимое волненіе охватывало мою душу. На этихъ лицахъ было написано нѣчто такое, что не могло не броситься въ глаза постороннему наблюдателю. Толпа ждала, толпа ж а ж д а л а п о н и м а т ь. Я какъ бы читалъ на лицахъ этихъ рабочихъ людей напряженную работу ихъ мысли. Эти люди не только свои думы думали. Они переживали ихъ всѣмъ нутромъ. Каждая ихъ думка какъ бы горѣла настроеніемъ,—жгучимъ, мучительнымъ, но живымъ, глубоко жизненнымъ настроеніемъ. Для меня было вполнѣ очевидно, что самыя думы этихъ людей были органически неотдѣлимы отъ ихъ настроенія. И передо мной горѣли не только отдѣльныя люди. Горѣла вся толпа, какъ единое цѣлое, со всѣми ея наболѣвшими нуждами, неудовлетворенными потребностями, вѣковѣчными страданіями, которымъ такъ или иначе нужно же положить конецъ. Но гдѣ-жъ этотъ конецъ? Люди живутъ, не видя ни конца, ни начала своимъ страданіямъ. И то, и другое

въ ихъ сознаніи окружено чѣмъ-то давящимъ, смутнымъ и чуждымъ,—гнетомъ и тьмой. Быть можетъ, только одинъ Иванъ Кузьмичъ былъ въ состояніи разобраться въ этой гнетущей темнотѣ и указать этому люду и конецъ, и начало ихъ горя. И Иванъ Кузьмичъ разъяснялъ. Тихимъ, ровнымъ, спокойнымъ голосомъ, безъ ораторскихъ выпадовъ, безъ особо восклицательныхъ знаковъ, безъ выкрикиваній, безъ громкихъ фразъ, онъ дѣлалъ свои разъясненія. Въ каждомъ его словѣ, въ каждомъ оборотѣ рѣчи я чувствовалъ, до какой степени эти слова, эти обороты рѣчи соотвѣтствуютъ именно этой аудиторіи, этому составу слушателей. И Иванъ Кузьмичъ, и окружавшая его толпа не были двѣ разныхъ величины. Они составляли единое цѣлое. Иванъ Кузьмичъ, казалось, даже не свое и не отъ себя говорилъ,—онъ только выражалъ, только высказывалъ и нѣсколько оформливалъ мысли, надежды, чаянія, настроенія, намѣренія окружающей его толпы.

— Товарищи! говорилъ Иванъ Кузьмичъ. Слышали вы, что дядя-то Ѳедотъ сказалъ? Ну какъ вы думаете,—развѣ это сказано правильно: „мы молъ хозяина нашего своротимъ, а сами на его мѣсто сядемъ". Да развѣ же это хорошо? Развѣ это и есть то самое, что намъ нужно? А я вотъ не такъ думаю. Кто сидитъ на хозяйскомъ мѣстѣ, тотъ и есть хозяинъ. А съ чего онъ живетъ? Съ дохода со своей собственности. Есть, значитъ, у него собственность,—вотъ онъ и получаетъ съ нея доходъ, а на этотъ доходъ и нанимаетъ нашего брата, то есть рабочаго; вотъ мы на хозяина и должны работать. Нужно же намъ откуда нибудь доставать на прожитіе. А гдѣ достанешь? Поневолѣ идешь къ хозяину и работаешь на его лѣнь. Хозяйскій доходъ—это значитъ наша работа. Что мы ему наработали—это и есть его доходъ. Ну, значитъ, доходъ такъ и попадаетъ въ хозяйскія руки. Все ему, все въ его карманъ. А ужъ что туда къ нему попало, тѣмъ, разумѣется, онъ самъ и распоряжается. Онъ, а не мы съ вами. Ну онъ и распоряжается такъ: кое-что отдаетъ намъ, значитъ подъ названіемъ, подъ видомъ жалованья, а остальное изъ нашего, нами наработаннаго—оставляетъ у себя. Значитъ, изъ нашего-то намъ вотъ и не все идетъ. Почему же такъ? Спроси ка хозяина. Онъ вамъ скажетъ: „моя молъ собственность, ну и доходъ съ нея долженъ же я получать". Такъ и говоритъ. А нашъ братъ, темный человѣкъ, ему же поддакиваетъ: „вѣрно, молъ, вѣрно". А на самомъ-то дѣлѣ что означаютъ эти самыя слова о хозяйскомъ доходѣ? А вотъ что: „коли есть у меня собственность, значитъ, я имѣю право оставлять у себя въ карманѣ нѣкоторую часть рабочаго заработка, по просту,—отнимать ее отъ нашего брата, себѣ присваивать, хотя бы даже не работая, безъ труда съ своей стороны". Вотъ такъ-съ вотъ! Ловко! Благовидный манеръ только, а по

существу грабежъ грабежемъ. Вотъ этимъ дѣломъ, значитъ, и занимается всякій хозяинъ, то есть собственникъ. Кто ужъ сталъ хозяиномъ—тотъ и есть такой самый. Значитъ, еще мало хорошаго въ томъ, чтобы, напримѣръ, нашего хозяина своротить. Рабочему народу настоящаго вѣдь прока не будетъ, не будетъ отъ того, что замѣсто одного собственника другой сядетъ, хотя бы и изъ рабочаго званія. Нѣтъ, ты этотъ самый благовидный грабежъ прекрати,—нѣтъ, вотъ ты именно ему предѣлъ положи,—ну тогда настоящее дѣло сдѣлаешь. А какъ это прекратить? А я ужъ объ этомъ много разъ вамъ говорилъ. Помните-чай? спросилъ Иванъ Кузьмичъ, обращаясь къ толпѣ.

— Помнимъ, помнимъ! раздались голоса съ разныхъ сторонъ.

— То-то и есть. Для нашего брата, рабочаго, всѣ рѣшительно всѣ собственники-хозяева—просто бѣда одна. Они о себѣ говорятъ: „кормильцы, кормильцы. Мы молъ ваши кормильцы". А на дѣлѣ-то какъ разъ наоборотъ: кормильцы-то мы, а не они. Отъ нашего труда они сыты. Отъ нашей работы богаты. Все ихъ богатство—дѣло нашихъ рукъ. Для нашей пользы всякая собственность хозяйская, то есть частная, вовсе должна быть отмѣнена. Вотъ въ чемъ самая суть избавленія отъ нашихъ страданій и обидъ, вотъ гдѣ имъ настоящій конецъ. Такъ ли я говорю?

— Вѣр-рно! Вѣрно! раздались голоса со всѣхъ сторонъ, и Иванъ Кузьмичъ продолжалъ развивать свою рѣчь въ томъ же духѣ. Онъ говорилъ о рабочей нуждѣ, о рабочемъ дѣлѣ, о борьбѣ рабочаго люда, пролетаріата, за свое и за общее дѣло, и больше всего говорилъ о единеніи. Иванъ Кузьмичъ говорилъ и о политикѣ, но опять-таки особымъ способомъ. Самые отвлеченные политическіе вопросы онъ старательно связывалъ съ экономическими, съ накипѣвшими вопросами рабочей нужды. Онъ безъ страшныхъ словъ показывалъ на примѣрахъ разныхъ забастовокъ, что полиція всегда стоитъ на сторонѣ хозяевъ, что дѣйствуетъ она такъ по приказамъ господъ губернаторовъ, а тѣ—по приказамъ господъ министровъ, а тѣмъ, какъ извѣстно, свыше данъ приказъ оберегать „священную собственность" господъ хозяевъ. Они сами собственники такіе же, какъ и тѣ кто имъ приказы эти даетъ. По ихнимъ же приказамъ министры и законы пишутъ, и суды судятъ, и всѣ порядки устраиваютъ, такъ что и выходитъ, что нищетѣ помогаетъ униженіе, а униженію—законы, суды темнота. Такія слова какъ „буржуазія", „капитализмъ" „политическій" и „экономическій" ни разу не были произнесены Иваномъ Кузьмичемъ. Онъ употреблялъ на своемъ простомъ языкѣ только одно иностранное слово—именно „пролетаріатъ", но это слово, очевидно, было понятно всѣмъ. Я словно сейчасъ вижу передъ собой Ивана Кузьмича въ этой полутемной комнатѣ, въ толпѣ черно-

мазыхъ людей, я словно сейчасъ слышу его голосъ. Слушая Ивана Кузьмича, я невольно обратилъ вниманіе на одну особенность его рѣчи: ни одного научнаго термина, ни одного непонятнаго слова (русскаго ли, иностраннаго ли — все едино) не сорвалось съ его языка. Иванъ Кузьмичъ, даже говоря о самыхъ отвлеченныхъ матеріяхъ, влагалъ свои мысли въ термины толпы. Самый ходъ мыслей, самая логика его была особая, тоже приспособленная къ аудиторіи. Слово цѣплялось за слово, а вмѣстѣ съ тѣмъ—и идея за идею. Ораторъ наступалъ, а, наступая, доказывалъ. Ораторъ приспособлялся къ аудиторіи, а, приспособляясь, онъ самъ приспособлялъ ее къ своей основной цѣли и задачѣ *).

* * *

Когда уже стало смеркаться, когда издали донеслись въ открытое окно угрюмые звуки фабричнаго гудка, возвѣщавшаго о томъ, что пришла пора выходить на работу ночной смѣнѣ, только тогда собесѣдники встали и начали расходиться. Одни пошли по домамъ, другіе отправились на фабрику. Иванъ Кузьмичъ и я скоро остались уже одни.

— Охъ, Господи, вотъ тяжело приходится! — сказалъ тогда Иванъ Кузьмичъ, утирая потъ, градомъ катившійся съ его лица.

Мнѣ показалось, что въ его голосѣ звучатъ слезы.—

— Вѣдь это все мои, кровные! Только... только въ темнотѣ они всѣ ходятъ, охъ, въ какой темнотѣ!.. И какой все это хорошій народъ!.. Непонимающій только...

Мы вышли изъ трактира и пошли на фабрику. Я рѣшилъ еще слѣдующій денекъ провести въ Тугаевѣ, и лишь на другой день утромъ, чуть свѣтъ, отправиться далѣе въ путь. Хотѣлось мнѣ и осмотрѣть фабрику...

Для этого требовалось лишь разрѣшеніе директора, который и далъ мнѣ его тотчасъ же, какъ ему была предъявлена моя визитная карточка.

Солнце стояло уже высоко, когда я, выспавшись послѣ безсонной ночи, отправился на фабрику.

Я не стану разсказывать здѣсь о тѣхъ впечатлѣніяхъ, которыя пришлось мнѣ вынести изъ подробнаго осмотра громадной Тугаевской фабрики, начиная отъ котельныхъ отдѣленій и кончая рабочими казармами. Нужно ли говорить, что она не представляла изъ себя громаднаго дворца труда съ аллюминіевыми колоннами, что эта фабрика такая же, какъ и всѣ другія, гдѣ

*) Вышеприведенная рѣчь представляетъ изъ себя не что иное, какъ выписку изъ тетради одного интеллигентнаго рабочаго-самоучки.

воздухъ пропитанъ, то хлоромъ, то углекислотой, то пылью и густыми водяными парами. Я видѣлъ и машины, дѣйствующія такъ разумно и цѣлесообразно, словно это люди, а не машины. Я видѣлъ и людей съ тупымъ выраженіемъ лица, однообразными движеніями, полусознательными, а то и безсознательными, и похожихъ скорѣе на машины, чѣмъ на людей. Особенное впечатлѣніе произвело на меня то отдѣленіе, гдѣ стояли бумажныя машины—громадныя, хитро устроенныя чудовища, вытянувшіяся отъ одного конца комнаты до другого и принимающія на одномъ концѣ бѣлую бумажную массу, жидкую какъ вода и похожую на молоко, а на другомъ концѣ выпускающія длинную безконечную ленту гладкой, совершенно готовой бумаги, которая тотчасъ же завивается на валикъ. Я смотрѣлъ на эту бѣлую и широкую ленту бумаги, и подъ равномѣрное постукиванье машинъ, лязганье ремней, громыханіе зубчатыхъ колесъ и рычаговъ, подъ шипѣніе вырывающагося кое-гдѣ пара и потрескиванье электрическихъ искръ, вылетавшихъ изъ бумаги, признаюсь, не веселыя думы шевелились у меня въ головѣ... Какими буквами, какими словами покроется эта бумага? Какія чувства, понятія, представленія понесетъ она въ толпу—толпу чувствующихъ и мыслящихъ живыхъ существъ?..

— А тутъ вотъ нашему Карлу Карлычу машина чуть бороду не оторвала!—вдругъ перебилъ мои размышленія, ухмыляясь, рабочій, приставленный ко мнѣ въ качествѣ проводника.—У Карла Карлыча-то борода большая, длинная-длинная. А глаза-то близорукіе: въ очкахъ видитъ только то, что вдали, а безъ очковъ—только вблизи... Валикъ бороду и зацѣпилъ и давай ее накручивать... Вѣрите-ль, машину вѣдь пришлось остановить. Хе-хе! Хозяину убытокъ изъ-за его бороды вышелъ!..

* * *

Когда я вырвался изъ этого ада колесъ, рычаговъ и трубъ на чистый воздухъ, у меня словно гора свалилась съ плечъ. Но тутъ меня если не сокрушило, то придавило новое впечатлѣніе... Это была встрѣча,—встрѣча съ тѣмъ человѣкомъ, котораго я не видалъ цѣлыхъ восемь лѣтъ, о которомъ у меня въ душѣ когда-то сохранились хорошія, свѣтлыя воспоминанія, лишь немного стертыя, изглаженныя неумолимымъ временемъ, неустанно обновляющимъ наши нервы и клѣточки нашего мозга. Какъ это было давно и, тѣмъ не менѣе, какъ это близко! Когда нервы у человѣка бываютъ особенно напряжены, какъ это случилось со мной послѣ всего того, что я видѣлъ и слышалъ отъ Ивана Кузьмича,—ассоціація идей бываетъ особенно жизненна и сильна. Одинъ знакомый образъ, успѣвшій ожить, образъ давно забы-

тый, сразу вызываетъ къ жизни сотни и тысячи другихъ, заполняющихъ сознаніе моментально и глубоко... Именно это случилось со мной, когда я встрѣтилъ въ выходныхъ дверяхъ фабрики высокую, стройную дѣвушку, очень элегантную и даже красивую, одѣтую въ одно и то же время и просто, и изящно, и кокетливо въ дорогой костюмъ.

— А я бѣжала отыскивать васъ! — привѣтливо сказала эта дѣвушка, протягивая ко мнѣ обѣ руки и называя меня по имени. Это привѣтствіе несомнѣнно шло отъ чистой души,—такъ оно было непосредственно и искренно.

— Вы меня не узнали? Вотъ видите! А я васъ сразу узнала! Ха-ха-ха!

Дѣвушка говорила пріятнымъ грудным голосомъ, свою красивую голову держала нѣсколько закинутой назадъ, что производило впечатлѣніе, будто она смотритъ словно откуда-то сверху. Видъ у нея былъ цвѣтущій и веселый. Разумѣется, восемь лѣтъ—время немалое, особенно для женщины. Но Вѣрочку Воденюкову узналъ и я. Боже мой, какъ ее не узнать послѣ единственной въ своемъ родѣ вечеринки на Стеклянномъ заводѣ, гдѣ мы проговорили о пустякахъ цѣлый вечеръ въ своемъ „студенческомъ“ настроеніи и подъ аккомпаниментъ молодого помощника пристава, игравшаго на роялѣ. Мы были тамъ, на заводѣ, цѣлой толпой, товарищи-однокурсники и знакомые изъ другихъ учебныхъ заведеній. Мы отплясывали такъ горячо, а въ промежуткахъ между танцами съ такимъ пыломъ спорили о разныхъ „высокихъ матеріяхъ“. И что всего курьезнѣе: и танцы, и споры казались намъ дѣломъ болѣе или менѣе одинаково важнымъ... Да что же? Можетъ быть, и правда: то, что называется „общественнымъ настроеніемъ“, мы вѣдь пріобрѣтали въ окружавшей насъ тогда толпѣ, которая и спорила, и разсуждала, и плясала, дѣлая и то, и другое, и третье отъ всей души, отъ всего сердца... Вѣрочка Воденюкова въ спорахъ постоянно была моей союзницей... И какъ она мило спорила, какъ ловко вывертывалась, припертая къ стѣнѣ, какъ удачно защищала такіе взгляды, которые даже мои сотоварищи называли „крайними ересями“... Несомнѣнно, это была способная, умненькая головка, отъ которой я еще тогда ожидалъ такъ много хорошаго для жизни. Полтора или два года нашего петербургскаго знакомства, во всякомъ случаѣ, оставили въ моей душѣ самые пріятные, свѣтлые, дорогіе и близкіе образы.

Съ перваго взгляда, брошеннаго мною на Вѣрочку, мнѣ показалось, что и теперь она осталась такою же, какъ была—ну, немного пополнѣла, развилась, можетъ быть, постарѣла, въ томъ смыслѣ, что восемнадцать лѣтъ все же не то, что двадцать шесть...

— Вѣра Сергѣевна!—воскликнулъ и я, тоже отъ всей души.— Если я васъ не узналъ, то лишь потому, что совсѣмъ не ожидалъ васъ здѣсь встрѣтить!.. Вы — вы владѣлица всей этой фабрики?

Этотъ послѣдній вопросъ, поставленный совершенно машинально, отчасти, какъ мнѣ показалось, смутилъ Вѣрочку. Я мысленно выругалъ себя за свою нетактичность, — за то, что я съ перваго же абцуга ту, прежнюю, Вѣрочку назвалъ фабрикантшей...

— Что же, понравилась вамъ эта фабрика?.. Это громадное дѣло!.. Еслибъ вы знали, въ какомъ видѣ она досталась моему брату отъ отца!

Вѣрочка сказала эти слова, не отвѣчая на мой вопросъ.

И, за все время, пока мы шли по обширному фабричному двору, отъ громаднаго главнаго корпуса до квартиры владѣльца, Вѣрочка неустанно разсказывала мнѣ, что представляла изъ себя Тугаевская фабрика пять лѣтъ тому назадъ, какъ она была ужасна, какъ несправедливы были отношенія администраціи къ рабочимъ, какъ ея братъ Платонъ и она, Вѣрочка, трудились надъ приведеніемъ всего дѣла въ „нормальный видъ", какъ „боролись съ остатками прошлаго", какъ „не жалѣли себя", какъ много сдѣлали, хотя и „многое остается еще сдѣлать". Поглощенный далекими воспоминаніями прошлаго, призраками былого, которые длинными вереницами носились вокругъ изящной фигуры Вѣрочки, я совершенно не вдавался въ анализъ ея словъ. Я даже радовался, увидѣвъ, наконецъ, человѣка, довольнаго своимъ положеніемъ и самимъ собою. Я не придавалъ даже никакого значенія подмѣченной мною новой черточкѣ въ личности Вѣрочки, которая теперь была даже о ч е н ь довольна собой, чего въ тѣ далекія времена совсѣмъ не было... Мнѣ была пріятна самая встрѣча, пріятно было смотрѣть на цвѣтущую фигуру дѣвушки, на ея красивое, умное лицо, живые, выразительные глаза... Я машинально шагалъ за нею, не отдавая себѣ отчета, куда собственно меня ведутъ.

Мы вошли въ подъѣздъ, по сторонамъ котораго красовались бронзовыя фигуры какихъ-то средневѣковыхъ рыцарей, державшихъ массивные фонари, поднялись по роскошной лѣстницѣ, выстланной резиновыми коврами. Лакей въ бѣлыхъ перчаткахъ— явленіе, тоже не совсѣмъ обычное для тугаевской глуши,—подхватилъ мое запыленное пальто и шляпу и раскрылъ двери въ залу. Общій видъ этой залы тоже поразилъ меня неожиданностью. Паркетные полы, золоченая мебель въ полудекадентскомъ стилѣ, разставленная „по-модному", — не только по стѣнамъ, но и посреди залы, прекрасный рояль Беккера, бронза, китайскій фарфоръ, масса дорогихъ и ни къ чему ненужныхъ бездѣлушекъ,—

доказательства хозяйскаго „вкуса“ и „культурныхъ привычекъ“— все было дѣйствительно очень красиво и изящно. Особенно же меня поразили картины, висѣвшія въ массивныхъ рамахъ по стѣнамъ. Эти самыя картины я уже встрѣчалъ на выставкахъ „передвижниковъ“ и съ удивленіемъ спрашивалъ себя, какъ очутились онѣ въ тугаевской глуши.

— Не правда ли,—спрашивала меня Вѣрочка, — братъ мой здѣсь все это устроилъ очень мило и уютно?

— Ахъ, это вашъ братъ, а не вы?

— О, нѣтъ, для меня дороже всего простота! Вотъ моя комната!..

Это была обширная, свѣтлая комната, съ большимъ рабочимъ столомъ и мебелью безъ позолоты. У стѣны стояли уютная кушетка и изящная кровать, исчезавшая въ вышитыхъ кисейныхъ одѣялахъ, вышитыхъ накидкахъ, несомнѣнно потребовавшихъ массы труда и времени. На стѣнахъ, также какъ и въ залѣ, висѣли идейныя картины. Въ громадномъ дубовомъ шкафу красовались длинные ряды книгъ въ роскошныхъ сафьяновыхъ переплетахъ... Все это были русскіе и европейскіе классики, свѣтила науки и мысли; здѣсь же стояли и произведенія тѣхъ, кого мы, восемь лѣтъ тому назадъ, называли, да называемъ и до сихъ поръ,—„учителями русской интеллигенціи“. Здѣсь же я увидѣлъ и нашихъ заграничныхъ учителей,—Маркса, Энгельса и Лассаля на русскомъ и нѣмецкомъ языкахъ. Цѣлая полка шкафа была занята русскими заграничными изданіями тоже въ роскошныхъ шагреневыхъ переплетахъ. Въ комнатѣ Вѣрочки все было такъ чисто, такъ уютно, такъ мило... Это дѣйствительно была простота, но простота, стоившая не мало денегъ...

— Хорошо у васъ тутъ!—сказалъ, въ свою очередь, и я.

— Вы находите?—отвѣчала Вѣрочка. — По крайней мѣрѣ, я очень довольна! Вотъ мой братецъ—такъ не совсѣмъ. Онъ половину года живетъ въ Харьковѣ да въ Москвѣ. И теперь онъ тамъ... А я—я рѣшила жить всю жизнь въ самой глухой провинціи... Знаете, я вѣдь и теперь осталась такою же, какъ была... Я хочу приносить пользу.

Послѣднія слова она произнесла очень мило и даже шаловливо.

— Ну, вотъ сядемте здѣсь и поговоримъ, въ ожиданіи пока намъ подадутъ чаю...

— Что же вы тутъ дѣлаете? — спросилъ я, усаживаясь на мягкій стулъ.

— Странный вопросъ! Разумѣется, работаю! Развѣ въ провинціи мало дѣла для русской интеллигенціи? Развѣ интеллигенція не должна работать, не должна стать съ народомъ лицомъ къ лицу, чтобы народъ понялъ ее и оцѣнилъ?

Эти слова были сказаны такимъ тономъ, что я, несмотря на то, что все еще былъ поглощенъ своими воспоминаніями, опять-таки разобралъ въ нихъ какую-то особенную и не совсѣмъ пріятную, какъ будто бы и фальшивую нотку. Но что это была за нотка, я все еще не давалъ себѣ отчета.

— Теперь разсказывайте, что подѣлывали за эти восемь лѣтъ вы? У васъ навѣрное есть побольше о чемъ разсказать.

Принесли чай на серебряномъ подносѣ, въ серебряныхъ подстаканникахъ. Лакей освѣтилъ комнаты электрическимъ свѣтомъ. При отблескахъ электрическихъ лампочекъ комната Вѣры Сергѣевны показалась мнѣ еще уютнѣе, чѣмъ прежде.

Я принялся разсказывать о петербургскомъ житьѣ-бытьѣ, о вѣяніяхъ и теченіяхъ, о диктатурахъ сердца и безсердечія, обо всемъ томъ, чѣмъ даритъ россійскаго обывателя россійская „общественная" жизнь, глядя на которую, а тѣмъ болѣе участвуя въ которой, россійскій интеллигентъ испытываетъ цѣлый ряда надрывовъ, напрягаетъ нервы, выматываетъ душу, тѣмъ болѣе, чѣмъ болѣе вдумывается въ эту жизнь, въ ея безпорядочномъ цѣломъ, и чѣмъ ближе принимаетъ къ сердцу „самый корень вещей".

— Послушайте,—вдругъ перебила меня Вѣра Сергѣевна.— Простите, я перестала за эти восемь лѣтъ понимать вашу терминологію. Я искренно вѣрю вамъ, я душевно жалѣю всѣхъ васъ, пишущую братію, но я думаю, что въ вашихъ страданіяхъ и мученіяхъ виноваты прежде всего вы сами...

Услышавъ эти слова въ устахъ Вѣры Сергѣевны, я даже обрадовался: они повѣяли на меня далекой и милой стариной. Прежде всего мнѣ показалось, что Вѣрочка и теперь, какъ въ далекую старину, по прежнему, что называется, беретъ „тономъ выше". Но въ голосѣ Вѣрочки все же звучало и что-то странное. Я нашелъ нужнымъ задать вопросъ и ей.

— Чѣмъ же мы-то здѣсь виноваты, позвольте мнѣ васъ спросить?

Вѣра Сергѣевна очень красиво откинула назадъ свою милую головку и увѣреннымъ тономъ сказала:

— А тѣмъ, что вы все беретесь за великіе вопросы и за великія дѣла. Вы выставляете себѣ такія громоздкія задачи, что онѣ положительно не по силамъ ни вамъ, ни другимъ. Вы все судите и осуждаете съ точки зрѣнія этихъ задачъ. Вы не просто смотрите на самую жизнь,—оттого и претерпѣваете всякія душевныя мученія... Побольше бы слѣдовало вамъ обращать вниманія на самую жизнь, на малыхъ сихъ.. Вѣдь за вами-то, за вами никого нѣтъ. Вы иной разъ даже хоть и впередъ идете, а та толпа, для которой вы работаете, смотритъ на васъ, и даже васъ слушаетъ, а за вами-то и не идетъ. Уже это правда! Я знаю это, повѣрьте!..

Эти слова были сказаны очень горячо и авторитетно. Я невольно взглянулъ на лицо Вѣры Сергѣевны и увидѣлъ въ немъ еще новую черточку, маленькую, не сразу замѣтную черточку, которой тогда, восемь лѣтъ назадъ, я въ томъ убѣжденъ, тоже совсѣмъ не было... Тогда Вѣрочка ни о чемъ не говорила *такимъ* тономъ... Нѣтъ, нѣтъ, этотъ тонъ былъ неискрененъ. Отъ всей души такимъ тономъ не говорятъ.

— Что вы на меня такъ смотрите?—спросила Вѣрочка.—Я очень измѣнилась? Да? Еще бы! Я столько пережила, передумала, ну, и перечувствовала... Но право же я остаюсь такою же и никакимъ задачамъ не измѣняла... Вы удивлены, не правда-ли? Ха, ха, ха! Совершенно напрасно! Но, согласитесь сами, жизнь все же учитъ насъ кое-чему. И меня научила.

— Чему же? Чему?—воскликнулъ я, если не съ горечью, то съ замираніемъ сердца.

— А тому, *что геройство минутнаго подвига* требуетъ отъ человѣка гораздо меньшаго, чѣмъ геройство *многолѣтняго труда*. Я иду къ той же цѣли, какъ и шла, хотя и нѣсколько другой дорогой... Да и увѣренности въ себѣ больше прибавилось,—это правда...

Я продолжалъ смотрѣть на нее вопросительнымъ взглядомъ.

— Да, не удивляйтесь, что я такъ говорю. Я была мечтательница, теперь я—работница. *Теперь* я знаю, что дѣлаю и что *должна* дѣлать. И дѣлаю, дѣлаю все-все-все, что могу... Даже больше!..

Эти слова, хотя и показались мнѣ опять-таки нѣсколько самоувѣренными и не искренними, но были опять сказаны такъ мило, что я не могъ не улыбнуться и не сказать:

— Экой вы счастливый человѣкъ! И дѣло дѣлаете, и свои силы сознаете! И собой довольны, повидимому...

Вѣра Сергѣевна самодовольно улыбнулась. По ея лицу было видно, что мои слова лишь выразили ея собственную мысль. Никакой новости, никакого комплимента этими словами я ей не сказалъ. Но отъ этой ея улыбки я уже вполнѣ ясно почувствовалъ, что со мною говоритъ не прежняя Вѣрочка, а кто-то другой, забравшійся въ эти восемь лѣтъ въ душу моей тогдашней пріятельницы.

— Знаете, какъ я смотрю на жизнь,—сказала она въ подтвержденіе *моихъ* словъ, и сейчасъ же отвѣтила на поставленный вопросъ.—Жить—это значитъ работать на пользу окружающимъ людямъ, насколько только позволяютъ тебѣ твои силы, твое пониманіе жизни, твое положеніе.. Измѣненія коренныхъ условій жизни къ лучшему вытекаютъ изъ накопленія измѣненій мелкихъ, и только изъ этого и могутъ вытекать.. Самая суть

жизни—дифференціалъ, то есть безконечно-малое, и накопленіе дифференціаловъ. А всѣ наши труды интегрируетъ сама ужъ жизнь...

При этихъ словахъ я, опять-таки какъ-то невольно, пристально взглянулъ на лицо Вѣры Сергѣевны. Но ничего, кромѣ сознанія собственнаго достоинства и довольства, это лицо теперь не выражало. Несомнѣнно, въ этомъ красивомъ лицѣ было уже нѣчто новое. Теперь я это уже вполнѣ разсмотрѣлъ.

Мнѣ хотѣлось поставить вопросъ: а какъ же далеко должно простираться такое пониманіе жизни? Какія измѣненія называть коренными и какія „мелочными", какъ отличать по этой теоріи „нѣчто" отъ „ничто"?. Мнѣ хотѣлось спросить о многомъ. Но я удержался и замолчалъ.

— Ахъ,—продолжала Вѣра Сергѣевна, — когда стоишь съ жизнью рабочей массы лицомъ къ лицу,—вы себѣ и представить не можете, сколько видишь ужасающаго горя и нищеты, и вопіющей несправедливости, и непроглядиѣйшаго мрака!.. Не работать на пользу массы, чтобы облегчить жизнь хоть тѣхъ немногихъ, съ которыми приходится сталкиваться,—невозможно... Жизнь требуетъ работы. Именно требуетъ.

Говоря эти хорошія слова, Вѣрочка, несомнѣнно, волновалась, но горячо ли и искренно ли? Ея рѣчь опять-таки мнѣ понравилась. Она какъ будто звучала старымъ. Я всматривался въ лицо Вѣрочки, вслушивался въ интонацію ея голоса. Мнѣ такъ хотѣлось и увидѣть, и услышать это старое, это далекое, дорогое... Есть такія общія истины, которыя кажутся всѣмъ извѣстными и избитыми, если ихъ читать, но очень умными и трогательными, если ихъ слушать. Но, прислушиваясь къ Вѣрочкѣ, мнѣ показалось, что и сама она какъ будто прислушивается къ своимъ собственнымъ словамъ. Я напрасно отгонялъ даже и самую мысль о возможности этого и приписывалъ ее скверной привычкѣ людей видѣть во всемъ дурную сторону, принимать фактъ не въ той простотѣ и чистотѣ, каковъ онъ есть... Фактъ былъ на лицо, и въ этомъ фактѣ сквозило нѣчто мелкое, нѣчто пошлое.

— Хотите посмотрѣть на мое маленькое дѣло?—проговорила Вѣрочка, бросивъ косой взглядъ на висѣвшее передъ нею большое зеркало и расправивъ непослушную прядь волосъ, падавшихъ красивыми завитками на ея плечи.—Пойдемте.

Она позвала лакея съ лампой и повела меня черезъ какія-то комнаты, оранжереи и корридоры, черезъ дворъ и черезъ садъ, во флигель хозяйскаго дома. Я шелъ не сопротивляясь, да отъ меня и не ждали сопротивленія. Вѣра Сергѣевна какъ будто бы даже торопилась сколь возможно скорѣе все мнѣ показать, обо всемъ разсказать, подѣлиться съ новымъ человѣкомъ и старымъ знакомымъ всѣмъ, всѣмъ, что она успѣла сдѣлать и устроить

Именно этому я и приписалъ ея стремительную поспѣшность Мы подробно осмотрѣли прекрасную школу на пятьдесятъ человѣкъ, роскошно построенную и богато обставленную всевозможными пособіями, въ числѣ которыхъ были даже фисгармонія и аристонъ. Книжный шкафъ въ школѣ былъ заполненъ книгами и тоненькими, и толстыми. Школа производила дѣйствительно самое пріятное впечатлѣніе. Но мнѣ все же было непріятно, что всякую свѣтлую сторону, всякую мелочь въ обстановкѣ Вѣра Сергѣевна какъ-то особенно старалась подчеркнуть и оттѣнить прибавляя при этомъ, какихъ трудовъ, жертвъ и усилій ей стоила эта мелочь. Здѣсь я узналъ, что касса брата не безгранично открыта для Вѣрочки, что ей положено „опредѣленное ежемѣсячное содержаніе“, что она взяла на себя въ школѣ „опредѣленное число уроковъ“, что у нея есть помощница—учительница, тоже окончившая высшіе курсы, что „братъ Платонъ хотя и не жалѣетъ денегъ на школу“, но она, Вѣрочка, „не устаетъ требовать отъ него больше и больше“... Я отъ всей души выражалъ свое восхищеніе школой, въ которой, благодаря лѣтнему времени, занятій не было. Но тѣ комментаріи, какими Вѣрочка сопровождала всякую мелочь, все болѣе и болѣе поражали меня съ самой непріятной стороны. Къ чему они были нужны ей? Чтобы подчеркнуть ея заслугу въ моихъ глазахъ! Чтобы объяснить мнѣ значеніе того дѣла, которое она на себя взяла? Да развѣ я выразилъ ей чѣмъ-нибудь, что это дѣло худое или не трудное? Ничего этого вѣдь не было и быть не могло. Я уже видѣлъ, что Вѣра Сергѣевна у себя на фабрикѣ, такъ или иначе, *дѣлала* полезное дѣло. Мнѣ хотѣлось лишь знать, *все* ли она дѣлала, что могла, искренно ли, отъ души ли все это она дѣлала; *какую же душу*, какое пониманіе жизни она вкладывала въ него, какъ далеко подвинулась она за эти восемь лѣтъ въ анализѣ такихъ условій, которыя ее окружали? Я ни минуты не сомнѣвался, что знаніе и пониманіе многихъ и многихъ человѣческихъ отношеній у Вѣрочки и теперь налицо. Я всегда вѣрилъ и вѣрю, что есть нѣчто такое, чего нельзя забыть и нельзя перестать понимать, какая бы судьба ни выпала на долю человѣка...

— Вы, можетъ быть, назовете меня нескромной, — говорила Вѣра Сергѣевна, проводя меня изъ школьнаго помѣщенія въ обширный рекреаціонный залъ, гдѣ устраивались по воскресеньямъ зимою чтенія съ волшебнымъ фонаремъ для школьниковъ.— И знаете, что?—продолжала она, тряхнувъ своими красивыми кудрями.—Да, я довольна собою. Не скрою—зачѣмъ мнѣ скрывать это отъ васъ—я тотъ же докторъ. Я вижу язву и лѣчу ее всѣмъ, чѣмъ только могу.

Вѣра Сергѣевна весело и самодовольно улыбнулась, а на меня эти слова произвели самое удручающее впечатлѣніе. Но она

этого не замѣтила. Моя старая знакомая, та самая, съ которой когда-то мы такъ спорили и говорили, и рисовали перспективы и перемѣны, за эти восемь лѣтъ—для меня это стало очевиднымъ—изъ недовольной превратилась въ довольную. Но что же удовлетворяло ее, что? Какъ могла удовлетвориться этимъ уголкомъ и этой меньше чѣмъ муравьиной работой такая свѣтлая и горячая головка, какъ головка прежней Вѣрочки? Неужели ея анализъ остановился и—пошелъ назадъ? Или она не искренна,—есть у нея другіе мотивы, о которыхъ она не говоритъ?.. Мнѣ припоминались слова Ивана Кузьмича, его требованія и запросы. Я не могъ себѣ представить, чтобы умная Вѣрочка, стоя съ жизнью лицомъ къ лицу, не понимала ихъ, не стремилась ихъ понять, чтобы она пустилась въ своего рода „идейную фальсификацію". Да, мнѣ въ то мгновенье пришли на умъ эти два страшныя слова. Если они не соотвѣтствуютъ дѣйствительности—моя вина! Но нѣтъ, это-то и ужасало меня, что они выражали правду... Вѣдь рѣчи Ивана Кузьмича звучали еще въ моихъ ушахъ. Вѣдь то, о чемъ онъ говорилъ, я успѣлъ уже увидѣть здѣсь, на Тугаевской фабрикѣ, своими собственными глазами. А моя старая знакомая Вѣрочка,—неужели она перестала видѣть все, все, что видѣла еще тогда?

Вѣрочка водила меня и по школѣ, и по читальному залу, и по „яслямъ", въ сопровожденіи лакея въ бѣлыхъ перчаткахъ, молчаливо и угрюмо свѣтившаго намъ и еще угрюмѣе посматривавшаго на мою запыленную одежду и высокіе дорожные сапоги. Она водила меня и въ больницу, гдѣ показала, какъ хорошо ухаживаютъ тамъ за больными, — а ихъ тамъ было въ это время болѣе пятидесяти человѣкъ, находившихся на попеченіи фельдшера и фельдшерицы.

— Какихъ же больныхъ у васъ особенно много?—спросилъ я.

— Удивительно!—сказала серьезно Вѣрочка,—больныхъ куриною слѣпотою.

— Вѣра Сергѣевна! — не могъ я воздержаться, чтобы не воскликнуть при этихъ ея словахъ. — Да чего же вы, скажите мнѣ, пожалуйста, удивляетесь? Что же тутъ удивительнаго? Вѣдь куриная слѣпота происходитъ не отъ чего иного, какъ отъ дурного питанія!

Вѣра Сергѣевна удивленно посмотрѣла на меня. Она какъ будто была непріятно поражена, что я такъ разгорячился.

— Я это знаю, что отъ дурного питанія,—сказала спокойно Вѣрочка, — и отъ грязи... Что вы такъ смотрите? Вы видали, какъ эти люди грязно живутъ? Взгляните, это очень интересно... Боже мой, что они дѣлаютъ со своими дѣтьми! Ужасъ!.. Въ прошломъ году мы имъ устраивали чтенія по гигіенѣ, старались, старались—и никакого дѣйствія эти чтенія на нихъ не произвели!..

мазыхъ людей, я словно сейчасъ слышу его голосъ. Слушая Ивана Кузьмича, я невольно обратилъ вниманіе на одну особенность его рѣчи: ни одного научнаго термина, ни одного непонятнаго слова (русскаго ли, иностраннаго ли — все едино) не сорвалось съ его языка. Иванъ Кузьмичъ, даже говоря о самыхъ отвлеченныхъ матеріяхъ, влагалъ свои мысли въ термины толпы. Самый ходъ мыслей, самая логика его была особая, тоже приспособленная къ аудиторіи. Слово цѣплялось за слово, а вмѣстѣ съ тѣмъ—и идея за идею. Ораторъ наступалъ, а, наступая, доказывалъ. Ораторъ приспособлялся къ аудиторіи, а, приспособляясь, онъ самъ приспособлялъ ее къ своей основной цѣли и задачѣ *).

* * *

Когда уже стало смеркаться, когда издали донеслись въ открытое окно угрюмые звуки фабричнаго гудка, возвѣщавшаго о томъ, что пришла пора выходить на работу ночной смѣнѣ, только тогда собесѣдники встали и начали расходиться. Одни пошли по домамъ, другіе отправились на фабрику. Иванъ Кузьмичъ и я скоро остались уже одни.

— Охъ, Господи, вотъ тяжело приходится! — сказалъ тогда Иванъ Кузьмичъ, утирая потъ, градомъ катившійся съ его лица.

Мнѣ показалось, что въ его голосѣ звучатъ слезы.—

— Вѣдь это все мои, кровные! Только... только въ темнотѣ они всѣ ходятъ, охъ, въ какой темнотѣ!.. И какой все это хорошій народъ!.. Непонимающій только...

Мы вышли изъ трактира и пошли на фабрику. Я рѣшилъ еще слѣдующій денекъ провести въ Тугаевѣ, и лишь на другой день утромъ, чуть свѣтъ, отправиться далѣе въ путь. Хотѣлось мнѣ и осмотрѣть фабрику...

Для этого требовалось лишь разрѣшеніе директора, который и далъ мнѣ его тотчасъ же, какъ ему была предъявлена моя визитная карточка.

Солнце стояло уже высоко, когда я, выспавшись послѣ безсонной ночи, отправился на фабрику.

Я не стану разсказывать здѣсь о тѣхъ впечатлѣніяхъ, которыя пришлось мнѣ вынести изъ подробнаго осмотра громадной Тугаевской фабрики, начиная отъ котельныхъ отдѣленій и кончая рабочими казармами. Нужно ли говорить, что она не представляла изъ себя громаднаго дворца труда съ аллюминіевыми колоннами, что эта фабрика такая же, какъ и всѣ другія, гдѣ

*) Вышеприведенная рѣчь представляетъ изъ себя не что иное, какъ выписку изъ тетради одного интеллигентнаго рабочаго-самоучки.

Эти слова были сказаны такимъ тономъ, что я, несмотря на то, что все еще былъ поглощенъ своими воспоминаніями, опять-таки разобралъ въ нихъ какую-то особенную и не совсѣмъ пріятную, какъ будто бы и фальшивую нотку. Но что это была за нотка, я все еще не давалъ себѣ отчета.

— Теперь разсказывайте, что подѣлывали за эти восемь лѣтъ вы? У васъ навѣрное есть побольше о чемъ разсказать.

Принесли чай на серебряномъ подносѣ, въ серебряныхъ подстаканникахъ. Лакей освѣтилъ комнаты электрическимъ свѣтомъ. При отблескахъ электрическихъ лампочекъ комната Вѣры Сергѣевны показалась мнѣ еще уютнѣе, чѣмъ прежде.

Я принялся разсказывать о петербургскомъ житьѣ-бытьѣ, о вѣяніяхъ и теченіяхъ, о диктатурахъ сердца и безсердечія, обо всемъ томъ, чѣмъ даритъ россійскаго обывателя россійская „общественная" жизнь, глядя на которую, а тѣмъ болѣе участвуя въ которой, россійскій интеллигентъ испытываетъ цѣлый ряда надрывовъ, напрягаетъ нервы, выматываетъ душу, тѣмъ болѣе, чѣмъ болѣе вдумывается въ эту жизнь, въ ея безпорядочномъ цѣломъ, и чѣмъ ближе принимаетъ къ сердцу „самый корень вещей".

— Послушайте,—вдругъ перебила меня Вѣра Сергѣевна.— Простите, я перестала за эти восемь лѣтъ понимать вашу терминологію. Я искренно вѣрю вамъ, я душевно жалѣю всѣхъ васъ, пишущую братію, но я думаю, что въ вашихъ страданіяхъ и мученіяхъ виноваты прежде всего вы сами...

Услышавъ эти слова въ устахъ Вѣры Сергѣевны, я даже обрадовался: они повѣяли на меня далекой и милой стариной. Прежде всего мнѣ показалось, что Вѣрочка и теперь, какъ въ далекую старину, по прежнему, что называется, беретъ „тономъ выше". Но въ голосѣ Вѣрочки все же звучало и что-то странное. Я нашелъ нужнымъ задать вопросъ и ей.

— Чѣмъ же мы-то здѣсь виноваты, позвольте мнѣ васъ спросить?

Вѣра Сергѣевна очень красиво откинула назадъ свою милую головку и увѣреннымъ тономъ сказала:

— А тѣмъ, что вы все беретесь за великіе вопросы и за великія дѣла. Вы выставляете себѣ такія громоздкія задачи, что онѣ положительно не по силамъ ни вамъ, ни другимъ. Вы все судите и осуждаете съ точки зрѣнія этихъ задачъ. Вы не просто смотрите на самую жизнь,—оттого и претерпѣваете всякія душевныя мученія... Побольше бы слѣдовало вамъ обращать вниманія на самую жизнь, на малыхъ сихъ.. Вѣдь за вами-то, за вами никого нѣтъ. Вы иной разъ даже хоть и впередъ идете, а та толпа, для которой вы работаете, смотритъ на васъ, и даже васъ слушаетъ, а за вами-то и не идетъ. Уже это правда! Я знаю это, повѣрьте!..

тый, сразу вызываетъ къ жизни сотни и тысячи другихъ, заполняющихъ сознаніе моментально и глубоко... Именно это случилось со мной, когда я встрѣтилъ въ выходныхъ дверяхъ фабрики высокую, стройную дѣвушку, очень элегантную и даже красивую, одѣтую въ одно и то же время и просто, и изящно, и кокетливо въ дорогой костюмъ.

— А я бѣжала отыскивать васъ! — привѣтливо сказала эта дѣвушка, протягивая ко мнѣ обѣ руки и называя меня по имени. Это привѣтствіе несомнѣнно шло отъ чистой души,—такъ оно было непосредственно и искренно.

— Вы меня не узнали? Вотъ видите! А я васъ сразу узнала! Ха-ха-ха!

Дѣвушка говорила пріятнымъ груднымъ голосомъ, свою красивую голову держала нѣсколько закинутой назадъ, что производило впечатлѣніе, будто она смотритъ словно откуда-то сверху. Видъ у нея былъ цвѣтущій и веселый. Разумѣется, восемь лѣтъ—время немалое, особенно для женщины. Но Вѣрочку Воденюкову узналъ и я. Боже мой, какъ ее не узнать послѣ единственной въ своемъ родѣ вечеринки на Стеклянномъ заводѣ, гдѣ мы проговорили о пустякахъ цѣлый вечеръ въ своемъ „студенческомъ“ настроеніи и подъ аккомпаниментъ молодого помощника пристава, игравшаго на роялѣ. Мы были тамъ, на заводѣ, цѣлой толпой, товарищи-однокурсники и знакомые изъ другихъ учебныхъ заведеній. Мы отплясывали такъ горячо, а въ промежуткахъ между танцами съ такимъ пыломъ спорили о разныхъ „высокихъ матеріяхъ“. И что всего курьезнѣе: и танцы, и споры казались намъ дѣломъ болѣе или менѣе одинаково важнымъ... Да что же? Можетъ быть, и правда: то, что называется „общественнымъ настроеніемъ“, мы вѣдь пріобрѣтали въ окружавшей насъ тогда толпѣ, которая и спорила, и разсуждала, и плясала, дѣлая и то, и другое, и третье отъ всей души, отъ всего сердца... Вѣрочка Воденюкова въ спорахъ постоянно была моей союзницей... И какъ она мило спорила, какъ ловко вывертывалась, припертая къ стѣнѣ, какъ удачно защищала такіе взгляды, которые даже мои сотоварищи называли „крайними ересями“... Несомнѣнно, это была способная, умненькая головка, отъ которой я еще тогда ожидалъ такъ много хорошаго для жизни. Полтора или два года нашего петербургскаго знакомства, во всякомъ случаѣ, оставили въ моей душѣ самые пріятные, свѣтлые, дорогіе и близкіе образы.

Съ перваго взгляда, брошеннаго мною на Вѣрочку, мнѣ показалось, что и теперь она осталась такою же, какъ была—ну, немного пополнѣла, развилась, можетъ быть, постарѣла, въ томъ смыслѣ, что восемнадцать лѣтъ все же не то, что двадцать шесть...

жизни—дифференціалъ, то есть безконечно-малое, и накопленіе дифференціаловъ. А всѣ наши труды интегрируетъ сама ужъ жизнь...

При этихъ словахъ я, опять-таки какъ-то невольно, пристально взглянулъ на лицо Вѣры Сергѣевны. Но ничего, кромѣ сознанія собственнаго достоинства и довольства, это лицо теперь не выражало. Несомнѣнно, въ этомъ красивомъ лицѣ было уже нѣчто новое. Теперь я это уже вполнѣ разсмотрѣлъ.

Мнѣ хотѣлось поставить вопросъ: а какъ же далеко должно простираться такое пониманіе жизни? Какія измѣненія называть коренными и какія „мелочными", какъ отличать по этой теоріи „нѣчто" отъ „ничто"?. Мнѣ хотѣлось спросить о многомъ. Но я удержался и замолчалъ.

— Ахъ,—продолжала Вѣра Сергѣевна, — когда стоишь съ жизнью рабочей массы лицомъ къ лицу,—вы себѣ и представить не можете, сколько видишь ужасающаго горя и нищеты, и вопіющей несправедливости, и непроглядѣйшаго мрака!.. Не работать на пользу массы, чтобы облегчить жизнь хоть тѣхъ немногихъ, съ которыми приходится сталкиваться,—невозможно... Жизнь требуетъ работы. Именно требуетъ.

Говоря эти хорошія слова, Вѣрочка, несомнѣнно, волновалась, но горячо ли и искренно ли? Ея рѣчь опять-таки мнѣ понравилась. Она какъ будто звучала старымъ. Я всматривался въ лицо Вѣрочки, вслушивался въ интонацію ея голоса. Мнѣ такъ хотѣлось и увидѣть, и услышать это старое, это далекое, дорогое... Есть такія общія истины, которыя кажутся всѣмъ извѣстными и избитыми, если ихъ читать, но очень умными и трогательными, если ихъ слушать. Но, прислушиваясь къ Вѣрочкѣ, мнѣ показалось, что и сама она какъ будто прислушивается къ своимъ собственнымъ словамъ. Я напрасно отгонялъ даже и самую мысль о возможности этого и приписывалъ ее скверной привычкѣ людей видѣть во всемъ дурную сторону, принимать фактъ не въ той простотѣ и чистотѣ, каковъ онъ есть... Фактъ былъ на лицо, и въ этомъ фактѣ сквозило нѣчто мелкое, нѣчто пошлое.

— Хотите посмотрѣть на мое маленькое дѣло?—проговорила Вѣрочка, бросивъ косой взглядъ на висѣвшее передъ нею большое зеркало и расправивъ непослушную прядь волосъ, падавшихъ красивыми завитками на ея плечи.—Пойдемте.

Она позвала лакея съ лампой и повела меня черезъ какія-то комнаты, оранжереи и корридоры, черезъ дворъ и черезъ садъ, во флигель хозяйскаго дома. Я шелъ не сопротивляясь, да отъ меня и не ждали сопротивленія. Вѣра Сергѣевна какъ будто бы даже торопилась сколь возможно скорѣе все мнѣ показать, обо всемъ разсказать, подѣлиться съ новымъ человѣкомъ и старымъ знакомымъ всѣмъ, всѣмъ, что она успѣла сдѣлать и устроить

доказательства хозяйскаго „вкуса“ и „культурныхъ привычекъ“— все было дѣйствительно очень красиво и изящно. Особенно же меня поразили картины, висѣвшія въ массивныхъ рамахъ по стѣнамъ. Эти самыя картины я уже встрѣчалъ на выставкахъ „передвижниковъ“ и съ удивленіемъ спрашивалъ себя, какъ очутились онѣ въ тугаевской глуши.

— Не правда ли,—спрашивала меня Вѣрочка, — братъ мой здѣсь все это устроилъ очень мило и уютно?

— Ахъ, это вашъ братъ, а не вы?

— О, нѣтъ, для меня дороже всего простота! Вотъ моя комната!..

Это была обширная, свѣтлая комната, съ большимъ рабочимъ столомъ и мебелью безъ позолоты. У стѣны стояли уютная кушетка и изящная кровать, исчезавшая въ вышитыхъ кисейныхъ одѣялахъ, вышитыхъ накидкахъ, несомнѣнно потребовавшихъ массы труда и времени. На стѣнахъ, также какъ и въ залѣ, висѣли идейныя картины. Въ громадномъ дубовомъ шкафу красовались длинные ряды книгъ въ роскошныхъ сафьяновыхъ переплетахъ... Все это были русскіе и европейскіе классики, свѣтила науки и мысли; здѣсь же стояли и произведенія тѣхъ, кого мы, восемь лѣтъ тому назадъ, называли, да называемъ и до сихъ поръ,—„учителями русской интеллигенціи“. Здѣсь же я увидѣлъ и нашихъ заграничныхъ учителей,—Маркса, Энгельса и Лассаля на русскомъ и нѣмецкомъ языкахъ. Цѣлая полка шкафа была занята русскими заграничными изданіями тоже въ роскошныхъ шагреневыхъ переплетахъ. Въ комнатѣ Вѣрочки все было такъ чисто, такъ уютно, такъ мило... Это дѣйствительно была простота, но простота, стоившая не мало денегъ...

— Хорошо у васъ тутъ!—сказалъ, въ свою очередь, и я.

— Вы находите?—отвѣчала Вѣрочка. — По крайней мѣрѣ, я очень довольна! Вотъ мой братецъ—такъ не совсѣмъ. Онъ половину года живетъ въ Харьковѣ да въ Москвѣ. И теперь онъ тамъ... А я—я рѣшила жить всю жизнь въ самой глухой провинціи... Знаете, я вѣдь и теперь осталась такою же, какъ была... Я хочу приносить пользу.

Послѣднія слова она произнесла очень мило и даже шаловливо.

— Ну, вотъ сядемте здѣсь и поговоримъ, въ ожиданіи пока намъ подадутъ чаю...

— Что же вы тутъ дѣлаете? — спросилъ я, усаживаясь на мягкій стулъ.

— Странный вопросъ! Разумѣется, работаю! Развѣ въ провинціи мало дѣла для русской интеллигенціи? Развѣ интеллигенція не должна работать, не должна стать съ народомъ лицомъ къ лицу, чтобы народъ понялъ ее и оцѣнилъ?

Эти слова были сказаны такимъ тономъ, что я, несмотря на то, что все еще былъ поглощенъ своими воспоминаніями, опять-таки разобралъ въ нихъ какую-то особенную и не совсѣмъ пріятную, какъ будто бы и фальшивую нотку. Но что это была за нотка, я все еще не давалъ себѣ отчета.

— Теперь разсказывайте, что подѣлывали за эти восемь лѣтъ вы? У васъ навѣрное есть побольше о чемъ разсказать.

Принесли чай на серебряномъ подносѣ, въ серебряныхъ подстаканникахъ. Лакей освѣтилъ комнаты электрическимъ свѣтомъ. При отблескахъ электрическихъ лампочекъ комната Вѣры Сергѣевны показалась мнѣ еще уютнѣе, чѣмъ прежде.

Я принялся разсказывать о петербургскомъ житьѣ-бытьѣ, о вѣяніяхъ и теченіяхъ, о диктатурахъ сердца и безсердечія, обо всемъ томъ, чѣмъ даритъ россійскаго обывателя россійская „общественная" жизнь, глядя на которую, а тѣмъ болѣе участвуя въ которой, россійскій интеллигентъ испытываетъ цѣлый ряда надрывовъ, напрягаетъ нервы, выматываетъ душу, тѣмъ болѣе, чѣмъ болѣе вдумывается въ эту жизнь, въ ея безпорядочномъ цѣломъ, и чѣмъ ближе принимаетъ къ сердцу „самый корень вещей".

— Послушайте,—вдругъ перебила меня Вѣра Сергѣевна.— Простите, я перестала за эти восемь лѣтъ понимать вашу терминологію. Я искренно вѣрю вамъ, я душевно жалѣю всѣхъ васъ, пишущую братію, но я думаю, что въ вашихъ страданіяхъ и мученіяхъ виноваты прежде всего вы сами...

Услышавъ эти слова въ устахъ Вѣры Сергѣевны, я даже обрадовался: они повѣяли на меня далекой и милой стариной. Прежде всего мнѣ показалось, что Вѣрочка и теперь, какъ въ далекую старину, по прежнему, что называется, беретъ „тономъ выше". Но въ голосѣ Вѣрочки все же звучало и что-то странное. Я нашелъ нужнымъ задать вопросъ и ей.

— Чѣмъ же мы-то здѣсь виноваты, позвольте мнѣ васъ спросить?

Вѣра Сергѣевна очень красиво откинула назадъ свою милую головку и увѣреннымъ тономъ сказала:

— А тѣмъ, что вы все беретесь за великіе вопросы и за великія дѣла. Вы выставляете себѣ такія громоздкія задачи, что онѣ положительно не по силамъ ни вамъ, ни другимъ. Вы все судите и осуждаете съ точки зрѣнія этихъ задачъ. Вы не просто смотрите на самую жизнь,—оттого и претерпѣваете всякія душевныя мученія... Побольше бы слѣдовало вамъ обращать вниманія на самую жизнь, на малыхъ сихъ.. Вѣдь за вами-то, за вами никого нѣтъ. Вы иной разъ даже хоть и впередъ идете, а та толпа, для которой вы работаете, смотритъ на васъ, и даже васъ слушаетъ, а за вами-то и не идетъ. Уже это правда! Я знаю это, повѣрьте!..

Эти слова были сказаны очень горячо и авторитетно. Я невольно взглянулъ на лицо Вѣры Сергѣевны и увидѣлъ въ немъ еще новую черточку, маленькую, не сразу замѣтную черточку, которой тогда, восемь лѣтъ назадъ, я въ томъ убѣжденъ, тоже совсѣмъ не было... Тогда Вѣрочка ни о чемъ не говорила *такимъ* тономъ... Нѣтъ, нѣтъ, этотъ тонъ былъ неискрененъ. Отъ всей души такимъ тономъ не говорятъ.

— Что вы на меня такъ смотрите?—спросила Вѣрочка.—Я очень измѣнилась? Да? Еще бы! Я столько пережила, передумала, ну, и перечувствовала... Но право же я остаюсь такою же и никакимъ задачамъ не измѣняла... Вы удивлены, не правда-ли? Ха, ха, ха! Совершенно напрасно! Но, согласитесь сами, жизнь все же учитъ насъ кое-чему. И меня научила.

— Чему же? Чему?—воскликнулъ я, если не съ горечью, то съ замираніемъ сердца.

— А тому, *что геройство минутнаго подвига* требуетъ отъ человѣка гораздо меньшаго, чѣмъ геройство *многолѣтняго труда*. Я иду къ той же цѣли, какъ и шла, хотя и нѣсколько другой дорогой... Да и увѣренности въ себѣ больше прибавилось,—это правда...

Я продолжалъ смотрѣть на нее вопросительнымъ взглядомъ.

— Да, не удивляйтесь, что я такъ говорю. Я была мечтательница, теперь я—работница. *Теперь* я знаю, что дѣлаю и что *должна* дѣлать. И дѣлаю, дѣлаю все-все-все, что могу... Даже больше!..

Эти слова, хотя и показались мнѣ опять-таки нѣсколько самоувѣренными и не искренними, но были опять сказаны такъ мило, что я не могъ не улыбнуться и не сказать:

— Экой вы счастливый человѣкъ! И дѣло дѣлаете, и свои силы сознаете! И собой довольны, повидимому...

Вѣра Сергѣевна самодовольно улыбнулась. По ея лицу было видно, что мои слова лишь выразили ея собственную мысль. Никакой новости, никакого комплимента этими словами я ей не сказалъ. Но отъ этой ея улыбки я уже вполнѣ ясно почувствовалъ, что со мною говоритъ не прежняя Вѣрочка, а кто-то другой, забравшійся въ эти восемь лѣтъ въ душу моей тогдашней пріятельницы.

— Знаете, какъ я смотрю на жизнь,—сказала она въ подтвержденіе *моихъ* словъ, и сейчасъ же отвѣтила на поставленный вопросъ.—Жить—это значитъ работать на пользу окружающимъ людямъ, насколько только позволяютъ тебѣ твои силы, твое пониманіе жизни, твое положеніе.. Измѣненія коренныхъ условій жизни къ лучшему вытекаютъ изъ накопленія измѣненій мелкихъ, и только изъ этого и могутъ вытекать... Самая суть

жизни—дифференціалъ, то есть безконечно-малое, и накопленіе дифференціаловъ. А всѣ наши труды интегрируетъ сама ужъ жизнь...

При этихъ словахъ я, опять-таки какъ-то невольно, пристально взглянулъ на лицо Вѣры Сергѣевны. Но ничего, кромѣ сознанія собственнаго достоинства и довольства, это лицо теперь не выражало. Несомнѣнно, въ этомъ красивомъ лицѣ было уже нѣчто новое. Теперь я это уже вполнѣ разсмотрѣлъ.

Мнѣ хотѣлось поставить вопросъ: а какъ же далеко должно простираться такое пониманіе жизни? Какія измѣненія называть коренными и какія „мелочными", какъ отличать по этой теоріи „нѣчто" отъ „ничто"?. Мнѣ хотѣлось спросить о многомъ. Но я удержался и замолчалъ.

— Ахъ,—продолжала Вѣра Сергѣевна, — когда стоишь съ жизнью рабочей массы лицомъ къ лицу,—вы себѣ и представить не можете, сколько видишь ужасающаго горя и нищеты, и вопіющей несправедливости, и непроглядѣйшаго мрака!.. Не работать на пользу массы, чтобы облегчить жизнь хоть тѣхъ немногихъ, съ которыми приходится сталкиваться,—невозможно... Жизнь требуетъ работы. Именно требуетъ.

Говоря эти хорошія слова, Вѣрочка, несомнѣнно, волновалась, но горячо ли и искренно ли? Ея рѣчь опять-таки мнѣ понравилась. Она какъ будто звучала старымъ. Я всматривался въ лицо Вѣрочки, вслушивался въ интонацію ея голоса. Мнѣ такъ хотѣлось и увидѣть, и услышать это старое, это далекое, дорогое... Есть такія общія истины, которыя кажутся всѣмъ извѣстными и избитыми, если ихъ читать, но очень умными и трогательными, если ихъ слушать. Но, прислушиваясь къ Вѣрочкѣ, мнѣ показалось, что и сама она какъ будто прислушивается къ своимъ собственнымъ словамъ. Я напрасно отгонялъ даже и самую мысль о возможности этого и приписывалъ ее скверной привычкѣ людей видѣть во всемъ дурную сторону, принимать фактъ не въ той простотѣ и чистотѣ, каковъ онъ есть... Фактъ былъ на лицо, и въ этомъ фактѣ сквозило нѣчто мелкое, нѣчто пошлое.

— Хотите посмотрѣть на мое маленькое дѣло?—проговорила Вѣрочка, бросивъ косой взглядъ на висѣвшее передъ нею большое зеркало и расправивъ непослушную прядь волосъ, падавшихъ красивыми завитками на ея плечи.—Пойдемте.

Она позвала лакея съ лампой и повела меня черезъ какія-то комнаты, оранжереи и корридоры, черезъ дворъ и черезъ садъ, во флигель хозяйскаго дома. Я шелъ не сопротивляясь, да отъ меня и не ждали сопротивленія. Вѣра Сергѣевна какъ будто бы даже торопилась сколь возможно скорѣе все мнѣ показать, обо всемъ разсказать, подѣлиться съ новымъ человѣкомъ и старымъ знакомымъ всѣмъ, всѣмъ, что она успѣла сдѣлать и устроить

и другія литературныя работы. Кромѣ того, изо дня въ день, Вѣра Сергѣевна, по примѣру Башкирцевой, ведетъ подробный и обстоятельный дневникъ,—нѣчто въ родѣ литературнаго протокола о всѣхъ своихъ настроеніяхъ, чувствахъ и идеяхъ, даже самыхъ мимолетныхъ. Очевидно, всѣ, рѣшительно всѣ движенія своей души Вѣра Сергѣевна цѣнила особенно, потому что цѣнила самое себя. Она слѣдила сама за собой, смотрѣла на себя и любовалась собою... Она какъ будто была убѣждена, что совершала подвигъ, живя не въ Петербургѣ или Москвѣ, и не въ какомъ-нибудь губернскомъ городѣ, а въ тугаевской глуши, хотя бы и прекрасно обставленной. Я познакомился съ ея дневникомъ лишь настолько, чтобы не показаться грубымъ, но не нашелъ нужнымъ выкладывать передъ его авторомъ то, что происходило въ это время въ моей душѣ. Я не спорилъ съ Вѣрой Сергѣевной Я слушалъ и молчалъ. Быть можетъ, я поступилъ нехорошо? Быть можетъ. Но мое настроеніе было тогда таково, что я не могъ, органически не могъ поступить иначе.

А Вѣра Сергѣевна долго и пространно говорила мнѣ о своихъ грудахъ на пользу народа. гсворила, какъ и другіе говорятъ,—люди того-же типа. Этотъ типъ мнѣ уже встрѣчался на моемъ вѣку. Онъ вѣдь имѣетъ представителей и покрупнѣе. Мнѣ очень хотѣлось лишь разузнать, на сколько же искренно Вѣра Сергѣевна все это говоритъ? Во многихъ случаяхъ я видѣлъ, что она была какъ будто бы и вполнѣ искренна. Что же,—быть можетъ, въ смыслѣ душевнаго спокойствія, она поступала и благоразумно, сознательно забывая за своимъ маленькимъ дѣломъ все остальное, закрывая на многое глаза и останавливаясь въ своемъ анализѣ тамъ, гдѣ считала нужнымъ, для того, чтобы замаскировать коренной компромиссъ, допущенный въ самой сущности дѣла, и отведя себѣ узенькую спеціальность...

Нѣтъ, я уже былъ почти убѣжденъ, что Вѣра Сергѣевна неискренна. Можно ли сказать своему собственному мышленію: остановись, не иди дальше? Тѣмъ болѣе, что это мышленіе восемь лѣтъ тому назадъ ушло такъ далеко... Вѣдь не можетъ же остановиться мышленіе у Ивана Кузьмича, не могло оно остановиться и у Вѣры Сергѣевны... И къ тому же, Вѣра Сергѣевна не такой человѣкъ, какъ другіе. Она выше многихъ и многихъ цѣлой головой. Правда, въ дѣлѣ мышленія, какъ и въ жизни, требуется смѣлость, и даже прежде всего смѣлость,—и не только одной мыслительной способности, но, если можно такъ выразиться, и эмоціи, и всей психики. Неужели же именно этой смѣлости и не достаетъ Вѣрѣ Сергѣевнѣ? Неужели Иванъ Кузьмичъ и въ этомъ отношеніи оставилъ Вѣру Сергѣевну далеко позади себя? Для меня, въ сущности, это было очевидно. Да и сама Вѣра Сергѣевна, какъ человѣкъ умный, наконецъ, какъ человѣкъ, когда-то уже переступавшій за предѣлъ своего собствен-

Сергѣевна искренно желала любить народъ, но только ничѣмъ или почти ничѣмъ не поступаясь для него изъ собственнаго своего благополучія и всячески укрывая несомнѣнно сознаваемый разладъ и компромиссъ довольно густою пеленой общихъ понятій и научныхъ терминовъ, растягивая эти послѣдніе именно въ ту сторону, куда ее самое влекли ея личные и классовые интересы, выгоды, потребности...

Мнѣ было отъ всей души жаль Вѣрочку. Но еще печальнѣе было то, что среди нашихъ культуръ-трегеровъ такая не одна она,—такихъ много. И всѣмъ такимъ ихъ самодовольство не мѣшаетъ грызть и пилить самихъ себя, не мѣшаетъ самоядѣнію. Я не хотѣлъ, я старался не думать, что прежняя Вѣрочка и вправду на вѣкъ умерла.

Да, я смотрѣлъ на эту изящную, веселую дѣвушку съ тѣмъ же чувствомъ, какъ смотримъ мы на дорогихъ покойниковъ, вѣруя или желая вѣрить, еще что они воскреснутъ.

* * *

Во всякомъ случаѣ, мы разстались друзьями. Меня оставляли ночевать въ „господскомъ домѣ". Мнѣ даже приготовили тамъ особую комнату. Но у меня было какъ-то особенно грустно на душѣ... Мнѣ было не до спанья. Впечатлѣнія дня были настолько сильны, что не сразу я могъ ихъ переварить.

Я распрощался съ Вѣрочкой, далъ ей свой петербургскій адресъ, а съ нея взялъ обѣщаніе писать...

Кто знаетъ, вѣдь и сама жизнь очень часто бываетъ способна воскрешать мертвыхъ и заставляетъ понимать даже то, чего люди сознательно стараются не понимать.

Да, мы разстались съ Вѣрой Сергѣевной друзьями, но чуждые одинъ другому.

Вѣдь и такихъ друзей на Руси очень много...

Но въ эту памятную ночь меня волновали другія мысли и другія впечатлѣнія. Сонъ рѣшительно бѣжалъ отъ глазъ. Я пошелъ бродить по дорогѣ.

Тишина и безлюдье, пугавшія меня въ степи и днемъ, теперь были еще унылѣе и страшнѣе. Только изъ открытыхъ и освѣщенныхъ оконъ и дверей фабрики доносился гулъ и грохотъ машинъ. Между тѣмъ степь была спокойна и недвижима. Только фабрика гудѣла и грохотала, словно испуская долгій и протяжный стонъ.

Мнѣ было страшно и жутко. Я повернулъ къ слободѣ, гдѣ изъ трактира еще мелькалъ привѣтливый огонекъ.

— Н-не могу¡—Р-разнесу!

снова заговорила, что она душу свою готова положить „ради этихъ людей", что „культурная работа на ихъ пользу стала теперь единственною цѣлью" ея жизни. „Развѣ это не тотъ единственно вѣрный путь къ той цѣли", къ которой она идетъ и теперь, какъ тогда? Но, говоря это, Вѣра Сергѣевна уже, очевидно, не могла попасть въ должный тонъ. Ея слова звучали не такъ уже горячо. Въ нихъ чувствовалась все яснѣй теорія, вообще доктрина. Быть можетъ, Вѣра Сергѣевна тоже успѣла подмѣтить, что я смотрю на нее уже не тѣми глазами, какъ три часа тому назадъ, и это ее смущало. И я дѣйствительно смотрѣлъ и не могъ не смотрѣть на мою прежнюю Вѣрочку, словно это былъ вовсе не живой человѣкъ, а милая, дорогая покойница, лежащая, какъ живая, передо мной въ золоченомъ гробу...

Теперь я уже понималъ Вѣрочку. Такіе типы, какъ она, повидимому — одно изъ характернѣйшихъ явленій первой половины девяностыхъ годовъ. Такіе типы сложились и выросли на той почвѣ, которая была создана восьмидесятыми годами, въ душной атмосферѣ сѣренькой, неприглядной дѣйствительности, лишь отчасти какъ будто скрашиваемой культурной, примиряющей, да,—именно примиряющей! — работой, которая если поднимаетъ однихъ, до сего времени никакъ не работавшихъ, за то понижаетъ другихъ, которые когда-то стояли выше. Но есть еще третьи, успѣвшіе многое понять, многое почувствовать и даже — перечувствовать, — перечувствовать искренно, испытать на своей шкурѣ, и затѣмъ не сумѣвшіе или не посмѣвшіе пойти по тому пути, который былъ намѣченъ ими въ оны дни, или же не идущіе по этому пути, просто не желая ничѣмъ поступиться изъ своего. Но убить въ себѣ сознаніе того, что уже сознано, и пониманіе того, что уже изучено, эти третьи тоже не могутъ и не могли. Что же имъ остается? Самогрызеніе, самонедовольство, борьба съ собственнымъ существомъ, со своей собственной жгучей совѣстью... Есть и такіе. Но есть и другой типъ, увильнувшій отъ этого мучительнаго состоянія, нашедшій нѣкоторый выходъ изъ него въ мелкой, повседневной, культурной работѣ, которая, хоть отчасти, ведетъ къ той же далекой цѣли. Тутъ ужъ не разсуждаютъ о томъ, какъ она ведетъ и когда приведетъ къ цѣли, не разсуждаютъ о многомъ, а на многое сознательно и полусознательно закрываютъ глаза. На этой скользкой и двусмысленной почвѣ развиваются многія свойства русскаго интеллигентнаго человѣка, — и двойственность его, и фальшь, а рядомъ и рисовка, и внѣшнее и отчасти внутреннее самодовольство, преисполненное поклоненія самому себѣ и не чуждое искреннихъ порывовъ, но только направленныхъ на маленькіе, узенькіе объекты. Есть въ такихъ людяхъ и искренность, есть и желанія, и стремленія къ маленькому добру и своего рода общественнымъ задачамъ... И Вѣра

Сергѣевна искренно желала любить народъ, но только ничѣмъ или почти ничѣмъ не поступаясь для него изъ собственнаго своего благополучія и всячески укрывая несомнѣнно сознаваемый разладъ и компромиссъ довольно густою пеленой общихъ понятій и научныхъ терминовъ, растягивая эти послѣдніе именно въ ту сторону, куда ее самое влекли ея личные и классовые интересы, выгоды, потребности...

Мнѣ было отъ всей души жаль Вѣрочку. Но еще печальнѣе было то, что среди нашихъ культуръ-трегеровъ такая не одна она,—такихъ много. И всѣмъ такимъ ихъ самодовольство не мѣшаетъ грызть и пилить самихъ себя, не мѣшаетъ самоѣденію. Я не хотѣлъ, я старался не думать, что прежняя Вѣрочка и вправду на вѣкъ умерла.

Да, я смотрѣлъ на эту изящную, веселую дѣвушку съ тѣмъ же чувствомъ, какъ смотримъ мы на дорогихъ покойниковъ, вѣруя или желая вѣрить, еще что они воскреснутъ.

* * *

Во всякомъ случаѣ, мы разстались друзьями. Меня оставляли ночевать въ „господскомъ домѣ". Мнѣ даже приготовили тамъ особую комнату. Но у меня было какъ-то особенно грустно на душѣ... Мнѣ было не до спанья. Впечатлѣнія дня были настолько сильны, что не сразу я могъ ихъ переварить.

Я распрощался съ Вѣрочкой, далъ ей свой петербургскій адресъ, а съ нея взялъ обѣщаніе писать...

Кто знаетъ, вѣдь и сама жизнь очень часто бываетъ способна воскрешать мертвыхъ и заставляетъ понимать даже то, чего люди сознательно стараются не понимать.

Да, мы разстались съ Вѣрой Сергѣевной друзьями, но чуждые одинъ другому.

Вѣдь и такихъ друзей на Руси очень много...

Но въ эту памятную ночь меня волновали другія мысли и другія впечатлѣнія. Сонъ рѣшительно бѣжалъ отъ глазъ. Я пошелъ бродить по дорогѣ.

Тишина и безлюдье, пугавшія меня въ степи и днемъ, теперь были еще унылѣе и страшнѣе. Только изъ открытыхъ и освѣщенныхъ оконъ и дверей фабрики доносился гулъ и грохотъ машинъ. Между тѣмъ степь была спокойна и недвижима. Только фабрика гудѣла и грохотала, словно испуская долгій и протяжный стонъ.

Мнѣ было страшно и жутко. Я повернулъ къ слободѣ, гдѣ изъ трактира еще мелькалъ привѣтливый огонекъ.

— Н-не могу!—Р-разнесу!

Дикій голосъ полудикаго пьянаго человѣка, нарушившій тишину и также похожій на стонъ, заставилъ меня вздрогнуть и ускорить шаги...

* * *

Не прошло послѣ того и мѣсяца, какъ я, возвратившись въ Петербургъ, нашелъ у себя на столѣ письмо, въ конвертѣ котораго тотчасъ же узналъ давно знакомый почеркъ Вѣры Сергѣевны. Я тотчасъ же распечаталъ конвертъ. Письмо было положительно жалостное, хотя какъ будто и не душевное. Вѣрочка жаловалась, и вотъ въ чемъ заключалась ея жалоба:

„Я вамъ говорила,—писала она,—что мое положеніе здѣсь, на фабрикѣ, далеко не изъ такихъ пріятныхъ, какъ это вамъ, быть можетъ, показалось. И то маленькое дѣло, которое я дѣлаю, стоитъ мнѣ столько нервной силы, сколько вы и не предполагаете, быть можетъ, во мнѣ. Я знаю отлично, я не закрываю глазъ: эти люди, ради которыхъ я здѣсь живу въ глуши и работаю, не жалѣя себя и своей молодости, меня не цѣнятъ, меня не любятъ. Я имъ чужая. То, что я дѣлаю, кажется имъ слишкомъ ничтожнымъ. Они требуютъ большаго. А если я даю имъ еще больше,—они тоже повышаютъ свои требованія. Надо же остановиться когда-нибудь. Но они-то не останавливаются. Не прошло и недѣли, какъ вы уѣхали, а у насъ на фабрикѣ уже случилась крупная непріятность. Могли ли вы подумать хотя минуту, когда были у насъ, что Тугаевская фабрика, сдѣлавшая для рабочихъ гораздо больше, чѣмъ многія другія, впервые установившая у себя страхованіе рабочихъ, не жалѣвшая денегъ ни на школы, ни на больницы, ясли, народныя чтенія и проч., послужила ареной крупной забастовки. Забастовка произошла, писали въ газетѣ, „какъ будто на законномъ основаніи“. Рабочіе придрались къ какому-то измѣненію въ количествѣ рабочихъ часовъ, (совершенно не понимая, что теперь въ бумажномъ дѣлѣ большой застой), и стали заявлять каждый отъ себя, чтобы черезъ двѣ недѣли, по закону, имъ былъ выданъ разсчетъ. И такъ сдѣлали всѣ до одного, даже чернорабочіе. И контора не имѣла права ихъ удержать, потому что они отказывались каждый за себя, а не скопомъ. Пробовали выписать рабочихъ изъ Харькова, но не нашли тамъ и половины того, что нужно... Вы и представить себѣ не можете, сколько намъ было непріятностей. А особенно мнѣ. За это время я выслушала отъ рабочихъ то, чего не слыхала никогда. Нѣтъ, нѣтъ, Н. А., эта рабочая масса такъ невѣжественна, такъ малокультурна, что положительно неспособна понимать хорошаго, человѣческаго отношенія къ ней. Вотъ съ этого-то подъема культурности, съ устраненія

невѣжества и нужно начинать... Остальное все приложится само собою. Я дѣлала и дѣлаю для народа больше, чѣмъ могу, я себя не жалѣю ради него... И вотъ вамъ фактъ на лицо: судите и цѣните".

И я судилъ и цѣнилъ. Бѣдная Вѣра Сергѣевна!

* * *

А что сталось съ Иваномъ Кузьмичемъ? Этого я такъ и не знаю. Вѣроятно, онъ гдѣ-нибудь работаетъ и теперь, и еще больше „повысилъ свои требованія" къ окружающей жизни, то есть къ тому самому проклятому строю ея, который ломаетъ и калѣчитъ сотни милліоновъ такихъ самыхъ людей, какъ Иванъ Кузьмичъ...Ужъ гдѣ-нибудь онъ и теперь работаетъ, и развѣ можетъ не работать?

Такіе люди, какъ Иванъ Кузьмичъ, могутъ лишь измѣнить форму своей борьбы, но самой-то сути ея ужъ они не измѣняютъ...

IV.

ИСКОРКИ.

ИЗЪ ЛѢТНИХЪ ЭКСКУРСІЙ. НАКАНУНѢ БОРЬБЫ.

Ночевать намъ пришлось въ деревнѣ. Чтобы не мучить лошадей во время дневной жары, мы должны были пуститься въ дальнѣйшій путь не позднѣе полуночи. Какъ всегда бываетъ при такихъ путешествіяхъ по россійскимъ градамъ и весямъ, кости наши болѣли, головы трещали, а настроеніе, что ни день, то измѣнялось къ худшему... Интересъ къ окружающей жизни,— жизни самыхъ глухихъ, и, по общераспространенному представленію, самыхъ мертвыхъ, заскорузлыхъ уголковъ святой Руси,— куда-то исчезъ... Вездѣ все то же, вездѣ лишь безконечно разнообразныя проявленія общихъ условій, безконечнѣйшія слѣдствія однѣхъ и тѣхъ же причинъ, всѣмъ извѣстныхъ и переизвѣстныхъ, обсуженныхъ гласно и негласно, про себя и для другихъ... Однообразная панорама какъ будто начинала надоѣдать; временами даже казалось, что ради видѣннаго и слышаннаго не стоило и пускаться за сотни и даже тысячи верстъ изъ насиженнаго петербургскаго угла: можно было бы и тамъ сидѣть, строя логическіе выводы изъ заранѣе установленныхъ тезисовъ, по всѣмъ фигурамъ аристотелевской логики: barbara, celarent, barnalip и т. д. Правда, жизнь иногда бываетъ нелогична и порождаетъ иной разъ такіе факты, которые не только не предусмотрѣны сводомъ законовъ, но и здравымъ смысломъ... Но вѣдь у „неожиданностей" есть своя классификація, есть свои категоріи... Неужели же еще не всѣ эти категоріи намъ извѣстны? Ворочаясь въ душномъ углу крестьянской избы, куда намъ пришлось забраться ради ночевки, изъ боязни испареній отъ окружающихъ болотъ, я мысленно

отвѣчалъ на этотъ вопросъ: все то же, все то же, вездѣ и всегда все то же; есть и темное, есть и свѣтлое,—нѣтъ лишь должнаго количества этого свѣтлаго... И, перебирая въ умѣ длинную вереницу картинъ и всякихъ впечатлѣній, собранныхъ во время нашей экскурсіи, я не видѣлъ въ нихъ и признаковъ того, что это свѣтлое накопляется съ тою быстротой, какая способна сдѣлать, для меня, россійскаго „обывателя", мою собственную жизнь интересной, способна вселить въ меня надежду, что и я еще поживу, и доживу, и поработаю, и порадуюсь... Говоря языкомъ математиковъ, свѣтлые факты жизни, быть можетъ, и представляютъ изъ себя прогрессію ариѳметическую, но ужь навѣрное, казалось мнѣ, они не представляютъ прогрессіи геометрической... Вотъ эту таинственную геометрическую прогрессію жизни или, вѣрнѣе сказать, лучшаго будущаго, мнѣ и хотѣлось найти. Но я тщетно искалъ ея въ моихъ странствованіяхъ по селамъ и деревнямъ. Искалъ и не видалъ. Я видѣлъ какіе-то обрывки, какія-то частности, но не видѣлъ того свѣтлаго и мощнаго, что могло бы и ободрить утомленныхъ живыхъ, и оживить мертвецовъ, которыхъ среди насъ, къ сожалѣнію, не мало...

* * *

Ровно въ полночь мы уже сидѣли на своей „трясучкѣ" или таратайкѣ, запряженной жалкими, полуободранными лошаденками, принадлежавшими къ особой зоологической разновидности „одровъ". Возница неистово гикалъ и кричалъ на нихъ и грозно свистѣлъ надъ ними своимъ кнутомъ, лишь изрѣдка рѣшаясь опускать его на костлявую, изъѣденную слѣпнями и комарами лошадиную спину.

Мы едва двигались. Время тянулось убійственно медленно. Воздухъ былъ сырой и холодный. По сторонамъ сначала тянулись болота и луга. Затѣмъ лошади съ трудомъ втащили насъ на довольно крутую, песчаную гору, и мы сразу почувствовали, что сырой, холодный туманъ, пронизывавшій насъ до костей и казавшійся со сна еще холоднѣе, остался внизу, позади насъ. Оглянувшись назадъ, я увидѣлъ подъ горой словно озеро, бѣлой скатертью растилавшееся на огромномъ пространствѣ. Въ этомъ озерѣ, какъ въ волнахъ, потонула и несчастная деревенька, гдѣ мы ночевали, и копны сѣна на лугахъ, и кустарники, разросшіеся по краямъ дороги, и поскотина, непрочно и неуклюже устроенная изъ жердей. Изъ этого моря тумана въ двухъ-трехъ мѣстахъ мелькали огоньки; кое гдѣ высокія деревья поднимали изъ него свои верхушки; далекіе холмы казались островками, а вдали синѣлъ дремучій лѣсъ, словно берегъ этого воздушнаго и холоднаго моря... На всей этой картинѣ, освѣщенной голубоватымъ,

серебрянымъ свѣтомъ луны, лежалъ отпечатокъ чего-то таинственнаго, отпечатокъ какого-то сказочнаго, соннаго царства, съ тою лишь разницей, что, въ извѣстной сказкѣ, сонъ напалъ на людей во время ихъ счастья, а здѣсь,—много ли здѣсь лежало, на днѣ этого туманнаго моря, людей, не говорю счастливыхъ, не говорю довольныхъ (русскій человѣкъ „многимъ доволенъ"), а хотя бы нелишенныхъ элементарнѣйшихъ условій человѣческаго, мало мальски сноснаго существованія?..

— И что это, гдѣ они деревушку свою построили!—спросилъ мой спутникъ молодого паренька, правившаго лошадями:— Что-бы имъ вотъ здѣсь, на горкѣ, ее выстроить, куда туманъ не хватаетъ?..

Этотъ же вопросъ вертѣлся въ головѣ и у меня. Но нашъ возница, очевидно, человѣкъ привычный къ разнаго рода страннымъ неудобствамъ, какъ мнѣ казалось, довольно-таки насмѣшливо отвѣчалъ:

— А чего бы имъ здѣсь не строиться, коли бы эта земля ихъ была?.. Оно, конечно, здѣсь не въ примѣръ лучше...

— Чья же это земля?

— Казенная...

Мы ѣхали по казенному заповѣдному лѣсу, одному изъ тѣхъ немногихъ счастливцевъ-лѣсовъ, которые были охранены самимъ закономъ отъ возмутительнаго хищничества человѣка. Почва была песчаная, дорога широкая. Подъ колесами нашей таратайки шуршалъ сыпучій песокъ; слышно было, какъ песчинка хрустѣла о песчинку. Копыта лошадей и колеса постукивали о корни деревьевъ, мощною сѣтью растилавшихся по землѣ. Другая зеленая кружевная сѣть висѣла неподвижно надъ нами; на голубомъ фонѣ прозрачнаго неба она казалась почти черной; лишь озаренныя луной верхушки деревьевъ играли зеленовато синими лучами. Мощные стволы дубовъ и березъ чернѣли по сторонамъ дороги; наверху все вѣтви и листья, а надъ ними опять и опять вѣтви и листья, то черные, то освѣщенные луной—чудная перспектива зелени, висящей надъ головою, неподвижная и вмѣстѣ съ тѣмъ полная жизни. И ночь, и тишина, и душистый воздухъ, и какіе-то таинственные звуки, которые неслись изъ лѣсу, не то шумъ, не то гулъ, не то близкій, не то далекій, словно аккомпаниментъ рѣзкимъ крикамъ ночныхъ птицъ.—все это производило на насъ чарующее впечатлѣніе какого-то таинственнаго величія. Мы ѣхали часъ, ѣхали другой и не уставали слушать гулъ лѣса и слѣдить за мерцаніемъ далекихъ звѣздъ, то появлявшихся, то исчезавшихъ и снова появлявшихся изъ-за листвы деревьевъ. Время тянулось для насъ незамѣтно. Мѣрное шаганье лошадей, единственныхъ живыхъ существъ, нераздѣлявшихъ нашего настроенія и съ трудомъ вытаскивавшихъ ноги

изъ сыпучаго песка, трепыханье таратайки,—все это приводило насъ въ полусонное, гипнотическое состояніе. Изъ него вывелъ насъ возница.

— Лѣсу-то скоро конецъ,—сказалъ онъ.—Тамъ пойдетъ ровно. Деревушка будетъ. Передышку бы лошадямъ надо сдѣлать... А тамъ опять будетъ лѣсъ верстъ на пять.

* * *

Мы очнулись отъ нашего полузабытья и, насколько было можно, старались расправить онѣмѣвшія руки и ноги. Часа черезъ два долженъ былъ уже наступить разсвѣтъ. Кое-какія птицы давно проснулись. Ихъ пѣніе раздавалось и вблизи и вдали. А къ гудѣнію, пѣснѣ лѣса присоединился еще какой-то особый шумъ. Я скоро различилъ его и отчетливо выдѣлилъ изъ общаго хора природы. Это было не то громыханіе, не то звонъ, не то стукъ и грохотъ множества молотковъ, особый звукъ, не поддающійся описанію, но рѣзкій и непріятный. Онъ составлялъ полную дисгармонію съ другими волнами звуковъ, наполнявшихъ глубины лѣса, и по мѣрѣ того, какъ мы подвигались впередъ, становился все сильнѣе и сильнѣе. Въ этомъ звукѣ я уже скоро сталъ различать нѣсколько тоновъ, такихъ же рѣзкихъ и непріятныхъ, но разнаго тембра и высоты. Деревья стали рѣдѣть, но темнота не уменьшалась. Небо было попрежнему прозрачно,—хотя луны уже не было видно.

И вдругъ, изъ-за деревьевъ раздвинувшейся, развернувшейся въ ширь опушки лѣса промелькнулъ въ листвѣ желтый огонекъ, за нимъ другой и третій. Эти огоньки представляли такой неожиданный контрастъ съ серебрянымъ блескомъ луны и звѣздъ, и электрической синевой неба, что показались намъ тоже въ какой-то непріятной дисгармоніи съ окружающей природой. Эти огоньки такъ же нарушали краски природы, какъ рѣзкіе, непріятные звуки нарушали ея тишину... Мы уже ясно видѣли межъ деревьевъ, что огоньки расположены длиннымъ и правильнымъ рядомъ: затѣмъ можно было отличить и другой рядъ, и еще, и еще,—четыре ряда огоньковъ одинъ надъ другимъ.

Тамъ, вдали, передъ нами возвышалось громадное зданіе, освѣщенное сверху до низу, не смотря на глухую лѣтнюю ночь. Изъ него-то и неслись и заполняли всю окрестность, нарушая ея сонъ и тишину, тѣ звуки, которые такъ поразили нашъ слухъ.

— Что это за фабрика?—спросилъ возницу мой товарищъ.

— Носилковская мануфактура!—отвѣчалъ тотъ.

Я съ любопытствомъ взглянулъ на приближавшееся чудовище. Такъ вотъ она, эта громадная мануфактура, бывшая два съ половиной года тому назадъ ареной кровопролитной стачки, стоив

И обращаясь къ возницѣ, онъ спросилъ:

— Давно это здѣсь такъ?

— А еще бы,—отвѣтилъ тотъ, улыбаясь: —Кажись, уже съ годъ.

— И пожары небось бывали?

— Бывали, не безъ того!

— Вотъ видите, видите!—разгорячился мой пріятель, обращаясь ко мнѣ:—Все отъ дурного устройства происходитъ,—куда ни посмотри. Ну, чѣмъ виновата искорка, что она искорка, а смотришь—и пожаръ надѣлала. Узды, узды у насъ нѣтъ этимъ заправиламъ-строителямъ.

— Имъ-то что,—зафилософствовалъ въ свою очередь нашъ возница.—А вотъ сосѣдямъ-то плохо. Этто здѣсь два овина съ хлѣбомъ у Малюгинскаго барина сгорѣли. И какъ вѣдь далеко летятъ-то! Вонъ, гдѣ покосъ,—а вѣдь и тамъ сѣно отъ искръ-то загорѣлось... Было дѣло!.. Оно извѣстно, куда попадетъ...

— А засухи у васъ часты здѣсь?

— И и какъ часты. Какъ лѣсовъ не стало, такъ и пошли.

— А что же мужики? И мужицкіе овины горѣли?

— Чего мужики? Это смотря по тому, какіе мужики. У иныхъ и овины есть, а по нонѣшнимъ временамъ всегда пусты стоятъ. А вотъ богатѣи деревенскіе—тѣ погорѣли, это правда. Было дѣло тоже по малости. Ходили къ дилехтору, да тотъ все отшучивается: строимъ, строимъ, говоритъ, новую кочегарку, а до тѣхъ поръ потерпите, голубчики, да застрахуйтесь хорошенько...

— А они бы судомъ съ фабрики-то.

— Подавали земскому. Только съ энтими каши не сварить нашему брату. Такъ ничего и не вышло. А летятъ-то ишь какъ здорово...

Громадная фабричная труба то замирала, какъ будто уставая выбрасывать дымъ, то выбрасывала его съ новою силою. Искорки то исчезали, то сыпались настоящимъ дождемъ, поражая глазъ безконечнымъ разнообразіемъ своихъ движеній. Иная искорка висѣла въ воздухѣ почти неподвижно, напоминая собою красновато-огненную звѣздочку, потомъ вдругъ срывалась, падала внизъ, кружилась, продѣлывала причудливые скачки и—исчезала, гдѣ?—вверху ли, внизу—неизвѣстно. Я слѣдилъ за этимъ своеобразнымъ танцемъ красноватыхъ огоньковъ, я впился въ него глазами и попрежнему не могъ оторваться.

А издали доносились до нашего уха стукъ и грохотъ неустанно работающихъ машинъ. И этотъ потокъ искръ, эти неумолкающіе звуки представляли рѣзкій контрастъ съ мертвой тишиной окружающихъ полей и луговъ.

Наша дорога описывала широкій полукругъ и уже удалялась отъ фабрики. Но еще долго мы видѣли и освѣщенный корпусъ ткацкаго отдѣленія, и высокую трубу, выбрасывавшую облака

чернаго дыма, въ которомъ, какъ мнѣ казалось, еще можно было разглядѣть мельканіе золотыхъ искорокъ; еще долго доносилось къ намъ гудѣніе и стукъ машинъ. Но, за поворотомъ какого-то пригорка, и фабрика, и трубы, и звуки,—все исчезло.

Вдоль дороги потянулись ровные и однообразные поля и луга. Дорога стала какъ будто-бы ровнѣе: таратайка покачивалась, но не особенно тряслась. И подъ это далеко не мѣрное покачиваніе, мы, утомленные дорогой, измученные впечатлѣніями, а, главное, размышленіями минувшаго дня, сползли со своего сидѣнья въ глубину телѣги и, скорчившись и съежившись тамъ, какъ только могли, заснули...

* * *

Сколько мы провели въ такомъ состояніи—неизвѣстно. Вѣроятно, часа полтора или два. Меня разбудили многочисленные голоса, цѣлый хоръ молодыхъ, свѣжихъ голосовъ, громко распѣвающихъ знакомую пѣсню. Я прислушался къ этимъ голосамъ, къ этой пѣснѣ и сразу даже не понялъ, гдѣ это я нахожусь. Слова пѣсни хватали за душу; не смотря на то, что звуки ея были протяжные, даже мучительно-унылые,—она возбуждала во мнѣ воспоминаніе чего-то далекаго, далекаго, но свѣтлаго, хорошаго, бодраго... Уже много-много лѣтъ я не слышалъ этой пѣсни, и тѣмъ дороже была она для меня теперь... Я не отдавалъ себѣ отчета, гдѣ я нахожусь, кто можетъ здѣсь пѣть эту пѣсню?

А хоръ голосовъ между тѣмъ выводилъ:

Укажи мнѣ такую обитель—
Я такого угла не видалъ,
Гдѣ бы сѣятель твой и хранитель,
Гдѣ бы русскій мужикъ не стоналъ...

Да, да, это та самая пѣсня, которую и мы, во времена студенчества, собравшись въ какой-нибудь тѣсной коморкѣ, пѣвали не разъ,—и какъ пѣвали! Хотя эстетики и не были довольны нашимъ пѣніемъ, зато мы сами всегда были очень довольны имъ. Правда, не совсѣмъ дружно иногда выходило, особенно когда какая-нибудь самостоятельная курсистка брала на полтона или на цѣлый тонъ выше, чѣмъ прочіе, да и вела мелодію въ этомъ тонѣ; правда, такихъ самостоятельныхъ пѣвицъ и пѣвцовъ всегда у насъ находилось достаточно, зато сколько было души въ этомъ нестройномъ пѣніи, сколько жизни, сколько стремленій, какой былъ размахъ, какъ горѣли лица поющихъ, какъ бились ихъ сердца!.. И не такъ вѣдь давно все это было, а кажется ужъ давнымъ давно... И вдругъ та же пѣсня, распѣваемая съ тѣмъ же чувствомъ,—и въ этой глуши... Я протиралъ глаза и съ удивленіемъ

И обращаясь къ возницѣ, онъ спросилъ:

— Давно это здѣсь такъ?

— А еще бы,—отвѣтилъ тотъ, улыбаясь: —Кажись, уже съ годъ.

— И пожары небось бывали?

— Бывали, не безъ того!

— Вотъ видите, видите!—разгорячился мой пріятель, обращаясь ко мнѣ:—Все отъ дурного устройства происходитъ,—куда ни посмотри. Ну, чѣмъ виновата искорка, что она искорка, а смотришь—и пожаръ надѣлала. Узды, узды у насъ нѣтъ этимъ заправиламъ-строителямъ.

— Имъ-то что,—зафилософствовалъ въ свою очередь нашъ возница.—А вотъ сосѣдямъ-то плохо. Этто здѣсь два овина съ хлѣбомъ у Малюгинскаго барина сгорѣли. И какъ вѣдь далеко летятъ-то! Вонъ, гдѣ покосъ,—а вѣдь и тамъ сѣно отъ искръ-то загорѣлось... Было дѣло!.. Оно извѣстно, куда попадетъ...

— А засухи у васъ часты здѣсь?

— И и какъ часты. Какъ лѣсовъ не стало, такъ и пошли.

— А что же мужики? И мужицкіе овины горѣли?

— Чего мужики? Это смотря по тому, какіе мужики. У иныхъ и овины есть, а по нонѣшнимъ временамъ всегда пусты стоятъ. А вотъ богатѣи деревенскіе—тѣ погорѣли, это правда. Было дѣло тоже по малости. Ходили къ дилехтору, да тотъ все отшучивается: строимъ, строимъ, говоритъ, новую кочегарку, а до тѣхъ поръ потерпите, голубчики, да застрахуйтесь хорошенько...

— А они бы судомъ съ фабрики-то.

— Подавали земскому. Только съ энтими каши не сварить нашему брату. Такъ ничего и не вышло. А летятъ-то ишь какъ здорово...

Громадная фабричная труба то замирала, какъ будто уставая выбрасывать дымъ, то выбрасывала его съ новою силою. Искорки то исчезали, то сыпались настоящимъ дождемъ, поражая глазъ безконечнымъ разнообразіемъ своихъ движеній. Иная искорка висѣла въ воздухѣ почти неподвижно, напоминая собою красновато-огненную звѣздочку, потомъ вдругъ срывалась, падала внизъ, кружилась, продѣлывала причудливые скачки и—исчезала, гдѣ?—вверху ли, внизу—неизвѣстно. Я слѣдилъ за этимъ своеобразнымъ танцемъ красноватыхъ огоньковъ, я впился въ него глазами и попрежнему не могъ оторваться.

А издали доносились до нашего уха стукъ и грохотъ неустанно работающихъ машинъ. И этотъ потокъ искръ, эти неумолкающіе звуки представляли рѣзкій контрастъ съ мертвой тишиной окружающихъ полей и луговъ.

Наша дорога описывала широкій полукругъ и уже удалялась отъ фабрики. Но еще долго мы видѣли и освѣщенный корпусъ ткацкаго отдѣленія, и высокую трубу, выбрасывавшую облака

чернаго дыма, въ которомъ, какъ мнѣ казалось, еще можно было разглядѣть мельканіе золотыхъ искорокъ; еще долго доносилось къ намъ гудѣніе и стукъ машинъ. Но, за поворотомъ какого-то пригорка, и фабрика, и трубы, и звуки,—все исчезло.

Вдоль дороги потянулись ровные и однообразные поля и луга. Дорога стала какъ будто-бы ровнѣе: таратайка покачивалась, но не особенно тряслась. И подъ это далеко не мѣрное покачиваніе, мы, утомленные дорогой, измученные впечатлѣніями, а, главное, размышленіями минувшаго дня, сползли со своего сидѣнья въ глубину телѣги и, скорчившись и съежившись тамъ, какъ только могли, заснули...

* * *

Сколько мы провели въ такомъ состояніи—неизвѣстно. Вѣроятно, часа полтора или два. Меня разбудили многочисленные голоса, цѣлый хоръ молодыхъ, свѣжихъ голосовъ, громко распѣвающихъ знакомую пѣсню. Я прислушался къ этимъ голосамъ, къ этой пѣснѣ и сразу даже не понялъ, гдѣ это я нахожусь. Слова пѣсни хватали за душу; не смотря на то, что звуки ея были протяжные, даже мучительно-унылые,—она возбуждала во мнѣ воспоминаніе чего-то далекаго, далекаго, но свѣтлаго, хорошаго, бодраго... Уже много-много лѣтъ я не слышалъ этой пѣсни, и тѣмъ дороже была она для меня теперь... Я не отдавалъ себѣ отчета, гдѣ я нахожусь, кто можетъ здѣсь пѣть эту пѣсню?

А хоръ голосовъ между тѣмъ выводилъ:

Укажи мнѣ такую обитель—
Я такого угла не видалъ,
Гдѣ бы сѣятель твой и хранитель,
Гдѣ бы русскій мужикъ не стоналъ...

Да, да, это та самая пѣсня, которую и мы, во времена студенчества, собравшись въ какой-нибудь тѣсной коморкѣ, пѣвали не разъ,—и какъ пѣвали! Хотя эстетики и не были довольны нашимъ пѣніемъ, зато мы сами всегда были очень довольны имъ. Правда, не совсѣмъ дружно иногда выходило, особенно когда какая-нибудь самостоятельная курсистка брала на полтона или на цѣлый тонъ выше, чѣмъ прочіе, да и вела мелодію въ этомъ тонѣ; правда, такихъ самостоятельныхъ пѣвицъ и пѣвцовъ всегда у насъ находилось достаточно, зато сколько было души въ этомъ нестройномъ пѣніи, сколько жизни, сколько стремленій, какой былъ размахъ, какъ горѣли лица поющихъ, какъ бились ихъ сердца!.. И не такъ вѣдь давно все это было, а кажется ужъ давнымъ давно... И вдругъ та же пѣсня, распѣваемая съ тѣмъ же чувствомъ,—и въ этой глуши... Я протиралъ глаза и съ удивленіемъ

ворочалъ во всѣ стороны головой, чтобы дать себѣ отчетъ—не сплю ли я еще. не сонь ли все это?..

Но нѣтъ. Рядомъ со мной лежалъ, свернувшись въ клубокъ, мой товарищъ. Таратайку потряхивало попрежнему. Возница сидѣлъ на козлахъ и клевалъ носомъ чуть не въ самый хвостъ коренной лошади. Налѣво, вдоль дороги, тянулось, убѣгая куда-то вверхъ и вдаль, поле ржи, направо растилались луга, на которыхъ уже кончался сѣнокосъ.

Здѣсь, на небольшомъ пригоркѣ близъ дороги, не далеко отъ сплетеннаго на скорую руку изъ зеленыхъ вѣтокъ шалаша, я увидѣлъ цѣлую группу деревенскихъ парней, подростковъ и дѣвушекъ, одѣтыхъ въ яркіе, очевидно праздничные костюмы. Они сидѣли рядомъ на разрытой копнѣ сѣна, еще покрытой утренней росою. Загорѣлыя, здоровыя лица, непринужденныя, своеобразныя позы, сила, красота, молодость,—я всматривался въ эту группу деревенской молодежи и все больше и больше находилъ въ ней что-то особенно привлекательное, свѣжее, бодрое.

Выдь на Волгу. Чей стонъ раздается
Надъ великою русской рѣкой?
Этотъ стонъ у насъ пѣсней зовется—
То бурлаки идутъ бичевой...

Пѣли всѣ. Пѣли дѣвушки, выводя высокія ноты довольно таки рѣзкими голосами; парни подтягивали имъ. Надъ хоромъ особенно выдѣлялся довольно сильный, пріятный теноръ. Онъ доминировалъ надъ всѣми, остальные голоса какъ бы пристраивались къ нему, соображались съ нимъ.

— Это что за штука такая?!—вскочилъ удивленный мой пріятель, протирая заспанные, опухшіе глаза.—Кто это поетъ?

— Митро-овскіе,—какъ бы нехотя отвѣчалъ возница.

— Какіе такіе митровскіе?—Пріятель все теръ глаза и повидимому, не понималъ, что ему говорятъ.

— А тутошніе. Деревушка тутъ, Митровкой прозывается—такъ оттуда.

— Чего же они распѣлись здѣсь спозаранку?—спросилъ я.

— Видишь, изъ церкви идутъ, отъ ранней обѣдни.

Только теперь я вспомнилъ, что сегодня воскресенье. Тѣмъ не менѣе, и встрѣча, и пѣсни были столь неожиданны, что я все еще не могъ придти въ себя отъ изумленія.

— Хорошія пѣсни теперь начинаютъ пѣться на Руси!—сказалъ мой пріятель.—Не смотрите, что мы въ глушь такую залѣзли... Сколько верстъ до города-то отсюда?

— Да верстъ сорокъ будетъ.

— А отъ мануфактуры,—той, что мы проѣхали?

— Да верстъ пятнадцать...

— Извольте видѣть!.. И ты эту пѣсню знаешь?—продолжалъ спрашивать я у возницы.

— Знаю.

— И по душѣ она тебѣ?

— А то что же? Какъ впервой-то ее услышалъ—вотъ какъ ухватило,—простодушно отвѣчалъ парень.

— Да онъ врядъ ли ее понимаетъ,—сказалъ мнѣ вполголоса мой пріятель. Тѣмъ не менѣе парень услышалъ и—обидѣлся.

— Что вы, господинъ, — полунасмѣшливымъ, полуобиженнымъ тономъ сказалъ онъ:—какъ же такой пѣсни не понимать? Оченно даже понимаемъ и чувствуемъ. Рази ее одни только господа понимаютъ? Оно, конечно, житье крестьянское вамъ можетъ благодатью казаться,—добавилъ онъ ужъ совсѣмъ насмѣшливо.—А намъ такъ не совсѣмъ-то вкусно приходится.

И такія рѣчи, и тонъ голоса, и выраженія, проскальзывавшія по временамъ, показывали, что парень нашъ „съ соображеніемъ“ и кой о чемъ уже думалъ.

— Мужики, какъ мужики,—сказалъ мой пріятель, чтобы поддержать разговоръ.—Житье-то вездѣ у нихъ почти одно и то же.

— То-то оно и есть, что вездѣ мужицкое житье плохое.

— И мы это знаемъ.

— Такъ какъ же намъ такой пѣсни не понимать?..

А пѣсня все еще раздавалась за нами, звонко разливаясь въ утреннемъ воздухѣ. Словъ нельзя было уже разобрать. Пѣвцы скрылись за пригоркомъ, а унылые, хватающіе за душу звуки все неслись и неслись. Мнѣ казалось, что не люди, а сама земля поетъ эту пѣсню.

— Я и весь „стихъ о мужикѣ“ читалъ,—продолжалъ словоохотливый парень.—Вотъ хорошій стихъ! Читаешь, читаешь, слова-то все простыя такія, а вотъ за душу такъ и берутъ. Дюже хорошо!

— Какой такой „стихъ о мужикѣ“?—спросилъ я.

— А того же писателя, какъ и эта пѣсня...

— Ты и писателя этого знаешь?

— Знаю! Видалъ его книгу... Вотъ такая большая, печать мелкая...

— Гдѣ же ты эту книгу видалъ?

— У Яфима... Паренекъ тутъ одинъ есть, у Парамона Михеева при машинѣ состоитъ.

Паренекъ Ефимъ, имѣющій сочиненія Некрасова, батракъ при какой-то машинѣ; Парамонъ Михеевъ, владѣлецъ этой машины, здѣсь, въ глуши; наконецъ, самый возница, восемнадцатилѣтній дѣтина, съ такимъ выразительнымъ, умнымъ лицомъ и проницательно-насмѣшливыми глазами, что называется, „себѣ на умѣ“,

читавшій „Кому на Руси жить хорошо", опять это было для меня нѣкоторою неожиданностью.

Къ нашему возницѣ я сразу почувствовалъ какую-то особенную симпатію. Очевидно, это былъ одинъ изъ тѣхъ, которые „имѣютъ уши" и „слышатъ", и которые жаждутъ слышать, которые вѣчно чего-то ищутъ, побуждаемые естественной, живою пытливостью. Изъ такихъ-то людей и вырабатываются мало-по-малу деревенскіе интеллигентные дѣятели. Мнѣ и раньше приходилось встрѣчать вновь нарождающихся представителей молодой деревни, съ иными приходится и переписываться до сихъ поръ. Нарожденіе этого типа стало теперь явленіемъ заурядным. Врядъ ли можно сомнѣваться, что этого типа лѣтъ десять-пятнадцать тому назадъ въ деревнѣ еще не было. Было время, когда лучшіе люди деревни чего-то ждали, на что-то надѣялись; теперь эти надежды, эти ожиданія стали достояніемъ деревенской массы, достояніемъ всѣхъ, а жизнь выдвинула впередъ новый типъ, который не очень-то умѣетъ ждать и не очень-то надѣется, что „вотъ пріѣдетъ баринъ и насъ всѣхъ разсудитъ". Деревенскіе лучшіе люди мыслили всегда, а теперь они мыслятъ все болѣе и болѣе критически. Когда-то они прежде всего только то и дѣлали, что „приспособлялись" къ окружающей средѣ; теперь, узнавъ, что „ложнымъ и нелѣпымъ слухамъ" вѣрить не полагается, и услышавъ сему вторичное подтвержденіе, они поступаютъ уже нѣсколько иначе. Они реагируютъ на среду „своими средствіями", запасаются знаніями и пониманіемъ „про себя и для себя„ и ищутъ „своего" выхода, кто гдѣ можетъ, кто какъ можетъ, иной въ переселеніи на новыя мѣста, иной въ какой-нибудь „новой вѣрѣ", иной прилагаетъ все умѣнье и всѣ старанія, чтобы уйти изъ своей среды, путемъ ли полученія дальнѣйшаго образованія или иначе какъ. И какъ ни разнородны, какъ ни разнообразны всѣ эти выходы, вездѣ, во всѣхъ нихъ лежитъ одно и то же стремленіе—измѣнить къ лучшему то, что есть, нежеланіе относиться къ окружающей средѣ пассивно, принимая всевозможные ея дары, такъ сказать, съ раскрытымъ ртомъ и закрытыми глазами. Общая относительная пассивность деревенской массы не исключаетъ активности этихъ отдѣльныхъ людей. Когда-то они стояли какъ будто въ сторонѣ отъ этой массы; мало-по-малу они сближаются, сливаются съ нею, и въ минуту „недоразумѣній" (а мало ли ихъ случается и въ деревнѣ, не только на фабрикѣ?) они становятся впереди другихъ. Критическая мысль начинаетъ сопровождаться упорнымъ дѣйствіемъ. И въ деревнѣ, какъ на фабрикѣ, въ трудную минуту экомомическія и всякія другія неурядицы выдвигаютъ именно такихъ людей, а грамотность и книга даютъ имъ такое оружіе, какого они еще не имѣли десять лѣтъ тому назадъ. Недостаетъ

только общенія, но—какъ знать?—развѣ и оно не идетъ въ трудовой народной массѣ многими тысячами разныхъ намъ невѣдомыхъ способовъ? Во всякомъ случаѣ, теперь ужъ не приходится спорить о томъ, возможно оно или ужъ совсѣмъ невозможно и въ деревенской средѣ?

Правда, новый деревенскій типъ еще не достаточно распространенъ; тѣмъ не менѣе, онъ существуетъ уже давно, а отдѣльныя его черточки, иной разъ слабыя, едва замѣтныя, встрѣчаются чуть не на каждомъ шагу. Я не могъ не узнать ихъ даже по тѣмъ немногимъ словамъ, которыя были сказаны моимъ возницей. Такіе люди, какъ этотъ паренекъ, уже научены думать, а до многаго онъ и самъ додумывается; онъ умѣетъ и слушать, и даже въ отдѣльныхъ фразахъ, отдѣльныхъ, повидимому незначительныхъ, словахъ, онъ слышитъ именно то, что ему нужно слышать, и эти отдѣльныя фразы и слова получаютъ въ его умѣ особый смыслъ и значеніе, прилаживаясь одно къ одному въ общей картинѣ россійской неприглядной дѣйствительности. Рядомъ съ критической работой мысли идетъ работа синтетическая.

— А ты читать любишь?—спросилъ я парня.

— Страсть люблю!—отвѣчалъ онъ.—Только бы читать да читать!

— А книжки гдѣ достаешь?

— А у Яфима! У него много книгъ. Онъ и даетъ.

— Вотъ ты все говоришь: Яфимъ да Яфимъ... А кто онъ такой?—продолжалъ я. Здѣшній онъ, что ли,—изъ твоей деревни?

— Яфимъ-то?— какъ-то особенно горячо воскликнулъ паренекъ.—Ни! Онъ не здѣшній, а я его вотъ какъ люблю! Почитай какъ брата родного люблю!

Парень на минуту замолкъ, мелькомъ взглянулъ на меня, словно зондируя, на какую собственно почву упадутъ его слова (очевидно, онъ имѣлъ уже понятіе, что почвы бываютъ разныя), тряхнулъ головой и заговорилъ, что называется съ „разбѣга".

— А вотъ Яфимъ какой человѣкъ,—началъ парень.—Года три назадъ къ намъ его въ деревню по этапу привели. И откуда привели—никто не знаетъ. Идетъ это онъ—помню, зимой дѣло было—и сапожишки рваные, и пальтишко рваное, идетъ да трясется. Привели къ намъ въ деревню, да тамъ и оставили,—живи, молъ, тутъ, какъ знаешь. Яфимъ туда да сюда, въ работники просится. Ну, кто-жъ его возьметъ? Деревушки наши, видѣлъ—какія бѣдныя. Не то, что работниковъ держать, а и самимъ то работать не надъ чѣмъ. Земли на душу приходится вродѣ того какъ на кладбищѣ. Жить нечѣмъ. Народъ самъ норовитъ куда-нибудь уйти на заработки изъ нашей деревни. Вотъ и голодалъ Яфимъ, и бѣдствовалъ—страсть! И чѣмъ только питался чело-

снова заговорила, что она душу свою готова положить „ради этихъ людей", что „культурная работа на ихъ пользу стала теперь единственною цѣлью" ея жизни. „Развѣ это не тотъ единственно вѣрный путь къ той цѣли", къ которой она идетъ и теперь, какъ тогда? Но, говоря это, Вѣра Сергѣевна уже, очевидно, не могла попасть въ должный тонъ. Ея слова звучали не такъ уже горячо. Въ нихъ чувствовалась все яснѣй теорія, вообще доктрина. Быть можетъ, Вѣра Сергѣевна тоже успѣла подмѣтить, что я смотрю на нее уже не тѣми глазами, какъ три часа тому назадъ, и это ее смущало. И я дѣйствительно смотрѣлъ и не могъ не смотрѣть на мою прежнюю Вѣрочку, словно это былъ вовсе не живой человѣкъ, а милая, дорогая покойница, лежащая, какъ живая, передо мной въ золоченомъ гробу...

Теперь я уже понималъ Вѣрочку. Такіе типы, какъ она, повидимому — одно изъ характернѣйшихъ явленій первой половины девяностыхъ годовъ. Такіе типы сложились и выросли на той почвѣ, которая была создана восьмидесятыми годами, въ душной атмосферѣ сѣренькой, неприглядной дѣйствительности, лишь отчасти какъ будто скрашиваемой культурной, примиряющей, да,—именно примиряющей!—работой, которая если поднимаетъ однихъ, до сего времени никакъ не работавшихъ, за то понижаетъ другихъ, которые когда-то стояли выше. Но есть еще третьи, успѣвшіе многое понять, многое почувствовать и даже—перечувствовать,—перечувствовать искренно, испытать на своей шкурѣ, и затѣмъ не сумѣвшіе или не посмѣвшіе пойти по тому пути, который былъ намѣченъ ими въ оны дни, или же не идущіе по этому пути, просто не желая ничѣмъ поступиться изъ своего. Но убить въ себѣ сознаніе того, что уже сознано, и пониманіе того, что уже изучено, эти третьи тоже не могутъ и не могли. Что же имъ остается? Самогрызеніе, самонедовольство, борьба съ собственнымъ существомъ, со своей собственной жгучей совѣстью... Есть и такіе. Но есть и другой типъ, увильнувшій отъ этого мучительнаго состоянія, нашедшій нѣкоторый выходъ изъ него въ мелкой, повседневной, культурной работѣ, которая, хоть отчасти, ведетъ къ той же далекой цѣли. Тутъ ужъ не разсуждаютъ о томъ, какъ она ведетъ и когда приведетъ къ цѣли, не разсуждаютъ о многомъ, а на многое сознательно и полусознательно закрываютъ глаза. На этой скользкой и двусмысленной почвѣ развиваются многія свойства русскаго интеллигентнаго человѣка,—и двойственность его, и фальшь, а рядомъ и рисовка, и внѣшнее и отчасти внутреннее самодовольство, преисполненное поклоненія самому себѣ и не чуждое искреннихъ порывовъ, но только направленныхъ на маленькіе, узенькіе объекты. Есть въ такихъ людяхъ и искренность, есть и желанія, и стремленія къ маленькому добру и своего рода общественнымъ задачамъ... И Вѣра

Сергѣевна искренно желала любить народъ, но только ничѣмъ или почти ничѣмъ не поступаясь для него изъ собственнаго своего благополучія и всячески укрывая несомнѣнно сознаваемый разладъ и компромиссъ довольно густою пеленой общихъ понятій и научныхъ терминовъ, растягивая эти послѣдніе именно въ ту сторону, куда ее самое влекли ея личные и классовые интересы, выгоды, потребности...

Мнѣ было отъ всей души жаль Вѣрочку. Но еще печальнѣе было то, что среди нашихъ культуръ-трегеровъ такая не одна она,—такихъ много. И всѣмъ такимъ ихъ самодовольство не мѣшаетъ грызть и пилить самихъ себя, не мѣшаетъ самоядѣнію. Я не хотѣлъ, я старался не думать, что прежняя Вѣрочка и вправду на вѣкъ умерла.

Да, я смотрѣлъ на эту изящную, веселую дѣвушку съ тѣмъ же чувствомъ, какъ смотримъ мы на дорогихъ покойниковъ, вѣруя или желая вѣрить, еще что они воскреснутъ.

* * *

Во всякомъ случаѣ, мы разстались друзьями. Меня оставляли ночевать въ „господскомъ домѣ". Мнѣ даже приготовили тамъ особую комнату. Но у меня было какъ-то особенно грустно на душѣ... Мнѣ было не до спанья. Впечатлѣнія дня были настолько сильны, что не сразу я могъ ихъ переварить.

Я распрощался съ Вѣрочкой, далъ ей свой петербургскій адресъ, а съ нея взялъ обѣщаніе писать...

Кто знаетъ, вѣдь и сама жизнь очень часто бываетъ способна воскрешать мертвыхъ и заставляетъ понимать даже то, чего люди сознательно стараются не понимать.

Да, мы разстались съ Вѣрой Сергѣевной друзьями, но чуждые одинъ другому.

Вѣдь и такихъ друзей на Руси очень много...

Но въ эту памятную ночь меня волновали другія мысли и другія впечатлѣнія. Сонъ рѣшительно бѣжалъ отъ глазъ. Я пошелъ бродить по дорогѣ.

Тишина и безлюдье, пугавшія меня въ степи и днемъ, теперь были еще унылѣе и страшнѣе. Только изъ открытыхъ и освѣщенныхъ оконъ и дверей фабрики доносился гулъ и грохотъ машинъ. Между тѣмъ степь была спокойна и недвижима. Только фабрика гудѣла и грохотала, словно испуская долгій и протяжный стонъ.

Мнѣ было страшно и жутко. Я повернулъ къ слободѣ, гдѣ изъ трактира еще мелькалъ привѣтливый огонекъ.

— Н-не могу!—Р-разнесу!

А отчего оно на тебя идетъ, такъ и неясно было... Даже грѣхъ-то какой на мнѣ тогда былъ: всѣ бѣды, всѣ напасти я на Бога взваливалъ. Думалъ: все Богъ да Богъ на насъ посылаетъ.

— А кто же?—спросилъ мой пріятель.

— Онъ, Милостивый, никогда зла не посылаетъ. Зло отъ людей идетъ, а не отъ Бога,—наставительнымъ тономъ сказалъ паренекъ.—Съ Богомъ не справишься. Съ Богомъ и тягаться грѣхъ. А съ людскимъ зломъ какъ же не справиться?

Двѣ нотки, прозвучавшія въ наивно откровенныхъ рѣчахъ парня, особенно привлекли мое вниманіе. Уже который разъ въ этихъ рѣчахъ проскальзывало это противопоставленіе: „мы“ и „вы“. Проскальзывало оно, очевидно, вполнѣ непроизвольно, само собою, такъ какъ лежало глубоко въ душѣ парня. Поразила меня и его своеобразная религіозность.

— Ну, гдѣ же съ людьми-то справиться? Что ты тамъ такое мелешь? спросилъ мой спутникъ.

Парень опять быстро обернулся къ нему, какъ-то особенно выразительно посмотрѣлъ на него и—сразу замолкъ. Онъ лишь стегнулъ лошадей возжами и даже о Ефимѣ дальше не сталъ разсказывать. Видно было по-всему, что мой спутникъ сильно пришелся ему не по душѣ. Пареньку даже какъ будто бы очень хотѣлось поговорить съ проѣзжими „чистыми господами“, и если онъ замолчалъ, такъ на это имѣлъ свои особенно важныя причины. Но то, что имъ было не досказано, въ сущности было понятно само собою. Въ эту деревенскую глушь были занесены книги никѣмъ инымъ, какъ Ефимомъ. Первымъ начитаннымъ, „книжнымъ“ человѣкомъ, съ которымъ удалось поговорить на своемъ вѣку способному, любознательному парню, случайно научившемуся грамотѣ у какого-нибудь солдата или причетника, былъ Ефимъ. Отъ него же черпались знанія, образы, впечатлѣнія, идеи, эмоціи... Очевидно, Ефимъ былъ однимъ изъ самыхъ живыхъ людей въ этой глуши. И не только изъ самыхъ живыхъ, но и самыхъ боевыхъ. Очевидно, это былъ своего рода притягательный центръ, къ которому сознательно и безсознательно, всюду и всегда тяготѣло здѣсь все мало мальски живое и молодое.

Впрочемъ, продолжать разговоръ было и некогда. Изъ за пригорка показались какія то сѣрыя, полуразрушенныя строенія, покрытыя соломой, обросшія мохомъ, наполовину ушедшія въ землю и выглядывавшія оттуда, словно испугавшись за свое несчастное существованіе.

Мы въѣзжали въ Дмитровку, гдѣ должны были сдѣлать передышку и покормить лошадей.

По случаю праздничнаго дня, на завалинкахъ, а то и просто на травѣ, покрывавшей улицу, сидѣли бабы и старики. Молодежи почти не было видно, такъ какъ она, вѣроятно, еще не возвра-

тилась изъ церкви. При нашемъ появленіи какая-то старушка, худая, сгорбленная, высохшая словно мощи, стала на крыльцо, посмотрѣла на насъ изъ-подъ ладошки и принялась низко кланяться. Мы поклонились тоже. Начался обмѣнъ поклоновъ и съ мужиками. Какой-то пузырь лѣтъ трехъ или четырехъ, въ грязной ситцевой рубашенкѣ и безъ штановъ, съ шапкой бѣлыхъ волосъ, выстриженныхъ въ кружокъ, растопырилъ ножки, выпятилъ брюхо впередъ и уставился на насъ серьезно-внимательными и удивленными глазами.

Наша таратайка подкатила къ большому двухъ-этажному дому, на которомъ висѣла красная вывѣска. У этого дома стояло нѣсколько такихъ же таратаекъ и телѣгъ. Лошади, уныло понуривъ головы, флегматично жевали сѣно. Въ навозѣ копошились цыплята. Подъ ногами лошадей, переваливаясь и покрякивая, бродили утки. У крыльца стояло нѣсколько мужиковъ, повидимому, уже подвыпившихъ. Они громко разсуждали о чемъ-то, а одинъ выкрикивалъ, энергично ударяя себя въ грудь:—„Нѣтъ, ты постой! Нѣтъ, ты скажи, правильный-ли я человѣкъ?"—Словомъ, передъ нами открылась одна изъ обыденныхъ россійскихъ картинъ деревенскаго трактирнаго благополучія. Веселые лучи лѣтняго солнца придавали и этой картинѣ отпечатокъ своего рода идиліи.

Мы только что расположились пить чай на задворкахъ, куда намъ вынесли столъ и скамейки, какъ ко мнѣ подошелъ паренекъ, нашъ возница. Онъ смущенно переминался съ ноги на ногу и мялъ въ рукахъ фуражку. Я предложилъ ему выпить чайку. Онъ отказался и, помявшись, наконецъ сказалъ:

— Дозвольте, господа, мнѣ здѣсь остаться, а въ село Н-ское (цѣль нашей поѣздки) васъ одинъ мужичекъ знакомый свезетъ.

Я очень удивился такой просьбѣ.

— А ты-то чего?—спросилъ я у него.

— Да Яфимъ тутъ теперя. Поговорить кой о чемъ хотѣлось бы!.. А назадъ мы съ вами опять поѣдемъ,—быстро добавилъ онъ, какъ бы въ оправданіе себѣ.

— Какъ знаешь, — сказалъ я. — Оставайся, если хочешь. Только смотри, покажи и намъ своего Ефима.

Этотъ Ефимъ интересовалъ меня все больше и больше. Паренекъ нашъ засмѣялся, скороговоркой буркнулъ „счастливо оставаться" и въ одну минуту куда-то исчезъ.

— Парамонъ Михеичъ. ей, Парамонъ Михеичъ,—вдругъ раздался надъ нашими головами, въ окнѣ, довольно-таки визгливый женскій голосъ.—Попотчуй господъ-то моимъ пивцомъ—авось понравится.

Мы чувствовали такую усталость и были такъ голодны, что положительно намъ нравилось все—и копорскій чай, и черствѣй-

шій ситникъ, и недопеченный хлѣбъ. Я тотчасъ же мысленно рѣшилъ поразспросить Парамона Михеича о его работникѣ Ефимѣ, и когда изъ-за угла показалась жирная, приземистая фигура хозяина, съ большой, широкой головою, успѣвшею облысѣть, съ массивными чертами лица, на которомъ особенно бросались въ глаза рыжая борода и толстый красный носъ,—я обратился къ трактирщику съ вопросомъ:

— А вы тутъ машину держите паровую, какъ я слышалъ?

Парамонъ самодовольно улыбнулся, показывая при этомъ черные, гнилые зубы, похожіе на кабаньи клыки.

— Оно точно-съ, — проговорилъ онъ, — паровую молотилку имѣемъ... Нужно же чѣмъ-нибудь на хлѣбъ дѣтямъ зарабатывать...

— И даетъ она вамъ барышъ?

— Не очень чтобъ очень, а себя покрываетъ съ небольшими процентами.

— А кто же у васъ ею управляетъ?

— Парнишка тутъ одинъ непутевый,—слесарь онъ или кузнецъ, что ли. Съ голоду умиралъ, такъ я его къ молотилкѣ приставилъ.

— Зачѣмъ же вы непутеваго держите? Вѣдь молотилка денегъ стоитъ, а ну если онъ вамъ ее испортитъ?

— Да нѣтъ, дѣло-то онъ свое знаетъ... Ужъ онъ два года у меня работаетъ.

— Такъ чѣмъ же онъ непутевый, если работаетъ хорошо?

— Да такъ... человѣкъ то онъ непутевый. Положиться на него нельзя. Все разсужденіе да разсужденіе, не то, чтобы хозяина слушать: сказано такъ, ну, и дѣлай такъ. Такъ нѣтъ—человѣкъ злобный!..

— Такъ, значитъ, онъ разсуждаетъ плохо, что ли?

— Да нѣтъ, парень то онъ съ головой,—немного помявшись пробормоталъ Парамонъ Михеичъ и вдругъ, возвышая голосъ, произнесъ: Да вотъ какой онъ человѣкъ: плутъ человѣкъ! Раза два я его ловилъ, что онъ на моей молотилкѣ даромъ хлѣбъ одной тутъ старушонкѣ вымолотилъ, тайкомъ отъ меня. „Воръ ты этакій,—говорю я ему:—каналья ты этакая! Нешто не понимаешь ты, дрянь, что за молотилку-то я свои кровныя деньги платилъ?" А онъ вотъ какой человѣкъ, грубіянъ, каналья. Не смотритъ, что съ нимъ хозяинъ разговариваетъ.—„Кровныя, говоритъ, платили, да не ваши-то кровныя!" И пошелъ, и пошелъ. Я ему слово, а онъ мнѣ десять, да и мудреныхъ такихъ словъ. И откуда у него злоба такая, Господь его знаетъ! Слушалъ я его, слушалъ. Плюнулъ и ушелъ, только пригрозилъ, чтобы больше этого не было. Да ему что ни говори—онъ все свое...

— Какъ, развѣ еще что-нибудь такое было?

— Было, еще бы-съ!

— Такъ чего же вы его держите?

Хозяинъ опять помялся и потомъ сказалъ:

— Да чего же? Пока что... Жалко парня-то. Съ голоду околѣетъ безъ меня. Приспособился.

Я взглянулъ на жирныя, лоснящіяся щеки Парамона Михеича, на его свиные глазки, и не могъ не улыбнуться. Ужъ очень не походила такая фигура, какъ его, къ роли благотворителя голодныхъ и сирыхъ...

— А непутевый—совсѣмъ непутевый! И деньгамъ цѣны не знаетъ. Лежатъ у меня, лежатъ его заработанныя денежки—не беретъ. А потомъ вдругъ цѣликомъ все и спроситъ—и прощай денежки.

— Развѣ онъ пьянствуетъ?

— Пить-то пьетъ съ нашими парнями, да не очень. Такъ промежъ рукъ бросаетъ. Разъ пять или шесть повыписывалъ книгъ. Да вѣдь что вы думаете? Рубли на нихъ бросалъ, цѣлыя посылки ему сюда присылали съ книгами. И книжки-то все непутевыя—не божественныя. Купитъ, кое-что у себя оставитъ, а больше все нашимъ деревенскимъ раздастъ. Да что, сударь, и говорить-то о немъ не стоитъ. Возьметъ этакъ книгу какую ни на есть тамъ, соберетъ парней, дѣвокъ, а то и мужики придутъ, а онъ имъ и читаетъ, они слушаютъ. Смотрѣлъ я, смотрѣлъ, и говорю ему: брось это дѣло, Ефимъ,—нехорошо! Береги деньгу—свое хозяйство заведешь, трактиръ откроешь. (Ей Богу я ему добра отъ души желаю). А онъ вотъ какой каналья, врагъ-человѣкъ,—въ глаза засмѣялся мнѣ и говоритъ:—„Мои деньги.—что хочу, то и дѣлаю".—Да ты бы, Ефимъ, хоть отцу бы и матери послалъ!—А онъ этакіе злые глаза сдѣлалъ—я даже испугался. „Моего, говоритъ, отца машиной убило, а мать въ больницѣ умерла. Нѣтъ у меня отца и матери. И могилки ихъ гдѣ — не знаю!" Совсѣмъ безчувственный человѣкъ... Да что о немъ и говорить...

— Нѣтъ, нѣтъ, говорите, пожалуйста.

— Этта, въ декабрѣ или ноябрѣ мѣсяцѣ, еще что Ефимъ придумалъ: смотрю, по почтѣ два денежныхъ пакета посылаетъ. Читаю на пакетѣ: на такую-то фабрику, такой то губерніи и уѣзда, такому-то слесарю. Ахъ, чтобъ тебѣ!.. Спрашиваю Ефима: родственнику посылаешь, что ли?—„Нѣтъ, не родственнику", говоритъ, а самъ смѣется. Такъ чего же ты зря свои деньги-то сѣешь?—„А зря ли, не зря, это ужъ мое дѣло", дерзко такъ вѣдь говоритъ-то.—„Вы, говоритъ, по моей должности съ меня что хотите спрашивайте, а ужъ о другомъ прочемъ вы мнѣ не судья, и правовъ у васъ такихъ нѣтъ". — Вотъ арестантъ какой! Не даромъ его по этапу въ нашу волость привели. Ему добра желаютъ, по-отечески, а онъ „права да права"...

— Ну, а вы что же?

— Вѣрьте, сударь, вотъ какъ руки у меня чесались, чтобы его поколотить. Грѣхи съ нимъ одни. Слѣдовало бы мнѣ его прогнать, да куда-жъ онъ безъ меня дѣнется?

— Ну, а другой пакетъ онъ куда послалъ?—спросилъ я.

— А что бы вы думали? Въ газету! Вѣдь „Русскую Жизнь" теперь получаетъ, вотъ какъ. Шутка ли сказать: девять рублей трудовыхъ денегъ на газету отдалъ. Это господамъ деньги легко даются, а не намъ. И читаетъ вѣдь онъ эту газету,—читаетъ! И вотъ какой человѣкъ: выищетъ что худое, придетъ въ трактиръ, и ну разсказывать. А мужичье наше дураки, какъ есть. Уши развѣсятъ—слушаютъ это, слушаютъ.

— Ну, и что же?

— А то же и вышло, что онъ эту погань газету у насъ въ деревнѣ развелъ. Максимъ Матвѣевъ — тутъ богатый такой мужикъ есть — смотрѣлъ на него, смотрѣлъ, да по его совѣту и выписалъ другую какую-то газетину, кажись „Недѣлю". И къ чему это газета намъ,—и понять не могу. Живемъ себѣ да живемъ, тихо, благородно. А тутъ вдругъ тебѣ въ ухо жужжатъ, что вотъ молъ какъ на свѣтѣ все худо, да несправедливо, вотъ, вотъ—смотри. Ну, пускай бы книжки читали, ну, божественныя тамъ, что ли, ну, сказки... Отъ такихъ книжекъ миръ въ душѣ бываетъ, злоба утихаетъ. А нѣтъ-таки: газету развелъ! Да что о немъ толковать—просто непутевый человѣкъ...

— Да вамъ-то что? Пусть себѣ читаютъ! По крайней мѣрѣ узнаете, что на бѣломъ свѣтѣ дѣлается.

— Да на что намъ это? То, что нужно, и въ волости узнаешь. И тамъ газета есть. Туда и всякая бумага нужная придетъ—не минуетъ!.. Да еще и то сказать: боишься, какъ бы и грѣха какого съ этимъ Ефимомъ мнѣ не вышло.

— Какой же грѣхъ?—спросилъ я.

Парамонъ Михеичъ многозначительно посмотрѣлъ на меня.

— А какіе грѣхи бываютъ? Знаемъ!.. То-то оно и есть. Этто думалъ я, думалъ, и сказалъ уряднику: „посмотри, братъ Иванъ Асеичъ, такъ, промежъ себя, по знакомству, что это за книжки такія у моего Ефима. Какъ бы не-того, — смятенія какого не вышло". Ну, Иванъ Асеичъ-то свой человѣкъ—мою просьбу завсегда уважитъ. Пришелъ, посмотрѣлъ, записалъ, что слѣдуетъ. Ефимъ ничего—все по дружбѣ. „Смотри, говоритъ, сколько хочешь". А какъ кончилъ Иванъ Асеичъ, тогда-то Ефимъ и на дыбы,—вотъ какая каналья! „Теперь, говоритъ, я на тебя, Иванъ Асеичъ, жалобу подамъ за превышеніе власти. Правовъ, говоритъ, у тебя такихъ нѣтъ, чтобы ты въ моихъ книжкахъ рылся". Да столько наговорилъ, да такихъ мудреныхъ словъ, что и Ивану Асеичу какъ будто и того,—неловко стало. Ужъ какъ они сдѣ-

лались промежъ себя,—не знаю. Только потомъ Иванъ Асеичъ клялся и божился мнѣ, что все у Ефима по закону... Зубастый человѣкъ, каналья!.. Ну, а мнѣ что? Отгрызнулся Ефимъ—и слава тебѣ, Господи. Мнѣ бы только себя очистить... на всякій случай... а я ближнему зла не желаю!..

„Хорошъ"—подумалъ я про себя,—„нечего сказать".

Признаюсь, въ эту минуту и безъ того противная рожа Парамона Михеича показалась мнѣ еще противнѣе.

— Вижу, вижу, что человѣкъ-то вы добрый,—сказалъ я насмѣшливо, не будучи въ силахъ себя сдержать.

Парамонъ Михеичъ и мои слова принялъ за чистую монету и улыбнулся еще самодовольнѣе.

— И что же придумалъ мой Ефимъ? Мѣсяца такъ полтора послѣ того, иду я этакъ по улицѣ,—вижу мужики на бревнышкѣ сидятъ у старостиной избы, и Ефимъ тутъ, читаетъ имъ что-то. Я къ нему: „Ты это что, Ефимъ?" „А вотъ—говоритъ,—садись, Парамонъ Михеичъ, да послушай".—Досугъ мнѣ съ ними сидѣть! „Да ты что читаешь-то?". „Законъ урядницкій!" И смѣется. Читаетъ и объясняетъ, что уряднику дано и что не дано. Да еще спрашиваетъ: „понимаете ли, старички?" А старички такъ и уставились, такъ и слушаютъ, словно глотаютъ слова-то. „Да ты что это, Ефимъ, выдумалъ!" кричу я на него.—„Какъ ты смѣешь законы читать?" А онъ еще пуще смѣется и говоритъ (да еще съ какой злостью, вы бы послушали): „Императоръ Петръ Великій, самодержецъ Всероссійскій, сказалъ, что „всуе законы писать, коли ихъ не будутъ исполнять". А еще, говоритъ сказано въ законѣ, что законъ должны всѣ знать, да не отговариваться что его не знаютъ. Вотъ ты, Парамонъ Михеичъ, и разсуди по закону ли я поступаю, что законы-то мужичкамъ читаю!".. „Читай, читай", кричитъ дядя Митрій. Ну, что съ ними говорить? По-моему, такъ не могъ сей мудрый государь такихъ словъ сказать... Я плюнулъ и пошелъ. Да Ефимъ нашимъ мужичкамъ всякіе законы читаетъ, и газету читаетъ, и роспись государственныхъ доходовъ и расходовъ долго-долго читалъ да толковалъ. А мужики что?—Слушаютъ да ахаютъ... А есть такіе, что и бранятся...

— Какъ это „бранятся?" спросилъ я.

— Да значитъ насчетъ закона и росписи-то. Я иной разъ слушаю и молчу, а про себя думаю: „это что же такое Ефимъ дѣлаетъ? Вѣдь этакъ пожалуй и до начальства дойдетъ!" Но нѣтъ,—Ефимъ на этихъ самыхъ мужиковъ тоже какъ будто ворчитъ... Это вы, говоритъ, чего же бранитесь-то? Чего, говоритъ, браниться! Это, значитъ, говоритъ, таково ужъ устройство русского государства, что расходы-то да доходы таковы. Гдѣ такое устройство, тамъ, говоритъ, завсегда такъ!" Ну, я слушаю и думаю,—сдерживаетъ Ефимъ старичковъ: такъ, думаю, и надо...

Еще долго разсказывалъ мнѣ Парамонъ Михеичъ о своемъ работникѣ, все въ такомъ же духѣ. Онъ хотя и не жалѣлъ для него ругательныхъ словъ, но все же признавалъ въ немъ и много хорошихъ качествъ, въ томъ числѣ главное, — добросовѣстное и умѣлое отношеніе къ дѣлу, основательное знакомство съ машиной, способность работать, когда нужно, какъ говорится, не жалѣя своей шкуры, сообразительность, смекалку. Подчасъ мнѣ даже казалось, что Парамонъ Михеичъ какъ будто бы и гордится немножко, что у него такой „ученый" работникъ. „Ученъ, ученъ, а все же на меня, Парамона, за восемь рублей въ мѣсяцъ работаетъ!"... Отъ него же я узналъ, что Ефимъ когда-то былъ слесаремъ, получалъ хорошія деньги, да какъ-то „проштрафился", — его и прогнали, и усадили куда слѣдуетъ, и по этапу выслали. Узналъ я и то, что, живя у Парамона Михеича, Ефимъ тоже получилъ раза два или три по нѣскольку рублей „отъ своихъ товарищей" — тѣ какой-то долгъ ему платили...

Но самого Ефима мнѣ на этотъ разъ видѣть такъ и не удалось. Мы должны были торопиться. Лошаденки были уже готовы. Около нихъ похаживалъ какой то мужиченко, сгорбленный, кривоногій и кривобокій, съ щетинистыми усами и всклокоченной бородой, — повидимому изъ отставныхъ солдатъ. Когда мы подошли къ таратайкѣ, онъ тотчасъ засуетился, принялся что-то искать, то кнутъ, то торбу.

— Готовы, господа, готовы? Ну и слава Господу! Садитесь, садитесь! Дядя Листаръ давно готовъ! Дядя Листаръ по-солдатски — разъ, разъ и готово.

Дѣйствительно, не смотря на свою сгорбленность, онъ довольно-таки ловко вскочилъ на облучокъ, и мы тронулись. На насъ степенно смотрѣли сидѣвшіе на завалинкахъ мужики. Бабы о чемъ-то разсуждали, безъ церемоніи показывая на насъ. Ребятишки пялили глаза, а иные удальцы вздумали бѣжать наперегонку съ нашею таратайкой и съ торжествующимъ видомъ обгоняли ее, немилосердно шлепая по песку босыми, загорѣлыми ноженками.

Скоро и ребята, и деревушка скрылись изъ виду. По сторонамъ дороги потянулись поля и поля.

* * *

Намъ пришлось возвращаться тою же дорогой. Чрезъ Митровку мы проѣзжали часовъ въ восемь вечера. Вечеръ былъ превосходный. Воздухъ былъ напоенъ ароматомъ скошеннаго сѣна. Поля и луга убѣгали куда то вдаль, озаренныя оранжевыми лучами заходящаго солнца. Отъ этихъ лучей желтыя полосы пшеницы казались золотисто-огненными. По нимъ пробѣгали легкія волны,

похожія на колыханіе дремлющаго моря. Гдѣ-то вдали покрякивалъ коростель. Мнѣ надоѣло трястись на таратайкѣ, лошади съ поразительной флегматичностью плелись шагомъ. Я спрыгнулъ на дорогу и пошелъ пѣшкомъ... Я шелъ рядомъ съ таратайкой, вдыхая полной грудью свѣжій, ароматный воздухъ и слушая немолчную болтовню словоохотливаго дяди Листара, который, на обратномъ пути, отъ выпитыхъ двухъ стаканчиковъ „очищенной", сдѣлался еще словоохотливѣе...

— Дядя Листаръ, дядя Листаръ,—говорилъ онъ.—А что дядя Листаръ? Бывалый человѣкъ—только и всего. И въ Сербіи дядя Листаръ побывалъ, и на турокъ за Балканы ходилъ... У дяди Листара осколкомъ гранаты три ребра перешибло, да отдышался .. Лежалъ, лежалъ больнымъ—и грамотѣ въ больницѣ научили. Вотъ что такое дядя Листаръ. Съ пониманіемъ онъ человѣкъ! Такъ то!

До меня слова дяди Листара доходили словно сквозь сонъ. Мои мысли были далеко отъ него. Снова нахлынули на душу „проклятые вопросы", нахлынули, одолѣли и мучили, жгли, терзали. Гдѣ же эта „геометрическая прогрессія жизни?" Гдѣ эта мощная, непреодолимая волна мірового, историческаго прилива? Далеко ли она отъ насъ? Дойдетъ ли она когда-нибудь и до этой глухой деревушки, затерявшейся среди лѣсовъ и полей? Слышно ли гдѣ-нибудь движеніе этой волны? И машинально, не отдавая себѣ никакого отчета, я напряженно ловилъ всякіе звуки полей и луговъ,—и нѣжное шуршанье колыхающейся пшеницы и ржи, и пѣніе еще неугомонившихся птицъ, и трепыханье таратайки, подпрыгивавшей на каждомъ ухабѣ...

И поля, и луга погружались въ темноту. Вдали уже скользили ночныя тѣни...

И вдругъ, откуда-то издалека-далека до меня донеслась пѣсня,—пѣсня нѣжная, какъ дыханіе вѣтерка, неуловимая, какъ шепотъ полей и луговъ. Она то раздавалась, то умолкала, то лилась опять, все громче и громче. Пѣло нѣсколько голосовъ. Пѣлъ цѣлый хоръ. Я уже скоро могъ различить и мотивъ пѣсни. По мотиву угадывались и слова. Невидимые голоса пѣли дружно и радостно—да, я не ошибался,—радость несомнѣнно звучала въ этихъ голосахъ...

Проведемте, друзья,
Эту ночь веселѣй!
Пусть студентовъ семья
Соберется тѣснѣй!..

При звукахъ этой пѣсни, воскресившей, оживившей призраки и картины молодости, меня охватило такое волненіе, что я едва могъ устоять на мѣстѣ. Прежніе призраки, картины замелькали предо мною какъ въ калейдоскопѣ. Я какъ будто увидѣлъ старыхъ друзей, я переживалъ былыя радости и огорченія, я какъ

будто оживалъ къ старой хорошей жизни. . И мнѣ хотѣлось этого, именно этого стараго, хотѣлось такъ, какъ опасно больному хочется и жить, и любить, и ненавидѣть, работать и работать, а главное—бороться, забывая самого себя...

Я себя не обманывалъ: эта пѣсня, въ этой обстановкѣ, дѣйствительно придавала мнѣ силы.

И когда издали до меня вновь донеслись знакомые звуки пѣсни, я въ какомъ-то полузабытьѣ, не отдавая себѣ отчета, снялъ свою шляпу и что было духу тоже запѣлъ...

Только подъ конецъ этой пѣсни я замѣтилъ, что мнѣ подтягиваетъ изо всѣхъ силъ и мой товарищъ-технологъ, а дядя Листаръ слушаетъ насъ и улыбается своимъ беззубымъ ртомъ и слезящимися глазами и говоритъ:

— И я эту пѣсню знаю, и я! Дядя Листаръ много знаетъ. Видывалъ я людей-то, видывалъ. И въ столицѣ я былъ, и въ глуши жилъ. И, батюшка, меня и въ пермскіе лѣса нелегкая-то носила, я и за Ураломъ былъ. Всего насмотрѣлся! Этой-то пѣснѣ тутъ ихъ Яфимъ выучилъ—знаю... Уменъ онъ человѣкъ—съ пониманіемъ... А я все же скажу вамъ, господинъ, не рѣдкость онъ, этотъ Яфимъ самый. Такихъ-то теперь развелось много!.. Дядя Листаръ знаетъ—ужъ чего глушь-глушь, а я принюхался—и тамъ въ глуши люди... Вотъ такіе же забулдыги несчастные, какъ Яфимъ. Видѣлъ я ихъ, видѣлъ... Дядя Листаръ тоже за товарищей страдалъ... Тоже,—не смотри, что такой, а чувствуетъ, чувствуетъ дядя-то Листаръ! Вотъ онъ каковъ... Эхъ вы, горемычныя!..

И онъ, что есть духу, стегнулъ по лошадямъ.

Старикъ хотѣлъ сказать еще что-то, хотѣлъ что-то выразить, но ничего у него не выходило.

Пѣсня уже смолкла вдали. Изъ-за пригорка показалась знакомая деревня. Тутъ же, при въѣздѣ въ нее, на кучкѣ бревенъ и камней я увидѣлъ цѣлую компанію парней и дѣвушекъ,—нѣкоторыхъ я уже встрѣтилъ сегодня утромъ. Но деревенской молодежи было здѣсь гораздо больше, чѣмъ тогда. Поровнявшись съ ними, дядя Листаръ снялъ шапку и раскланялся.

— Яфиму Максимычу наше почтеніе!

Я посмотрѣлъ на того парня, къ которому относились эти слова. Это былъ высокій, широкоплечій дѣтина въ сапогахъ бутылками, въ кашемировой рубашкѣ малиноваго цвѣта и пиджакѣ. Его лицо сразу останавливало на себѣ вниманіе. Это было открытое и вмѣстѣ съ тѣмъ энергичное лицо, съ умными черными глазами и рѣзко очерченнымъ подбородкомъ. Такія лица, впрочемъ, довольно часто попадаются среди фабричнаго люда.

Въ рукахъ Ефимъ держалъ какую-то толстую, большого формата книгу. Она была раскрыта. Очевидно, я засталъ чтеніе въ

самомъ разгарѣ. Парни, дѣвушки и подростки вплотную окружали чтеца. Поодаль стояли, солидно поглаживая свои бороды, два пожилыхъ мужика. Безъ сомнѣнія, въ числѣ слушателей Ефима были и они, хотя какъ будто и совѣстились „водить компанію" съ молодежью.

Я смотрѣлъ на эту картину — и не могъ отвести отъ нея глазъ.

* * *

Черезъ часъ, напившись чайку и сдѣлавъ передышку лошадямъ, мы уже сидѣли въ своей таратайкѣ и ѣхали обратной дорогой. И Митровка, и Парамонъ Михеичъ, и слѣпой, кривобокій дядя Листаръ,—все осталось позади. На облучкѣ сидѣлъ нашъ прежній возница-паренекъ, пріятель Ефима. Онъ былъ въ самомъ веселомъ настроеніи духа и что есть силы погонялъ лошадей, покрикивая на нихъ сердитымъ тономъ. Послѣднія строенія деревушки Митровки уже скрывались изъ вида, какъ вдругъ я услыхалъ позади насъ громкіе крики.

— Эй, эй, Семенъ, Се-е-менъ! Стой!—вдругъ раздался чей-то голосъ за нами.

Я быстро оглянулся и съ удивленіемъ увидѣлъ, что за нами чуть не во всю прыть бѣжитъ какой-то деревенскій парень. Мое удивленіе стало еще больше, когда въ этомъ парнѣ я узналъ Ефима.

Лошади наши остановились. Ефимъ подбѣжалъ, запыхавшись, но, какъ мнѣ показалось, съ нѣсколько самонадѣяннымъ и даже задорнымъ видомъ, какъ бы усиленно стараясь не уронить своего достоинства.

— Господинъ, простите, пожалуйста,—заговорилъ онъ пріятнымъ голосомъ, обращаясь ко мнѣ.—Вотъ я слыхалъ, что вы питерскіе. Такъ сдѣлайте милость, найдите вы мнѣ по адресному столу человѣка тамъ одного, моего знакомаго. Пожалуйста... Сдѣлайте милость...

Эти слова были сказаны какимъ-то особеннымъ, хотя и просительнымъ, но глубоко задушевнымъ тономъ. Я сразу почувствовалъ, что Ефимъ не скоро-то рѣшился обратиться съ просьбой къ незнакомому совсѣмъ человѣку. Но, очевидно, у него былъ уже о насъ разговоръ съ Семеномъ. Не отъ другого же кого онъ узналъ, что мы питерскіе. Да, безъ сомнѣнія, и все, что мы говорили дорогой, было уже ему пересказано Семеномъ...

— Съ удовольствіемъ сдѣлаю то, что вы хотите,—сказалъ я Ефиму: - Скажите, какъ зовутъ вашего знакомаго и откуда онъ родомъ?

— А вотъ!—сказалъ Ефимъ и поспѣшно протянулъ мнѣ ка-

кую-то скомканную бумажку. На ней были продробно написаны всѣ данныя, какія необходимы для справки въ адресномъ столѣ. Лицо Ефима сразу прояснилось, и онъ быстро заговорилъ:

— Пожалуйста. Вотъ и адресъ, чтобы мнѣ написать. Сдѣлайте милость. Живу я тутъ, живу, и о пріятеляхъ ничего не знаю. Тоска беретъ... Люди хорошіе... Хочется имъ написать, что и живъ я, и здоровъ, и какъ волъ работаю, и работы не боюсь, и духу... и духу во мнѣ прибавилось... Обо всемъ хочется написать... Насъ... насъ вѣдь много друзей-то было... И не знаю, куда разлетѣлись всѣ... Раскидало!.. Потонули въ глуши... Ну да ладно,—не бѣда... на время... Только бы духу прибавилось... А впрочемъ, мнѣ и здѣсь хорошо... Да, мнѣ и вездѣ хорошо. Руки и ноги крѣпкія... Не умру зря-то!...

И Ефимъ засмѣялся. Засмѣялись и мы. И было въ этомъ смѣхѣ что-то бодрое, что-то задушевное...

Мнѣ захотѣлось отъ всей души хоть нѣсколькими словами перекинуться съ Ефимомъ.

— Вы питерскій?—спросилъ я его.

— Нѣтъ, не питерскій, но работалъ одно время и въ Питерѣ,—у Максвеля, на Шлиссельбургскомъ тракту.

— Петра Морозова знали тамъ?

— Петра Андреича? Да, да, зналъ!—необычайно радостно воскликнулъ Ефимъ. Да развѣ и вы его знали тоже?

— Знавалъ и я.

— Да онъ первый мой былъ другъ, товарищъ. И товарищъ-то какой,—удивительный! Не жилъ, а горѣлъ,—не смотри, что онъ такой тихій да угрюмый. Онъ и меня, и другихъ многому научилъ. А еслибъ не научилъ, такъ я и не знаю, что-бы мнѣ и дѣлать въ такой глуши.

— А теперь знаете?

— А что же,—разумѣется, знаю.

— И тоже не живете, а горите?

— А и въ правду, почитай, что такъ.

— А если сами сгорите?

— Не-е страшно!

— А коли душа заглохнетъ?

— Моя-то? Ефимъ весело засмѣялся, и было въ этомъ его смѣхѣ столько жизни и силы, столько искренности и вѣры въ свое дѣло и въ себя, что весело засмѣялся и я.

— Худо было—терпѣлъ. Терпѣлъ—и вытерпѣлъ. А теперь ужь настаютъ другія времена. Небось, — не задавятъ! Какъ бы и имъ самимъ не пришла смерть... Будь они прокляты, окаянные.

— Ваша правда!—сказалъ я.

— Разумѣется, правда, просто и увѣренно подтвердилъ Ефимъ, и мы разстались...

Мы оба знали и понимали, не называя, кто это „они“ и кого

проклинаетъ теперь въ глубинѣ души всякій, мало мальски сознательный русскій человѣкъ...

На прощанье мы пожали другъ другу руки, и таратайка наша покатилась по ухабистой, пыльной „не-земской“ дорогѣ. Потянулись по сторонамъ опять поля и луга, жалкія изгороди и длинные ряды стоговъ сѣна. Солнце уже давно сѣло. И на поля и на луга ползъ откуда-то съ востока полумракъ... Въ глубинахъ темно-зеленаго неба здѣсь и тамъ загорались звѣзды. Небесный сводъ становился все прозрачнѣе и прозрачнѣе, открывая передъ зрителемъ необъятныя перспективы безконечныхъ пространствъ. Изъ-за далекихъ холмовъ показалась луна. Освѣщенный ея голубыми, обольстительно нѣжными лучами, небесный сводъ сдѣлался еще прозрачнѣе. Маленькія звѣзды-искорки какъ бы тонули и гасли въ ея лучахъ. Большія звѣзды—горѣли и мерцали, то исчезая, то появляясь изъ глубины. По полямъ и лугамъ протянулись и поползли голубыя, прозрачныя тѣни—нѣжныя тѣни теплой іюньской ночи...

Я оглянулся назадъ, чтобы въ послѣдній разъ посмотрѣть на Митровку. Но ея уже не было видно.

Лишь на далекомъ холмѣ стояла высокая человѣческая фигура, выдѣляясь на прозрачной синевѣ неба и, какъ мнѣ показалось, пристально смотрѣла на нашу удаляющуюся таратайку...

Мой пріятель уже клевалъ носомъ. Семенъ, какъ и раньше, упорно молчалъ. Сонъ бѣжалъ лишь отъ моихъ глазъ. По-прежнему тѣснились въ головѣ неотвязныя, мучительныя думы,—длинныя вереницы мыслей и эмоцій, крѣпко связанныхъ одна съ другой. Мелькали знакомые образы—и быстро куда-то исчезали. Ихъ мѣсто тотчасъ же замѣняли другіе... То, что было пережито когда-то, и что я увидѣлъ и перечувствовалъ теперь, слилось, соединилось воедино... И я задавалъ себѣ вопросъ: какія психическія и иныя силы творятъ исторію? Какія силы поднимаютъ эту громадную историческую волну всемірнаго прилива и отлива, которая катится вокругъ насъ, черезъ насъ и надъ нами? Знанія, убѣжденіе и пониманіе,—анализъ вещей и событій? Нѣтъ, какъ будто не то. Міромъ управляетъ не столько разумъ, сколько эмоціи. Тотъ, кто отлично понимаетъ, тотъ, кто прекрасно сознаетъ, легко можетъ статься, только то и сдѣлаетъ, что поплыветъ по теченію, даже и пальца не выставивъ противъ него... Для работы и для борьбы нужны эмоціи, нужно настроеніе. Кто бы человѣкъ ни былъ, гдѣ бы онъ ни стоялъ, къ какому бы классу общества ни принадлежалъ—если въ немъ есть настроеніе,—онъ будетъ жить, онъ будетъ блестѣть, какъ звѣздочка или искорка, онъ будетъ разливать свѣтъ и теплоту вокругъ себя, онъ будетъ и въ другихъ воз-

буждать однородныя эмоціи, которыхъ знаніе и пониманіе, разумѣется, самые лучшіе, самые могущественные слуги...

Исторія человѣческихъ обществъ, исторія массъ—развѣ это не исторія настроеній, не исторія ихъ измѣненій, ихъ борьбы?.. И какъ знать, что распространяется быстрѣе, что совершаетъ болѣе великія дѣла—пониманіе или настроеніе?

Я задавалъ себѣ вопросъ за вопросомъ, которые неудержимо возникали въ моемъ умѣ. Но ни на одинъ вопросъ не находилось отвѣта... Я спрашивалъ, но не рѣшалъ. Пусть рѣшаетъ ихъ наука, пусть скорѣе разрѣшитъ ихъ жизнь.

* * *

А по сторонамъ дороги все тянулись поля и поля, облитыя серебристо-голубымъ луннымъ свѣтомъ. Тишина лѣтней ночи нарушалась лишь громыханьемъ таратайки да стукомъ лошадиныхъ копытъ о сухую, пыльную дорогу. Не слышно было пѣсенъ, молчали и птичьи голоса... Вокругъ царило мертвое безмолвіе...

И вдругъ откуда-то изъ глубины, изъ-за пригорковъ и холмовъ, до меня донеслись знакомые, рѣжущіе слухъ, непріятные звуки—не то громыханіе, не то безконечный стукъ и грохотъ, шипѣнье, лязганье, визгъ. Звуки становились все громче и громче, все слышнѣе и слышнѣе...

— Эво-на, эво-на, посмотрите,—вдругъ прервалъ свое флегматичное молчаніе Семенъ,—Ишь какъ коптитъ, ишь какъ дымитъ,—страсть! Упаси Господи!

Изъ-за пригорка показалась черная, мрачная труба Носилковской мануфактуры. Изъ трубы громаднымъ столбомъ поднималось облако чернаго дыма. По мѣрѣ того, какъ мы ѣхали впередъ, и труба и фабрика словно выплывали изъ-подъ земли. Я скоро увидѣлъ длинные ряды освѣщенныхъ оконъ ткацкаго отдѣленія, откуда вырывались на свободу и летѣли въ уснувшую даль безконечныя волны всевозможныхъ звуковъ.

— Ну, народъ! Вотъ народъ!—сердито проворчалъ Семенъ.— И на праздникъ въ ночь работаетъ, и съ праздника ночь работаетъ. Жарь, окаянная! Жарь!

И вдругъ, обращаясь ко мнѣ, Семенъ проговорилъ:

— А вѣдь подпалитъ! Ей Богу, подпалитъ. Смотрите-ка смотрите!

Я поднялъ голову вверхъ—и передо мной снова открылась уже извѣстная, величественно прекрасная картина. Изъ громадной фабричной трубы, словно изъ жерла вулкана, яркимъ, блестящимъ снопомъ вылетали цѣлые огненные потоки красноватыхъ искорокъ.

Эти искорки неслись и вверхъ и внизъ; онѣ разбрасывались

и вправо, и влѣво; онѣ скользили по темно-голубому, прозрачному своду неба, между голубыхъ мерцающихъ звѣздъ, словно огненно-красныя звѣздочки; онѣ описывали безконечно разнообразные зигзаги. Мнѣ казалось, что онѣ то гаснутъ, то загораются вновь, что одна искорка въ геометрической прогрессіи порождаетъ десятки и сотни новыхъ, и всѣ онѣ несутся и летятъ, какъ бы стремясь охватить сколь возможно большее пространство—охватить и поля, и луга, не только фабрику, но и далекую деревню, охватить весь горизонтъ, овладѣть всей землею...

И въ этомъ движеніи было что-то величественно роковое, что то **стихійно-непобѣдимое**,—непобѣдимое по своей **непреоборимой логикѣ**, неизбѣжное, какъ естественный ходъ вещей.

Борьба народа за свое просвѣщеніе.

(Наканунѣ революціи).

Докладъ, читанный на III съѣздѣ дѣятелей по техническому и профессіональному образованію 4 января 1904 года *).

Милостивыя государыни и милостивые государи!

Въ нашей и другихъ секціяхъ съѣзда вамъ приходилось слышать не мало докладовъ, посвященныхъ анализу разныхъ сторонъ нынѣ господствующей у насъ системы русскаго народнаго просвѣщенія. Говорилось здѣсь о томъ, что дѣлаютъ для его развитія въ ту или иную сторону разныя министерства, общественныя учрежденія, частныя лица. Въ моемъ докладѣ я намѣренъ подѣлиться съ вами нѣкоторыми фактами и наблюденіями, характеризующими то, что дѣлаетъ съ тою же цѣлью **самъ народъ**. Во многихъ докладахъ шла рѣчь о работѣ **для** народа: я буду говорить о работѣ **самого** народа. Необходимо вѣдь показать и другую сторону вопроса и хоть въ самыхъ общихъ чертахъ, хоть схематически, нарисовать тотъ потокъ народныхъ стремленій, который несетъ милліоны людей къ свѣту, къ проясненію ихъ личнаго и классоваго сознанія, увлекая за собой въ томъ же направленіи даже тѣхъ, кто самъ не въ силахъ выйти на свѣтъ изъ своего душнаго и тѣснаго уголка, будучи придавленъ необъятной темнотой, безъисходной бѣдностью и всеобъемлющимъ безправіемъ.

Теперь настали такія времена, что рабочій волей-неволей долженъ выходить изъ своего угла, волей-неволей долженъ стремиться къ свѣту, вдумываться, анализировать все, что существуетъ и что происходитъ вокругъ него и что втягиваетъ каждаго рабочаго человѣка въ общій круговоротъ жизни. Кто теперь не видитъ, кто не знаетъ, что въ настоящее время въ массѣ трудящагося народа, какъ деревенскаго, такъ и фабрично-заводскаго, идетъ глубокая, знаменательная и напряженная умственная

*) Какъ извѣстно, по распоряженію министра внутр. дѣлъ В. К. Плеве III съѣздъ былъ закрытъ до его окончанія.

работа, которая, какъ въ этомъ врядъ ли можно сомнѣваться, приведетъ въ концѣ-концовъ, и быть можетъ въ недалекомъ будущемъ, къ крайне важнымъ перемѣнамъ въ области умственнаго и общественнаго развитія нашей родины. Припомните то, что говорилось здѣсь, въ нашей и другихъ секціяхъ, суммируйте въ вашей памяти тысячи мелкихъ и крупныхъ фактовъ, которые то и дѣло появляются въ столичныхъ и провинціальныхъ газетахъ и характеризуютъ собою напряженное стремленіе трудящагося люда къ свѣту, и вы увидите, что матеріала для общей характеристики этого, можно сказать, всенароднаго стремленія, много, даже слишкомъ много, и нѣтъ никакой возможности вмѣстить даже самые характерные факты въ тѣсныя рамки получасового доклада. Поэтому я долженъ съузить задачу и ограничить тему доклада слѣдующимъ вопросомъ: какъ реагируетъ народъ, главнымъ образомъ наиболѣе развитые слои его, т. е. фабрично-заводскіе рабочіе, на господствующую нынѣ систему народнаго образованія, на ея постановку и размѣры?

Итакъ, передъ нами съ одной стороны система народнаго просвѣщенія, болѣе или менѣе опредѣленно выработанная, съ другой стороны— назрѣвшія и выдвинутыя жизнью умственныя потребности трудящагося люда, который внѣ этой системы, повидимому, лишенъ почти всякой возможности добывать то, что нужно ему самому, по его собственному соображенію.

И качественная, и количественная стороны господствующей системы народнаго образованія, какъ школьнаго, такъ и внѣшкольнаго, и не только для дѣтей, но и для взрослыхъ, были въ достаточной степени выяснены, какъ на II, такъ и на III съѣздѣ. Система эта такъ или иначе преслѣдуетъ, по мысли ея творцовъ, очень опредѣленную цѣль: эта цѣль—сдѣлать изъ учащагося никого иного, какъ о б ы в а т е л я, русскаго обывателя, заранѣе приспособленнаго и приспособляющагося, по крайней мѣрѣ, къ основнымъ условіямъ русской жизни, обывателя, который по возможности былъ бы неспособенъ видѣть одно, но зато былъ бы въ высшей степени способенъ видѣть другое. Созданіе человѣка, созданіе гражданина въ лучшемъ смыслѣ этого слова, входитъ, по крайней мѣрѣ по существующимъ законоположеніямъ, въ задачу господствующей системы образованія лишь болѣе или менѣе случайно. И законы, и уставы, и инструкціи, не говоря уже о циркулярахъ „о кухаркиныхъ сыновьяхъ“,—лучшее доказательство вышесказаннаго. Господствующая система прежде всего т е н д е н ц і о з н а, а особенно же тенденціозна она тамъ, гдѣ имѣется въ виду образованіе трудящагося класса. Русская система школьнаго и внѣшкольнаго образованія до сего времени представляетъ изъ себя не что иное, какъ орудіе въ рукахъ государства для достиженія извѣстныхъ практическихъ цѣлей, тѣсно связанныхъ съ интересами тѣхъ общественныхъ, экономическихъ и политическихъ группъ, выразителемъ которыхъ въ данное время является государство. И школа, и народная читальня, и народная аудиторія,—все это въ настоящее время не что иное, какъ орудія для проведенія опредѣленныхъ тенденцій въ массу трудящагося народа. Даже

книга, дозволенная цензурою, особенно учебная, „одобренная“ или „рекомендованная“, это тоже орудіе. Въ высшей степени поучительнымъ въ этомъ отношеніи представляется слѣдующій фактъ: лѣтъ 7—8 тому назадъ была предложена на петровскую премію слѣдующая тема: „Русская исторія для народа“. Въ Журналѣ Министерства Народнаго Просвѣщенія за 1895 г. № 7 былъ данъ подробный и обстоятельный „рецептъ“ этого сочиненія. Желающіе могутъ познакомиться съ этимъ рецептомъ. Къ чести русскихъ писателей, до сего времени не нашлось желающихъ передѣлывать историческую науку по этому полицейско-министерскому рецепту, и петровская премія никому еще не выдана. Такъ называемая народная литература пестритъ такого рода тенденціозными книжками, а то, что не тенденціозно, считается или „нежелательнымъ“, или ложнымъ, вреднымъ, опаснымъ. Не даромъ на народныя книжки существуетъ то двѣ, то три, то даже четыре цензуры, не считая цензуръ разныхъ министерствъ. Читатель изъ народа третируется какъ дитя малое и неразумное. Такова качественная сторона системы. Въ достаточной степени была выяснена секціей и количественная сторона ея. Къ какимъ бы образовательнымъ учрежденіямъ вы ни обратились, почти всюду, за немногими исключеніями, сквозитъ тенденція давать знанія по малымъ порціямъ, словно они какое-то ядовитое вещество. Эта тенденція сквозитъ и въ ничтожныхъ бюджетахъ центральныхъ органовъ на народное образованіе, и въ законѣ о предѣльности земскаго обложенія, и въ протестахъ гг. губернаторовъ противъ земскихъ ассигновокъ на народное образованіе, и въ ограниченныхъ программахъ народныхъ школъ и пр., и пр. Все говоритъ за то, что политическая тенденція охватываетъ все школьное дѣло, т. е. тенденція тѣхъ общественныхъ группъ, которыя держатъ въ своихъ рукахъ государственную власть. Та же тенденція наблюдается и въ области внѣшкольнаго образованія. Если бы сосчитать, сколько библіотекъ и читаленъ, и аудиторій для народныхъ чтеній, и другихъ просвѣтительныхъ учрежденій не были основаны лишь по причинѣ неполученія на сей предметъ разрѣшенія, то оказалось бы, что число отклоненныхъ ходатайствъ несомнѣнно въ нѣсколько разъ больше, чѣмъ число существующихъ учрежденій. Число народныхъ книгъ, остающихся въ архивахъ цензуры, тоже весьма почтенно,—это знаетъ каждый издатель и редакторъ народныхъ книгъ,—и тоже во много разъ больше числа появившихся книгъ. Словомъ сказать,—узка дверь для просвѣщенія трудящагося люда, а около этой двери сидятъ сторожа тупые, корыстные и придирчивые и не слушающіе никакихъ доводовъ, не принимающіе въ разсчетъ никакихъ, даже самыхъ назрѣвшихъ нуждъ и требованій жизни. Напомню, что изъ 58 ходатайствъ II съѣзда удовлетворено было только два. Вотъ суть голосовъ, которые мы здѣсь уже слышали. Реагируетъ ли на все это народъ? Удовлетворяетъ ли его то, что ему даютъ, и сколько даютъ? Удовлетворяетъ ли его господствующая система образованія? Нѣтъ: въ какое бы просвѣтительное учрежденіе мы ни заглянули, въ какомъ бы глухомъ уголкѣ мы ни присмотрѣлись къ его дѣятельности, вездѣ мы увидимъ одно и то же. На-

родъ реагируетъ и на качественную, и на количественную стороны системы „своими средствіями“, то безсознательно, то полусознательно, а, въ лицѣ своей интеллигенціи, и вполнѣ сознательно. Объ этой реакціи я и буду говорить,—главнымъ образомъ на основаніи рукописныхъ матеріаловъ, собранныхъ въ теченіе 13 лѣтъ, въ видѣ дневниковъ, писемъ, рукописныхъ сочиненій крестьянъ, и фабричныхъ рабочихъ,—ихъ автобіографій, дневниковъ, писемъ, разсказовъ, стиховъ и проч. Всего собрано матеріала отъ 1,176 человѣкъ. Изъ нихъ 67% поступило отъ фабрично-заводскихъ рабочихъ и городскихъ ремесленниковъ, 22%—отъ крестьянъ, живущихъ въ деревнѣ, 4% отъ солдатъ, остальные 7% отъ людей другихъ общественныхъ положеній.

Матеріалы, поступившіе отъ нихъ, представляютъ громадный интересъ не только съ общественной, но и съ психологической стороны. Изъ нихъ можно видѣть, что народъ реагируетъ на господствующую систему образованія на всѣхъ ступеняхъ ея въ области образованія школьнаго и внѣшкольнаго, начиная съ пріобрѣтенія простой грамотности. Народное образованіе дополняется на всѣхъ ступеняхъ народнымъ самообразованіемъ. И не только дополняется,—такъ вѣдь бываетъ и вездѣ,—но у насъ, въ Россіи, въ силу основныхъ особенностей нашего строя, оно замѣняется самообразованіемъ. Школа, регулированная правительствомъ, не даетъ народу того, что она должна бы ему давать. Народу приходится брать то, что ему необходимо, какими-нибудь своими средствами. Такъ принуждены поступать десятки милліоновъ народа.

И особенно бросается въ глаза тотъ поразительный фактъ, что у насъ въ Россіи, рядомъ съ нами, живетъ цѣлый народъ,—умный способный, даже даровитый, который только и можетъ получать среднее и высшее образованіе „самоукомъ“,— благодаря чисто-искусственнымъ и явно несправедливымъ причинамъ вродѣ условнаго процента и „чертъ осѣдлолости“. Я говорю о евреяхъ. Среди нихъ стремленіе къ самообразованію проявляется особенно напряженно. Среди нихъ особенно много самоучекъ.

Что же такое самообразованіе въ народной средѣ? Прежде всего это—самообразованіе въ самой тяжелой обстановкѣ, какую только можно себѣ представить; это мечты о собственномъ усовершенствованіи и борьба во имя его за свое право знать, право изучать, право мыслить, право вникать въ свою и окружающую жизнь, въ прошлое, настоящее и будущее по своему разумѣнію и хотѣнію, безъ чужой указки; это борьба за свѣтъ, за свободу, за свое человѣческое достоинство, борьба съ такими препятствіями, которыхъ еще не сломила исторія, но которыя старается сломить человѣкъ,—иной разъ самый маленькій, самый забитый, загнанный человѣкъ, сознавшій себя, наконецъ, человѣкомъ въ силу мощныхъ требованій той же исторіи. Самообразованіе въ народной средѣ, за немногими счастливыми исключеніями, это своего рода драма,—житейская, заурядная, обыденная драма,—а иногда и трагедія, гдѣ слабый борется съ тѣмъ, что сильнѣе его, и гдѣ на каждаго побѣдителя въ этой неравной борьбѣ приходятся сотни тысячъ побѣжденныхъ. Если стремленіе къ само-

образованію и его неизбѣжный результатъ,—самоопредѣленіе и ростъ личности требуютъ много силъ и уносятъ много жертвъ, даже въ средѣ такъ называемыхъ „командующихъ“ классовъ, то во сколько же оно обходится фабричному и деревенскому люду, и вообще классамъ „командуемымъ?“ Съ какими препятствіями приходится считаться этимъ послѣднимъ? И люди, какъ ни какъ, а считаются, и борьба идетъ да идетъ, требуя новыхъ „искупительныхъ жертвъ“.

И чѣмъ тяжелѣе бытовая, экономическая, юридическая и интеллектуальная обстановка, въ которой приходится жить человѣку, тѣмъ больше она отъ него требуетъ силъ для борьбы, больше даетъ страданій, больше уноситъ жертвъ.

Посмотримъ прежде всего, на какой глубинѣ народной массы начинается борьба человѣческой личности за свое самообразованіе. Она начинается въ безграмотныхъ слояхъ населенія. Десятками или сотнями тысячъ должны мы считать тѣхъ несчастливцевъ земли русской, которые, обладая свѣтлымъ умомъ и яснымъ сознаніемъ, обладая такими способностями, какими иной разъ не обладаютъ и очень ученые мужи, принуждены существовать „въ безграмотномъ состояніи“, не имѣя никакой возможности развить свои духовныя силы. Сколько этихъ зародышей будущей русской интеллигенціи разсѣяно на милліонахъ квадратныхъ километровъ русской земли и глохнетъ, чахнетъ, вымираетъ, не развивая своихъ интеллектуальныхъ силъ, не переводя ихъ изъ потенціальнаго въ кинетическое состояніе. Счастливы тѣ, кто, несмотря на свои способности, примирился со своимъ положеніемъ. Ну, а тому какъ быть, кто съ нимъ примирился? А такихъ развѣ мало? Факты говорятъ намъ, что стремленіе къ самообразованію въ неграмотной народной массѣ—явленіе разлитое и постоянно нарастающее. Оно выражается прежде всего въ поискахъ и погонѣ милліоновъ неграмотныхъ русскихъ людей за живымъ человѣческимъ словомъ, такимъ словомъ, которое способно дать человѣку знанія, матеріалъ для болѣе широкаго и глубокаго размышленія, которое способно оживить мысль, пробудить новое, глубоко жизненное настроеніе, способно передвинуть человѣка вверхъ. Неграмотная толпа, какъ и грамотная, жадно рвется къ живому слову, какъ единственно доступному для нея источнику знанія, пониманія и настроенія. Жизнь богата такого рода фактами, и во всѣхъ нихъ звучитъ очень трогательная нотка.

Гдѣ же можетъ слышать неграмотный человѣкъ живое слово, несущее хоть нѣкоторое знаніе о томъ, что было и есть, и окрашенное настроеніемъ опредѣленной злобы дня? Онъ слышитъ это слово не только изъ устъ прохожихъ странниковъ и бывалыхъ людей, бродящихъ по святымъ и несвятымъ мѣстамъ земли русской. Въ настоящее время у неграмотнаго народа, въ силу назрѣвшей нужды и неудовлетворенной потребности души, появились свои профессіональные разсказчики, свои профессіональные чтецы, странствующіе по селамъ, деревнямъ и фабрикамъ, по базарамъ, постоялымъ дворамъ и трактирамъ, и разсказывающіе и читающіе по приглашенію и почину этого самаго неграмотнаго народа, за опредѣлен-

ный гонораръ. Эти разсказчики и чтецы снискиваютъ себѣ даже хлѣбъ насущный такимъ способомъ.

По словамъ мѣстныхъ газетъ, въ Харьковѣ функціонировалъ нѣсколько лѣтъ тому назадъ особый типъ бродячихъ чтецовъ газетъ. Люди эти— большею частью неудачники, мелкіе чиновники, отставные солдаты. По добровольному соглашенію они раздѣлили площадь базара на нѣсколько участковъ и въ каждомъ былъ свой участковый чтецъ. Дрожа отъ стужи, эти люди съ самаго разсвѣта сновали между рабочимъ народомъ и предлагали „почитать“, взимая въ свою пользу по копѣйкѣ съ каждаго слушателя. Дневная выручка такихъ чтецовъ доходила до рубля. На этой почвѣ, какъ писали въ газетахъ, за послѣднее время стали практиковать и нищія дѣти. Изъ Екатеринослава писали въ „Образованіе“, что тамъ успѣшно работалъ какой-то босякъ, который превосходно читалъ вслухъ. Чтеніе происходило въ чайной Попечительства о народной трезвости. Босякъ-чтецъ бралъ книги изъ библіотеки при чайной и самъ выбиралъ ихъ. За свое чтеніе онъ собиралъ деньги. Разговорамъ послѣ и даже во время чтенія не было конца. Такіе же чтецы ходятъ по фабрикамъ и деревнямъ. И чѣмъ сильнѣе злоба дня жжетъ и гложетъ душу темнаго неграмотнаго человѣка, тѣмъ больше работы бываетъ у странствующихъ разсказчиковъ и чтецовъ. Они сами—продуктъ той же злобы дня „У кого чѣмъ душа болитъ, тотъ о томъ и говоритъ“. Мнѣ лично пришлось нѣсколько разъ встрѣчать этихъ чтецовъ въ южныхъ губерніяхъ и получать письма отъ провинціальныхъ друзей, которые разсказывали о нихъ же. „Такимъ просвѣтительнымъ дѣломъ,—говорится въ одномъ письмѣ,—занимаются иной разъ фабричные и заводскіе рабочіе, которые, въ ожиданіи заработка, читаютъ книги вслухъ, и дѣлаютъ свои разъясненія къ разнымъ злобамъ дня, объясняя ихъ „по книжному и по учсному“, т.-е. такъ, какъ они сами уразумѣли изъ когда-то прочитанныхъ книгъ. Случается, что книга, читаемая такими чтецами, недоступна пониманію слушателей. Тогда чтецы превращаются въ разсказчиковъ и комментаторовъ. Одинъ такой начетчикъ, бывшій ткачъ, котораго почему-то долго не принимали на многія фабрики, разсказывалъ въ прошломъ году, что онъ „жилъ мѣсяца три такимъ способомъ, самъ учился и другихъ училъ, и пропитался чтеніемъ, да еще осталась малая толика на дорогу“.

Остановимъ нѣсколько наше вниманіе на самомъ фактѣ появленія такихъ чтецовъ. Что они такое? Они творцы современной устной народной словесности, а эта послѣдняя—не что иное, какъ суррогатъ, замѣна книжной и газетной прессы. „Независящія обстоятельства“, сводящія, можно сказать, на нѣтъ эту прессу, взамѣнъ ея, въ силу требованія жизни, создаютъ устную народную словесность и питаютъ и кормятъ ее, а она, въ свою очередь, питаетъ душу народную, не зная и знать не желая никакихъ законовъ о печати, и никакихъ циркуляровъ, ограничивающихъ и уничтожающихъ и безъ того тѣсный законъ, и никакихъ предостереженій, и вообще никакой регламентаціи. Современная устная народная словесность имѣетъ свои научные отдѣлы, свои направленія, какъ консервативное,

такъ и другія, вплоть до самыхъ радикальныхъ и соціалистическихъ, она питаетъ и неграмотную, и даже грамотную толпу и чрезвычайно чутко реагируетъ на всякую злобу дня, создавая свои пѣсни, свои легенды, свои „всѣмъ извѣстныя поговорки“.

Но неграмотная масса выражаетъ свои стремленія къ самообразованію не только погоней за народной словесностью, а и за грамотностью. Масса не мирится съ тѣми ничтожными размѣрами школьнаго и внѣшкольнаго образованія, которые совершенно не удовлетворяютъ насущнѣйшимъ потребностямъ народа. Масса неграмотныхъ русскихъ людей старается получить и грамотность „своими средствіями“. Каждый годъ милліоны ихъ дѣлаются грамотными „самоукомъ“, внѣ школы, съ помощью неизвѣстно кого и какъ. Полученіе грамотности—это одинъ изъ первыхъ шаговъ къ самообразованію. Вотъ одинъ изъ многочисленныхъ фактовъ для иллюстраціи размѣровъ этого явленія. Въ 1899 г., въ Вяземскомъ уѣздѣ было произведено статистическое изслѣдованіе, которое обнаружило, что грамотность распространяется въ народѣ внѣшкольнымъ путемъ чрезвычайно сильно. Изъ 13½ тысячъ грамотныхъ мужчинъ, о которыхъ имѣются свѣдѣнія, получили грамотность въ школахъ всего лишь 46%, т.-е. меньше половины. Изъ 944 полуграмотныхъ 79,5% обошлись безъ помощи школы. Выходитъ такъ, что народъ не ждетъ, когда-то ему еще датутъ грамотность. Онъ самъ беретъ ее. Подобный же фактъ констатируетъ въ своей монографіи о фабрикѣ Цинделя П. М. Шестаковъ. Изъ его изслѣдованій видно, что изъ 725 рабочихъ обучалось внѣ школы слишкомъ 24%. Интересна и психологія этихъ людей, получившихъ грамотность самоучкой; но недостатокъ времени не позволяетъ мнѣ остановиться на ней. Отмѣчу лишь одинъ интересный фактъ: въ моемъ распоряженіи имѣется интересная рукописная автобіографія стараго бессарабскаго босяка-рабочаго, Панкова, который простодушно разсказываетъ, какъ онъ учился грамотѣ, будучи 63-лѣтнимъ старикомъ, и выучился.

Но трудящійся народъ, въ силу несомнѣнной недостаточности и неудобства для него господствующей системы образованія, не только изучаетъ грамоту „самоукомъ“, но и выдвигаетъ свои школы, создаетъ своихъ учителей, и къ тому же нерѣдко учителей-фанатиковъ, идейныхъ борцовъ за просвѣщеніе своихъ братьевъ. Н. В. Чеховъ предоставилъ въ мое распоряженіе цѣлый рядъ портретовъ такихъ учителей изъ крестьянъ. Кромѣ того, среди собранныхъ мной матеріаловъ имѣется болѣе 1118 рукописей, присланныхъ изъ разныхъ уголковъ Россіи. Среди нихъ имѣются автобіографіи и дневники такихъ же учителей изъ крестьянъ и фабричныхъ. Они простодушно разсказываютъ, почему собственно они взялись за просвѣщеніе своей братіи. Одинъ пишетъ: „намъ врядъ ли кто по настоящему то поможетъ, коли мы сами себѣ не поможемъ“. Другой объясняетъ: „я сталъ учить своихъ товарищей потому, что не могъ вынести ихъ темноты. Темный человѣкъ съ руками и ногами отдаетъ себя на съѣденіе. Довольно ужъ этого, время теперь не такое“. Третій въ стихахъ воспѣ-

ваетъ, что онъ „желалъ бы нарушить сонъ и развѣять мракъ, и дать счастіе всѣмъ униженнымъ и скорбящимъ“.

Мнѣ лично приходилось встрѣчать очень интересные типы фабричныхъ учителей изъ фабричныхъ рабочихъ.

Нѣсколько лѣтъ тому назадъ я имѣлъ случай познакомиться въ Вышнемъ Волочкѣ съ однимъ молодымъ рабочимъ, ткачемъ, который успѣшно окончилъ курсъ воскресной школы, получилъ свидѣтельство на званіе учителя и затѣмъ сдѣлался преподавателемъ въ той же самой школѣ. Днемъ онъ работалъ по 11 съ половиной часовъ на фабрикѣ, а иногда по вечерамъ, и каждый воскресный и праздничный день шелъ учить своихъ же товарищей въ ту же самую воскресную школу. И это примѣръ не единственный. Но еще интереснѣе лекторы-учителя для рабочихъ изъ среди самихъ же рабочихъ. Представьте себѣ такую картину. Въ какой-нибудь душной и вонючей казармѣ, послѣ тяжелаго рабочаго дня дается урокъ по политической экономіи, по исторіи, соціологіи, праву, по русскому языку, по ариѳметикѣ. Примите въ разсчетъ, что среди слушателей есть не только полуграмотные, но и неграмотные, представьте себѣ фабричнаго, ученика воскресной школы, чуть не изо дня въ день пересказывающаго по-своему своимъ товарищамъ-рабочимъ то, что онъ успѣлъ узнать въ этой самой школѣ, а то и изъ хорошей книги, произведшей на него особенно сильное впечатлѣніе. Мнѣ приходилось встрѣчать такихъ самодѣльныхъ преподавателей изъ рабочихъ, которые чрезвычайно серьезно относились къ своему дѣлу, много готовились къ своимъ лекціямъ, а одинъ изъ нихъ, слесарь, года два тому назадъ, бралъ для своей самодѣльной школы, которую посѣщали и неграмотные, коллекціи и приборы изъ Подвижного музея техническаго общества и платилъ за нихъ свои деньги. Есть такіе учителя, чтецы и лекторы, переходящіе съ фабрики на фабрику, имѣющіе свои собственныя программы преподаванія, свои, такъ называемые, „списки лучшихъ книгъ“, свои учебныя и ученыя библіотеки, переносимыя на плечахъ, въ мѣшкѣ. Среди такихъ учителей встрѣчаются люди вполнѣ интеллигентные, серьезные, дѣловые, весьма начитанные. Нѣкоторые изъ нихъ, въ концѣ-концовъ, стали свои лекціи записывать и даже печатать. Интересно отношеніе этихъ людей къ казенной школѣ. Одинъ изъ нихъ, между прочимъ, пишетъ въ своемъ письмѣ: „тамъ о нужномъ часто молчатъ, а ненужнымъ — наши мозги законопачиваютъ. Всей науки все равно не узнаешь, а что намъ нужно и что не нужно, мы рѣшаемъ лучше всего сами“.

Эти же самые люди съ восторгомъ отзываются о тѣхъ воскресныхъ и техническихъ школахъ, учителя которыхъ, по мѣрѣ силъ и возможности, прислушиваются къ запросамъ своихъ учениковъ-рабочихъ. Впрочемъ, восторги эти умѣряются тѣмъ, что обыкновенно они относятся къ опредѣленнымъ людямъ, а не къ утвержденнымъ разъ навсегда программамъ. Объ отношеніи къ программамъ и къ учителямъ другого типа вы можете судить изъ слѣдующаго отрывка, приводимаго дословно изъ рукописи одного петербургскаго ткача. Онъ разсказываетъ: „мы, рабочіе, часто соби-

рались въ кучки и читали какія-либо книги; неграмотные часто завидовали намъ, а нѣкоторые изъ нихъ, любители слушать, сами покупали книжки, совершенно не умѣя читать, и зазывали насъ, грамотныхъ, чтобы мы прочли: нако-сь, прочитай, я знаю, что ты отъ роду не читывалъ такой".

„Но теперь появилось не мало такихъ людей, которые и читаютъ, и разъясняютъ". Авторъ очень доволенъ тѣмъ, что „такихъ разъяснителей — собственныхъ учителей, теперь среди нашего брата становится все больше и больше". Ими онъ чрезвычайно дорожитъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, дѣлаетъ слѣдующее сравненіе ихъ съ у ч а щ и м и той воскресной школы, гдѣ ему пришлось побывать. Этими послѣдними онъ недоволенъ и объясняетъ свое недовольство такъ: „можемъ ли мы остаться довольными толкованіемъ нашихъ учителей, можемъ ли мы имъ объяснить всѣ мысли, которыя зарождаются въ нашихъ головахъ? Или могутъ ли они объяснить во всей подробности то, чему насъ учатъ?" Другими словами, школа и учителя не удовлетворяютъ потому, что пониманіе и запросы учащихся ушли г о р а з д о д а л ь ш е, чѣмъ объ этомъ думали господа учащіе той школы, въ которой авторъ учился. Онъ продолжаетъ: „сколько разъ мнѣ приходилось видѣть, какъ нѣкоторые ученики обращались съ вопросами къ своимъ учителямъ или учительницамъ, но тѣ уклонялись отъ отвѣта, говоря, что они не могутъ объяснить этого, потому что намъ того не должно знать". А уклоненіе, молчаніе или незнаніе не выходятъ изъ головы ученика. Онъ начинаетъ думать и вопрошать себя: отчего же намъ не даютъ знать всего? Какая тутъ и для чего можетъ быть тайна? „И разумѣется, тайна еще болѣе привлекаетъ, чѣмъ наука, урѣзанная по опредѣленной программѣ. Далѣе ткачъ продолжаетъ: „а разъ не найдя отвѣта у школьныхъ учителей, человѣкъ начинаетъ самъ его вырабатывать. Но будетъ ли онъ вѣренъ, или нѣтъ, того онъ не знаетъ". Далѣе читаемъ слѣдующія выразительныя строки: „случается иной разъ, что человѣкъ обращается къ своему какому-нибудь товарищу и начинаетъ раскрывать ему тѣ вопросы, на которые нельзя получить отвѣта. А отвѣтъ-то вотъ какой! Но ни вопросъ и ни отвѣтъ никогда не поднимаются высоко, какъ слѣдуетъ, а всегда лежатъ на самомъ низу и вылетаютъ наружу очень рѣдко, и то при оживленныхъ разговорахъ и спорахъ, маленькими, крошечными фразами, а потомъ опять ложатся на старое мѣсто, потому что всякій ужъ знаетъ,—за такіе вопросы и отвѣты—и учениковъ, и учителя не похвалятъ". Эти слова, написанныя человѣкомъ немолодымъ *), прекрасно иллюстрируютъ отношенія учащихся къ учащимъ въ тѣхъ школахъ, гдѣ учащіе недостаточно чутко прислушиваются къ духовнымъ нуждамъ учащихся и недостаточно внимательно слѣдятъ за напряженной работой ихъ мысли, стремящейся найти отвѣтъ на тѣ же самые „проклятые вопросы", которые тревожатъ и волнуютъ и наши души. „Отъ насъ что-то скрываютъ, намъ не сообщаютъ настоящей правды; то, что намъ сообщаютъ, правда—ненастоящая", неполная. „А какая же именно настоящая? Да та самая, ко-

*) П А. Морозовымъ.

торую преслѣдуетъ явная и тайная полиція. А настоящіе учителя,—тѣ самые, которыхъ ловятъ сыщики, арестуетъ начальство, ссылаютъ по указу Е. В.". Пропагандѣ и пропагандистамъ дорога въ народную душу ревностно подготовлялась и подготовляется всякимъ реакціоннымъ, а въ особенности же нелѣпо реакціоннымъ правительствомъ. И чѣмъ больше жгучихъ и мучительныхъ вопросовъ въ душѣ мыслящаго рабочаго человѣка, робкаго, тѣмъ хуже для такого правительства, стѣсняющаго школу и учителей, но, вмѣстѣ съ этимъ, тѣмъ больше отвѣтственность учащихъ передъ учащимися. Мысли, подобныя тѣмъ, которыя высказаны ткачемъ, содержатся во многихъ письмахъ, имѣющихся въ моемъ распоряженіи. Борьба народнаго сознанія за свое самостоятельное существованіе при всякихъ политическихъ условіяхъ неизбѣжно идетъ къ побѣдѣ...

Пойдемъ теперь дальше и будемъ говорить о погонѣ грамотнаго трудящагося человѣка за книгой. Только изъ книги онъ можетъ получить знанія, которыхъ ему недостаетъ и которыхъ ему не даетъ школа. Рабочій людъ прекрасно сознаетъ неотложную необходимость запасаться знаніями. Всѣ педагогическіе журналы наполнены фактами, иллюстрирующими эту погоню, и повторять ихъ здѣсь не приходится. Я буду говорить о томъ, какъ относится народъ къ тѣмъ узкимъ рамкамъ, въ которыя поставлены у насъ въ настоящее время разнаго рода учрежденія, откуда можетъ онъ добывать книги для чтенія. Пусть не думаютъ творцы министерскихъ каталоговъ, что посѣтители читаленъ и библіотекъ не понимаютъ настоящаго значенія ихъ урѣзывательной работы. Перелистайте отчеты народныхъ читаленъ и библіотекъ,—тамъ вы найдете немало жалобъ, записанныхъ библіотекарями со словъ посѣтителей. Вотъ одинъ изъ этихъ фактовъ. Является въ библіотеку фабричный рабочій и проситъ сочиненія Некрасова. „Я слышалъ, говоритъ онъ, что очень ужъ хороши стихи Некрасова".—„Этой книги у насъ нѣтъ и быть не можетъ,—отвѣчаютъ ему.—Наша читальня народная, книга Некрасова сюда не допущена. Идите въ городскую библіотеку: тамъ получите".—„А въ здѣшней библіотекѣ она запрещена?"—„Запрещена!" И вотъ, благодаря плодотворнымъ стараніямъ министерскаго каталога, голова фабричнаго читателя обогащается новымъ понятіемъ—понятіемъ о запрещеной книгѣ, о цѣлой массѣ книгъ, запрещенныхъ для трудящагося народа. Читатель, разумѣется, остается недоволенъ. Эти книги мало-мальски ретивый читатель идетъ добывать въ какую-нибудь общественную библіотеку или книжный магазинъ и преблагополучно добываетъ ихъ тамъ, прочитываетъ разъ, другой, а въ это время думаетъ: „что же такое считается запрещеннымъ для нашего брата—рабочаго человѣка?" Оказывается, что запрещены произведенія цѣлаго ряда классическихъ авторовъ всемірной извѣстности, цѣлый рядъ строго-научныхъ трудовъ по всѣмъ отраслямъ знанія, цѣлый рядъ книгъ, дозволенныхъ общей цензурой и посвященныхъ хотя бы, напримѣръ, изслѣдованію положенія рабочихъ. Читатель разсуждаетъ: „значитъ, вотъ что для насъ запрещено: то, что хорошо, то, что правильно, и то, что всего ближе насъ касается". Такимъ образомъ, министерскій

каталогъ дѣлаетъ второе дѣло, не менѣе важное: онъ не только внѣдряетъ понятіе о запрещенной книгѣ, но еще на тысячѣ блестящихъ примѣровъ показываетъ, что запрещенная книга,—*книга дѣйствительно хорошая*. Но и этого еще мало. Тотъ же самый фабричный идетъ въ общественную библіотеку и во-первыхъ, воочію убѣждается въ томъ, что люди, которые имѣютъ возможность платить деньги за чтеніе, вмѣстѣ съ тѣмъ имѣютъ право читать такихъ авторовъ, читать которыхъ *не дано права* посѣтителямъ народныхъ читаленъ. Изъ этого онъ заключаетъ, что, коли такъ устроено по закону, или вообще по предписанію начальства, то, значитъ, законъ и начальство *на сторонѣ болѣе обезпеченныхъ людей*. Но и этого мало: оказывается, что съ 1884 года существуютъ на Руси такія книги, которыя запрещены къ обращенію и въ публичныхъ библіотекахъ, и въ общественныхъ читальняхъ. Эти книги считаются, такъ сказать, еще болѣе запрещенными. Въ журналѣ *Книговѣдѣніе* за 1894 г. приведенъ списокъ этихъ книгъ. Въ него вошли: сочиненія цѣлаго ряда русскихъ авторовъ, пользующихся весьма почтенной извѣстностью и популярныхъ, напримѣръ, сочиненія: Помяловскаго, Златовратскаго, Рѣшетникова, Левитова, Каронина, Писарева, Шелгунова, многія произведенія Гаршина, Льва Толстого, Засодимскаго, Станюковича, Короленко, Добролюбова, Михайловскаго, Ивановича, Спенсера, Милля, Сѣченова, Фохта, Молешота, Шашкова, Шерра, Щапова, такіе капитальные научные труды, какъ труды Грина, Брайса, Кетле, Ибервега Гейнце, Ляйеля, Маркса, Лассаля, Прудона, Вебба и многихъ другихъ *). Читатель, изъ какого бы общественнаго класса онъ ни былъ, скоро узнаетъ о существованіи этихъ именъ и, разумѣется, начинаетъ интересоваться произведеніями запрещенныхъ авторовъ. И вотъ, въ общественной библіотекѣ повторяется тотъ же разговоръ, какой имѣлъ мѣсто въ народной читальнѣ. Но къ этому прибавляется еще одно новое обстоятельство: во 1-хъ тотъ же читатель-фабричный узнаетъ, что нѣкоторыя книги считаются запрещенными и для „чистой публики“, а во 2-хъ, его вниманіе сосредоточивается на томъ, что въ данномъ случаѣ запрещенными считаются авторы *опредѣленнаго направленія*; другими словами, усиліями Главнаго Управленія по дѣламъ печати, издающаго въ сотрудничествѣ съ охраннымъ отдѣленіемъ и отдѣльнымъ корпусомъ жандармовъ списки запрещенныхъ книгъ, понятіе о запрещенной *книгѣ еще болѣе опредѣляется*. Посѣтитель общественной библіотеки, разъ только онъ поднялся до научныхъ книгъ, скоро узнаетъ, кое-что о „запрещенномъ направленіи“, а если онъ читатель упорный, то, разумѣется, онъ съ этимъ не мирится и начинаетъ усердно знакомиться съ тѣмъ, что запрещено. Оказывается, что основная черта этого запре-

*) Какъ составлялся списокъ изъятыхъ книгъ, видно изъ того, что въ него введены книги *никогда не существовавшія*, наприм., „О методѣ соціологіи“, Миртова, „Критич. статьи“, Михайловскаго. Были только такія статьи въ журналахъ *Знаніе* и *Отеч. записки*. Подробный разборъ этого списка см. въ моей статьѣ „Опытъ регламентаціи книжнаго обращенія“. „Право“ 1904 г., № 29–31.

щеннаго направленія характеризуется прежде всего горячей симпатіей писателей этого направленія именно къ трудящимся классамъ и защитой ихъ насущныхъ интересовъ, то-есть къ тѣмъ самымъ классамъ, къ которымъ принадлежитъ этотъ самый читатель. И вотъ во многихъ письмахъ, полученныхъ отъ такихъ читателей, чрезвычайно ясно выражается ихъ недоумѣніе: они, во-первыхъ, недовольны тѣсными рамками, въ которыя поставлены тѣ учрежденія, откуда они только и могутъ добывать книги, а во-вторыхъ, они недоумѣваютъ: какъ же можно запрещать то, что для народа дѣйствительно полезно и хорошо? Въ другихъ моихъ работахъ приведено много фактовъ и выписокъ изъ подлинныхъ рукописей фабрично-заводскихъ читателей, подтверждающихъ вышесказанное, и я не имѣю возможности приводить ихъ здѣсь снова *). Замѣчу только, что недовольство выражается иногда въ очень опредѣленной и рѣзкой формѣ. Уменьшенію его нисколько не помогаетъ то обстоятельство, что изъ общественныхъ библіотекъ исключено около десятка книгъ скабрезнаго содержанія. Читатели вышучиваютъ это обстоятельство. Но пойдемъ дальше. Тѣ самыя книги, которыя считаются „запрещенными“ для общественныхъ библіотекъ, одновременно, въ силу распоряженія Главнаго Управленія по дѣламъ печати, иногда оказываются допущенными въ силу постановленія Ученаго Комитета Министерства Народнаго Просвѣщенія въ народныя читальни, напримѣръ, собраніе сочиненій Помяловскаго. Получается курьезная путаница, и она возростаетъ до безконечности, если принять въ разсчетъ, что въ спискѣ запрещенныхъ книгъ значатся десять наиболѣе распространенныхъ періодическихъ изданій, напримѣръ, Дѣло, Отечественныя Записки, Современникъ и т. д., а изъ новыхъ Новое Слово и Начало. Добрая половина новѣйшихъ книгъ, обращающихся на рынкѣ,—книгъ наиболѣе ходовыхъ и читаемыхъ, первоначально прошла черезъ какой-либо журналъ. Такимъ образомъ, запрещенное оказывается и не запрещеннымъ, а съ другой стороны—незапрещенное—запрещеннымъ. Путаница получается неимовѣрная. Исторія закрытія цѣлаго ряда періодическихъ изданій, сдѣлавшихся популярными не только среди интеллигенціи, но и среди фабрично-заводскихъ читателей, напр., Новаго Слова, Начала, Жизни, Сѣвернаго Курьера, разъяснила несомнѣнно очень многимъ читателямъ, какое, собственно, направленіе считается запрещеннымъ въ новѣйшее время и, разумѣется, помогла еще болѣе точному выясненію понятій о „запрещенной книгѣ“, запрещенномъ направленіи, запрещенномъ періодическомъ изданіи. Другими словами, помогла не только сознать тѣсноту отведенныхъ рамокъ, но и качество этихъ рамокъ, явно противорѣчащее народнымъ нуждамъ и пользѣ. Читатели изъ трудящихся классовъ реагируютъ и на это явленіе. Во-первыхъ, они, гдѣ только можно, обходятъ читальни, подчиненныя министер-

*) „Этюды о русской читающей публикѣ“, Спб. 1895 г. Читатели и писатели самоучки“ (Рус. М. 1898 г.). „Читательская выучка“ („Битые читатели“), („Образованіе“, 1902 г.) и „Начало“ 1891 г. № 4 и др.

скому каталогу, и переходятъ цѣлыми толпами въ общественныя библіотеки, а то и создаютъ свои собственныя библіотечки „своими средствіями“, не говоря уже о покупкѣ книгъ и о добываніи ихъ гдѣ только можно, особенно тѣхъ, которыя считаются самыми интересными, вплоть до такъ называемыхъ нелегальныхъ изданій, пріобрѣвшихъ уже давно весьма большой авторитетъ въ глазахъ читателей изъ народа. Въ настоящее время существуютъ, особенно на фабрикахъ и на заводахъ, тысячи маленькихъ библіотечекъ, устроенныхъ самими рабочими для самихъ себя и своихъ товарищей. Онѣ такъ и называются „вольными библіотеками“, хотя, по большей части, и состоятъ изъ книгъ, дозволенныхъ общей цензурой. Но, разумѣется, никогда не обходятся такія библіотечки и безъ такъ называемыхъ „нелегальныхъ книгъ“. Эти послѣднія играютъ въ ростѣ народнаго сознанія крайне важную и плодотворную роль: они даютъ мало подготовленному читателю опредѣленный уголъ зрѣнія, даютъ ясный и отчетливый критерій для оцѣнки всѣхъ прочихъ книгъ, а также и идей, и людей, и всей окружающей обстановки,—критерій народной, точнѣе говоря — классовой правды-справедливости. И народъ за послѣднія 7—8 лѣтъ жадно ловилъ и ловитъ всякую „нелегальщину“, цѣня ее во всякомъ случаѣ столь же высоко, какъ и „дозволенныя“ книги.

Мнѣ пришлось видѣть эти маленькія „вольныя“ библіотечки. Онѣ пріобрѣтены на трудовыя деньги, собранныя по грошамъ, вскладчину, и отнятыя изъ скудной заработной платы, не хватающей иногда даже на самое необходимое. Такого рода библіотеки сдѣлались уже давно самымъ обыденнымъ явленіемъ. За 10 лѣтъ ежегодныхъ лѣтнихъ путешествій мнѣ удалось видѣть не мало такихъ библіотекъ. Представьте себѣ душную каморку съ нарами, а въ ней сундукъ или платяной шкафъ съ книгами. Я видѣлъ библіотечки, въ которыхъ находилось по 300 и по 400 книгъ; среди нихъ были сочиненія Дрэпера, Дарвина, Кольба, Тимирязева, главныхъ русскихъ классиковъ, сочиненія Маркса, Геркнера, Блоса, журналы Новое Слово, Русское Богатство, Жизнь, газета Русскія Вѣдомости, но нигдѣ не было ни Русскаго Вѣстника, ни Московскихъ Вѣдомостей, ни даже „Свѣта“. Въ библіотекахъ, создаваемыхъ по почину и трудомъ самого народа, нѣтъ мѣста изданіямъ такого направленія. Нѣтъ мѣста никогда и нигдѣ — характерный фактъ, иллюстрирующій отношеніе народа къ казенно-полицейскому и корыстному патріотизму. Во многихъ библіотекахъ невольно обращало на себя вниманіе, что онѣ словно подобраны по списку запрещенныхъ книгъ, составленному Гл. Упр. по дѣл. печати. Оно и понятно, такъ какъ очень многія книги, запрещенныя для общественныхъ библіотекъ, этимъ самымъ уже получаютъ, на основаніи вышеприведенныхъ соображеній, своего рода почетный ореолъ въ глазахъ читающей толпы. Противорѣчія, выдвигаемыя жизнью, дѣлаютъ этотъ ореолъ еще болѣе яркимъ. Этимъ и объясняется всѣмъ извѣстный фактъ, что книги, запрещенныя въ общественныхъ библіотекахъ, послѣ этого самаго запрещенія чрезвычайно быстро были распроданы, вышли новыми изданіями и опять быстро распроданы. А до запрещенія,

какъ это показываютъ отчеты большихъ провинціальныхъ библіотекъ, напримѣръ, нижегородской, эти самыя книги едва-едва находили себѣ читателей. То же самое подтверждается, напримѣръ, такимъ фактомъ: русская читающая публика привыкла подразумѣвать подъ инціалами П. Л. имя знаменитаго русскаго эмигранта-соціолога и революціонера П. Л. Лаврова. Подъ тѣми же инціалами П. Л. выпустилъ книгу „Мысли о соціальной наукѣ будущаго“ одинъ, нынѣ умершій авторъ, занимавшій въ 70-хъ годахъ постъ губернатора въ одной изъ южно-русскихъ губерній (П. Лиліенфельдъ). Его книга, по недоразумѣнію, тоже попала въ списокъ запрещенныхъ книгъ и, тоже по недоразумѣнію,— въ вольныя фабричныя библіотеки, и тоже стала библіографическою рѣдкостью, несмотря на свое ничтожное научное значеніе. Всѣ вышесказанные факты прекрасно подтверждаютъ нижеслѣдующія слова проф. Коркунова изъ его учебника русскаго государственнаго права. Онъ, между прочимъ, пишетъ: „Цензурный запретъ служитъ только вящей рекламой, обезпечивающей широкое распространеніе книгѣ. Идеи, ученія, направленія, подвергающіяся гоненію правительственной цензуры, тѣмъ самымъ ставятся подъ особое покровительство общественнаго мнѣнія“ (т. I, стр. 452). Мнѣ пришлось встрѣтить въ одномъ мѣстѣ въ 1897 году на югѣ у одного рабочаго рекомендательный каталогъ, который оказался не чѣмъ инымъ, какъ спискомъ запрещенныхъ книгъ, составленнымъ Гл. Упр. по дѣл. печати. Но и кромѣ этого своеобразнаго списка, въ настоящее время ходятъ по рукамъ десятки тысячъ другихъ, составленныхъ неизвѣстно когда и кѣмъ. Чтенія по рекомендательному каталогу, по программамъ домашняго чтенія—явленіе далеко не рѣдкое среди фабрично-заводскаго люда. Въ качествѣ члена „Отдѣла для содѣйствія самообразованію“, въ 1900 и 1901 году я уже давно получаю отъ рабочихъ письма, касающіяся разныхъ сторонъ программы, изданной этимъ отдѣломъ. Рабочіе тоже пользуются такого рода программами. Въ числѣ подписчиковъ московской комиссіи домашняго чтенія (при Обществѣ распространенія техническихъ знаній) также фигурируютъ фабрично-заводскіе рабочіе. Но существующія московская и петербургская программы чтенія, такъ сказать, летятъ надъ головой фабрично-заводскаго люда. Чувствуется сильная потребность въ болѣе упрощенныхъ программахъ. Этимъ и объясняется, между прочимъ, успѣхъ брошюры „Домашнія библіотеки“ покойнаго А. В. Панова, пользовавшагося въ теченіе многихъ лѣтъ большою популярностью въ Поволжьѣ въ качествѣ неутомимѣйшаго пропагандиста-революціонера. Во всякомъ случаѣ слѣдуетъ констатировать тотъ фактъ, что среди подписчиковъ общественныхъ библіотекъ въ настоящее время уже встрѣчаются фабрично-заводскіе рабочіе, читающіе по п р о г р а м м ѣ. Что касается до библіотечекъ нелегальныхъ, то онѣ въ огромномъ большинствѣ случаевъ хранятся и существуютъ отдѣльно отъ легальныхъ, — пріемъ, установившійся на основаніи многолѣтняго и горькаго опыта. Не слѣдуютъ этому мудрому пріему только малоопытные новички, и врядъ ли нужно доказывать, что, благодаря ему, даже въ самые грозные дни реакціи нелегальные библіотечки почти повсюду не переводились,

что число ихъ было гораздо внушительнѣе, чѣмъ объ этомъ можетъ судить департаментъ полиціи, и что всюду и вездѣ онѣ дѣлали и сдѣлали свое дѣло, опираясь на нравственную и фактическую поддержку самаго населенія. И въ этомъ отношеніи борьба народа за свое просвѣщеніе была, несомнѣнно, въ конечномъ итогѣ весьма удачна.

Таково реагированіе читающей толпы на урѣзываніе библіотечнаго состава, на регламентацію библіотечекъ и на преслѣдованія нелегальныхъ изданій. Но это реагированіе народной массы, начавшей сознавать самое себя, идетъ дальше.

Въ домашнихъ библіотекахъ за послѣдніе 2—3 года стали появляться дотолѣ небывалыя печатныя произведенія. Это не что иное, какъ тетрадки, въ которыхъ наклеены газетныя вырѣзки, характеризующія ту или иную сторону русской жизни и подобранныя въ извѣстномъ порядкѣ, наприм., по такимъ вопросамъ: судъ, администрація, экономическое положеніе фабрики и деревни, верховная власть, и т. п. Всякая газета, старая или новая, просматривается и идетъ въ дѣло, конспектируется и читается нарасхватъ. Видѣлъ я еще одно изобрѣтеніе, вышедшее изъ среды фабрично заводскаго люда: это книги съ рукописными примѣчаніями. Наприм., берется какое-нибудь тенденціозное изданіе, вродѣ „Дружескихъ рѣчей“, кн. Мещерскаго, брошюръ Е. В. Богдановича и т. п., и къ нимъ дѣлаются рукописныя примѣчанія или вклейки газетныхъ вырѣзокъ по тѣмъ же вопросамъ жизни, но только подобранныя такимъ способомъ, чтобы цѣлымъ рядомъ фактовъ иллюстрировать всю беззастѣнчивую и грубую нелѣпость этихъ казенно-патріотическихъ брошюръ. Факты жизни, заключающіеся въ хорошо подобранныхъ вырѣзкахъ, какъ водится, оказываются гораздо краснорѣчивѣе самыхъ краснорѣчивыхъ елейно-казенныхъ рѣчей. Тотъ же пріемъ практикуется народомъ и въ области духовно-религіозной жизни. Такъ, напр., въ Харьковской губерніи полемическая брошюра въ стихахъ, носящая громкое названіе „Проклятый штундистъ“, нѣсколько лѣтъ тому назадъ была скуплена самими штундистами, снабжена рукописными ссылками на евангельскіе тексты, опровергающіе злобно-нетерпимаго автора брошюры, и чрезвычайно быстро разошлась. Врядъ ли нужно доказывать, что всѣ эти факты—неизбѣжный выводъ изъ ненормальныхъ юридическихъ условій, въ которыя поставлена литература на Руси. Народъ по-своему реагируетъ на стѣсненія печати, по-своему обходитъ узкія рамки, въ которыя она поставлена, по-своему добивается свободы русскаго печатнаго слова. Но особенно характерно эта самая тенденція читающей толпы проявляется на отношеніи ея къ читаемой книгѣ, журналу, газетѣ. До читателя доходятъ съ разныхъ сторонъ извѣстія, болѣе или менѣе точныя, о разныхъ явленіяхъ, которыя онъ не можетъ не принимать близко къ сердцу. Онъ слышитъ и знаетъ о нихъ, но ни въ газетѣ, ни въ журналѣ, и тѣмъ болѣе въ книгѣ ничего о нихъ не говорится. Печать молчитъ. Читатель въ недоумѣніи: какъ же это печать можетъ молчать о чрезвычайно существенныхъ явленіяхъ жизни? И онъ умозаключаетъ: есть и такія явленія, и такія мысли, о которыхъ говорить запре-

щено. Разумѣется, это уменьшаетъ цѣну печати въ его глазахъ и увеличиваетъ интересъ къ явленіямъ, о которыхъ чрезвычайно быстро создаются цѣлые циклы легендъ и слуховъ. Но онъ скоро научается вычитывать изъ газетъ даже то, что тамъ прямо не сказано. И вотъ появляется на Руси, въ средѣ трудящихся классовъ, своеобразный читатель—читающій м е ж д у с т р о к ъ. Господа, кому неизвѣстно, что въ Россіи существуютъ милліоны такихъ „читателей между строкъ“, вычитывающіе изъ какой угодно книги и газеты не то, что тамъ есть, а то, что имъ хочется оттуда вычитать. Да иначе и быть не можетъ. И это явленіе наблюдается не только среди развитыхъ читателей, но и среди читателей, неразвитыхъ, и иногда въ довольно трогательныхъ формахъ. Такъ, наприм.,одинъ кочегаръ, прочитавъ книжку по зоологіи, гдѣ разсказывалось о переселеніи пеструшекъ и ихъ страданіяхъ отъ холода и голода, говорилъ мнѣ: „развѣ это о звѣряхъ сказано? Это о насъ, а не о звѣряхъ, вродѣ какъ въ басняхъ, гдѣ тоже дѣйствуютъ звѣри“. Изъ этого факта видно, до какой, степени ненормально работаетъ мысль человѣка, стиснутаго окружающими условіями. Или вотъ другой фактъ: въ 1894 г. среди татаръ Казанской губерніи почему-то пошли слухи, что ихъ будутъ крестить въ православную вѣру. Пріѣхалъ въ деревню земскій начальникъ устраивать столовыя для голодающихъ и сталъ читать бумагу отъ земства, въ которой было употреблено слово „такимъ о б р а з о м ъ“. Несмотря на то, что татары этой деревни говорили на русскомъ языкѣ, это слово вызвало цѣлую бурю. И земскій начальникъ и урядникъ были избиты. Слово „образъ“ было перетолковано въ смыслѣ иконы. Какъ перетолковываются казенныя бумаги, написанныя казеннымъ тяжелымъ языкомъ и даже очень важныя, всѣмъ извѣстно. Люди, разрабатывавшіе вопросъ о томъ, что читаетъ народъ, могутъ привести тысячи фактовъ междустрочнаго чтенія. Нѣтъ никакой возможности отличить, гдѣ кончается чтеніе между строкъ, и гдѣ начинается перетолковываніе. Происходитъ вокругъ насъ что-то чрезвычайно ненормальное и болѣзненное. Съ одной стороны жизнь властно вопіетъ о необходимыхъ преобразованіяхъ, такъ какъ отведенныя ей рамки для всѣхъ стали тѣсны. Съ другой стороны, чѣмъ громче она вопіетъ, тѣмъ тѣснѣе рамки цензуры и тѣмъ шире разыгрывается фантазія читателя между строкъ, растетъ устная народная словесность—явленіе несомнѣнно отрицательное, обусловленное вполнѣ искусственными причинами, не имѣющими ровно ничего общаго съ пользой страны, а особенно трудящихся классовъ. Спрашивается теперь, есть ли въ мірѣ такая цензура, которая смогла бы урегулировать и направить по желательному ей пути эти милліоны междустрочныхъ читателей, эту народную словесность слуховъ и легендъ? Цензурныя стѣсненія лишь искажаютъ пониманіе жизни, искажаютъ человѣческую мысль, мѣшаютъ развитію литературы и искажаютъ литературныя произведенія, приносятъ неисчислимый и невознаградимый вредъ не только духовной, умственной, но и всей государственной жизни, и при всемъ томъ, какъ видно изъ всего предыдущаго изложенія, цензура въ сущности н е д о с т и г а е т ъ т о й, ц ѣ л и, которой призвана служить. И въ этомъ отношеніи народное сознаніе

въ конечномъ итогѣ, гораздо сильнѣе ея. Бываютъ времена общественнаго застоя, годы такъ называемой „тишины и спокойствія“. Тогда цензура еще кое-какъ иногда, на самое короткое время, въ силахъ успокаивать и безъ того спокойныхъ людей и оправдывать надежды цензорскихъ канцелярій, полицейскихъ застѣнковъ и придворныхъ заговорщиковъ противъ трудящагося народа. Но когда исторія уже повернула на другой курсъ, когда общественное настроеніе повысилось и все растетъ и растетъ, картина измѣняется, и тогда усилія задержать работу мысли лишь побуждаютъ ее работать еще сильнѣе.—Словомъ сказать, не изобрѣтено такой силы, которая смогла бы не только остановить, но даже надолго задержать творческую работу народной мысли даже въ тѣхъ слояхъ населенія, которые находятся въ самыхъ тяжелыхъ экономическихъ и иныхъ условіяхъ. Кому теперь не ясно, что исторія сама по себѣ, а канцелярія сама по себѣ, и что исторія творится въ деревнѣ, на фабрикѣ, на городскихъ улицахъ, словомъ—вездѣ, но только не въ канцеляріи? Канцелярія не въ силахъ даже побѣдить народную нелегальную литературу, а не только народную мысль. Чѣмъ объясняется несомнѣнно очень большой успѣхъ т. наз. „нелегальныхъ изданій“ въ народной массѣ? Разумѣется, не одной только энергіей и настроеніемъ пропагандистовъ и агитаторовъ,—самая суть дѣла въ очевидномъ соотвѣтствіи самаго содержанія нелегальной литературы съ давно назрѣвшими народными потребностями. Читая на строкахъ нелегальной книжки то самое, что, по мнѣнію читателей, сквозитъ и въ легальной книжкѣ между строкъ, этотъ самый читатель лишь утверждается въ своей догадкѣ и еще болѣе ретиво держится за между-строчное чтеніе, вкладывая въ него даже самыя крайнія, самыя революціонныя мысли.

Намъ слѣдуетъ отмѣтить еще одно своеобразное явленіе: въ провинціи, въ деревняхъ, появились свои рукописныя газеты. Вотъ, напримѣръ, изъ Рязанской губерніи, изъ довольно глухого угла прислали мнѣ два номера такой мужицкой самодѣльщины подъ названіемъ Соха. И сочиняютъ ее, и пишутъ, и переписываютъ крестьяне. Подобныя же самодѣльныя газеты появляются отъ времени до времени и на фабрикахъ, и даже въ оттискахъ мимеографа, устраиваемаго рабочими по упрощенному способу Эдиссона: на простой рабочій напильникъ кладется папиросная бумага, пропитанная парафиномъ, и на ней пишется все, что нужно, при помощи заостреннаго гвоздя,—только и всего. Затѣмъ все слѣдуетъ должнымъ порядкомъ. Но и на устройствѣ такихъ самодѣльныхъ типографій дѣло не кончается. Припомнимъ, наприм., замѣчательное южно-русское изданіе книги Нордау „Conventionellen Lügen“, переведенной и изданной при посредствѣ ремингтона южно-русскими штундистами подъ названіемъ „Ложь какъ основа нашей цивилизаціи“ и посвященной не кому иному, какъ „брату Льву Толстому для уменьшенія эксклюзивизма его проповѣди“. Такъ и сказано „эксклюзивизма“. Припомнимъ, наконецъ, цѣлый рядъ судебныхъ дѣлъ, иллюстрирующихъ тотъ фактъ, что народъ заводитъ не только свои мимеографы, гектографы и ремингтоны, но и свои тайныя типографіи,—при-

помнимъ, наприм., недавнее дѣло Михайлова объ устройствѣ старообряд ческихъ тайныхъ типографій. Припомнимъ далѣе, до какой степени популярной сдѣлалась за какихъ нибудь два-три года эта самодѣльная литература „красненькихъ (гектографическихъ) листковъ“ и какъ ея популярность не только на фабрикахъ, но и въ деревняхъ, сдѣлала совершенно невозможной для полиціи и жандармеріи борьбу съ этой литературой. Ни для кого не тайна, что въ настоящее время нелегальные листки и даже книжки пишутся и печатаются самимъ народомъ, что ихъ писаніе, печатаніе и распространеніе сдѣлалось обычной формой борьбы. Оно получило право гражданства, хотя и безъ дозволенія начальства. Лучшее доказательство этому мы находимъ въ слѣдующемъ фактѣ: правительство и его агенты, явные и тайные, для борьбы съ непріятными для него теченіями мысли, сами принуждены были прибѣгнуть къ изданію гектографированныхъ черносотенныхъ листковъ, чтобы облачить свои анти-народныя мысли въ популярную въ народѣ одежду „красныхъ листковъ“. Этотъ фактъ говоритъ самъ за себя, и наводитъ на интересныя соціологическія и иныя размышленія.

Гг., вглядитесь попристальнѣе и вдумайтесь въ то, что въ настоящее время происходитъ среди русской читающей публики, особенно среди трудящихся массъ: вездѣ появляются все новые и новые читатели, ихъ кругъ расширяется, они растутъ и думаютъ свою думу, и не своротить этой думы въ невыгодную для нихъ сторону никакими искусственными, даже крайними способами. А коли растутъ читатели, значитъ, растетъ и сознаніе трудящихся массъ. А растетъ сознаніе,—значитъ, растетъ и борьба за лучшее будущее. Сознательный человѣкъ, въ концѣ концовъ, не можетъ не бороться съ тѣмъ, что отрицается его сознаніемъ. Сама дѣйствительность, въ силу самой своей непригляднности, толкаетъ и вѣчно будетъ толкать такого человѣка на борьбу. Вопросъ индивидуальности и нѣкоторыхъ другихъ условій,—въ какой именно ф о р м ѣ выразится эта борьба, въ пасивномъ-ли сопротивленіи, въ распространеніи-ли знаній, въ содѣйствіи-ли критическому мышленію, революціонному настроенію, или, наконецъ, въ другихъ болѣе активныхъ видахъ, вплоть до боевого выступленія включительно. У этихъ выступленій, какъ и у сознанія, есть свои ступени, свои градаціи. Сознаніе смѣло и рѣшительно, въ лицѣ наиболѣе передовой народной интеллигенціи, уже много лѣтъ шло и идетъ къ одному,—къ отрицанію самыхъ о с н о в ъ существующаго строя, тѣхъ вѣковѣчныхъ институтовъ насилій, грабежа и обмана, на которыхъ держится этотъ строй. И это справедливо по отношенію къ народной массѣ совершенно въ той же степени, какъ и по отношенію къ такъ называемой интеллигенціи изъ другихъ общественныхъ слоевъ. Дорога, по которой идетъ сознаніе, ведетъ къ одной и той же цѣли, и разъ сознаніе уже работаетъ, народъ не можетъ не идти по ней, все глубже, глубже и опредѣленнѣе, отъ отрицанія частныхъ и случайныхъ воплощеній вродѣ такихъ-то должностныхъ и другихъ ненавистныхъ л и ц ъ, къ отрицанію самихъ д о л ж н о с т е й, къ отрицанію тѣхъ з а к о н о в ъ, на которые стараются опереться эти должности, къ отрицанію

основныхъ законовъ, всего юридическаго строя, къ отрицанію не только данной формы власти, но и властей вообще, къ отрицанію ихъ силы, ихъ богатства, къ отрицанію самаго источника этого послѣдняго, то есть присвоенія въ личную собственность чужого, неоплаченнаго труда, и т. д. и т. д. Сознаніе русскаго народа работаетъ въ этомъ направленіи не со вчерашняго дня, и нѣтъ такой силы, которая остановила-бы его или сбила бы съ этого пути. Объ этомъ ростѣ сознанія вмѣстѣ съ читательствомъ говорятъ давнымъ давно десятки томовъ изслѣдованій, сотни журнальныхъ статей и безчисленныя газетныя сообщенія. Въ моей статьѣ „Книжный потокъ“ (Русская Мысль) собраны цифры и факты, доказывающіе съ достаточной очевидностью, что впереди читающей толпы уже давно стоятъ именно фабрично-заводскіе рабочіе, русскій пролетаріатъ, и что подъемъ книгоиздательскаго дѣла въ Россіи совпадаетъ съ 1896 г.,—тѣмъ самымъ годомъ, когда пролетаріатъ впервые выступилъ en masse на историческую сцену и когда тридцатитысячная петербургская забастовка открыла собою великое русское освободительное, какъ политическое, такъ и соціальное движеніе. Я не могу повторять здѣсь эти цифры и факты, изложенные въ вышеупомянутой статьѣ. Замѣчу въ заключеніе лишь одно: было бы большой ошибкой представлять себѣ фабрично-заводскихъ и деревенскихъ читателей какой-то сплошной темной толпой. Правда, есть въ этой толпѣ очень много и темнаго народа, но съ каждымъ годомъ его дѣлается все меньше и меньше, и происходитъ это съ помощью не только интеллигенціи изъ командующихъ классовъ, но и съ помощью самого народа. Онъ не ходатайствуетъ, и не проситъ и не молитъ, онъ не обременяетъ никого своими прошеніями, онъ просто-напросто претъ, добиваясь для себя того, что ему нужно, выдвигая въ первые ряды свою собственную, фабрично-заводскую и деревенскую интеллигенцію,—бодрую, крѣпкую, смѣлую, съ неистощимымъ запасомъ умственныхъ и нравственныхъ силъ и общественныхъ настроеній. Прошли тѣ времена, когда ея не существовало или почти не существовало: теперь она—самое обыденное явленіе нашей общественной жизни. Начитанные люди считались у насъ когда-то сотнями, а теперь они считаются десятками, если не сотнями тысячъ. Когда-то они назывались самоучками, а теперь ихъ называютъ народной интеллигенціей. На чиновничье-жандармскомъ языкѣ правительства, они давнымъ давно называются революціонерами. Что же, — быть можетъ и правда,—всякій человѣкъ, сознательно и активно отрицающій старый строй во имя чего-то новаго и лучшаго,—такъ или иначе — революціонеръ. Въ такомъ случаѣ, въ народной массѣ кадры русской революціи вырабатываются давнымъ давно, и вырабатываются вовсе не въ микроскопическихъ дозахъ. Боевая народная интеллигенція — явленіе не только сегодняшняго дня. Ее не всѣ только называли такимъ именемъ. Настало время называть ее именно такъ. Боевые народные интеллигенты давнымъ давно борются за трудящійся народъ. Когда-то они всячески старались уйти изъ своей среды, а теперь многіе изъ нихъ стараются отстаивать интересы этой самой среды и съ этой цѣлью работаютъ упорно надъ своимъ само-

№ 2201

образованіемъ. Да, господа, пора констатировать этотъ крайне важный фактъ нашей общественной жизни: у трудящихся классовъ быстро нарождается своя собственная боевая интеллигенція. Врядъ ли можно сомнѣваться, что она уже довольно многочисленна. Среди этой интеллигенціи встрѣчаются самые разнообразные типы, которые подлежатъ своей особой классификаціи, отъ самыхъ умѣренныхъ и спокойныхъ до самыхъ смѣлыхъ и боевыхъ. Кромѣ обыкновенныхъ начетчиковъ, любящихъ книгу и понимающихъ въ ней толкъ, то и дѣло встрѣчаются теперь фабрично-заводскіе поэты. У меня имѣются свѣдѣнія о 147 такихъ поэтахъ и всѣ они поютъ о нуждахъ, о горѣ и о радостяхъ своего класса. Таковы Поступаевъ, Лапинъ, Бородулинъ, Бѣляевскій *), Семенъ Ивановъ **) и многіе другіе. Есть фабрично-заводскіе беллетристы, описывающіе въ своихъ произведеніяхъ положеніе своего класса, наприм., Петръ Андреевичъ Морозовъ, Николаевъ ***) и т. д. Есть публицисты, очень опредѣленно высказывающіе свои взгляды, одухотворенные глубокимъ и широкимъ общественнымъ идеаломъ, наприм., Григ. Зыбинъ, Тихонъ Ушаковъ и др. Есть люди науки, популяризаторы, мыслители въ религіозно-этическомъ духѣ, именъ которыхъ я не стану перечислять—все равно они мало кому извѣстны. Наконецъ, есть общественные дѣятели, книгоноши, странники-учителя и другіе „святые микробы“, оживляющіе собою всякаго рода захудалые, глухіе, сѣренькіе уголки земли русской. Есть бойцы, готовые отдать свою жизнь на баррикадѣ, есть самоотверженные и грозные борцы, борцы-мстители, смѣло идущіе на вѣрную, но славную смерть. И огромное большинство этихъ людей, этихъ интеллигентовъ изъ народа, всей душой предано интересамъ своей братіи и думаютъ думу не о выгодной карьерѣ, а о насущныхъ нуждахъ своего класса. Правда, такого рода личности далеко не всегда замѣтны въ толпѣ постороннему наблюдателю. Но развѣ истинные интеллигенты изъ культурныхъ слоевъ встрѣчаются на каждомъ шагу? А вѣдь историческія условія воспитанія тѣхъ и другихъ были далеко не одинаковы. Для появленія ихъ необходима болѣе удобная обстановка, чѣмъ та, въ которой приходится намъ существовать.

Ни мѣсто, ни время не позволяютъ мнѣ подробно говорить здѣсь объ этой интеллигенціи, объ ея психологіи и борьбѣ. Въ ближайшемъ будущемъ надѣюсь сдѣлать это печатно. Но и самый фактъ появленія, наростанія и массового выступленія ея самъ по себѣ въ высшей степени знаменателенъ. Это тоже своего рода реагированіе трудящихся классовъ на окружающую жизнь. И изъ всѣхъ видовъ реагированія, о которыхъ я говорилъ выше, это самое крупное и чреватое глубокими, историческими послѣдствіями. Русская революція наступила. Мы перестали ее ждать.

---

*) Убитъ въ 1906 г.
**) Умеръ въ тюрьмѣ въ 1906 г.
***) Убитъ въ 1906 г.

106544
Библиотека

ОГЛАВЛЕНІЕ.

Стр.

Вмѣсто предисловія ко второму изданію. 3

ЧАСТЬ I.

Чистая публика. 11
1. Размагниченный интеллигентъ. 13
2. Воскресеніе мертвыхъ. 28
3. Два колеса. 51
4. Бомба профессора Штурмвельта 79

ЧАСТЬ II.

Интеллигенція и народъ. 93
1. Историческое [illegible]отношеніе. 95
2. [illegible] 137
3. [illegible] 164
4. [illegible] 208

ПРИЛОЖЕНІЕ.

НАКАНУНѢ РЕВОЛЮЦІИ. Борьба народа за свое просвѣщеніе. Докладъ, читанный на III съѣздѣ дѣятелей по техническому и профессіональному образованію, 4 янв. 1904 г. 236

(12)

.R8
1906

DK 263 .R8 1906 C.1
Chistala publika i intelligent
Stanford University Libraries
3 6105 037 063 901

DATE DUE

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES
STANFORD, CALIFORNIA
94305